

ТАЙНЫ

Бек XIX

Ф. Е. Зарин-Несвицкий

ЗА ЧУЖУЮ
СВОБОДУ



ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах



ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Век XIX

Ф. Е. Зарин-Несвицкий

ЗА ЧУЖУЮ СВОБОДУ

Исторический роман



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

- Зарин-Несвицкий Ф. Е.**
3-34 **За чужую свободу: Исторический роман.** — М.: ТЕРРА, 1995. — 432 с. — (Тайны истории в романах, повестях и документах).
ISBN 5-85255-732-3

Роман русского писателя Ф. Е. Зарин-Несвицкого (1870 — не ранее 1935) повествует о событиях, происходящих во время знаменитого заграничного похода российской армии в 1813—1814 гг. Главного героя — молодого офицера Льва Бахтеева — ждут испытания на полях сражений, раздумья о судьбе России, поиски смысла жизни, романтическая любовь,

Книга написана в лучших традициях русского исторического романа и несомненно заинтересует всех поклонников этого жанра.

3 4702010000-035 Без объявл.
A30(03).95

ББК 84Р

ISBN 5-85255-732-3

©Издательский центр «ТЕРРА», 1995

ЗА ЧУЖУЮ СВОБОДУ

Исторический роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

На Невском кипела жизнь. С дикими возгласами: «Поди! Поди!» — неслись по улице среди безлиственных деревьев, посаженных вдоль тротуаров, нарядные сани и кареты цугом. Многочисленные толпы гуляющих медленно двигались от самого адмиралтейства до Гостиного двора и обратно.

Был один из тех ясных полувесенних дней, которыми иногда так прекрасна северная столица в конце февраля и начале марта. Снег еще не сошел, но в воздухе уже веет теплое дыхание весны. Толпа имела праздничный вид. В длинных пальто с собольими и лисьими воротниками и огромными муфтами в руках шли дамы, сопровождаемые ливрейными лакеями; с лорнетами, в высоких цилиндрах, в узких пальто, с разрезом сзади, перехваченных в талии, гуляли модные франты; изредка мелькали из-под небрежно накинутых шинелей цветные мундиры офицеров.

Особенно много народа толпилось у Гостиного двора. Модные магазины, носившие прежде названия: «*M-me Justine de Paris*», «*Modes de Paris*» и проч., теперь красовались под вывесками «московских» и «русских» магазинов. Эти магазины походили на осажденные крепости, до такой степени рвались в их двери целой толпой дамы, при помощи ливрейных лакеев, прокладывавших им путь. Стоял невообразимый гомон.

Среди нарядных экипажей странное впечатление производила простая пароконная почтовая бричка с сидевшим в ней офицером. Офицер сидел, плотно закутавшись в меховой плащ, надвинув на глаза треуголку. На него обращали внимание.

— Не из армии ли? Курьер? — слышались случайно брошенные фразы, но его сейчас же забывали.

А офицер сосредоточенно и пытливо смотрел вокруг, и в душе его было смутно и тяжело.

Он только что совершил далекий и трудный путь среди опустошенной России.

Он видел одну пустыню вместо цветущего края, видел тысячи неубранных трупов, валяющихся по дороге и заражающих воздух своим гниением. Видел сожженные деревни, крестьян, превратившихся в бродяг, живущих целыми семьями в лесах, под открытым небом, видел развалины барских усадеб, и смерть, и голод... Только что прошел страшный двенадцатый год, оставя за собой следы ужаса и гибели, и вот здесь, в столице, все по-прежнему, как будто ничего не случилось, как будто русская истощенная армия не преследует еще врага и не предстоит новой, быть может, ужаснейшей войны... И новые жертвы, и новые опасности для родины...

— Скорей! — нервно сказал он ямщику, плотнее закутываясь в свой плащ.

На его молодом лице с резкими чертами появилось выражение страдания, и он ниже опустил голову.

Ямщик хлестнул убогих лошадей. Они прибавили ходу. Бричка миновала Невский проспект и свернула на набережную.

— Стой, здесь, — проговорил офицер, указывая на темный особняк.

У дверей подъезда стоял швейцар в ливрее, с огромной булавой в руках. Он с некоторым пренебрежением смотрел на молодого офицера, приехавшего в таком убогом экипаже.

Офицер расплатился с ямщиком, должно быть, очень щедро, судя по поклонам и благодарностям ямщика, и направился к подъезду.

Решительное выражение его лица, уверенная походка и властный взгляд заставили швейцара почтительно распахнуть тяжелую, мореного дуба дверь и снять шапку с галунами.

— Князь у себя? — резко спросил молодой офицер, сбрасывая на руки швейцара свой плащ.

— Так точно, — ответил швейцар, — их сиятельство у себя.

На молодом офицере была форма гвардейского кавалерийского полка — красный короткий мундир, срезанный у пояса, шарф, завязанный бантом, лосины и ботфорты с золоченными шпорами. На поясной золотой портупее висела большая, с широким эфесом сабля.

На одно мгновение молодой человек остановился перед большим венецианским зеркалом в раме темного серебра, поправил кок и височки. Зеркало отразило холодное, красивое лицо с правильными чертами, плотно сжатыми, чуть

полными губами и большими серыми глазами, оттененными черными бровями и ресницами.

На красном мундире белел крестик.

Лакей в белых чулках, красных туфлях и ливрее с княжескими гербами встретил молодого офицера на площадке лестницы, уставленной цветами и украшенной статуей императрицы Екатерины во весь рост, со скипетром в руке и бюстами императоров Павла и Александра.

— Доложи князю, — коротко произнес молодой офицер: — князь Бахтеев.

На лице лакея промелькнуло выражение почтительного удивления. Он низко поклонился и произнес:

— Прошу ваше сиятельство следовать за мною.

Бахтеев прошел в большую приемную залу. Там стоял другой лакей, которому первый что-то сказал. Лакей с почтительным поклоном удалился.

Князь Бахтеев подошел к окну. Прямо перед его глазами была Нева, еще скованная льдом. По набережной гуляла праздничная толпа, неслись экипажи — обычная картина холодного, равнодушного Петербурга...

«А Москва в развалинах», — думал Бахтеев. И ему невольно рисовался полуразрушенный Кремль, дымящиеся развалины; гниющие трупы, опустелые и ограбленные храмы — все, что он видел, что пережил и перечувствовал за эти восемь месяцев.

Восемь месяцев! Только! А кажется, что прошло столетие!

Суровее сдвинулись черные брови.

— Его сиятельство просит вас, — раздался за ним голос.

Офицер очнулся от своих мыслей, круто повернулся и через анфиладу роскошно убранных комнат последовал за лакеем.

Двери кабинета распахнулись. Два лакея стояли по бокам, почтительно склонив головы, и князь Бахтеев переступил порог.

II

За большим столом сидел старик в темно-синем бархатном халате, с открытой шеей.

Это был князь Никита Арсеньевич Бахтеев; его голова поражала своей благородной красотой. Большая, увенчанная седыми кудрями, с широким лбом, орлиным носом и

зоркими, яркими глазами под непоседевшими бровями. Что то львиное виделось в этой голове.

Молодой офицер быстро шагнул вперед и произнес:

— Это я, дядя.

Легкая улыбка скользнула по губам старика.

— Левон! — воскликнул он, приподнимаясь. — Наконец-то! Ну, иди, иди, дай обнять тебя. Так ты еще жив? — говорил старик, пока молодой человек обходил стол. — Скажи, пожалуйста, — продолжал он, обнимая племянника, — так ты воскрес из мертвых? А мы думали, что ты уже отправился к праотцам. — В легком, насмешливом тоне старика слышалось истинное чувство. — Ну, садись, Левон, и рассказывай. Ведь больше месяца, как я получил от тебя из имения последнее известие, а до той поры считал тебя погибшим, да и потом, ожидая твоего приезда столько времени, уже начал думать, что тебя и в живых нет. Уж собирался посылать к тебе.

Левон, или, вернее сказать, Лев Кириллович, опустил на стул рядом с креслом дяди и сказал:

— Вы правы, дядюшка, я воскрес из мертвых...

— Да постой, постой, — перебил его старик, — ведь я твой опекун и хотя потерял надежду когда-либо увидеть тебя вновь, все же твое состояние соблюл. Ведь тебе уже исполнился двадцать один год.

Лев Кириллович нетерпеливо передернул плечами:

— Потом, дядя...

— Ну, как знаешь, Левон, — равнодушно ответил князь. — Все в порядке. Ну, говори же о себе.

— Мой рассказ короток, дядя, — начал молодой человек, — таких, как я, «без вести пропавших», тысячи. Мы давно расстались с вами.

— Да, — отозвался старый князь, — с тех пор, как ты поехал в Вильну с государем, чуть что не накануне вторжения нашего Атиллы, я не видел тебя, хотя слышал о тебе. После Бородина Михаил Ларионыч писал мне о тебе, о твоих подвигах, — с ласковой усмешкой закончил старик, — ведь я тоже интересовался тобой.

— Все это вздор, — ответил, тряхнув головой, Левон, — я был не хуже и не лучше других. Мы все исполнили свой долг.

Старик кивнул головой.

— От князя Бахтеева, — серьезно сказал он, — иного нельзя и ждать.

— Ну, так вот, — продолжал молодой князь, — все шло хорошо. Не повезло под Красным, пятого ноября. Там

я был ранен. В бедро и грудь. Спервоначала думали, что я убит, и бросили меня. Потом в реляции поместили, что убит. Потом подобрали меня. Мытарили, мытарили, то в подвижном лазарете, то задумали в Вязьму отправить, а тут мои ополченцы забрали меня, да и свезли в могилевскую вотчину... Там и валялся... Не знаю, как выжил. Дом у нас уцелел, а кругом разруха полная. Без памяти валялся. Как немного пришел в себя, тотчас вам о себе написал.

— По твоему письму я думал, что ты совсем оправился, — сказал князь.

— Я сам так думал, — ответил Лев Кириллович, — да опять стало хуже. Ежели бы я не узнал, что враг изгнан из пределов России, я постарался бы выздороветь раньше, — с усмешкой добавил он. — Зато теперь предстоит новый поход, я и поправился и приехал сюда хлопотать снова о назначении в действующую армию.

Старый князь слушал его, не прерывая.

— Надо, во-первых, — продолжал Левон, — доложить, что я жив, и внести меня вновь в списки полка. А потом поехать туда.

— Все это нетрудно, — медленно начал старик, — но на какой ляд ехать тебе туда?

— Как на какой ляд! — воскликнул изумленный Левон. — Но ведь я же читал манифест императора — война переносится за границу.

Старик махнул рукой.

— Либо будет, либо нет, либо дождик, либо снег, — сказал он. — Война! Какая война? Мне намеренно говорил граф Николай Петрович, — знаешь, канцлер? — все-де вздор. Россия потоптана, разорена. Тут своего дела не оберешься. Чего лезть в рот волку. И за что? Разве за прекрасные глаза короля прусского! Ну, брат, это дешево стоит... Я тебе вот что скажу, — понижая голос, продолжал старик, — не надо ни крови проливать, ни геройствовать. Бонапарт пойдет на все. Он даст нам Польшу, Мемель и, может быть, Данциг; Магдебург — королю Пруссии, другу нашего государства, — и все успокоятся. Ей-ей, будь жива матушка Екатерина, никогда того не было бы. — Старик встал. — И еще слушай, — торжественно начал он, — союз с Бонапартом дал бы нам Турцию, Византию, мы бы с распущенными знаменами вошли в Константинополь... Мы поделили бы с Бонапартом мир пополам. Что нам немцы? Нам ли проливать за них кровь!.. Это понимала великая государыня.

Этот величественный старик со своей гордой львиной головой словно сразу переносил Левона в век Екатерины, с

горделивыми мечтаниями светлейшего князя Тавриды о завоевании Константинополя, с ее недоверчивостью к политике кабинета Фридриха Великого..

Левон тоже встал.

— Быть может, вы и правы, дядя, но на то и созданы мы, чтобы идти в бой. Стыдно жить такой жизнью, как живут у вас здесь, когда сам император находится во главе своих войск.

Старый князь уже успокоился и с обычной усмешкой опустился в кресло.

— Ну, что ж, тогда прогуляйся. Пожалуй, и правы умные люди... Сделайте военную прогулку, пока Бонапарт не соберет новые полчища, а там все уладится. Я не верю, — уже серьезно добавил старик, — чтобы государь бросил разоренную Россию и платил русской кровью за разбитые прусские горшки. Поживем — увидим. А теперь скажи, — ты ведь остановишься у меня?

— Если позволите, дядя, — ответил Левон. — Я уже велел своим людям привезти сюда мое походное имущество. Я рассчитывал на ваше гостеприимство.

— Ну, и умница, — сказал князь. — Но когда же ты приехал? — продолжал он, окидывая взглядом нарядный костюм племянника.

Левон заметил этот взгляд и засмеялся.

— Я приехал вчера вечером, — ответил он, — и остановился у заставы в гостинице «бригадирши», знаете?

Князь кивнул головой.

— Там я выспался. Утром почистился, и вот я при полном параде.

— Ну, и отлично, — отозвался старый князь. — А теперь и мне надо привести себя в порядок. Ты подожди, я оденусь и тогда представлю тебя твоей тетке.

На лице Левона отразилось недоумение.

— Тетке? — переспросил он.

— Ах, да, — заметил Никита Арсеньевич, — я и забыл, что ты с того света. А, впрочем, я писал тебе...

— Я не получал ваших писем, — отозвался Левон.

— Я так и думал, — продолжал князь, — я ведь женился.

Он сказал это спокойным голосом, между тем как глаза его пристально следили за выражением лица племянника, как будто он ожидал насмешливого удивления или тайного осуждения.

Но Левон был далек от этого. Его первоначальное удивление было вызвано неожиданностью известия — и только.

А так, при взгляде на этого красавца богатыря, крепкого и могучего, несмотря на семьдесят лет, он находил вполне естественным сам факт женитьбы. Да, этот старый лев, в обаянии своего имени, сказочного богатства и былой славы, друг Потемкина и в свое время любимец Екатерины, еще мог нравиться женщинам.

— Поздравляю вас, дядя, — спокойно произнес Левон, — я уверен, что вы счастливы.

Никита Арсеньевич кивнул головой и, вставая, произнес:

— Так подожди.

Он вышел из кабинета.

Лев Кириллович был последним в роде князей Бахтеевых. Мать его умерла, когда ему было несколько лет, а отец, младший брат Никиты Арсеньевича, погиб в 1799 году во время итальянского похода Суворова. Он умер в Милане от острой лихорадки.

По повелению императора Павла Никита Арсеньевич был назначен опекуном семилетнего Левушки.

Левон получил блестящее образование под непосредственным наблюдением дяди. Он свободно владел тремя языками, прекрасно знал французских энциклопедистов, обожал Вольтера и Руссо.

Шестнадцатилетним прапорщиком Лев Кириллович получил боевое крещение при Прейсиш-Эйлау.

Потом вел обычную жизнь богатого гвардейского офицера и в начале войны двенадцатого года отправился в действующую армию.

Там он заслужил Георгиевский крест и чин ротмистра.

III

Лев Кириллович невольно залюбовался дядей, когда тот вошел в кабинет; высокий, стройный, в коричневом фраке, с кружевным жабо, в шелковых черных чулках и черных туфлях с брильянтовыми застёжками, с неизменной золотой табакеркой в руке.

Эта табакерка, украшенная портретом Екатерины, была подарена князю великой императрицей.

Никто не дал бы этому величественному старику семидесяти лет.

— Ну, идем, Левон, — произнес он.

— Дядя, — сказал Левон, — вы еще не сказали мне, как звать мою тетушку.

— Ах, да, — усмехнулся князь, — правда. Я женился на дочери Буйносова, знаешь, сенатора, Евстафия Павлыча, — Ирине. Ты ведь встречался с ним до войны?

— Как будто встречался, дядя, — ответил Лев Кириллович, — но не помню хорошо.

— Ну, теперь вспомнишь, — отозвался князь. — Наша свадьба была в ноябре, — добавил он.

Они прошли через ряд парадных комнат, на половину княгини.

— Есть кто-нибудь у княгини? — спросил князь лакея.

— Так точно, их сиятельство сегодня принимают, — ответил лакей, подымая тяжелую портьеру, из-за которой слышались голоса.

С чувством невольного любопытства Лев Кириллович переступил порог гостиной вслед за своим дядей.

При их появлении разговоры на миг смолкли. В гостиной, кроме княгини, было еще трое мужчин и одна дама.

Отдав общий поклон, князь прямо направился к своей жене.

— Irène, — начал он, — позвольте представить вам вашего племянника Левона Бахтеева.

И он указал рукой на стоявшего за ним Льва Кирилловича.

В эти короткие мгновения, пока молодой Бахтеев шел от порога до кресла княгини, он уже успел и рассмотреть свою новую тетушку, и проникнуться восхищением перед ней.

Перед ним была совсем молодая женщина, лет девятнадцати, чрезвычайно красивая, но с холодным, надменным лицом не русского типа.

Словно из пены, вырисовывалась из драгоценных, слегка желтоватых кружев небольшая черноволосая головка с чертами Саломеи или Юдифи, с необыкновенно большими темными глазами, мерцающими без блеска. Тонкие ноздри изящно очерченного орлиного носа слегка трепетали, ярко окрашенные губы были плотно сжаты.

Не выказывая ни удивления, ни радости, она быстрым взглядом окинула с головы до ног стройную фигуру «племянника» и протянула ему бледную тонкую руку со словами:

— Какая приятная неожиданность! Князь был в отчаянии, считая вас погибшим.

— И какая приятная неожиданность для меня, — ответил Лев Кириллович, целуя протянутую руку, — воскрес-

пи из мертвых, найти, кроме любимого дяди, еще очаровательную тетю.

Княгиня легким наклоном головы, без улыбки, поблагодарила за любезную фразу.

— Теперь я познакомлю тебя с моими милыми гостями, — произнес князь.

Прежде всего он представил племянника пожилой даме с большим коком на голове — княгине Напраксиной, известной в высшем обществе столицы своим ханжеством, смешанным с мистицизмом, вдове полковника, убитого в сражении при Аустерлице.

Ее дом был вечно наполнен всякими проходимцами французскими эмигрантами, прикрывавшими свою трусость и свое корыстолюбие маской преданности «законному» королю Франции, аббатами и иезуитами, проклинавшими Наполеона за конкордат и пленение папы и ловившими рыбу в мутной воде, безграмотными странниками, невежественными доморощенными пророками, проповедующими свое извращенное толкование Евангелия в целях разврата и корысти.

Говорили, что вдовствующая императрица Мария Федоровна интересовалась княгиней Напраксиной, что сам император вел с ней не раз продолжительные беседы.

Княгиня Напраксина не опровергала и не поддерживала этих слухов.

Но было несомненно, что она пользовалась расположением вдовствующей императрицы.

Старый князь Бахтеев, скептик и вольтерьянец, никогда не упускал случая как-нибудь посмеяться над княгиней.

И теперь, представляя ей своего племянника, он сказал:

— Обратите его, княгиня, в свою веру; он слишком военный. Не сделаете ли вы из него пророка или по крайней мере апостола? Человечество нуждается в тех и других. А для наших дам, утративших всякую веру, они необходимы. Особенно молодые и красивые.

Княгиня бросила на него злобный взгляд и ответила:

— А для мужчин, особенно старых, потерявших веру в Бога, нужны пророчицы, конечно, молодые и красивые.

Легкая краска выступила на бледных щеках князя Никиты, но он с легким поклоном возразил:

— Клянусь Богом, вы правы, княгиня. Нас, старых грешников, может направить на путь истины лишь молодость и красота. Мы достаточно стары и опыты, чтобы проникаться ханжеством своих ровесниц.

— Надеюсь, князь, — сказала княгиня, — вы не успели еще насадить в душе вашего племянника гибельных доктрин революционной Франции, ниспровергающих троны.

— Спросите его, княгиня, — равнодушно ответил князь.

— Приходите ко мне, молодой человек, — милостиво заметила княгиня, с удовольствием глядя на красивую фигуру молодого офицера.

Лев Кириллович низко поклонился, целуя ее руку.

— А это наш вице-канцлер, — с усмешкой продолжал князь, знакомя Левона с молодым, изящно одетым человеком.

Это был секретарь канцлера Румянцева — Бахметьев Григорий Иванович.

— О, князь, — произнес он, — я самый маленький из всех секретарей графа.

— Но, но! — ласково заметил князь, отходя.

— Господин Гольдбах, позвольте представить вам моего племянника, — проговорил по-немецки князь.

В черном фраке, с большим белым галстуком на шее, Гольдбах церемонно поклонился.

— Это тоже один из вершителей наших судеб, — смеясь, сказал князь, — секретарь и правая рука барона фон Штейна.

— О, ваше сиятельство, — ответил немец, низко кланяясь.

— Не скромничайте, господин Гольдбах, — продолжал князь, скажите, какие новости вы имеете от барона?

— Последние известия были от барона очень утешительные. Русский император учреждает патриотический комитет по делам Прусского королевства, — ответил Гольдбах. — В состав комитета вошел и барон.

— Ну, конечно, — отозвался князь, — а у нас тут тоже образовывается комитет по оказанию помощи потерпевшим от неприятеля в минувшем году. У нас хлеба нет, господин Гольдбах, — закончил он.

Гольдбах сочувственно покачал головой.

— О да, — сказал он, — но ваш государь так добр, он истинный отец своих подданных. Закончив дела за границей, он, конечно, благодетельствует и Россию.

В своем патриотическом настроении Гольдбах едва ли сознавал, что он сказал. Ему казалось совершенно естественным, чтобы его родина всегда и везде была первым предметом забот всех государей и всех народов.

Но при этой наивно дерзкой фразе старый князь вспыхнул и, отступив, насмешливо заметил:

— Да, наш государь очень добр, вы правы, господин Гольдбах, он действительно добрый отец, и мы ждем хлеба и, конечно, получим его; вам ведь известно изречение, — закончил князь: «Ein guter Vater giebt seinen Kindern nicht einen Stein, wenn sie Brot bei ihm bitten».

Ошеломленный Гольдбах не успел ответить и еще решал, обидеться или нет, как Никита Арсеньевич уже отошел от него с довольной усмешкой.

Внимание Льва Кирилловича давно уже привлекал третий гость, красивый молодой человек с бледным, утомленным лицом и черными усами. В петлице его фрака краснела ленточка. Лев Кириллович подметил его острый, сверкнувший ненавистью взгляд, брошенный на Гольдбаха.

— А вот и самый мой дорогой гость, — с внезапным чувством произнес князь, останавливаясь перед этим бледным молодым человеком и нисколько не заботясь, по свойственной ему манере величавой надменности, как отнесутся к его словам остальные гости. — Протяни ему руку, Левон, — это наш благородный враг, виконт де Соберсе. Виконт, — обратился он к своему гостю, — это мой племянник князь Бахтеев. Он храбро сражался с вами, но мы умеем уважать доблестного врага.

Старый вельможа Екатерины был величествен в эту минуту. Свободной гордостью и сознанием силы веяло от всей его могучей фигуры и прекрасного лица, обрамленного массой седых кудрей.

— Вы очень великодушны, князь, — слегка глухим голосом произнес виконт. — Только ваша доброта позволяет переносить мне мое тягостное положение...

— Но, но, — ответил князь (у него была привычка повторять в разговоре: но, но!), — не будем говорить об этом.

Лев Кириллович пожал протянутую руку.

Исполнив свои обязанности, князь отошел к жене.

— Вы сами военный, — быстро начал француз, обращаясь к Льву Кирилловичу, — вы, конечно, поймете меня. — Его щеки покраснели. — Я полковник легкого конного полка кавалерии неаполитанского короля... Я в плену... Вам известно, что война перенесена за границу. Вы можете представить мои чувства. Я был при Маренго, Аустерлице, Иене, Фридланде и Ваграме... Сам император вручил мне этот крест Почетного Легиона на полях Ваграма. Могу ли я быть спокоен, томясь в плену, когда новая, страшная война началась против моего императора. Вы ведь понимаете меня?

— О да, — ответил Бахтеев, — я понимаю вас, я бы сам испытывал на вашем месте те же чувства.

— Вот видите! — воскликнул француз. — Мне тяжело видеть торжество победителей... Но, быть может, благоразумие одержит верх. Император Наполеон всегда высоко ставил императора Александра. Они могли бы поделить мир пополам...

— Это говорит и мой дядя, — ответил Лев Кириллович.

— Вот видите, видите, продолжил Соберсе, — граф Румянцев, ваш канцлер, против войны. Говорят, князь Кутузов тоже против. Ваша родина разорена. Чего же хотите вы? Увлекаясь личной дружбой к прусскому королю или ненавистью к Наполеону, ваш император губит свою империю.

— Я не могу обсуждать поступков моего императора, — сухо отозвался Лев Кириллович.

— О, я понимаю вас, — воскликнул Соберсе, — я знаю, что значит преданность императору. Но я хочу сказать, что, несмотря на войну и поражения, мы не чувствуем к вам ненависти. Ведь и вы тоже? Да?

— Да, — ответил Бахтеев, — вы правы. Хуже всех вели себя в России немцы и особенно баварцы.

— Видите! И вы хотите их защищать! — с горечью воскликнул Соберсе.

Этот пленный французский офицер внушал Бахтееву невольную симпатию.

— Мы еще поговорим, — сказал он, пожимая руку француз.

А в другом углу салона слышался слащавый голос Гольдбаха:

— Наши герои Штейн и Шарнгорст. Вся Германия восстала. У нас есть свои Тиртеи, Арндт и Кернер. У нас будут и свои амазонки и свои Жанны д'Арк. Пожертвования текут рекой. За железное кольцо — символ жертвы родине — отдают последнее достояние. «Отдаю золото за железо» («Gold gab ich für Eisen»), как выгравировано на этом кольце. Наши потомки будут с гордостью показывать это железное кольцо — символ героизма и самоотверженности. Германия восстала, как один человек. Студенты, профессора, как великий Фихте, художники, как Шадов, поэты, как Кернер и барон де ля Мот-Фуке, идут в ряды народной армии. За это железное кольцо наши девушки отдают золото своих волос. О! Германия освободит мир от этого чудовища! — с пафосом добавил Гольдбах.

— При помощи русских штыков, конечно, — насмешливо проговорил князь Никита.

При этих словах Гольдбах сразу остыл и словно отрезвел от своего увлечения.

— Вы забываете, дорогой Гольдбах, — все тем же тоном старого вельможи продолжал князь, — что Наполеон еще располагает силами Рейнского союза, а Пруссия... Ну, да, конечно, у Пруссии нет более Фридриха Великого.

И князь отвернулся от смущенного Гольдбаха.

— Союз с Пруссией заключен шестнадцатого февраля в Калише, — лениво произнес Бахметьев.

— Хвала Богу, — отозвалась Напраксина, — рука Провидения указывает путь спасения народов от антихриста.

Видя, какой оборот принимает разговор, Соберсе незаметно вышел из комнаты.

— Рука Провидения, по моему мнению, — насмешливо сказал старый князь, — должна бы указывать на разоренную и испепеленную Россию. Здесь наше дело. Мы спасли себя, и довольно. У меня вот рекрутов требуют. Найдут ли — не знаю! Но кого найдут — те пойдут. Они пойдут, — с силой добавил он, — оставя свои разоренные гнезда, невспаханную землю, умирающие от голода семьи. Они пойдут. Куда? Зачем? Спасать чужие народы? Поистине перст Провидения указывает не туда, куда нужно.

— Вы кошунствуете, — с негодованием произнесла Напраксина, — разве наш император не Божий помазанник?

— Император остается императором, — сухо произнес князь, — но Россия тоже остается Россией.

Лев Кириллович с глубоким вниманием слушал эти разговоры. И странно, прирожденный воин, он шел теперь на новую войну без увлечения, без сознания необходимости и правоты того дела, за которое он готовился умереть.

Эти разговоры были как бы подтверждением его внутренних опасений.

Княгиня молча слушала, и на ее холодном прекрасном лице не выражалось ни единого движения чувств, быть может, волновавших ее душу.

IV

Устроившись у дяди, Лев Кириллович принялся за хлопоты. Прежде всего ему надо было восстановить свои права, так как он был исключен из списков армии «за смертью», и затем получить назначение в действующую армию.

С отъездом государя в армию словно наступила полная анархия во внутреннем управлении государства.

Государь уехал еще 7 декабря, в сопровождении обер-гофмаршала графа Толстого, государственного секретаря Шишкова, графа Аракчеева, статс-секретаря графа Нессельроде, д. ст. сов. Марченка и своего неизменного друга генерал-адъютанта князя Петра Михайловича Волконского.

Во всех правительственных учреждениях царил невообразимый хаос. Огромная империя, хотя победоносно вышедшая из тяжелого испытания, но все же разгромленная, обнищавшая и разоренная, колебалась на своих могучих корнях. Все органы управления были расстроены, местные правительственные учреждения растеряли все свои документы, дела судебные, имущественные, все то, что сплетает в один клубок судьбы людей. Неоконченные тяжбы, спорные процессы, бесчисленные ходатайства по самым разнообразным вопросам — все пришло в хаотический беспорядок. Новая начавшаяся война наносила последний удар всем надеждам. Тысячи просителей, разоренных помещиков, искалеченных солдат и офицеров, осаждали канцелярии, не встречая ни приветов, ни ответов. Империя была похожа на титана, захворавшего тяжелой болезнью. Ей был нужен покой и отдых после страшных нечеловеческих напряжений минувшего года, когда волна народного чувства достигла своей предельной высоты и теперь вдруг отхлынула, открывая бездну нищеты.

Канцлер граф Николай Петрович Румянцев чувствовал себя обиженным и растерянным. От внешней политики он был совершенно устранин, что ставило его в неловкое положение перед представителями держав, находящимися в Петербурге. Государь взял непосредственно на себя все дипломатические сношения. Всеподданнейшие представления по внутренним вопросам оставались без ответа. Приходили только короткие распоряжения через Аракчеева о формировании регулярных батальонов, резервных эскадронов, ополчений и доставке провианта. Набор рекрутов подвигался туго. Во многих дворянских поместьях не насчитывалось и десятой части прежде бывших крестьян. С мест приходили неутешительные вести. То здесь, то там вспыхивали бунты...

Канцлер, уже потрясенный войной двенадцатого года, стоившей ему паралича, после которого он оглох, терял голову.

Наконец не выдержал и послал прошение об отставке.

Прошение тоже осталось без ответа.

Общество обеих столиц резко разделилось.

Одна часть его, не думая о понесенных потерях, жаждала только довершить торжество России и питало непримиримую ненависть к Наполеону. В этой ненависти их укрепляло еще убеждение в невозможности для Наполеона вести новую войну после страшного разгрома, постигшего его в России. Поверхностные наблюдатели этого сорта считали его окончательно погибшим, чему много содействовали французские эмигранты, уже видевшие на престоле Франции Людовика XVIII; такие люди смотрели на новый поход, как на увеселительную военную прогулку. Другие, более знакомые с положением дел, во главе которых был канцлер, являлись убежденными противниками войны и надеялись, что после опустошительной войны двенадцатого года император Александр воспользуется случаем, видя могущество Наполеона поколебленным и в достаточной мере подняв воинственный шум, заключить выгодный для России мир.

В высшем же обществе господствовало по преимуществу первое мнение. Легкомысленное, как всегда, оно в своем невежественном патриотизме решило, что война должна быть закончена не иначе, как в Париже, куда, конечно, русские войска дойдут церемониальным маршем. Эмигранты уверяли, что Франция ненавидит тирана и его песенка спета. Гольдбах в светских гостиных говорил, что один вид германской народной армии заставит Бонапарта сложить оружие и повергнет в панический ужас всю Францию. Им охотно верили. Светские дамы сговаривались о поездке за границу, в Баден-Баден, к маркграфине-матери императрицы Елизаветы Алексеевны, куда собирались, как говорили, и сама императрица и великая княгиня Екатерина Павловна и где, наверное, так будет весело в обществе победоносных русских и прусских офицеров. Обеды и рауты сменялись одни другими...

— Два-три месяца, и мы в Париже, — говорили на светских собраниях. — У Наполеона нет ничего...

Радуюсь быстрому движению русской армии вперед, в Петербурге почти никто, за исключением очень немногих, не видел грозной тучи, чреватой громами и молниями, нависшей над Европой... К числу немногих принадлежал и князь Никита Арсеньевич.

— У них у всех отнял Господь разум, — говорил он Льву Кирилловичу в дружеской беседе. — Они восхищаются этими победами, но не понимают того, что Наполеон отступает, чтобы сделать прыжок тигра. У него ничего нет?! Сумасшествие! Он еще располагает силами Голландии и Италии, Баварии, Саксонии, Виртемберга, Бадена, Гессена и других

членов Рейнского союза, король датский смотрит на него, как на своего покровителя. На престолах испанском и вестфальском его родные братья. Одно имя его внушает ужас!.. А вот смотри, — продолжал взволнованный князь. — Вот какие письма Штейна к императору... Вот каково отношение прусского короля к России... — И он передал письмо Льву Кирилловичу. — Я получил его от Румянцева, — добавил он.

Лев Кириллович с любопытством взял в руки письмо и стал читать. По мере того, как он читал, он все более и более поражался.

— Прусский король ведет себя как предатель!

— Да, — продолжал князь, — я понимаю Штейна: он патриот, но он хочет подменить прусского короля русским императором. Но нельзя быть прусским королем, оставаясь русским императором. У него есть свой народ, и надо думать о нем. Это безумие, — закончил князь, вставая.

— Однако, дядя, — произнес Лев Кириллович, — я не считал вас столь осведомленным. Вы открываете мне глаза. Князь усмехнулся.

— Для этого только надо быть русским, а не Нессельроде, Поццо ди Борго или Винцингероде, — сказал он, — слава Богу, князь Бахтеев, Кутузов и Румянцев еще русские люди.

При словах Никиты Арсеньевича в уме молодого князя проносились страшные картины опустошенной, нищей, угнетенной России и пробуждалась ненависть к тем чужим людям, которые ценой русской крови хотели купить собственное благополучие и свободу.

Благодаря своему имени и связям старого князя Льву Кирилловичу скоро удалось восстановить свои права и получить назначение в действующую армию. Выбор полка был предоставлен ему. Румянцев дал ему письмо к главнокомандующему светлейшему князю Кутузову. Полк не был обозначен только потому, что молодой князь хотел непременно попасть в передовые части, а какие полки были впереди, доподлинно граф Румянцев не знал.

V

Но среди этих хлопот, в волнении новых мыслей, нахлынувших в его душу, Лев Кириллович испытывал смутное беспокойство, не связанное ни с этими хлопотами, ни с этими новыми мыслями.

Сперва, едва ощутимое, оно росло в его душе, постепенно завладевало им, лишало его сна и удовольствий. И причиной этих беспокойных настроений являлась княгиня. Ее все тот же надменный вид, прекрасное лицо без улыбки, ровное и холодное отношение к нему, несмотря на то, что он жил в доме князя и, следовательно, по самым условиям жизни был близок к ней как по родству, так и по дружбе дяди, волновали его. Все попытки сближения молодая княгиня холодно отклоняла.

«Что это значит? — с тоской думал князь. — Неужели я до такой степени ей противен?»

Но он бывал счастлив, если ему удавалось оказать ей какую-нибудь мелкую услугу: поднять уроненный платок, подать что-нибудь, исполнить небрежно выраженное желание вроде того, чтобы прочесть какой-нибудь роман *m-me Jenlis* или стихи Жуковского. Тогда он рыскал по Петербургу, искал, находил книгу, что было иногда очень трудно, и с торжеством приносил ей.

В ответ он получал холодное:

— *Merçi, mon prince.*

Она даже не звала его иначе, как «князь».

Когда же он робко начинал разговор об этих книгах, княгиня или отмалчивалась, или холодно говорила, что еще не прочла...

Князь заметил, что Ирина Евстафьевна была особенно близка с княгиней Напраксиной, и решил поехать к ней с визитом. И он собрался.

Его молодому воображению Ирина Евстафьевна представлялась каким-то сфинксом. Ему казалось, что словно какая-то тайна окружает ее. Княгиня равнодушно относилась ко всем светским развлечениям, едва замечала всеобщее поклонение, окружавшее ее, и вместе с тем, несомненно, ее жизнь была чем-то заполнена. Но чем? Она часто уезжала из дому, вела обширную переписку, посещала католические мессы в Пажеском корпусе и была частой гостьей княгини Напраксиной.

Лев Кириллович незаметно для самого себя мало-помалу увлекался этой живой загадкой и старался по возможности бывать там, где бывала молодая княгиня.

И теперь, едуци к Напраксиной, он с некоторым волнением ожидал встретить там княгиню Ирину.

Вступив в салон Напраксиной, князь застал там большое, по обыкновению смешанное общество. Черные сутаны

католических священников странно перемешивались с цветными мундирами гвардейских офицеров, изящными фраками штатских и открытыми туалетами дам. Общее впечатление дополняли подрясник какого-то по виду захудалого православного священника и поддевка одного из гостей, худощавого высокого человека лет сорока, с острыми глазами, вьющейся бородой и темными кудрями, падавшими на низкий лоб. Этот человек был окружен изящными, декольтированными женщинами, жадно слушавшими его тихий, вкрадчивый голос.

Среди этих женщин была и Ирина Евстафьевна. С широко раскрытыми глазами, побледневшим лицом, вся подавшись вперед, она так близко сидела от этого человека, что почти касалась его коленями. Но она не замечала этого, вся обратившись в слух...

Враждебное чувство сжало сердце Льва Кирилловича.

Напраксина заметила его и поспешила навстречу.

— Как я благодарна вам, — искренно воскликнула она, протягивая ему руку.

— Я счел своим долгом быть у вас, княгиня, перед моим отъездом в армию, — ответил князь, целуя ее руку.

— О, вы не раскаетесь, — произнесла Напраксина, — вы удачно попали. Сегодня у меня много новостей. И сегодня у нас дорогой гость — отец Никифор! — и она указала на человека, рядом с которым сидела Ирина.

Князь удивленно поднял брови.

— Но ведь он, кажется, не священник, — сказал он. — Кто такой этот отец Никифор?

Напраксина тихо засмеялась.

— Ну, я вам прощаю ваше неведение, ведь вы воскресли из мертвых, — начала он. — Он не священник, да, это правда, но он святой муж, провидец... Вы знаете, — шепотом продолжала она, — это действительно пророк, это учитель чистой веры в духе Христа... Спросите у вашей юной тетушки... Его знает весь Петербург. Он предсказал взятие Москвы и гибель Наполеона. Он друг князя Александра Николаевича Голицына... О его пророчествах перед отъездом императора князь Голицын довел до сведения его величества. О, это необыкновенный человек!..

Князь был ошеломлен.

— Хотите, я познакомлю вас с ним? — продолжала княгиня.

— Ваша воля, княгиня, — ответил Лев Кириллович, — только я боюсь, что это знакомство будет мало приятно и вашему пророку и мне.

В этой фразе сказались обычная прямота и резкость молодого князя.

Он не верил ни в пророков, ни в пророчества, а близкое соседство княгини Ирины с «пророком» ему положительно не нравилось.

— О-го! Да вы не вольтерьянец ли, как ваш дядя? — с усмешкой произнесла княгиня. — Во всяком случае вы с ним познакомитесь.

— Конечно, — поспешил ответить князь, — я только хотел сказать, что представление меня ему ставит меня словно в толпу его поклонников, а этого я не хочу ни за что в мире.

— Я понимаю вас, — немного помолчав, сказала Напраксина. — Действительно, хотя он и святой, но он не нашего круга, и знакомство с ним должно произойти иначе. Ваша тетушка вам может много рассказать про него...

С этими словами она покинула князя, предоставив его самому себе.

К счастью, Бахтеев сразу встретил своих приятелей.

Его приветствовали, как восставшего из мертвых. Вопросы посыпались, как град. Князь с увлечением отдался впечатлению встречи со старыми боевыми товарищами, но все же на его настроении лежала темная тень. Он не раз среди самого оживленного разговора с непонятым беспокойством обращал свои глаза на княгиню Ирину, и ему казалось, что он встречал ее холодный пренебрежительный взгляд.

Он не хотел по какому-то непонятному сложному чувству подойти к ней.

Бесшумно ступая по мягким коврам, лакеи разносили чай. Присутствовавшие разбились на кружки. Лев Кириллович уже отвык от общества; сдержанный гул негромких голосов стоял в салоне. В одном кружке у круглого столика старый сенатор со звездой на фраке, пожимая плечами, говорил:

— Мы идем вперед, как на маневрах, но все же эта военная прогулка стоит недешево. Не стоит овчинка выделки.

— Она слишком дорого стоит, граф, — раздался резкий голос, — я имел случай получить копию письма статс-секретаря Шишкова.

Все с удивлением посмотрели на только что вошедшего, молодого офицера, с нервным и желчным лицом, произнесшего эти слова.

— Новиков! — воскликнул Бахтеев, узнав своего однополчанина.

Новиков радостно взглянул на него и, крепко пожимая ему руку, сказал:

— Левушка, милый, как рад я тебя видеть. Сейчас я весь твой — дай кончить.

— Про какое письмо вы говорите? — спросил сенатор, щуря глаза.

— Про письмо Александра Семеновича, — ответил Новиков. — Ежели разрешите, я прочту из него.

— Очень обяжете, — наклоняя голову, произнес сенатор.

Это был граф Телешев, известный масон, не особенно любимый императором, как он был нелюбим и его царственной бабкой.

Новиков вынул из кармана письмо.

— Письмо помечено, — сказал он, — девятнадцатым февраля, император был в Калише. Я хотел только указать на некоторые места этого письма.

Все слушали с напряженным вниманием.

— Вот что пишет Шишков.

И, раскрыв письмо, Новиков начал читать:

«Февраля одиннадцатого дня мы приехали в Калиш. С неделю тому назад здесь было сражение. Войска ваши разбили саксонский корпус под начальством французского генерала Ренье, которого со многими офицерами и двумя тысячами рядовых взяли в плен».

— Видите, — прервал граф Телешев, — я говорил, мы идем церемониальным маршем...

— Да, — с загоревшимися глазами ответил Новиков, — а вот конец письма: «Недавно министр полиции получил донесение, что в двух губерниях — Смоленской и Минской — собрано и сожжено девяносто семь тысяч тел и что многие трупы еще и по сию пору валяются на поверхности земной...»

Наступило жуткое молчание.

— Россия превратилась в кладбище, — глухо сказал князь Бахтеев, — я сам видел...

— И вот, ваше сиятельство, — нервно продолжал Новиков, — мы, бросив родину, хотим освобождать Европу. Нет, — весь дрожа нервной дрожью, продолжал он, — вы сперва сожгите все трупы, что гниют на поверхности земной, восстановите испепеленные веси и города, дайте нам мир и благоденствие; а потом спасайте других. Когда горит ваш дом и гибнут ваши дети, не броситесь же вы спасать дом соседа.

— *Alea jacta est*, — произнес скромный голос молодого аббата. — Ваш император совершает великую миссию.

Оставьте в стороне нашего императора, — резко ответил Новиков. — Мы говорим не о нем, и, — добавил он со злой усмешкой, — только мы, русские, можем иметь свое мнение о том, что нам нужно.

Бритое лицо аббата слегка покраснело.

— Россия идет во главе народов на великий подвиг, — ответил аббат. — Народы соединились в одну семью, религии смешались во имя одной великой идеи. Тут нет ни русских, ни немцев...

— Вы так думаете? — насмешливо бросил Новиков.

Аббат ответил легким поклоном, как бы показывая, что он не имеет желания продолжать спор на эту тему.

Сперва увлеченный разговором, Бахтеев вскоре почувствовал скуку.

«Ах, все равно, — думал он, — умирать так умирать! Победа всегда останется победой, во имя чего бы ни была. О чем думать? Броситься в кипень боя и умереть! Видно, такова судьба».

С увлечением ли, без увлечения он поедет на войну — не все ли равно! Он сумеет исполнить свой долг и умрет, если надо, не хуже других.

В настоящую минуту его больше всего интересовала княгиня Ирина. Он не хотел смотреть на нее и невольно смотрел. И вот его поразило странное выражение ее лица. Таким он не видел ее еще никогда. Ни надменности, ни холодности не выражало это лицо. Оно было кротко, умиленно. Слезы стояли в прекрасных глазах Ирины. Она была похожа на растроганного ребенка. И эти глаза смотрели на отца Никифора, а в выражении лица этого пророка салона графини Напраксиной Бахтееву виделось что-то хищное и сладострастное, устремленное на прекрасное, склонявшееся перед ним лицо.

Это зрелище было тягостно для Льва Кирилловича.

Повинуясь невольному порыву, он круто повернулся и направился к кружку Напраксиной.

VI

Его приближение заметила княгиня Напраксина и с улыбкой кивнула ему головой. Это движение было замечено окружающими. Княгиня Ирина подняла глаза, слегка покраснела, потом нахмурилась, и лицо ее мгновенно приняло холодное обычное выражение.

Отец Никифор острым взглядом окинул фигуру молодого князя.

Лев Кириллович сразу подошел к Ирине.

— Здравствуйте, княгиня, я давно здесь, но не смел нарушить вашей благочестивой беседы, — сказал он с иронией, целуя ее руку.

— Однако нарушили, — стараясь под улыбкой скрыть свое недовольство, ответила княгиня.

Напраксина представила Бахтеева остальным дамам и, обратившись к отцу Никифору, сказала:

— Вот, батюшка, герой прошлой войны и будущей. Он едет на войну.

Бахтеев едва склонил голову, стоя молча и пристально смотря на лицо этого странного пророка.

Отец Никифор тоже несколько мгновений смотрел на него и потом, вдруг улыбнувшись, ласково сказал:

— Здравствуй, здравствуй, миленький. Так на войну? С Богом! Иди, иди, вернешься здоров... День наступает — день сей Господа Вседержителя, день отмщения врагам, и пожрет я меч Господень и насытится и упьется кровью их, яко жертва Богу в земли полунощной....

Последние слова отец Никифор произнес с диким воодушевлением.

Бахтеев невольно вздрогнул. В смотревших на него ярких пронзительных глазах, в тоне голоса, властном и глухо, чувствовалась какая-то непонятная сила.

Пристальный блестящий взгляд производил странное впечатление, непонятно притягивая к себе и словно парализуя волю.

Но это впечатление было только мгновенно, потому что, прежде чем понять его, князь Бахтеев уже почувствовал раздражение против этого человека в поддевке, с такой уверенностью говорящего и смотрящего.

— Благодарю вас, господин пророк, — насмешливо сказал он, — за ваше любезное предсказание. Но не могу согласиться с вами, что настает день отмщения врагам. Этот день был и прошел. Мы достаточно отомстили. Пришла, быть может, очередь для других мстить за свои обиды — пусть мстят. И я полагаю, что его величество император не во имя мести поднял снова пламя войны...

Глаза отца Никифора на мгновение сверкнули словно угрозой и погасли. Он встал. На его губах играла ласковая улыбка. Он слегка поднял руку, словно для благословения.

Княгиня Ирина с нескрываемым негодованием смотрела на молодого князя, Напраксина почти с ужасом, так же, как и остальные дамы. Насмешливый тон Льва Кириллови-

ча, его обращение «господин пророк», — всё это являлось в их глазах неслыханной дерзостью.

— Я не пророк, миленький, — начал кротко отец Никифор, — где уж мне, недостойному...

— Извините, — перебил его князь, — я не знал, как величать вас.

— А Никифор Фомич, — ответил он. — Так вот, миленький. Не следует гнушаться моими словами... Я не пророк, миленький, — повторил он, — одно скажу тебе, и попомни слово мое. Воплотил Господь силу свою в образе Александра, и сокрушит он антихриста. И падет антихрист, и от гласа падения его потрясошася вся бывшая под сению его дерева, и сведошася во ад язвении от меча, и живущий под покровом его... Помни это и не сетуй на Божие веление.

Князь Бахтеев был изумлен.

Неужели, думал он, этот хитрый мужичонок прочел в его душе мучившие его сомнения?

— Во всяком случае благодарю вас за ваше предсказание, — сухо сказал князь и с легким поклоном отошел в сторону.

Его сейчас же подхватил под руку Новиков.

— А, каков пророк? — начал он. — Они, — он кивнул головой в сторону дам, — все сошли с ума.

— Я ничего не понимаю, — угрюмо ответил князь, — я так отстал от всего. Скажи, ради Бога, кто этот проходимец, откуда он появился и как попал в этот круг? Я ничего не понимаю. А между тем в нем есть что-то, — задумчиво закончил он.

— Да, — ответил Новиков, — это правда, в нем что-то есть. Откуда он взялся?.. От князя Голицына, Александра Николаевича, голубчик. Говорят, он предсказал в свое время смерть покойного императора, что и написал Кутайсову. Потом о нем забыли. Сам понимаешь, Кутайсов не мог сознаться, что по своей небрежности не распечатал присланного ему десятого марта письма, отправляясь к своей метреске Шевалье. Но это брешут; по моему мнению, этот слух пустил сам отец Никифор через светских дур. У меня тетка ханжа, фрейлина вдовствующей императрицы, так вот она и снабдила меня всеми этими сведениями. Этот самый Никифор выплыл через святошу князя Голицына. Он поразил его знанием Священного писания, изучением которого так занимается теперь Голицын. Нелегко было бедняге повернуть от Вольтера к Священному писанию... А тут этот Никифор. У Голицына полон дом юродивых. Ну, и облюбовал его. А этот проходимец так ловко подобрал

тексты из каких-то пророков, что словно выходит — Священное писание только и пророчествует о величии нашего императора и России и об антихристе с запада — Наполеоне. Оно, конечно, занято. А святоша наш весь этот подбор поднес государю императору. Дескать, посланец ты Божий... Говорят, что на императора сии выдержки произвели впечатление и будто он даже допустил к себе этого проходимца... И знаешь, — серьезно добавил Новиков, — когда моя тетушка ханжа душила меня этими пророчествами, ей-богу, я сам в ажиотаж пришел.

Князь Бахтеев передернул плечами.

— А о какой же новой вере говорила мне Напраксина? — спросил он.

— Вот тут-то и зарыта собака, — задумчиво ответил Новиков. — Что гнуснее всего, что он старается улавливать молодых и красивых и особенно богатых... Есть какие-то тайные собрания... Что там делают — один аллах знает... Но что-то гнусное... Не помню слова, как они называют свои собрания, но только, — с негодованием добавил он, — я знаю, сколько женщин бросают свои очаги и сходят с ума... Посмотри на свою тетушку, как она слушает этого пророка... Она, кажется, видит в нем нового Христа. Я же думаю, да и не я один, что проходимец этот не иначе как из хлыстов. Что-то похоже... Теперь их опять появилось видимо-невидимо. В Москве тоже какой-то пророк объявился. Тут, брат, прямо сумасшедшие какие-то... У Напраксиной — сам видишь что. У Батариновой тайные собрания, где бывают и хлысты, и скопцы, и монахи, и Голицыны. Какие-то молебни открылись... пророки... пророчицы... Ничего не разберешь.

Бахтеев бледнел, слушая его. Слово бездны открывались перед его глазами.

— А этого пророка я бы повесил, — закончил Новиков, кинув в сторону Никифора.

— Я бы тоже, — глухо отозвался Бахтеев.

— Ну, однако я уйду, довольно с меня, — сказал Новиков. — Не пройдем ли мы вместе куда-нибудь пообедать? Потолкуем, ведь я не сказал тебе еще самого главного: я еду в действующую армию. И при этом прошу перевода из гвардии в армию. Там ближе к делу...

— Вот как! — радостно воскликнул Бахтеев, — значит, вместе... Идем же, потолкуем на свободе.

Они незаметно вышли. Только Бахтееву показалось, что княгиня Ирина проводила его долгим враждебным взглядом.

VII

Князь Никита Арсеньевич сидел в своем кабинете и слушал доклад своего управляющего. Невысокого роста, пожилой, круглый, как шар, с почти голой головой, управляющий стоял перед князем с выражением почти ужаса на своем толстом красном потном лице.

Звали его Семеном Семеновичем Буровым, и был он коллежским регистратором по синодской канцелярии. Но служба его была совершенно фиктивная. И службу и чин получил он благодаря могущественной протекции князя Никиты. Он был сыном прежнего управляющего, очень ценимого за честность князем. Сын пошел в отца. Он был честен и предан князю. Отец его был вольноотпущенным, а сын был уже коллежским регистратором и дворянином.

Вести, привезенные им князю, были с его точки зрения ужасны, и он робел, как доложить их...

— Садись, Семен, — обратился к нему князь, — и говори. Садись, — уже властно повторил он, видя, что Буров стесняется.

Буров робко опустился на край стула...

— Ваше сиятельство, — дрожащим голосом начал он. — Нам негде брать рекрутов.

Князь забарабанил сухими пальцами по столу и, нахмуясь, молча ждал продолжения.

— Дела плохи, — продолжал Буров, отирая рукавом лицо. — Требуют, а что мы дадим?

У Бахтеева по всей России были раскинуты богатейшие имения.

— А что в новгородской? — спросил он.

— Пусто, ваше сиятельство, — ответил Буров, — из ста пятидесяти восьми дворов не уцелело и десяти. Разбежались... Остальные голодают.

— А в нижегородской?

— Разбойниками стали, ваше сиятельство, в леса побегли, — ответил Буров, — а о рязанской и московской и говорить нечего — пустыня... Все порублено, потравлено... Люди, как звери, разбежались по лесам... Разбойничают, погибают целыми семьями, гниют... Ваше сиятельство, — со стоном воскликнул Буров, сползая со стула и став на колени, — ваше сиятельство, помилуйте! Грех перед вами совершил!.. Гневайтесь, судите. Видит Бог, иначе не мог!

Тяжелые крупные слезы текли по лицу Бурова.

Лицо князя дрогнуло.

— Встань, — сурово сказал он, — и говори толком.

Буров с трудом поднялся с колен.

— В чем дело, говори, — повторил князь.

— А в том, — вдруг решительно начал Буров, однако весь дрожа, — что за сей год ваше сиятельство доходов не имеет. Что все хлебные запасы и дровяные я отдал вашим крестьянам, пожженные, голодные, они не имеют ни крова, ни пищи, и скотинку роздал, там коровок, там лошадок... Судите же меня, ваше сиятельство!

Семен Семенович снова бухнулся в ноги князю.

Несколько мгновений князь, словно ошеломленный, молчал. Потом его строгое, суровое лицо приняло странное, несвойственное ему выражение растроганности и умиленности.

— Встань, Семен Семеныч; подойди, обними меня, спасибо, — дрогнувшим голосом сказал он.

Буров быстро вскочил с колен и бросился к князю.

— Не надо, не надо, — говорил князь, отнимая свои руки, которые Буров хотел целовать.

Он крепко обнял Бурова.

— Ты верный человек, — сказал он, — и понимаешь меня. Бог даст, мы еще не разоримся, а как у племянника, — спросил он, — в могилевской?

— Хуже быть не может, — ответил Буров, отходя на свое место. — Ничего нет.

— Но ведь все же у нас деньги есть? — почти весело спросил князь.

Оживился и Буров.

— Еще бы, ваше сиятельство, — бодро ответил он, — только куры не клюют.

И он стал подробно докладывать князю о состоянии наличных счетов.

— Ну, значит, нечего и толковать, — уже совсем весело сказал князь. — Ты знаешь моего племянника Левона?

— Еще бы, ваше сиятельство, — отозвался Буров, — чай, в опеке у нас.

— Ну, так вот, — сказал князь, — Левон едет в поход. Открой ему счет. Что бы ни спросил — давай. Хоть меня разори, а ему не отказывай. Понял?

— Еще бы, — широко улыбаясь, ответил Буров. — По правде сказать, ваше сиятельство трудно разорить; вы вроде как граф Строганов.

Князь Никита усмехнулся.

— Это который всю жизнь одну цель имел — разориться, да и то не смог, как сказала моя незабвенная императрица, — ответил он. — Ну, что же, тем лучше.

Вели-ка к себе прислать все счета из домово́й конторы, там расплатишься. Да, — добавил он, — дела Буйносова очень плохи, должно быть?

Буров только вздохнул.

— Так вот, — продолжал князь, — я в эти дела не вмешиваюсь. Это дело княгини. Так помни: по требованию княгини чтобы все делалось скорее, чем для меня самого. Понял? И чтоб я и не знал об этом! Запомни!

— Слушаю-с, ваше сиятельство, — ответил, кланяясь, Буров.

— А я так и отпишу в военное министерство, — закончил князь. — Пусть ищут новых воинов, авось очухаются.

Отпустив Бурова, старый князь долго задумчиво ходил по кабинету.

VIII

Данила Иванович Новиков в полной парадной форме прямо из Казанского собора приехал к Бахтеевым.

Служили торжественный молебен по случаю занятия графом Витгенштейном Берлина. Присутствовала вдовствующая императрица с августейшим семейством. Говорили о какой-то решительной победе над вице-королем Евгением.

Новиков приехал раздраженный и недовольный.

Левон не присутствовал на этом торжественном молебствии. Он сказался больным и сидел дома. На самом деле, он чувствовал себя очень плохо. На душе его было смутно и тяжело. Он даже не хотел разбираться в своих чувствах.

«Ехать, скорей ехать туда», — неотвязно думал он.

Он боялся признаться самому себе в том чувстве, которое гнало его из Петербурга.

— Ей-богу, — раздраженно говорил Новиков, — я думал, что я в немецкой стране. Чему радоваться! Этот ханжа Голицын все время стоял на коленях... Канцлер не приехал... Только одна великая княгиня Екатерина Павловна была грустна... Она еще в трауре по мужу... И вообще было заметно, что это торжество ей не по сердцу. Был и отец Никифор. Противно смотреть, как он молился, стучая о пол лбом, со святошей Голицыным рядом.

Бахтеев слушал раздраженную речь Новикова, и в его воображении неотступно стояло лицо его юной тетки, каким он видел его только раз в жизни на приеме у Напраксиной.

— Дошли тревожные вести, — продолжал Новиков, — о здоровье Кутузова. И представь себе, — с негодованием

добавил он, — это им все равно. Я сам слышал, как сказали, что этот старик только связывает руки императору... Вот благодарность! Нет! Опротивел мне Петербург, хоть к черту на рога — только бы отсюда, — закончил Новиков. — Твой дядя один из тех, кто понимает положение... Да что толку! Но, однако, я хотел бы повидать его.

— Оставайся обедать, дядя будет очень рад, — ответил Бахтеев. — Пройдем к княгине.

У княгини был дорогой гость. Ее отец, сенатор Евстафий Павлович, только что вернулся из Москвы, куда он ездил посмотреть на месте, что осталось от его хором подмосковного имения.

Это был еще не старый человек, но с дряблым морщинистым лицом. Жидкий кок бесцветных волос торчал над его низким лбом. Височки были тщательно зачесаны, как у императора. Глаза имели растерянное, жалкое выражение, а губы все время складывались в заискивающую, слащавую улыбку. На фраке виднелась звезда. Княгиня по обыкновению холодно и надменно встретила гостей. Сенатор с преувеличенной вежливостью приветствовал молодого Бахтеева и постарался придать себе величественно-снисходительный вид, здороваясь с Новиковым. Новиков был уже в армейской форме. Он добился своего. Он довольно небрежно поклонился Буйносову и тотчас отошел к княгине.

Бахтеев из любезности осведомился у сенатора, какие новости в Москве.

Буйносов только развел руками...

— Развалины, — ответил он, — от нашего дома остались только стены. Все имущество разграблено...

И он жалобным тоном продолжал описывать то разоренье, в каком он нашел и свой дом и свое имение.

— Вся надежда на милость государя, — закончил он, — иначе мы разорены. Говорят, император всемилостивейше повелел возместить убытки дворянства.

— Ну, это довольно трудно будет, — насмешливо отозвался Новиков, услышавший последнюю фразу, — тут пахнет сотней миллионов.

— Но мы приносили жертвы на алтарь отечества! — с жаром воскликнул Буйносов...

— Мы тоже приносили жертвы, — ответил Новиков, — но жертва остается жертвой. И конца им не предвидится. Погодите, когда кончится война... Да надо же

как-нибудь устроить этих несчастных немецких принцев, этих *Jeans sans-terre!*.. На это тоже нужны деньги. О России подумают потом...

— О! — почти с ужасом произнес Буйносов, — как вы говорите...

— А ведь он прав! — раздался веселый голос старого князя, вошедшего в эту минуту в гостиную. — Ох уж эти Иоанны Безземельные. Однако я очень рад видеть вас, дорогой Евстафий Павлович.

Лицо Буйносова приняло такое приторно-подобострастное выражение, что княгиня вдруг вспыхнула и нахмурилась.

Князь обнял сенатора, поцеловал руку жене и дружески поздоровался с молодыми людьми.

— Надеюсь, мы обедаем вместе, — сказал князь.

Новиков попробовал возражать, но князь перебил его.

— Вы доставите мне истинное огорчение, если уедете, — с теплым чувством сказал он.

Новиков поклонился. Князь сел рядом с женой.

— Вы что-то грустны, *Igène*, — тихо сказал он и погладил руку жены.

По лицу Ирины пробежала тень.

— Вам это показалось, мой друг, — ответила она.

— Дела отца не должны огорчать вас, *Igène*, — продолжал князь, понизив голос. — Вы знаете, что вы достаточно богаты.

— То есть вы, — едва слышно уронила княгиня.

— Жестоко напоминать об этом, — ответил князь, — никакие богатства не могут сравниться с тем, что я приобрел в вас, *Igène*. Помните это и знайте, что ваши распоряжения в нашей конторе действительнее моих. Это я вам хотел сказать давно. — Он быстро встал с места. — Помните же мои слова, *Igène*; мне лично неудобно вмешиваться в эти дела, — сказал он, — и этим вы докажете мне величайшее доверие... за мою любовь.

Лев Кириллович был в стороне и не мог слышать разговора. Но он видел, как в суровых глазах княгини появилось мягкое, детское выражение, когда она следила взором за отошедшим от нее мужем.

За обедом князь был очень оживлен. Предметом разговора, естественно, был заграничный поход и кажущиеся успехи русского оружия. К этим успехам князь относился с полным скептицизмом.

— Война еще не началась, — говорил он, — и поверьте, что Бонапарт еще покажет себя. Молебны — это хоро-

шее дело. Но пока мы будем служить молебны во славу прусского короля, Наполеон, или, если угодно, Бонапарт, соберет новую армию.

IX

Лев Кириллович в последние дни не видел княгини. По странному совпадению чувств они избегали друг друга. И теперь за обедом он не мог не заметить, как болезненно отзывалось на княгине униженное отношение ее отца к князю.

Действительно, Евстафий Павлович прямо с собачьей угодливостью смотрел в глаза князю Никите, стараясь угадать его малейшее желание.

Но старый князь делал вид, что не замечал этого, и, напротив, со своей стороны, старался выказать преимущественное внимание Евстафию Павловичу. И каждый раз при новой угодливой фразе Буйносова княгиня бросала на Левона особенно враждебные, вызывающие взгляды. Словно она видела в нем врага и готовилась к защите.

Левону было не по себе от этих взглядов, и обед тяготил его. На все его внимание и любезность княгиня отвечала оскорбительной холодностью.

После обеда перешли в маленькую гостиную, куда подали кофе и вино.

Но Новиков торопился, Буйносов тоже, и они вместе вскоре уехали.

Старый князь, повинаясь давней привычке поспать после обеда, поцеловал руку жене, кивнул головой Левону, зевнув, сказал:

— Ведь мы еще сегодня увидимся, — и тоже ушел.

«Тетушка» и «племянник» остались наедине.

Настало тягостное молчание. Князь пил портвейн и не знал, что сказать. Он чувствовал себя крайне неловко. Его смущало надменное прекрасное лицо. А сердце сильно билось, и он хотел и не мог начать говорить.

Из неловкого положения его вывела княгиня.

— Скоро вы уезжаете? — равнодушно спросила она тоном человека, которому нечего сказать.

— Да, — с горечью ответил Лев Кириллович, — я тороплюсь. Я одинокий бродяга, для всех чужой. Здесь, в вашем Петербурге, ото всего веет холодом. От Невы, от ее набережной, от этих барских домов и от людей. Я чужой здесь... Когда я ехал сюда, я думал отдохнуть здесь хоть несколько дней в тепле и уюте, но мне холодно... Да, я еду,

у меня есть товарищи, они там далеко умирают... Я поеду к ним...

— Разве вы чужой здесь? — тихо спросила княгиня, — а ваш дядя?

— О, я очень люблю его, — живо отозвался Лев Кириллович, — но все же...

Он невольно замолчал.

— Но все же? — повторила княгиня.

— Но все же, — резко сказал князь, вставая, — я чужой здесь, не прошенный гость. Я, видимо, не желанный гость здесь.

Княгиня слегка побледнела.

— Вы последний из рода Бахтеевых, — сказала она, — вы наследник своего дяди...

— О каком наследстве говорите вы! — воскликнул Левон. — У меня одно наследство — честь моего имени... Но я наследовал его от отца... Я просто люблю дядю.... и, княгиня, я слишком богат сам по себе и не жаден... Я никому не стою поперек дороги.

Он сказал эти последние слова и мгновенно раскаялся. Много он дал бы, чтобы вернуть их.

Княгиня побледнела, потом кровь прилила к ее лицу, покраснели даже ее открытая шея и плечи. Глаза ее чудесно засверкали...

— А, — дрожащим голосом начала она, — я так и думала! Ну, конечно! Чего же может ждать женщина, выпешшая замуж за человека на полвека старше ее, кроме оскорбительных намеков и предположений? Вы не стоите мне поперек дороги? Вы слишком богаты, чтобы оспаривать у меня ожидаемое наследство? Ведь вы это хотели сказать?

— Княгиня! Ради Бога! — воскликнул князь, ошеломленный этим потоком негодующих слов.

— О, да, да, — страстно продолжала она, — везде, всюду одно и то же. Или намеки, или нескромные вопросы. Но вы ошиблись милостивый государь. Вы видите постыдный торг там, где была... — Она вдруг остановилась. — Однако, — стараясь овладеть собой, продолжала она, — какое мне, собственно, дело до вас и до других? Но знайте только одно, что я презираю эту роскошь и что никому не позволю смотреть на меня свысока. Но ведь и я стою чего-нибудь, — высокомерно добавила она, — даже с вашей точки зрения ваш дядя заключил не совсем безвыгодную сделку?

Она рассмеялась нервным сухим смехом.

— Княгиня, — дрогнувшим голосом сказал Левон, — клянусь честью, Богом, в которого вы верите, я не хотел

сказать ничего оскорбительного. Ни одна нечистая мысль не коснулась вас. Я не думал ни о роскоши, окружающей вас, ни о богатстве, которым вы теперь располагаете. Дядя достоин любви и уважения... Но мне больно, мне тяжело, княгиня, — продолжал он, — ваше отношение ко мне. Ваши взгляды, ваши слова. Разве я враг вам? Да я жизнь отдал бы за ваше ласковое слово!.. Нет, нет, — страстно заговорил он, заметя ее негодующий жест. — Я одинок, очень одинок. Мое сердце не согревало никогда нежное чувство. Я не знал матери, смутно помню отца, даже няня не пела песни над моей колыбелью. Мое сирое детство прошло среди наемных людей. А потом юность, потом боевая жизнь со случайными товарищами. Сегодня жив — завтра умер. Скажите же, княгиня, что остается мне в жизни!.. Я еду теперь на войну, быть может, я не вернусь, и никто, кроме дяди, не пожалеет обо мне. Но дядя прожил уже большую жизнь, он много перенес в жизни потерь, он сам уже близится к закату... А я один, я песчинка в пустыне, всплеск волны в океане, случайно сорванный ветром лист с огромного дерева человечества... Так неужели вы строго осудите меня за невольный порыв к солнцу, свету, теплу!..

Княгиня сидела, опустив голову, и по ее щекам текли слезы.

— Княгиня, — снова начал Левон, — не думайте обо мне дурно. Не подозревайте меня в нечистых чувствах и намерениях. У меня нет сестры, будьте мне сестрой. Дайте руку, благословите меня на неведомое будущее...

Он остановился перед ней, весь охваченный неудержимым порывом. Было мгновение, когда он хотел броситься к ее ногам.

Она подняла на него свои загадочные глаза, теперь полные слез, и молча протянула ему руку.

— Благодарю, — сказал князь, с чувством целуя ее.

— Простите, — начала княгиня, — я была не права... Но я так измучилась за эти месяцы... И я уже нашла... почти нашла, — поправилась она, — новый путь, когда явились вы и... мне говорили...

Она замолчала.

Князя поразили ее слова о новом пути. Смутные мысли налетели на него. Напраксина, отец Никифор, слова Новикова. Ревнивая тоска сжала его сердце. Теплое чувство, наполнявшее его, вдруг исчезло. Он подозрительным, жестким взглядом смотрел на княгиню.

— Кто же указал вам этот новый путь, княгиня? — сухо спросил он, — не новоявленный ли пророк?

Княгиня уловила перемену в его голосе, но странно, прежняя надменность не вернулась к ней. Она кротко ответила:

— Не смейтесь над ним. Он боговдохновенный человек. Он провидец и... утешитель.

— Но чем же он подчинил и успокоил вашу душу? — стараясь сдержать себя, спросил Левон.

Он чувствовал себя крайне раздраженным и вместе с тем ему бесконечно было жаль княгиню, такую теперь беспомощную, кроткую и слабую.

— Я встретила с ним случайно, — тихо и задумчиво начала княгиня, — у князя Голицына. Отец дружен с ним. Когда я особенно тосковала, отец посоветовал мне пойти к нему, поговорить с ним. Вы знаете, к Голицыну ходит много наших дам. Он дает книги... Учит молиться. Я пошла... Ах, разве можно передать те чувства, которые я испытала в его молельне!.. Темно... Только горит над плащаницей кровавое сердце, — это лампада сделана из красного стекла в виде сердца, — пояснила она. — Красный слабый отблеск озаряет потемневшие лики святых, на старых образах, без риз. Он говорит: это сердце Иисусово пламенеет кровью и любовью за весь мир... Я не помню всего... было страшно и сладко... А в молельне был отец Никифор... Когда он положил на плечо мне руку и посмотрел на меня... его глаза чудно светились... мне стало так легко, так отрадно... — Княгиня говорила беззвучным голосом, опустив глаза, словно вспоминая какой-то чудесный сон... — Потом, — продолжала она, — я встречалась с ним у княгини Напраксиной... Он научил меня верить в Бога и говорил, что близок час, когда он введет меня в сонм святых... Напраксина говорила, что это только для особо посвященных... у него собрания... Вот и все... Его слова успокаивают... На днях я должна уже ехать к нему...

— Вы не поедете! — горячо воскликнул князь. — Этот изувер преследует дурные цели... Вам нечего искать нового пути... Ваш путь перед вами...

Княгиня покачала головой.

— Он наполнил пустоту моего сердца, — сказала она. — Я мужу об этом не говорила. Вы знаете его...

— Княгиня, дорогая, милая сестра моя, — начал князь голосом, исполненным глубокой нежности, — обещайте мне не ехать к нему, пока я не скажу вам. Это первая просьба вашего друга, вашего брата, быть может, обреченного на смерть. Дайте слово, даете? Обещаете? Да?

Княгиня несколько мгновений колебалась и затем, подняв на Левона сияющие глаза, твердо ответила:

— Обещаю, милый брат.

Князь поцеловал ее руку.

Короткий зимний день погасал. Красный закат, пылавший над Невоею, последним отблеском озарял и лицо княгини, и залу, и блестящую форму князя Левона.

Князь сел рядом с Ириной. И тихо, доверчиво она рассказывала ему повесть о своей судьбе.

История была проста и не сложна. Разорение, встреча с князем, его последняя любовь. Он так нежно, так внимательно относился к ней. Она привязалась к нему, как к другу. Она еще мечтала спасти положение своего отца и дала согласие старому князю. Евстафий Павлович был несказанно рад. Он сам толкал ее на это.

— И я была и была бы счастлива, — закончила княгиня, — если бы... если бы...

Она смотрела на Левона... и в ее прекрасных, сияющих глазах не было ничего загадочного...

Х

Сближение с княгиней, ее теперь доверчивое и ласковое отношение не внесло покоя в душу Льва Кирилловича. Напротив, такие отношения стали для него источником новых мучений.

Когда Ирина доверчиво смотрела в его глаза и тихим голосом говорила ему о себе, о своем детстве, о своих мечтах, ему безумно хотелось броситься к ее ногам и повторять только одно: я люблю, люблю, люблю...

«Я безумец, я преступник, — твердил он себе, сжимая горячую голову, — я не могу так жить. Я должен ехать; ехать как можно скорее...»

Так он говорил себе после каждой встречи с Ириной и не имел сил решиться уехать. Все дела были уже устроены, все было готово к отъезду, оставалось подать только по начальству рапорт, а он медлил.

Княгиня никуда теперь не выезжала. Нельзя было не заметить, что она искала встреч с Левонам, что его присутствие волновало ее, что иногда наедине ее глаза темнели и она смотрела на него тяжелым, ожидающим взглядом, от которого кружилась его голова и сердце разрывалось от восторга и муки...

«Да, я уеду завтра, — решил Левон после одной бессонной ночи. — Надо взять себя в руки».

Он похудел и побледнел за последние дни.

За завтраком он был молчалив и рассеян.

— Я боюсь, Левон, — обратился к нему старый князь, — что ты еще не совсем оправился. Не лучше ли отдохнуть еще с месяц? Ты, кажется, уже совсем приготовился к отъезду.

— Да, дядя, по-видимому, — спокойно ответил Левон. — Я решил, я еду завтра или послезавтра. Мы едем с Новиковым вместе.

Он говорил, не глядя на княгиню.

В ее руке дрогнул нож и ударился о тарелку. Этот звук сладкой болью отозвался в его сердце. Он мельком взглянул на Ирину. Она сидела с побледневшим лицом, опустив глаза.

— Что же касается моего здоровья, — продолжал Левон, — то я чувствую себя очень хорошо. У вас я отдохнул и еще больше окреп.

Князь покачал головой.

— Ты знаешь, — сказал он, — что я вообще против этого похода. И во всяком случае, предвижу ему скорый конец. Одно из двух: или Наполеон сделает уступки Пруссии и заключит с Фридрихом мир — тогда нам нечего будет делать, — или он соберется с силами и разгромит союзные войска, тогда тоже конец походу. Ты сам понимаешь военное дело: каково наше положение? Впереди неприятель с новыми силами; позади — большая река: на флангах союзники нерешительные или готовые изменить при первой неудаче... Мы все более и более отдаляемся от границ, от источников наших средств. И где эти средства? Ты сам знаешь... Все пространство от истоков Клязьмы до Немана — пустыня...

Левон внимательно слушал дядю и был поражен его чисто военными соображениями.

— Вы, может быть, и правы, дядя, — ответил он, — но я не могу не ехать. Это мой долг как офицера.

Князь пожал плечами. Княгиня все время молчала.

— Ну, если ты так решил, — твое дело, — сказал князь. — Ты молод, ты ищешь приключений «на войне и в любви», — с улыбкой добавил он.

Левон вспыхнул, слова дяди о любви отозвались в его душе, как укор совести.

— Я меньше всего думаю, дядя, о приключениях, — сказал он.

— Напрасно, — весело отозвался князь, — мы в твоём возрасте умели жить, — и он тряхнул своими густыми седыми кудрями. — Дай Бог памяти, — продолжал он, —

да, в этом возрасте я тоже брал Берлин с Чернышевым. Мы тоже торжественно вступили в Берлин тогда. Как изменились времена! Кто бы мог думать тогда, что через полвека мы будем жертвовать собой за тех, кто тогда признавался нашим первым врагом; что для спасения этого же Берлина от других мы поведем наши войска.

Князь задумался. Словно картины прошлого проносились перед ним.

Наступило молчание.

— Да, — прервал его князь, — я, кажется, зажился на свете, — тихо сказал он, и тайная грусть слышалась в его голосе.

— Что говорите вы! — дрогнувшим голосом сказала Ирина. — Было великое прошлое, но разве не слава минувший год? И если немного осталось у вас старых друзей, разве теперь вы никому не нужны; разве нет никого, для кого стоило бы вам жить? — едва слышно закончила она.

С глубоким чувством князь взглянул на нее.

— Не обращайтесь внимания, дорогая Irène, на брюзжание старика. Я неблагодарный человек. Я счастлив моим настоящим, но иногда так сильны воспоминания, а их так много, так много!.. Да, Левон, — круто переменял он разговор, — ты не хочешь еще принять от меня отчета, но знай, что твое состояние достаточно велико. Мною сделаны распоряжения Бурову. Ты можешь в средствах не стесняться. Напиши записку, и контора выдаст тебе любую сумму.

— Благодарю вас, дядя, — ответил Левон.

— Благодарить не за что, — сказал князь, — ведь это твое.

— Сегодня я увижу Новикова, — произнес Левон, — и мы решим, когда можно ехать. Завтра в ночь или послезавтра. Мне еще надо будет подать рапорт управляющему военным министерством, князю Горчакову, о своем отъезде. Распоряжение канцлера о назначении меня в действующую армию уже передано князю. Я и так потерял несколько дней.

Едва окончился завтрак, Левон поторопился уйти. Он боялся, что его решимость снова поколеблется, если ему случится остаться теперь наедине с княгиней, и торопился отрезать себе путь отступления. Действительно, после подачи рапорта было бы затруднительно и неловко оставаться дольше в Петербурге.

Рука княгини была холодна и дрожала, когда Левон поцеловал кончики тонких пальцев.

На душе Льва Кирилловича было тяжело. Грустное лицо Ирины, холодная, дрожащая рука неотступно вспоминались ему. «Стоит ли жизнь этих мучений? — думал он, — и где найти покой? В молитве?» Но он никогда не молился, и сама мысль искать утешения в религии была чужда его уму и сердцу... Какая цель жизни? Вот теперь он поедет на войну, которой не сочувствует. Будет убивать или сам будет убит: для чего? Да, опасности и тревоги боевой жизни на некоторое время заполняют его душевную пустоту... Кончится война, и если он останется жить, — что тогда? Что дальше? Жить, как живут тысячи и тысячи, для чего? Для наживы? Но он богат. Для славы? Он горько усмехнулся этой мысли. Он маленькая песчинка. Он не Наполеон, не Цезарь... Какая честолюбивая голова не поникнет в безнадежности перед наполнившей мир славой Наполеона!

— Да, — вслух закончил он свои размышления, — одна слава — пасть в бою...

Полный этих мрачных мыслей, он приехал к Новикову.

У Новикова он застал незнакомого ему молодого человека. Его лицо поразило князя. Бледное, почти прозрачное, с орлиным носом, черными немигающими, как у орла, круглыми глазами, оно поражало выражением силы и воли. На темный фрак падали локоны черных волос.

Было что-то мрачное во всей его черной фигуре.

— Шевалье Габриел де Монтроз, — представил его Новиков. — А это князь Бахтеев.

Шевалье с величием короля протянул князю руку.

— Я очень рад познакомиться с вами, — звучным голосом сказал молодой человек, — я много уже слышал о вас от вашего друга.

— От меня же он утаил, — с улыбкой ответил князь, — о своем знакомстве с вами.

— Да? — небрежно произнес шевалье. — Ну, что ж, я предпочитаю сам сказать о себе.

— Шевалье здесь только два дня, — произнес Новиков, как бы оправдываясь.

Князь не мог не заметить, что Новиков с каким-то особенным чувством почтительности, почти благоговения, относился к своему гостю.

Тем более удивило князя, что Новиков до сих пор ни звуком не обмолвился о таком знакомстве.

— Вы, говорят, едете на войну? — начал шевалье.

— Да, господин шевалье, — ответил Бахтеев, — как ни грустно, но мы снова воюем с вашими соотечественниками.

По губам шевалье скользнула легкая усмешка.

— Я не француз, — сказал он, — хотя, конечно, мое имя вводит в заблуждение.

— Вы не француз! — в искреннем изумлении воскликнул князь. — Кто же вы по национальности?

— Я всемирный гражданин, — ответил шевалье, — я столь же француз, как немец, русский или швед...

— Я не понимаю вас, — сказал князь, — но ведь у вас есть родина?

— Весь мир, — коротко ответил шевалье.

— Но родные, друзья? — продолжал князь.

— Все человечество, — так же коротко ответил Монтроз.

— Поистине — это чересчур по-христиански! — с легкой насмешкой отозвался князь.

— А разве это дурно — следовать по стопам великого учителя — Бога? — возразил Шевалье.

— Это — возвышенно, но это не всякому по силам, — задумчиво произнес князь.

Новиков не вмешивался в разговор, с жадным любопытством глядя на шевалье.

— Но все же, — сказал он наконец, — с общей точки зрения он прав, великий...

Шевалье бросил на него быстрый взгляд...

Новиков смутился и торопливо закончил:

— Я хотел сказать, господин шевалье, что мой друг до некоторой степени прав.

Бахтеев с нескрываемым удивлением смотрел то на одного, то на другого.

«Что все это значит? — думал он. — Отчего Новиков, всегда такой смелый и резкий в словах, словно робеет перед этим странным бледным человеком во всем черном, с такими повелительными манерами, и что значит этот эпитет «великий?»

Но шевалье не дал ему долго останавливаться на этих мыслях.

— Да, это не всякому по силам, возможно, — начал он, — но это только потому, что большинство людей не считают нужным задумываться над самыми элементарными истинами. Скажите, разве общее рабство народов не роднит всех угнетенных? Разве рабы чуждых стран не сочувствуют друг другу и не связаны одними и теми же чувствами — жадой свободы и ненавистью к своим угнетателям? Разве

в войске Спартака фракийцы не дрались щит со щитом рядом с германцами, галлами и римлянами против общего врага?

Лицо шевалье оставалось бледным, только глаза загорелись жутким, зловещим огнем.

— Быть гражданином мира, — продолжал он, — это значит быть на стороне угнетенного. Когда гроза революции опрокинула трон Людовика Святого и молния народного гнева расплавила цепи рабства, разве тогда угнетенные народы других стран были менее дороги нашему сердцу? О, — страстно продолжал он, — служить всему человечеству! Надо объединить все народы, надо указать им один путь — путь свободы... Вы правы — это идея Христа, тут нет ни эллина, ни иудея; идеи, как и чувства, достояние всего человечества. Если любовь и ненависть одинаково понятны всем народам, независимо от их национальности, то им так же обща и жажда свободы — это бессмертие чувств, свойственных душе человека, может обратить народы в одну общую семью!

Князь Бахтеев был захвачен этим вихрем неведомых ему мыслей.

— Да, — продолжал шевалье, — надо только отрешиться от того узкого, эгоистического мирка, в котором живет душа человека. Надо вылезть из своей кротовой норы и взглянуть на мир Божий. Вы тоскуете, вы несчастны, вы безнадежно любите, — говорил шевалье, пристально смотря мрачно горящими глазами в лицо князя, словно говорил именно про него, — вы несчастны в личной жизни, и вы думаете: зачем жить? Что жизнь?

Князь невольно сделал шаг назад. Его поразили эти мысли, так странно совпавшие с его собственными. Это упоминание о безнадежной любви.

— Ах, — продолжал шевалье, — не правда ли, мы центр мира. Но бесчисленное количество таких же мирков, с такими же маленькими страданиями окружает вас, и каждое «я» принимает свой маленький мирок за бесконечную вселенную... Но пусть же маленькое «я» потонет в великом «я» мира — тогда мечты станут действительностью!

Шевалье умолк.

Наступило молчанье.

Новиков в волнении ходил взад и вперед по комнате. Бахтеев старался собрать мысли, пронесившиеся в его голове, как лохмотья туч. Ему хотелось возразить.

— Позвольте, господин шевалье, — сказал он наконец. — Вы, высказывая ваши идеи, несколько раз сказали «мы». Кто же это мы?

— А-а, вот в чём дело! — усмехнулся шевалье. — Но разве эти идеи будут стоять больше или меньше, когда вы узнаете, кто проповедует их?

Он пристально взглянул на Новикова. Новиков почти-тельно опустил голову.

— Ну, если эти мысли нашли отклик в вашей душе, то ваш друг сообщит вам все, что вы захотите.

С этими словами шевалье поднялся.

— Мне пора, — сказал он, — до свидания, господин Новиков, до свидания, князь. Верьте, — добавил он, снова пристально глядя в глаза князя, — люди страдают чаще всего оттого, что слишком много думают только о себе.

Он пожал руку друзьям и вышел. Новиков пошел проводить его.

ХП

— Какой странный и интересный человек, — начал князь, когда вернулся Новиков. — Скажи, пожалуйста, кто он такой и откуда явился?

— Да, это удивительный человек, — задумчиво произнес Новиков, — это настоящий избранник. Ты спрашиваешь, откуда он явился. Почему я знаю!.. Но он уполномочил меня сказать тебе, кто он... — Новиков остановился. — Я не буду брать с тебя ни клятв, ни обещаний, он не велел этого, — снова начал Новиков. — Я же верю тебе, что ты сохранишь тайну.

Непонятное волнение овладело молодым князем.

— Я слушаю тебя, Данила Иванович, — сказал он.

— Я буду краток, — отозвался Новиков, — но я начну с того, что тебе, конечно, известно. Ты ведь знаешь о масонах? Об этом всемирном братстве каменщиков, созидающих уже много веков камень за камнем храм Соломона, несокрушимое здание свободы, любви и братства?

— Так ты масон! — в волнении воскликнул Бахтеев. — Не знал этого, хотя знаю о масоне и иллюминате Новикове, твоём однофамильце.

— Да, я масон, — ответил Новиков, — хотя ещё не пострадал, как мой знаменитый однофамилец, и я горжусь, что принадлежу к этому братству. Я нашёл цель жизни.

— Цель жизни? — спросил Бахтеев и встал с места.

— Я не буду проповедником, — начал Новиков. — Ты слышал, что говорил Монтроз? Вот единая великая цель нашей логи. Мы теперь сильнее, чем думают... В наших

рядах есть люди, от которых, быть может, зависят судьбы народов... Мы возродились и вернулись теперь к прежним, лучшим, благородным идеям начала масонства, к неустанной борьбе за правду и права человека. Наши ложи в Германии, Франции, России не праздная забава сытых бар, шутовство и игра в тайны. Нет. Мы передовая позиция угнетенного человечества... — Новиков в волнении ходил по комнате. — Наполеон потряс мир, — продолжал он, — он закончил дело революции, он пробудил самосознание народов, и он, этот тиран, этот гигант, наступивший железной пятой на грудь Европы, указал путь свободы народам. Он пробудил Германию от ее рабского сна, он всколыхнул Россию и бросил нам новые идеи и стремления... И мы объединились теперь для блага народа. О, если бы мы могли избежать теперь этой войны и посвятить все силы истощенной, но просыпающейся России... Но мы работаем, и мы достигнем своего... — Новиков остановился, затем снова продолжил. — Да, я был несчастлив, я погибал, не видя истинного света... Но теперь, теперь я счастлив и горд. Пусть силы мои малы, но я живу не бесплодно... Мы уже многого достигли... «Он» позволил мне говорить с тобой и этим как бы приобщил тебя к нашему братству...

— «Он», но кто же «он»?! — нетерпеливо воскликнул Бахтеев.

Новиков поднял руку и торжественно, медленно произнес:

— Он — Кадош, великий мастер Великого Востока. Он верховный глава всех истинных масонских лож. Он велик и почти всемогущ. От Нила до Невы, от Эбро до Сены сотни тысяч людей повинуются его слову.

— Но ты? Кто же ты? — спросил Бахтеев.

— Я мастер Великой Директориальной ложи Владимира к порядку, — с гордостью ответил Новиков. — Эта ложа объединила всех истинных масонов. К ней присоединились ложи: «Александра к Коронованному Пеликану», «Елизаветы к добродетели», «Петра к истине», «Les amis réunis», «La Palestine» и много других.

Новый мир открывался перед глазами Бахтеева. До сих пор окружающая его жизнь казалась ему простой и несложной. Он жил, как живут все, не задумываясь над веками установленным укладом жизни, и вдруг лицом к лицу столкнулся с какой-то новой, кипящей и деятельной жизнью, таинственной и сильной. Он был потрясен. Смутное недовольство собою, неудовлетворенность — все осветилось новым светом.

— Я хотел бы работать с вами, — тихо сказал он.

— Хорошо, — ответил Новиков, — я счастлив, что ты хочешь этого. Великий мастер не ошибся, когда, уходя, сказал мне: «Он будет ваш». Хорошо, — повторил он, — я введу тебя в ложу — учеником.

— Когда же? Когда? — в волнении спросил князь. — Ведь времени так мало. Ведь я пришел к тебе, чтобы сговориться о дне отъезда в армию. Я думал, что мы выедем завтра или послезавтра... Как же быть?

Новиков задумался.

— Да, — сказал он, — я тоже хотел ехать на днях. Я не знаю, когда будет заседание логи и притом можно ли тебя ввести сразу... Мне придется поговорить...

— Я не могу здесь дольше оставаться, я должен ехать, — глухим голосом произнес Бахтеев.

Новиков быстро взглянул на него.

— Если не удастся здесь, — сказал он, — то все равно, можно принять тебя и за границей.

— Я предпочел бы здесь, — ответил Бахтеев.

— Хорошо, — подумав, произнес Новиков, — я постараюсь сегодня же поговорить с Монтрозом и завтра же сообщу тебе.

— Благодарю, — сказал Бахтеев, — а я, значит, подожду подавать рапорт об отъезде. День-другой не расчет.

И неожиданно чувство радости охватило его при мысли, что разлука с Ириной отсрочена.

Он сам испугался этого чувства.

«Зачем, — сейчас же подумал он с тоскою, — чего я могу ждать, на что надеяться?»

Но милый образ дразнил его воображение... Нечего размышлять. Впереди, может быть, смерть... Увидеть лишний раз... Он уже забыл о своем решении избегать встреч с княгиней до своего отъезда в армию.

XIII

Уткнувшись лицом в атласную подушку, лежала княгиня Ирина на диване в своей маленькой гостиной, где в последнее время она так доверчиво, с таким открытым сердцем беседовала с Львом Кирилловичем в послеобеденные часы в мягком, нежном сумраке весенних вечеров. Как мало было таких дней и как она уже успела привыкнуть к ним!

Никогда чувство одиночества не терзало ее до такой степени. Одна. Одна сегодня, завтра, недели, месяцы, годы.

Она так еще молода, и впереди еще такая большая жизнь, длинный, бесконечный серый путь... Только теперь сознавала она всю великость жертвы, принесенной отцу. Для чего? Разве так важно жить непременно в такой же роскоши, как жил ее дед, прадед и весь род Буйносовых? Разве не мог отец изменить образ жизни, прекратить выезды, приемы?.. Зачем ему это нужно, когда ей этого никогда не было нужно? Враждебное чувство шевелилось в ее душе к отцу... И невольно она вспомнила отца Никифора... Кто он? Что он? — она не знала и не хотела знать, но в минуты тоски его мягкий голос успокаивал ее, под влиянием пристального взгляда его блестящих глаз успокаивались тревожные мысли; словно сладкая дремота охватывала и мысль и тело, тихо засыпала душа, убаюканная странным влиянием ласкового голоса и чудным блеском глаз. Что преступного и низкого в этом человеке, думала Ирина, и почему так ненавидит его Левон? Отчего же и Напраксина, и Батарина, и Барышникова, и много, много других ищут у него утешения и находят его?

И Ирине мучительно захотелось поехать сейчас к Напраксиной, поговорить с ней, найти отца Никифора.

Она поднялась с дивана. Напраксина обещалась ее повезти куда-то к нему... Она говорила, что там можно найти истинное успокоение... Почему же не поехать?.. Но Ирина вспомнила обещание, данное Левону, и горько усмехнулась. Ее глубоко поразило сегодня отношение к ней Левона. Как, не сказать двух слов, холодно заявить о своем отъезде... Он не вернулся к обеду, его нет до сих пор... Может быть, он уедет сегодня в ночь или завтра утром, и она не увидит его!.. Не увидит, быть может, никогда, никогда!.. Ирина мрачно сдвинула брови. Она любит, да. Это налетело неожиданно-негаданно... И она любима. Разве можно в этом ошибиться? Но она знает свой долг... И если он забудет его — она напомнит ему о нем... Но теперь, перед разлукой, быть может, вечной, разве преступление желать увидеть его, услышать его голос и даже сказать, в последнюю минуту расставания, как он дорог, как бесконечно дорог он ей, что с ним уходит мечта о счастье?.. Что она никогда, никогда не забудет его?.. О, все сказать — разве это преступление?

Она снова упала на диван лицом вниз, закинув за голову руки.

Она долго так лежала в каком-то оцепенении, пока ее не вывели из этого состояния шум осторожных шагов и тихий голос.

— Ирина, ты спишь?

Она быстро поднялась с дивана.

Перед ней стоял ее отец.

Было уже темно, и она не могла различить выражение его лица.

— Это вы, отец, — сказала она. — Нет, я не спала, у меня голова болит. Как темно. Я сейчас велю принести огня.

Она дернула сонетку и приказала зажечь огонь.

Лакей зажег золотые канделябры под голубыми абажурами.

Тут Ирина могла увидеть расстроенное лицо отца. Он поцеловал ее в лоб и с тяжелым вздохом уселся в кресло.

— Что случилось, отчего у вас такой вид? — спросила Ирина.

Евстафий Павлович, действительно, имел жалкий вид: жидкие волосы его растрепались на висках; кок надо лбом висел убогой мочалой.

— Князя нет дома, — начал он, избегая смотреть на дочь. — Я хотел поговорить с ним. Но он неизвестно когда вернется...

— Да, — ответила Ирина, — сегодня малое собрание у вдовствующей императрицы.

— А ты? — удивился Буйносов, — отчего ты не поехала?

— Я же говорю, что у меня болит голова, — с некоторым раздражением сказала Ирина.

— Да, да, конечно, — торопливо отозвался Евстафий Павлович, потирая колено...

— Но что же с вами? — повторила Ирина.

— Видишь ли, — начал смущенно Буйносов, — дело с нашим подмосковным очень плохо... за этот год доходов нет. Время идет... Крестьяне разбежались. Ни людей, ни скотины. Пора сеять, а некому и нечего... Так и в будущем году не будет доходов... Разорение. Я уж не говорю про дом... Там жить нельзя... И, Ириша, вообще... — тяжело дыша, закончил Буйносов, — вообще... кажется, что и жить скоро будет нечем. Вот я и приехал к князю...

Он говорил, волнуясь и сбиваясь, беспрестанно вытирая лицо платком.

Ему, видимо, было тяжело говорить. Только несколько месяцев тому назад, сейчас же после свадьбы, князь уплатил его долги и сумел очень мило, по-родственному, дать ему крупную сумму денег.

Освободившись от долгов, Буйносов вздохнул свободно и даже не полюбопытствовал, в каком положении его име-

ние. Он тотчас завел богатый выезд, поставил на широкую ногу свой дом, и только когда деньги, как ему казалось, неожиданно и слишком быстро пришли к концу, написал управляющему о присылке доходов. Раньше он даже не считал нужным читать его донесений, и его как громом поразило известие, которого, конечно, он должен был бы ожидать, что имение совершенно разорено... Управляющий писал, что он уже не раз докладывал об этом и просил помощи... Встревоженный, Буйносов полетел в имение и пришел в ужас от того, что увидел. Он понял наконец, что если не поддержать имения теперь же, ранней весной — он будет окончательно разорен.

А единственная возможность поправиться — обратиться к зятю, что было ему тяжело и неловко.

Глядя на жалкое лицо отца, слушая его смущенную речь, Ирине было и больно и стыдно, стыдно за себя. Зачем она заставила отца переживать эти унижительные минуты, когда князь в первый же день приезда отца дал ей полную возможность прийти ему на помощь?

Враждебное настроение, вспыхнувшее в ней недавно, сменилось глубокой жалостью.

— Только-то, — сказала она. — Не огорчайтесь, батюшка, мы это сейчас устроим.

Она позволила и приказала принести из кабинета бумаги, перо и чернила.

Когда лакей, принеся все нужное, вышел, Ирина ласково сказала:

— Это так просто. Вы увидите.

На листе бумаги она написала:

«Семену Ивановичу Бурову. Отпустите в распоряжение моего отца для моих личных надобностей сумму, какую он укажет вам. Княгиня Бахтеева».

— Вот и все, — весело сказала она, подавая отцу лист, а в душе с горечью подумала: в счет платы за меня.

Евстафий Павлович прочел написанное, и на его глазах показались слезы.

— Спасибо, Ириша, — в волнении сказал он. — Видишь, как твоя жизнь хорошо устроилась. Ты не только сама счастлива, но можешь еще осчастливить людей.

Губы княгини дрогнули...

— Да, я счастлива, — тихо сказала она и, закрыв лицо руками, упала грудью на стол с подавленным рыданием.

— Голубка, деточка моя, Ириша, что с тобой?! — бросился к ней Буйносов.

Он обнял ее дрожащими руками и целовал ее пышные мягкие волосы.

Ирина скоро овладела собой.

— Ничего, ничего, батюшка, — начала она, — это все моя голова. Я хочу проехаться. Не подвезете ли вы меня до княгини Напраксиной?

XIV

— Как я рада, дорогая Irène, что вы приехали! — встретила ее Напраксина. — Я так давно не видела вас. Так соскучилась по вас и как раз только что собралась ехать к вам по делу.

— По какому делу? — удивилась Ирина.

— Вернее, по поручению отца Никифора, — сказала Напраксина.

Ирина вспыхнула.

— По его поручению? — переспросила она.

— Да, да, — ответила Напраксина. — Он сегодня был у меня и говорил про вас, о, я верю, что он провидец; он умеет читать в душе. Он всегда поражал этим меня...

— Что же он говорил обо мне? — нетерпеливо спросила Ирина.

— Он говорил, что вы мятущаяся, алчущая и жаждущая душа, — говорила Напраксина, — что вам нужна духовная пища... Что вы ищете прямой путь и найдете его...

Ирина грустно слушала Напраксину. Найти прямой путь! Но прямой путь всегда самый мучительный, прямой путь — тернистый путь. Узок путь спасения и тесны врата его, — разве это говорил не сам отец Никифор?

— А еще, — продолжала Напраксина, — он поручил передать вам, что сегодня вечером собрание благочестивых и вы можете присутствовать на нем. Это высшая ступень, это высшее небесное блаженство, — с восторгом заговорила Напраксина, — это ни с чем не сравнимое чувство, когда душа словно отделяется от тела и в блаженном парении возносится туда, где есть ее начало и конец.

Сердце Ирины наполнилось тайным предчувствием чего-то неведомого.

«Я обещала Левону не ехать, — мелькнуло в ее голове. — Ну, что же? Зачем же он бросил меня? Где искать мне поддержки и утешения? Будь что будет! У нас разные дороги... Быть может, его душу наполнит война, а что ос-

тается мне?» Она тряхнула головой и решительно произнесла:

— Благодарю вас, Надежда Дмитриевна, я еду.

— Ну, вот и отлично, я так рада, так рада, — оживленно заговорила Напраксина. — Вы увидите, что небесный покой снизойдет на вашу душу... О, вы встретите на собрании многих наших общих знакомых. Вы удивитесь, кого встретите. Ну, теперь еще рано... Мы выпьем с вами чаю и тогда поедем...

Тысячи вопросов вертелись на языке Ирины, но Напраксина поторопилась предупредить их.

— Только без вопросов; пожалуйста, пока без вопросов, *chère Irène*, — сказала она, — вы все узнаете в свое время, скоро, очень скоро...

Несмотря на свое любопытство, Ирине Евстафьевне пришлось покориться.

Карета, запряженная парой кровных орловских рысаков, прямых потомков знаменитой Сметанки, быстро неслась по пустынным улицам столицы.

Напраксина была в каком-то особенном восторженно-мистическом настроении.

— Дорогая *Irène*, — говорила он, — все люди так несчастны, и я была несчастна и не видела впереди ничего, кроме слез и тоски. Со времени смерти моего мужа, павшего геройскою смертью (вы ведь знаете это), я не знала ни минуты покоя. Я искала утешения в молитве, ходила по церквям, ездила на богомолье, но все это было не то, не то... Мы, наверное, утратили путь к спасению... И вдруг эта встреча с этим необыкновенным человеком... Вы видите, я живу, я наслаждаюсь жизнью, я чувствую связь между миром, между собою и Богом... Да, да, я счастлива теперь. Я знаю, что вы тоже несчастливы.

Ирина сделала протестующий жест.

— Да, да, не спорьте, — настойчиво продолжала Напраксина. — Я вижу, я знаю... Счастливые не бегут к нему...

— Да, — произнесла Ирина, — у меня бывают приступы тоски. Слова старца Никифора меня нередко успокаивали. Но я не несчастна.

Она сказала эти слова, но с мукой в душе подумала, что она несчастна, что ей ничто и никто не может помочь и что она ехала теперь, повинувшись смутной надежде найти исход своей непрестанной тоске.

Она не замечала дороги, по которой они ехали, и взглянув в окно кареты, невольно воскликнула:

— Боже, где же мы едем?

Направо и налево тянулись безлиственные леса. Не было видно признака какого-либо жилья.

— Мы скоро будем, — ответила Напраксина. — Мы соблюдаем в тайне место наших собраний. Это лучше — быть вдали от любопытных глаз.

Ирина ничего не ответила. Над лесом вставала кровавая луна... Непробудная тишина царила вокруг... И грешные мысли наполняли сердце Ирины. Как хорошо в такую ночь, при этой луне, в пустынном лесу мчаться с любимым человеком куда-то далеко, далеко, без конца, в неведомый путь!..

Карета свернула на просеку и остановилась перед забором.

С величайшим удивлением Ирина увидела, что в стороне стояло несколько экипажей.

— Как же вы говорите о тайне, — сказала она, выходя из кареты, — когда здесь столько кучеров?

Напраксина усмехнулась.

— О, они не страшны, — ответила она, — им хорошо внушено, чтобы они не болтали, и притом выбраны самые надежные люди. Страх и собственная выгода делают их молчаливыми. Но в конце концов — мы никого не боимся, — закончила Напраксина, — мы не делаем ничего преступного.

Едва вышли женщины, карета отъехала и встала в ряду прочих у конца забора.

Напраксина уверенно подошла к маленькой калитке и открыла ее. Перед ними была узенькая тропинка среди сугробов снега. Эта тропинка вела к небольшому одноэтажному дому.

— Отчего там так темно? — с волнением спросила Ирина. — Ни в одном окне не видно света.

— Свет внутри, — ответила Напраксина.

Ирине стало жутко, и смутное беспокойство пробудилось в ее душе. Ей хотелось повернуться и уйти. Она уже жалела, что согласилась поехать. Напраксина взяла ее за руку.

— Смелей, смелей, дорогая Irène, — сказала она, словно понимая колебание молодой княгини.

Они вступили на маленькое крыльцо. Напраксина тихо ударила три раза в дверь, после каждого удара негромко, но внятно повторяя:

— Отворите, сестры пришли.

Ирину сперва поразило, как могли слышать за дверью этот негромкий голос, но ее недоумение рассеялось, когда она заметила, что Напраксина говорила в небольшое отверстие, проделанное в двери.

Дверь тотчас открылась, и чей-то голос в темноте произнес:

— Мир вам, возлюбленные сестры.

Крепче сжав руку Ирины, Напраксина двинулась вперед. Видимо, дорога была ей хорошо знакома. Пройдя шагов десять, она открыла дверь направо. Яркий свет ударил в глаза. В комнате никого не было. Княгиня Ирина невольно заметила, что в комнате не было образа. Единственное окно было завешено темной, тяжелой материей. На широких лавках лежали шубы и пальто, мужские и женские.

Напраксина быстро окинула их взглядом и произнесла:

— Сегодня небольшое собрание.

Волнение Ирины было так сильно, что она не могла растегнуть ворот своей шубки.

Напраксина заметила это и помогла ей.

— Не волнуйтесь, дорогая, — сказала она, — как вы поблднели...

Действительно, лицо Ирины было бледно и тем прекраснее. Ярче горели огромные глаза, резче рисовались гордые дуги черных бровей и краснели полные губы надменного рта.

Напраксина аккуратно в сторонке сложила одежду.

В эту минуту открылась дверь, и на пороге комнаты появилась совсем молоденькая девушка.

Княгиня Ирина с удивлением и искренним восхищением взглянула на пришедшую. Трудно было представить более нежное лицо, более грациозную, еще полудетскую фигуру. Не меньше поражал и костюм ее. Густые белокурые волосы падали на плечи, едва перехваченные широкой голубой лентой. На бледном, чуть розовом лице сияли большие темно-голубые глаза. Длинный белоснежный хитон был слабо подпоясан тоже голубой лентой, и из-под него виднелись белые босые ножки. В руках у девушки была пальмовая ветвь. Она вся в своем белоснежном хитоне, с обливавшей ее детские плечи волной светлых волос, с этой пальмовой ветвью в руках была похожа на ангела.

Остановившись на мгновение на пороге, она наклонила голову и мелодичным голосом произнесла:

— Христос с вами, дорогие сестры.

— Христос с тобою, — ответила, наклонив голову, Напраксина, видимо, уже знакомая с этим чудесным видением.

— Наши братья и сестры, — тихо продолжало это прелестное видение, — ждут вас в Сионской горнице.

Она низко склонила голову и неслышной поступью вышла из комнаты.

Ирина смотрела ей вслед как завороченная.

— Боже, — сказала она наконец, — кто эта очаровательная девушка?

— Мария из Магдалы, — серьезно ответила Напраксина. — Это одна из жен мироносиц.

— Как, что вы сказали? — спросила ошеломленная Ирина.

— Потом, потом, — нетерпеливо перебила ее Напраксина. — Вы слышали — нас ждут.

С этой минуты какое-то странное состояние, знакомое людям, неожиданно очутившимся в чуждой и непонятной обстановке, овладело Ириной. Реальный мир отодвинулся куда-то далеко, и ей стал сниться наяву сон....

XV

Белая, вся белая комната, ярко освещенная многочисленными пальмовыми свечами. Белые стены, пол, покрытый белыми половиками. Жуткое впечатление производила висевшая на стене большая картина — распятая фигура черного монаха... Капли крови застыли на его распростертых дланях и худых желтых обнаженных ногах, прободенных гвоздями. Черная рельефная картина без рамы на белом фоне стены казалась настоящим человеком. На другой стене висела картина, изображавшая Христа у Каиафы... Христос стоял в белой одежде, и Ирине показалось, что лицо его похоже на лицо отца Никифора. Над головой Христа виднелись лики ангелов, словно в тумане, за его спиной стояла скорбная Богоматерь... В глубине комнаты было возвышение и на нем аналой, на аналое — Библия.

Вдоль стен просторной горницы, на широких скамьях, покрытых белым сукном, сидели мужчины и женщины, безмолвные, неподвижные, как статуи, все с босыми ногами и в длинных белых хитонах. Взмолвленная Ирина скользнула взором по этим сосредоточенным лицам и ничего не видела. При ее смятенном настроении она, кажется, не узнала бы и родного отца. Среди этих безмолвных белых фигур темным пятном выделялось ее платье. Она не заметила, когда и где Напраксина успела надеть на себя такой же белый хитон, как у остальных...

Глубокое молчание царило в комнате. Слышался иногда лишь треск нагоревших свечилен.

И было все так мирно, так тихо, так подернуто неведомой тайной, что душа Ирины как будто оторвалась на миг от действительной жизни и замерла в ожидании страшных и блаженных откровений.

Текли минуты, и вот словно издалека, издалека (так, по крайней мере, казалось Ирине) послышалось тихое пение. Все встали.

Звуки росли, приближались, уже слышались отдельные фразы.

«Поклонитесь пустыне, — доносится трогательный напев. — Поклонитесь Христу».

Двери широко распахнулись. Ирина замерла, загоревшимися глазами глядя на представившееся ей видение...

Отец Никифор, в таком же белоснежном хитоне, с бледным, восторженным лицом, босой, шел, окруженный, словно ангелами, молодыми девушками или женщинами, с горящими свечами в руках, поющими нежными чистыми голосами. Среди этих женщин была и та, которую Напраксина назвала Марией из Магдалы. Эти чистые, словно и в самом деле ангельские голоса, эти невинные прекрасные лица, белоснежные хитоны, свечи и пальмовые ветви — все переносило в иной мир новых ощущений, благоговения и молитв.

Как хотелось Ирине присоединить и свой голос к этим чистым голосам! Чувство восторженного умиления охватило ее.

«О да, права была Напраксина, если где можно найти забвение, так это здесь».

Пение смолкло.

«Старец» Никифор, словно никого не видя, устремив перед собою горящие глаза, вошел на возвышение; живописной группой расположились за ним его ангелоподобные последовательницы.

Наступила мгновенная тишина.

Ирина бросила вокруг себя взгляд, и лицо ее вспыхнуло. На одно мгновение ей стало стыдно, словно подслушала ее тайну, когда среди присутствующих она увидела знакомые лица. Она узнала сосредоточенное лицо Батариновой, легкомысленную красавицу Пронскую, теперь серьезную, не улыбающуюся, восторженно глядевшую на странного человека в белом хитоне, стоявшего на возвышении; к своему великому изумлению, узнала она и конногвардейца Бату-

рина, известного всему Петрограду гуляку и повесу, и Мишу Донцова, юного корнета, одного из ее обожателей, и Барышникову, красавицу-фрейлину, любимицу обоих дворов, и старую фрейлину, святошу Басаргину... Она узнала их, но они или не узнали ее, что было почти невероятно, или делали вид, что не узнают. Вообще она заметила, что все присутствовавшие ничем не обнаруживали своего знакомства друг с другом и держались как чужие...

Проповедник положил руку на Библию и обвел всех строгим взглядом.

— Горе вам, телицы Васанские, — начал он глубоким, проникновенным голосом. — Грядет час, и отнимет Господь у вас пояса блистающие, и амулеты звенящие, и золотые цепочки на запястьях ваших... Горе тебе, Иерусалиме! Пути твои рыдают, отъясая от тебе вся лепота твоя... Видех бо языки, вшедшие во святыню твою, им же не подобало входить в церковь вою. Матерем рекоша: где пшеница и вино... Кто спасет тя, Иерусалиме... Слушайте, слушайте слово мое, телицы Васанские. Речет Господь устами моими. Так говорит Бог, — продолжал отец Никифор. — Было великое Божие наказание. Будет еще горшее, дондеже не опомнитесь. Умрите! Умрите! — с силой закричал он. — И воскресните вновь. Умрите вашей душой, полной соблазна и грязи, и восстановите храм Духа Божия. Умрите в похоти своей, отойди жена от мужа и муж от жены и сочетавайтесь со Христом. Жив Христос во плоти. Жив Дух Божий. Был распят один и умре плоть его, но дух Божий вселился в Нового Христа, и не умрет Христос во плоти вовеки...

И хор тихо запел:

Поклонитесь пустыне,
Поклонитесь Христу...
Бог тогда Христа рождает,
Когда Христос умирает...

Отец Никифор поднял высоко над головой руки и сошел с возвышения...

Его окружил хор.

Бог тогда Христа рождает,
Когда Христос умирает, —

напевал пророк, слегка раскачиваясь в такт песни.

Бог тогда Христа рождает,
Когда Христос умирает.. —

вторил ему хор.

Девушки взялись за руки и мерно покачивались. Постепенно темп напева ускорился и ускорился, девушки уже кружились. Голоса присутствовавших подхватили напев.

Ирина чувствовала, что ее голова кружится.

Бог тогда Христа рождает,
Когда Христос умирает. . —

звенело в ее ушах.

Кружение девушек приняло бешеный темп...

С истерическими криками многие женщины бросались в этот дикий хоровод. Напев утратил всякую гармонию... Слышались дикие выкрики:

— О мой царь! О мой Бог! О Дух Святой!

Необъяснимое чувство овладело Ириной. Она не могла с ним бороться... Ее вдруг охватило дикое желание петь, кричать, прыгать... Она сорвалась с места, вmeshалась в хоровод и закружилась в каком-то опьянении... Она тоже что-то выкрикивала, что-то пела и кружилась, кружилась до тех пор, пока не почувствовала непобедимую истому и желание сейчас уйти, лечь и забыться в каких-то нестройных, но чудных грезах...

Когда исступление овладело всеми, лицо хозяина дома сразу утратило свое вдохновенное выражение. Он вышел из круга. На него уже никто в эту минуту не обращал внимания. Это была такая знакомая ему картина общего безумия.

Он стал в стороне и хищным взглядом следил за кружащимися женщинами. Так ястреб выбирает себе из стаи птиц жертву. И все чаще, всего упорнее его загоравшийся взгляд останавливался на прекрасном лице Ирины.

Он заметил, как вдруг она побледнела и пошатнулась...

В одно мгновение он был уже около нее и принял ее в свои объятия. На это никто не обратил внимания. Все привыкли к тому, что пророк кого-нибудь всегда уводил из круга, и многие завидовали такой счастливнице.

Почти неся полубесчувственную Ирину, он прошел через комнату, прошел другую и вошел в маленькую, едва озаренную лампадой комнату, убранную коврами, с большим диваном по середине, всю пропитанную крепким запахом ладана и кипариса, от которого кружилась голова.

Тихо, осторожно посадил он Ирину на диван. В полусознании она откинулась головой на вышитые подушки. Отец Никифор подошел к двери, запер ее на задвижку и вернулся к дивану.

Ирина открыла глаза и тотчас закрыла их.

Ему было хорошо знакомо это расслабленное истомное состояние...

Он низко наклонился над молодой княгиней.

XVI

Трудно передаваемое ощущение охватило Ирину после странного экстаза, овладевшего ею так внезапно, как внезапно поражает человека при эпидемии какая-нибудь страшная болезнь. Ее мгновенно захватил вихрь общего безумия.

И теперь ее измученное тело покоилось в блаженной истоме. Ей казалось, что она тихо колыхнется на волнах, и эти волны о чем-то журчат, сливая свое убаюкивающее журчание с далеким клиром ангелоподобных голосов. Бежит река, по берегам цветут невиданные цветы... Не река ли это времени, тихо-несущая ее в океан вечности?.. Полусонная душа сладко грезит, и странно, что этой полусонной душе все ясно, все просто... Нет ни мук, ни сомнений... Очищенная и просветленная любовь овладела ею... О чем мучиться?.. Люби, пока можешь любить, грезь чудными видениями, крепче прижми к молодой груди любимую голову и дыши тихо, тихо, чтобы не потревожить влюбленного сна... Чье-то лицо низко склоняется, чьи-то глаза горят... Это Левон! Левон! Раскидываются руки для объятий...

Жадные губы до боли приникли к ее полураскрытым губам, и очарование исчезло...

Пропали чарующие видения, умолк хор божественных голосов, сердце испуганно забилося, и вдруг проснулось сознание.

С легким криком Ирина широко открыла глаза и прямо над собой увидела бледное, искаженное лицо Никифора.

Она сделала движение подняться, но тяжелая рука легла на ее плечо, и дрожащий, прерывающийся голос зашептал:

— Голубица моя чистая, не противься... Сосуд Бога живого. Путь указан тебе свыше. Чрез тебя придет спасенье праведных и снидет на тебя благодать... И оживет Христос во плоти...

Лились безумные кошунственные слова, и все ниже склонялось иступленное лицо, лицо безумца, искаженное страстью, и тяжелая рука крепче сжимала нежное плечо.

Мгновенный ужас сменился энергией отчаяния. Из всей силы обеими руками толкнула Ирина в грудь пророка.

Он отшатнулся. Она воспользовалась этим мгновением и вскочила с дивана, вся дрожа от страха и гнева.

— Прочь, — крикнула она, — подлец, святотатец!

Полубезумный взгляд ее скользнул по слабо озаренной комнаты. Она была одна с этим теперь страшным человеком. Он стоял между нею и толстой, запертой на тяжелую задвижку дверью... Никто не услышит здесь криков... Неясно доносились даже дикие выкрики из Сионской горницы...

На мгновение ошеломленный, отец Никифор пришел в себя...

— А-а, — угрожающе прошептал он, — от меня так не уходят.

И он сделал шаг к ней.

— Не подходи, — снова крикнула Ирина, протягивая руки, — я задушу тебя...

— Кричи — тебя не услышат...

В полумраке комнаты страшным пятном белело лицо Никифора, и на этом лице фосфорическим светом горели расширившиеся глаза...

В последний раз Ирина бросила безнадежный взгляд на угол, где горела лампада, словно ожидая поддержки и помощи, как она привыкла с детства в минуты огорчений обращать свои глаза всегда в тот угол, где перед иконой теплилась лампада. Но в этом доме икон не было...

«Боже, спаси!» — пронеслось в ее душе...

И вдруг что-то блеснуло ей в глаза... И она увидела на маленьком столике под лампадой поднос с бутылкой вина, плоды и рядом с ними небольшой ножик.

Одним прыжком она очутилась у стола и схватила тупой, но с острым концом фруктовый нож.

— Не подходи, — снова повторила она с поднятой рукой.

Но Никифор уже ничего не видел. Он бросился к ней и сжал ее железными руками.

— Оставь, — задыхаясь, твердила она, — оставь...

И, почти теряя сознание, она с размаху опустила нож на плечо Никифора, около шеи.

Его руки разжались... Он выпрямился, потом пошатнулся и с хриплым криком: «Сюда! Убили!..» — упал на пол.

Ирина стояла как окаменевшая. Она видела, как на белом хитоне Никифора у правого плеча появилось темное пятно, как оно расползлось звездой... Ее тошнило... голова ее кружилась. Но мысль быстро, лихорадочно работала... Позвать на помощь... Но кого? Этих обезумевших людей?..

Нет, нет! Бежать, бежать скорей из этого проклятого дома, от этого трупa, от этих криков и воя!..

Никифор лежал неподвижно... только легкое хрипенье показывало, что он еще жив.

Необычайная энергия, пробуждающаяся в минуты особого потрясения у самых слабых людей, овладела Ириной.

Твердой рукой она открыла задвижку, распахнула тяжелую дверь и вышла в коридор. Дикие выкрики неслись к ней, и снова ужас овладел ею. Она побежала. Словно тайный инстинкт указывал ей верный путь. Она вбежала в комнату, где лежали шубы. Не помня себя, она накинула свою шубку, нашла шапочку, раскрыла дверь и побежала, среди сугробов снега, по узкой тропинке к калитке.

Только выбежав на пустынную просеку, княгиня овладела собою. Куда идти? Она не знала. Она оглянулась по сторонам. Вдали у забора виднелись экипажи. Внезапная мысль овладела ею.

— Не надо показывать, что я бежала, — решила княгиня.

Она остановилась, перевела дух, надела как следует шубку и, собравшись с силами, уверенно направилась к экипажам.

Подойдя, она громко крикнула:

— Карета княгини Напраксиной.

Из ряда экипажей тотчас выехала карета.

— Ты отвезешь меня домой, на Набережную, и вернешься за княгиней, — так приказала она.

Кучер, узнавший ее, ответил:

— Пожалуйста, ваше сиятельство.

Только в карете Ирина почувствовала необыкновенную слабость. Силы ее понинули. Она в ужасе забилась в угол кареты. «Убийца! Убийца!» — словно кричал ей в уши чей-то голос, звучащий как тяжелый колокол.

Убийца! Вечно проклятая! Никто не смает этой темной кровавой звезды на белом хитоне. Она застонала и закрыла глаза. Мысли вихрем кружились в ее голове. Левон, старый князь... позор... суд... Все кончено. Не лучше ли умереть! О, с какой радостью она умерла бы сейчас. Но разве она так виновата. Разве она могла поступить иначе... Еще сейчас при мысли о его поцелуе ненависть наполняла ее душу, и она с отвращением вытирала и терла почти до крови свои губы, и ей казалось, что никогда, никогда не сотрет она грязных следов проклятого поцелуя... А что *там*? Как найдут его труп? Как завтра весь Петербург узнает, кто убийца?..

Кучер торопился, и лошади неслись...

Вот и темный маленький дворец...

Спрятаться, убежать.

Карета остановилась. Княгиня выскочила из кареты. Не считая дала кучеру горсть каких-то монет и, гонимая ужасом, бросилась в подъезд.

XVII

Когда Лев Кириллович вернулся домой, оживленный и возбужденный своими разговорами с шевалье и Новиковым, первым вопросом его было: дома ли княгиня?

К его удивлению, ему ответили, что ее сиятельство уехали. Это поразило его. Он так привык, что последние дни княгиня безвыходно сидела дома. А теперь тем более, ввиду его близкого отъезда, он думал, что княгиня будет избегать выездов. Он уже забыл о своем решении избегать встреч с княгиней до отъезда и с эгоизмом влюбленного негодовал на нее.

«Ну, что ж, — с раздражением думал он, — конечно, что я ей? Разве мы не чужие люди? Бог с ней!»

Но, несмотря на такие мысли, он не мог успокоиться. Куда она могла поехать?

— А старый князь дома? — спросил он лакея.

— Никак нет, — ответил лакей, — их сиятельство отбыли во дворец.

— Во дворец? — с удивлением спросил Левон. — В какой?

— К ее величеству вдовствующей императрице, — ответил лакей. — Сейчас же после завтрака пришла эштакет.

— С княгиней? — быстро спросил Левон, и у него отлегло от сердца.

— Никак нет, — ответил лакей, — их сиятельству за нездоровилось. Потом был их батюшка. Они вместе и отбыли.

Левон нахмурился. Ему вообще не нравился Буйносов, друг Голицына, ханжа и лицемер, как представлял он его себе.

— Ну, ладно, — сказал он, — вели подать мне ужин.

Ему не хотелось есть, но хотелось как-нибудь убить время.

Он сидел за столом, ничего не ел, но усиленно пил стаканчик за стаканчиком старое рейнское вино.

Оживление его погасло. Ревнивая тоска овладевала им. «Благо, общее благо, все это очень хорошо, — думал он, — но что же остается лично человеку? Любить всех — значит не любить никого... Ах! От Наполеона до последнего раба в его вотчине всякий жаждет личного счастья. Маленького, уютного уголка, где отдыхало бы сердце. Ни слава, ни власть не могут заполнить этой пустоты. На вершине величайшего могущества человек будет одинок и несчастлив, если его сердце, только уголок его сердца не будет заполнен. Без личного счастья ничто не нужно... Ничто...» Такие мысли овладевали молодым князем по мере того, как он все больше и больше пил старый рейнвейн... И опять та же мысль захватила его. «Если нет личного счастья, надо умереть».

— Ну что же, умрем! — почти громко произнес он, выпивая новый стакан вина.

— А вот и я! — раздался звучный голос.

На пороге стоял старый князь.

— Ба! Да ты один, — продолжал он весело. — Я слышал твой голос. Это, значит, ты говорил монолог...

Никита Арсеньевич весело рассмеялся. Он был при полном параде. Под темным фраком голубела лента, на груди в брильянтовых огнях горела звезда.

— Да, я один, — ответил Левон, вставая навстречу дяде, — я расфилософствовался.

— Вижу, вижу, — с улыбкой промолвил князь, подмигивая на пустую бутылку. — Ну, я так голоден и с удовольствием поем. Надо тебе сказать, — продолжал он, — что умеренность и экономия наша добродетель. Мы сохранили традиции императора Павла... Ох, голодно было на его ужинах. Вот Григорий Александрович, тот умел покушать и умел угостить. Уж ежели ужин у светлейшего — так ужин. А где же Irène? Я думал, ты говоришь с ней.

— Я не знаю, где княгиня, — ответил Левон.

— А-а, наверное, у своей приятельницы, этой ханжи Напраксиной, — сказал Никита Арсеньевич. — Терпеть не могу ее... Собирает какую-то сволочь у себя, на которую я пожалел бы кнутов на моей конюшне.

— Что слышно нового? — спросил Левон, желая переменить разговор.

— Что нового? — отозвался старый князь. — Разве только то, что мы уже в Париже, а Бонапарт повешен... Таково, по крайней мере, их желание. Ах да, вот новость так новость. Предполагается сватовство великой княгини Екатерины Павловны с прусским королем. Она в самом

деле создана царствовать... Но какая игра судьбы! Тверь, сватовство Наполеона, принц Ольденбургский и король прусский. Тут есть над чем задуматься философу. Отдаст ли только государь эту Эгерию?

Левон рассеянно слушал слова дяди. Что ему за дело до всех этих комбинаций!..

— Ну, что ж, подал ты Горчакову рапорт? — переменял разговор старик.

Левон слегка покраснел.

— Нет, дядя, — ответил он, — я говорил сегодня с Новиковым, и мы на несколько дней отложили свой отъезд. Вы знаете, рапорт связывает.

Старик кивнул головой.

— Чем дольше останешься здесь, тем лучше; я все время твержу тебе об этом, — сказал он. — Но что это? — прервал он себя. — Ты слышишь? Кто-то словно бежит.

Он не успел кончить, как в столовую вбежала княгиня.

— Княгиня!

— *Igène!*

Мужчины вскочили с мест.

— Ты! Что случилось? — с тревогой воскликнул князь, бросаясь к жене.

Левон остался стоять словно прикованный к месту.

Ирина была страшно бледна, маленькая меховая шапочка едва держалась на голове, черные растрепавшиеся волосы еще сильнее оттеняли ее бледность, ее взор дико блуждал по сторонам, шубка была расстегнута...

— *Igène*, ради Бога, что с тобой? — князь нежно обнял жену.

— Оставь, оставь меня! — иступленно закричала Ирина, с силой вырываясь из его объятий. — Я убийца! Убийца! Убийца!

Она судорожно разрыдалась и пошатнулась. Князь поддержал ее. Она вся билась в его объятиях.

Левон вышел из оцепенения и подбежал к княгине.

Они усадили ее в высокое кресло. Князь бережно снял с нее шубку.

В дверях показались встревоженные и любопытные лица лакеев. Но старый князь, нахмурясь, взглянул на них, и они мгновенно скрылись.

Левон подал княгине вина. Ее зубы стучали о края бокала, но она все же сделала несколько глотков.

Старый князь стоял перед ней на коленях и с бесконечной нежностью смотрел в ее лицо. Она взглянула на него

уже просветленным взглядом и, тихо заплакав, упала головой к нему на плечо.

Все молчали; слышались только детски-жалобные всхлипывания Ирины.

— О, как я страдаю! — тихо прошептала она.

— Irene, — глубоким голосом сказал князь, — ты знаешь, что ты мне бесконечно дорога, что бы ни случилось. Если можешь, скажи сейчас. Если хочешь — скажи позже. Моя вера в тебя безгранична так же, как и моя любовь.

Он замолчал и хотел поцеловать ее руку.

— Нет, нет, — торопливо сказала Ирина, — эта рука, — и она снова заплакала. — Да, — начала она, — я не хочу молчать ни одного мгновения...

Она порывисто встала с места. Встал и старый князь. Левон сделал движение уйти.

— Останьтесь, — остановила его княгиня.

Левон бросил вопрошающий взгляд на старого князя.

— Останься, Левон, — быстро произнес князь. — Мы — одна семья.

— Да, — тяжело переводя дух, начала Ирина, — я — твоя жена, княгиня Бахтеева, с сегодняшней ночи — убийца. О, лучше бы мне не родиться! — в страстном отчаянии воскликнула она. Она помолчала и сделала несколько глотков вина. — Я убила, — продолжала она, — и не раскаиваюсь в этом. Я защищала свою честь.

Левон побледнел и взглянул на князя. Лицо князя приняло такое страшное выражение, что Левону невольно вспомнились рассказы о том, что сам светлейший князь Тавриды робел иногда перед своим другом и называл его бешеным.

— Я убила «их» пророка — Никифора, — произнесла Ирина.

И со странным, почти неестественным спокойствием, как автомат, беззвучным, глухим голосом она рассказала все, происшедшее в этот день. И свой внезапный порыв, когда она вменялась в круг обезумевших мужчин и женщин, и свой обморок, похожий на сон, и свое пробуждение, и трагическую развязку своего приключения...

С бледным, словно каменным, лицом слушал ее признания старый князь.

— Ты была права, — тихо, с важностью сказал он, — но я боюсь одного: ты, может быть, не убила его?

На лице Ирины появилась слабая улыбка.

— Я так была бы счастлива... Я не могу... как ты добр, — слабая, прошептала она, обнимая старого князя.

— Успокойся же, моя деточка, — нежно начал он..

Но он почувствовал, что тело Ирины отяжелело и она падает из его объятий. Он крепче обнял ее.

Ирина лишилась чувств.

XVIII

Княгиня Напраксина была одна, когда ей доложили о князе Никите. После вчерашнего собрания она чувствовала себя не совсем здоровой. Кроме того, уезжая с собрания почти на рассвете, она, как и другие участники «святого бдения», узнала, что «пророк» захворал. Ангелоподобная «Мария из Магдалы» сообщила, что «пророк» в экстазе молитвы истязал себя «до крови». Что, не довольствуясь ременной семихвосткой, которой он нередко истязал себя, он нанес себе во имя Страстей Господних несколько ран ножом и окровавил себя. Она сообщила также, что эти раны промыты, перевязаны и что «пророк» очень ослаб и теперь задремал... От своего кучера Напраксина узнала, что он отвез княгиню домой, но не придала этому никакого значения, думая, что молодая женщина не вынесла сильных впечатлений и, не желая отвлекать ее от благочестивых упражнений, уехала одна домой. Ее больше занимало здоровье отца Никифора, и, едва проснувшись, она отправила с тем же кучером свою доверенную горничную справиться о здоровье святого человека. Горничная повезла с собой великолепный букет из оранжерей княгини. Горничная вернулась с успокоительными известиями. «Пророк» благодарил за цветы и внимание. У него был доктор, осмотрел его раны — они оказались неопасными, и только приказал полный покой. Это опечалило княгиню. Когда же снова будет собрание? У него не может быть. У Батариновой какое же может быть собрание без «самого»? Сколько времени она не увидит его? «Я поеду к нему, — решила княгиня. — Завтра же».

Как раз во время этих размышлений ей и доложили о приходе князя Бахтеева. Смутное чувство тревоги овладело ею. Она знала, что князь не был посвящен в эти тайны, и знала его убеждения.

Почти следом за доложившим лакеем в комнату вошел старый князь.

Любезные слова застыли на губах княгини, когда она увидела князя.

Во фраке со звездой, прямой в стройный, он подходил к ней с таким суровым, тяжелым взглядом, с такой надменностью и презрением, что она сразу оробела до того, что не решалась даже протянуть ему руку. Но все же сила привычки взяла наконец свое, и она произнесла любезным тоном:

— Добро пожаловать, дорогой князь. Вы такой редкий гость..

Он окинул ее мрачным взглядом и медленно ответил:

— Я приехал к вам, княгиня, не как гость. Я приехал по делу

Княгиня овладела собой и холодно сказала.

— Какое же дело может быть, ваше сиятельство, у вас до меня? Прошу садиться...

Она опустилась в кресло, указывая рукой на другое.

— Самое незначительное, — ответил князь, не садясь, — я бы хотел узнать адрес вашего проходимца или, если вам больше нравится, вашего пророка, святого, угодника, или как хотите?

Негодующая княгиня вскочила с места.

— Я не знаю, о ком вы изволите говорить, ваше сиятельство, — начала она, — среди моих знакомых нет проходимцев

— Но я ведь предлагаю вам на выбор несколько названий. Выбирайте любое. Я говорю о каком-то Никифоре, — спокойно возразил князь.

Княгиня в волнении заходила по комнате.

— Такие люди, как вы, — начала она, — губят Россию; для вас нет ничего святого.

Князь насмешливо поклонился.

— Да, да, — продолжала взволнованная Напраксина, — вы забыли еще один эпитет, дорогой князь. И этот эпитет — «мучсник». Вы так легко говорите о нем, а этот святой всю ночь провел в молитве, истязая свое тело. Да можете ли вы понять это! Ему мало, что он носит вериги, он истязает себя. Он исколот свое тело ножом.. и чуть не истек кровью, и вы решаетесь так говорить.

По мере того, как говорила княгиня, лицо Никиты Арсеньевича светлело. Слава Богу, имя его жены не замешано.

— Ну, что же, — все же с некоторой тревогой спросил он, — умер он?

Напраксина вспыхнула.

— К вашему горю, — сказала она, — он не умер и не умрет. Доктор поручился за его жизнь.

— Тем лучше, — сухо сказал князь, — теперь мне не нужен его адрес.

Княгиня с изумлением взглянула на него, и неясное, смутное подозрение шевельнулось в ее душе.

— Теперь мне надо сказать несколько слов вам и для передачи вашему святому, — продолжал князь.

— Князь, — возмущенно воскликнула княгиня, — я не понимаю вашего тона.

— О, это совершенно не важно, если вы поймете мои слова, — сказал князь. — Я прошу вас, княгиня, оставить в покое мою жену...

— Вы с ума сошли, — воскликнул Напраксина. — вы у меня в доме!

— К сожалению, да, — ответил князь, и в его голосе послышалось что-то угрожающее и властное. — Я предупредил вас. Или вы находите, что климат Петербурга вреден для вас?

— Это неслыханно, — произнесла Напраксина, — я буду жаловаться императрице.

— Ну, что ж! — пожал плечами старый князь, — жалуйтесь. От вас я еду к главнокомандующему Петербурга от него к канцлеру, а от канцлера во дворец. Меня еще не забыли.

Княгиня опустила голову. Она понимала, что борьба не равна. Да, положим, она пользовалась известным благоволением, но князь Бахтеев был там свой человек, он несметно богат и, что всего главнее, был любим покойным императором и до конца верен ему. Он во дворце повернулся спиной к графу Беннигсену и не принял приехавшего к нему с визитом князя Зубова. Это очень оценили.

Все эти мысли мгновенно промелькнули в уме княгини. Но все же она с гордым видом произнесла:

— Ваша жена очень молода, ей еще рано заниматься высшими вопросами...

— Прекрасно, — прервал ее князь, — я очень рад, что мы согласны в этом пункте. А теперь еще: передайте вашему пророку, что, когда он поправится, пусть уедет отсюда

— Он свободный человек, — ответила Напраксина, — ему нельзя приказывать. Кто вы, чтобы так самовластно распоряжаться?

— Да, — насмешливо сказал князь, — я — никто, но все же передайте этому человеку, чтобы он не мешкал с отъездом, иначе...

— Иначе? — переспросила Напраксина.

Глаза князя вспыхнули

— Иначе, — ответил он, — я найду его и возьму. Возьму, где найду: на его квартире, у вас, у Батариновой, у Барышниковой... Ничто не спасет и не укроет его от меня. Даю вам в этом слово князя Бахтеева, слово, которому верили две императрицы и три императора. И клянусь Богом, ничто и никто не защитит его от меня. Господин пророк любит истязания. Я доставлю ему это удовольствие на моих конюшнях. Передайте же ему, княгиня, чтобы он скорее выздоравливал, если не хочет преждевременно отправиться в рай. Больше нам, кажется, не о чем разговаривать, — закончил с легким поклоном князь. — До свиданья, княгиня, или, вернее, прощайте.

— Прощайте, — ответила Напраксина, — мне жаль вас. Вы уже старик и для вас нет ничего святого. Вам надо было жить в век Бирона.

— Возможно, — усмехнулся князь, — но все же жаль, что ваш святой не живет в век инквизиции.

XIX

Петербургское общество переходило от торжества к торжеству. Едва было отпраздновано взятие Берлина, как пришло известие о занятии казаками полков Денисова 7-го и Гребцова и прусским отрядом Тетенборна Гамбурга, этого значительнейшего торгового пункта во всей Германии и богатейшего города на всем материке Европы. Из частных писем было известно, с каким восторгом гамбургцы встретили своих русских освободителей. Всю ночь продолжалась пальба из ружей и пистолетов, город был иллюминирован, на каждой улице были выставлены бюсты императора Александра, украшенные цветами и лаврами... Затем прилетела победная весть о занятии казачьим отрядом подполковника Бенкендорфа города Любека. Были доставлены берлинские газеты с пламенными воззваниями короля Фридриха к народу и войску. С умилением передавали о встрече монархов в Бреславле, о первой встрече после долгой разлуки и вынужденной вражды. Рассказывали, что король в сопровождении принцев своего дома выехал навстречу императору и, увидя его, выскочил из коляски и со слезами бросился в объятия своего венценосного освободителя и друга.

Весь путь императора был сказочным триумфальным шествием, среди народных восторгов и благословений.

Заграничный поход казался какой-то героической фее-рией. Скептики принуждены были молчать... Хотя они мог-

ли бы сказать, что Берлин был оставлен французскими войсками без сопротивления по стратегическим соображениям, что в Гамбурге был только едва тысячный французский отряд, что прусский король был вынужден на союз с народным движением, что призрак новой Иены неотступно преследовал его, и при изменившихся обстоятельствах он не задумываясь принесет в жертву своего бескорыстного друга... Что впереди по ту сторону Эльбы в грозном безмолвии готовит новые удары еще верящий в свою звезду и обожаемый Францией ее император..

Но все эти вести, слухи и разговоры как-то скользили по душе Левона. Он весь был поглощен теперь одной мыслью, одной страстью. Только теперь, после того, что случилось с Ириной, он понял, как она дорога ему и как далеко зашло его увлечение. Ирина была больна два дня, у нее оказалось сильное нервное потрясение. Она все время плакала, чего-то боялась, по ночам в ужасе просыпалась и звала на помощь. Старый князь не отходил от нее. На третий день она встала, успокоенная, но сильно побледневшая и похудевшая. Ее выздоровлению содействовали вести, что рана, нанесенная ею, оказалась неопасной, хотя пророк и потерял много крови. И потом еще то, что никто не заподозрил ее. Никифор, по вполне понятным соображениям, скрыл настоящую причину своей болезни и оставил всех в убеждении, что он сам нанес себе рану в порыве религиозного экстаза... Зато его слава возросла еще больше. Его навещали, присылали цветы, возили к нему докторов. Одна Напраксина кое-что смутно подозревала благодаря неосторожным словам князя и самому факту его посещения. Кроме того, она знала этот «религиозный экстаз» Никифора и вполне искренне считала непреложной истиной непрерывное возрождение во плоти Духа Божия последовательно от Богочеловека до настоящего времени... Ей очень хотелось повидать Ирину, но, помня слова князя, она боялась к ней поехать. Она написала Ирине длинное письмо, в котором передавала ей «благословение» пророка. Но это письмо было возвращено ей.

За эти дни Левон не видел княгини. Старый князь тоже проводил все время у жены, так что свидания дяди с племянником были очень кратки и разговоры их сводились только к здоровью Ирины.

Буйносов узнал о болезни дочери на другое же утро, когда радостный приехал еще раз поблагодарить дочь. Он

уже успел побывать в главной конторе у Бурова и получить чек на очень крупную сумму. Но в этот день его не допустили к дочери. Князь объяснил ему, что Ирина вернулась в сильной лихорадке, всю ночь бредила, и теперь ей предписан абсолютный покой. Евстафий Павлович был глубоко огорчен болезнью дочери. Его допустили только на третий день, когда Ирина уже встала, но еще не выходила из своих комнат. Он пробыл у нее недолго, так как Ирина была еще слаба и ее, видимо, тяготил всякий разговор.

Левон томился и не находил себе места. От Новикова, несмотря на его обещание, не было никаких известий ни на другой, ни на третий день. Лев Кириллович раза два заезжал к нему, но не заставлял его дома. Он чувствовал себя очень одиноким и с горечью видел, что теперь, в минуты тревог, он был словно чужим и лишним в этом доме... Не зная, куда деться от тоски, он вдруг вспомнил о виконте де Соберсе и решил съездить к нему, тем более что он обязан был это сделать по долгу вежливости. Эта мысль оживила Левона. Все же хоть полдня пройдет незаметно.

Он узнал от старшего метрдотеля, на обязанности которого было вести список всех гостей дома, адрес виконта и отправился к нему.

Виконт жил сравнительно недалеко, на Васильевском острове. Как пленный офицер, он состоял на учете у главнокомандующего Петербурга, но пользовался полной свободой в выборе местожительства.

Соберсе жил в довольно просторном деревянном домике, окруженном садом.

Дверь князю открыла какая-то старуха с повязанной головой и на вопрос князя, дома ли виконт, ответила:

— Молодой барин дома, пожалуйста.

Она провела его в небольшую гостиную и вышла.

Вид гостиной сразу поразил князя. Он ожидал увидеть комнату, обставленную, как ее обставляют средние обыватели, вроде маленьких чиновников, ютящихся на окраинах города. Обитая дешевой материей мебель, ситцевые занавески на окнах, вытертый ковер на полу, в красном углу икона. Но он глубоко ошибся. Пол был покрыт великолепным ковром, на котором была изображена гибель Актеона. Князь сразу узнал мебель, достойную дворца, мебель работы Шарля Буля с художественной инкрустацией. Несколько этажерок со статуэтками из драгоценного китайского фарфора стояли по стенам. С потолка свешивалась люстра из горного хрусталя. И на стене против входной двери висел большой поясной портрет, работы неизвестного кня-

зю мастера, императрицы Елизаветы в тяжелой золотой раме, украшенной короной.

«Что за чудеса, — думал князь, — какой же чудак сдает такую квартиру?»

Но едва ли не больше обстановки его поразил голос старухи, открывавшей ему дверь. Этот голос произнес в соседней комнате:

— Monsieur attend au salon. Il est chez nous pour la premiere fois.

Фраза была сказана правильно, хотя с грубым акцентом.

Князь прямо раскрыл рот от изумления. Как, эта старая баба, прислуга, какая-нибудь Акулина или Анисья, вдруг говорит по-французски! Нет, тут положительно что-то не ладно.

Но едва успел подумать это Лесвон, как в комнату то ропливо вошел Соберсе.

— Как мне благодарить вас, князь! — начал виконт протягивая ему обе руки. — Если бы вы знали, как я бесконечно одинок.

В его голосе прозвучала неподдельная тоска

— Я исполняю приятный долг, навещая вас, — ответил князь, дружески пожимая руку виконту. — Отчего вас давно не видно? Вы были больны?

Лицо виконта, действительно, осунулось и побледнело, глаза горели беспокойным огнем.

— Нет, благодарю вас, — сказал он, — я совершенно здоров, но, вы понимаете, разве я могу где-нибудь бывать теперь?

Князь понял его. Разве можно равнодушно слушать об унижениях родины? Он с чувством пожал еще раз руку Соберсе.

— Я понимаю вас, — сказал он, — и я не враг вам, хотя и сду воевать против вашей родины.

— Я в ложном положении, — печально сказал Соберсе — Ваше общество очень радушно встретило пленных наших офицеров. В том числе и меня. Мое древнее имя заставляло предполагать во мне сторонника Бурбонов. Я знаю, многие из наших пленных офицеров хотят остаться в России. У всех есть свои причины. Одни не любят императора, другие утомились бесконечными войнами, иные ждут возвращения Бурбонов, а некоторые нашли свои привязанности в России... Все это открыло нам широкий доступ в ваше общество... Таким считали и меня.. Может быть, и вы считаете меня таким же. В таком случае я не

хочу ложно пользоваться вашим вниманием. Мое положение очень тяжело. Повторяю, я не хочу, чтобы обо мне думали не то, что есть. За месяцы моего плена я оценил русский народ. Быть может, этот несчастный поход величайшая ошибка, но я подданный моего императора, в нем одном я вижу славу моей родины...

— Я вижу в вас только жертву несчастной войны, — взволнованно ответил князь, — но не моего врага. И если бы нам пришлось с вами встретиться на поле битвы — чувства уважения и симпатии моей к вам останутся те же.

Соберсе был, видимо, тронут.

— Пройдемте ко мне, — сказал он, — там мы можем свободнее беседовать.

Просторная комната Соберсе поражала своей простотой. Узкая постель, простой стол, несколько стульев и чемодан в углу.

— Вот здесь моя темница, — с горькой улыбкой сказал Соберсе.

— Эта комната очень скромна, — ответил князь, — это правда, но ваша гостиная достойна дворца.

— Ах, я не сказал вам, у кого я живу, — с живостью произнес виконт. — Ведь я живу у знаменитого человека.

— У кого же? — с любопытством спросил князь.

— У Жака Дюмона, — ответил Соберсе. — Неужели вы о нем не слышали?

Князю Бахтееву как будто было знакомо это имя, но он не мог припомнить, где и когда он слышал его.

Он отрицательно покачал головой.

— Ну, конечно, мне надо было этого ожидать, — весело воскликнул Соберсе, — вы еще так молоды. Но ваш дядя, наверное, его хорошо помнит. Ведь это тот самый Жак Дюмон, который учил танцевать еще при дворе Елизаветы. Учил великую вашу Екатерину, когда она была еще женой наследника престола... Неужели же вы не слышали о нем?

Но князь уже вспомнил.

— Как! Он еще жив? — воскликнул он.

Виконт улыбнулся.

— *Sic transit gloria mundi!* — произнес он, — это живая хроника прошлого века. Я целыми вечерами без усталости слушаю его, когда он начинает свои рассказы о Разумовском, о Потемкине, о встречах с Суворовым, о блеске двора Екатерины. Ему, кажется, восемьдесят пять лет, но он еще очень жив душою. Теперь о нем забыли, а в свое время он имел большое влияние

— Но кто эта женщина? — спросил князь.

— Ах, эта старуха? — ответил виконт. — Представьте, это единственная крепостная Дюмона, да он уже давно отпустил ее на волю, но она не хочет признавать этого. Ее зовут Дарьей. Она чуть не пятьдесят лет уже живет у него и выучилась говорить по-французски. Это единственная наша слуга, но она очень бодрая и деятельная, а мы люди нетребовательные. Надеюсь, вы не откажетесь позавтракать с нами?

XX

Небольшая, но уютная столовая опять поразила князя своим изяществом. Красного дерева буфет, за стеклом которого виднелась тонкая фарфоровая посуда, изящная сервировка стола, стены с картинами охотничьей жизни, горка серебра и золота, стулья красного дерева с высокими спинками — все это было так необычно в этом скромном снаружи домике на окраине столицы. Но всего интереснее был сам хозяин, некогда знаменитый придворный танцовщик Жак Дюмон. Изысканно, хотя по старомодному одетый, в фиолетовом камзоле покроя времен Екатерины, в бальных туфлях, сухощавый и стройный, со свежим маленьким лицом и ясными глазами, в большом парике, Дюмон стоя приветствовал князя, опираясь на палку с массивным золотым набалдашником.

Виконт представил ему князя.

— Добро пожаловать, князь, — проговорил, слегка шамкая, старик, делая грациозное движение рукой.

Старик произнес эту фразу по-русски довольно чисто, хотя с заметным акцентом и несколько медленно.

Князь глубоко поклонился и ответил по-французски:

— Не всякому выпадает на долю счастье видеть знаменитого Дюмона.

Старик гордо выпрямился.

— А, молодой человек, я еще не забыт. Я думал, что меня давно похоронили. Со смерти князя Потемкина я перестал бывать в обществе, — сказал старик, — а этому уже двадцать лет. Прошу садиться, еще раз добро пожаловать, — закончил он.

«Положительно, в этом домике чудеса, — думал князь, с удовольствием принимаясь за еду. — Кто бы мог ожидать здесь такого изысканного завтрака!»

А старик продолжал с увлечением говорить:

— Да, в последний раз я был на том знаменитом празднике, который дал светлейший князь Потемкин императрице в свой последний приезд в Петербург... Я уже был не молод. Мне было за шестьдесят лет, но я все же выступал тогда в балете. Тогда светлейший подарил мне брильянтовую табакерку. Ах, что это был за вельможа! Но это был печальный день. Я помню, как князь, провожая императрицу, опустился на колени и заплакал. И она заплакала, поднимая его с колен, заплакал и я, — говорил старик, и на его глазах появились слезы. — Мы словно чувствовали, что больше никогда не увидим этого героя... Так и вышло... А потом настали иные нравы. словно душу вынули... И мне нечего было делать.

Старик грустно поник головой.

— Да, вам есть что вспомнить, — задумчиво произнес князь.

— О, есть, — воскликнул старик, делая широкий жест рукой, — каждая вещь в моей квартире связана с воспоминанием. Вот этот серебряный бокал для вина, — продолжал он, поднимая бокал, — ведь это работа Бенвенуто Челлини, и он был подарен мне императрицей Екатериной в первые дни восшествия ее на престол. Эта трость, говорят, принадлежала Бирону. Граф Безбородко, у которого была единственная в мире коллекция тростей, предлагал мне за нее тысячу червонцев. Но я не отдам ее ни за какие деньги, так как мне подарил ее Потемкин за то, что я учил танцам его любимую племянницу графиню Браницкую. Попробуйте этого вина, — любезно предлагал старик, — ведь это рейнское из погребов императрицы Елизаветы. Я берегу его для дорогих гостей.

Князь поклонился.

— Благодарю вас, — ответил он, — вино действительно чудесное.

— О, оно старо, как я, — засмеялся Дюмон, — и кроме того, покойная императрица хорошо знала толк в вине...

Дюмон был, очевидно, рад слушателю. Рассказы и анекдоты текли неиссякаемой струей.

Вереницей проходили перед воображением Левона потревоженные тени забытых вельмож и жеманных красавиц минувших царствований.

Время летело незаметно. Среди вызванных живыми рассказами старика призраков прошлого забывалась современная жизнь.

— Как интересно было бы моему дяде князю Никите побеседовать с вами, — заметил Левон, — ведь вы, наверное, встречались с ним.

— О да, — ответил старик, — как же не помнить князя Бахтеева. Было время, о нем говорил весь Петербург.

— Может быть, вы сделаете нам честь посетить нас, — сказал Левон.

Старик покачал головой.

— Нет, из этого домика я уеду только умирать... во Францию...

— Как! — воскликнул Левон, — вы хотите уехать из России?

— Приближается смерть, — грустно произнес старик. — Вся жизнь моя прошла в России. Здесь я пережил и свою славу, и своих друзей, все мои привязанности... У меня ничего не осталось здесь... И я хочу умереть на родине.

Он низко опустил голову, и на его глазах вновь блеснули слезы...

— Вот он, — указал старик на Соберсе, — возбудил во мне воспоминания о далекой и прекрасной родине... Я унесу из России благодарные воспоминания... Но где я родился — там и умру... Я уже решил это...

С чувством глубокого уважения смотрел Левон на этого старика, в котором на краю могилы вдруг пробудилась тоска по родине и, быть может, поздние упреки совести, что он посвятил всю свою жизнь чужой стране... Почти умирающий, он почуял властный призыв крови, и смертная тоска, жажда увидеть свою родину неотразимо овладели им...

У князя мелькнула мысль, куда же он устроит свои драгоценные коллекции, но он не решился спросить об этом. Разве возможно везти все это с собой!

Соберсе слушал слова старика, низко наклонив голову, и было видно, как всякое упоминание о Франции мучило его.

Князь встал.

— Я должен ехать, — сказал он. — Благодарю вас за часы, проведенные у вас. Но вас я еще увижу перед отъездом, — обратился он к Соберсе.

— Я думаю, — неопределенно ответил виконт.

Это посещение несколько развлекло Левона. По дороге домой он вспомнил рассказы старика, всю обстановку его квартиры, особенно его забавляло воспоминание о старухе Дарье, так свободно объясняющейся по-французски. И хотя не было ничего удивительного в том, что женщина, прожившая полвека в доме француза, умела говорить по-

французски, все же ему казалось забавным такое сочетание: крепостная Дарья с подоткнутым подолом, с повойником на голове — и французский язык.

XXI

В первый раз вышла Ирина к обеду, к общему столу. За обедом был только один гость — Евстафий Павлович. Ирина вышла с тем же холодным, надменным выражением лица, которое знал Левон в первые дни знакомства. Она равнодушно поздоровалась с ним и сухо ответила на его вопрос о ее здоровье. Словно всем своим видом, своим тоном она хотела сказать: какое вам дело до меня? Оставьте меня одну...

Какой-то сложный духовный процесс произошел в Ирине в эти бессонно-лихорадочные ночи. Ей казалось, что она вдруг лишилась какой-то опоры в жизни, что она брошена во власть каких-то темных злых сил, что ей надо от чего-то бежать, от кого-то спастись, что она идет по узенькой тропинке над страшными обрывами и не к кому обратиться за поддержкой и помощью. Как будто грешные мысли, охватившие ее со дня встречи с Левоном, обратились в злых демонов, толкающих ее в темную бездну... И тайный голос твердил ей неумолчно: забудь о нем, отвергни его, иначе погибнешь сама.

Ее сердце разрывалось на части, и ей казалось, что каждая мысль о нем влечет за собою зло, неведомое несчастье, — и она отгоняла эти мысли.

Левон был поражен ее обращением. Ему, напротив, казалось, что после пережитого она должна видеть в нем верного друга, предупреждавшего ее и оберегавшего ее покой.

Не прошли бесследно эти дни и для старого князя. Он слишком много думал, видел и наблюдал, чтобы не понять, что весь мистицизм Ирины, ее стремление найти какие-то новые пути, доведшее ее почти до катастрофы, явно показывали ее неудовлетворенность жизнью. Она была с ним нежна и ласкова, но именно эта нежность и ласковость больнее всего язвили его старое, но еще полное жизни сердце. Он казался задумчивым и словно постаревшим. На его благородном, львином лбу появились морщины, которых раньше не замечал Левон. Тон его утратил свою величавую непринужденность...

Один Евстафий Павлович был оживлен и радостен. Он рассказывал новости дня, говорил, что на днях опять уедет

в Москву отдать нужные распоряжения к отделке его московского дома, а потом проедет в подмосковную — приводить в порядок имение.

— Что поделать, князь, — говорил он, — свои крестьяне разбежались, приходится нанимать Бог знает кого для полевых работ. Нет рабочих рук. А тут еще рекрут требуют по восемь с пятисот. Ну, скажите, где я могу найти их?

И он беспомощно разводил руками...

— Как-нибудь найдут, — с усмешкой отозвался князь, — армия движается вперед. Повеления следуют одно за другим. У наших дорогих союзников, кроме всего, не хватает пороку. Кроме людей, надо позаботиться и о нем. Это все цветочки, дорогой Евстафий Павлович, подождем ягодок.

Левон успел овладеть собой и, желая рассеять общее напряженное настроение, начал рассказывать о своем посещении Соберсе, о старом придворном учителе танцев Дюмоне.

Его слова, действительно, оживили старого князя.

— Дюмон! — воскликнул он. — Да разве он еще жив? Да, я хорошо его помню. Он ставил балеты у Шереметева, у Воронцова, он танцевал в Эрмитаже. Это был кумир наших дам. Что же он теперь, как он? — интересовался князь.

Левон рассказал.

— Бедняга, — сказал князь, — грустно ему, должно быть, доживать в печальном одиночестве свою некогда такую шумную, блестящую жизнь.

— Он хочет ехать умирать, как говорит он, во Францию, — сказал Левон.

— Это в сто лет! — засмеялся князь. — Ну, что ж, пожалуй, это немного поздно. Если бы он был помоложе, я понял бы его. Немало на моих глазах было французов, что, составив себе состояние в России, ехали в свою Францию, — только не умирать. А умирать не все ли равно где, я не понимаю этой фантазии.

Левон в комических чертах изобразил старую Дарью, беседующую по-французски.

— Не удивительно, хотя смешно, — отозвался Евстафий Павлович. — У меня один поваренок замотался в Москве, когда там гостил Бонапарт. Все шесть недель пробыл. Так теперь все старается говорить по-французски. Я его увидел в Москве и спрашиваю: «Ну что, как поживаешь?» А он осклабился и говорит: «Куси, Куси». Говорю, чем питался? — а он отвечает: «Суп о корбо, сос ра...»

Все засмеялись, только бледное лицо Ирины оставалось неподвижно и безучастно

Кое-как прошел обед. Евстафий Павлович попросил князя уделить ему несколько минут для разговора, посоветоваться кое о чем. Они вышли.

Левон с Ириной остались наедине.

Молодой князь подошел к Ирине.

— Скажите, — начал он, — почему вы, дорогая сестра, опять так холодны и враждебны? Если бы вы знали, как было мне тяжело в эти дни, как я хотел увидеть вас...

Ирина резко встала. Она еще больше побледнела.

— Оставьте меня, князь. Уйдите! Бог карает меня за... Мы встретились случайно, мы чужие люди. Чего хотите вы? — прерывающимся голосом сказала она.

Князь невольно отступил.

— Я ничего не хочу, княгиня, — ответил он, — я страдал эти дни за вас, я жаждал видеть вас, я сам измучился... Чем я могу объяснить эту странную перемену?... Разве я что-нибудь сделал? Разве я в чем-нибудь виноват перед вами? Скажите...

— О, вы хотите навлечь на меня Божье проклятье! — в страстном отчаянии воскликнула княгиня. — Нет! нет! Я не могу!.. Прощайте!

Она круто повернулась и почти выбежала из комнаты.

Князь остался один, ошеломленный, почти испуганный... И вдруг страшная мысль обожгла его.

Она сказала неправду. Между нею и пророком было больше, чем она говорила.

Он судорожно сжал зубы и чуть не застонал.

— Вздор, — сказал он себе через несколько мгновений. — Вздор! Что мне она?

Он подошел к столу и залпом выпил большой стакан крепкого вина.

— Завтра же еду.

Он прошел в свои комнаты и лег на постель. Мрачная апатия овладела им. Все вокруг и вся его жизнь казались ему бессмысленной.

Все эти пророки, масоны, какие-то мечты Новикова о какой-то свободе. Все это казалось ему лишенным смысла.

«Ну, хорошо, — думал он, — пусть рабы станут свободными, разве на смену этого не придет другое, что заставит их страдать? Вот я. Я свободен, богат, родовит и даже молод, а разве я счастлив? Быть может, сейчас есть рабы счастливее меня. Значит, есть что-то другое, что делает людей счастливыми? Но что? И где, у кого искать этого?

Мы думаем, что, дав людям физическую свободу, мы сделаем их счастливыми. Но разве свободные люди не мечутся из стороны в сторону, не страдают, не ищут счастья? А где оно? В жизни первобытного человека, покорного только инстинктам жизни, в приближении к природе, в уничтожении всех предрассудков, как говорит Руссо? Но кто же вытравит из сердца его тончайшие ощущения, кто уничтожит те извилины мозга, где таятся беспокойные и жадные мысли, туманные образы, полуосознанные мечты о чем-то далеком и близком, возможном и неосуществимом? Нет, есть только один исход, — упорно думал Левон, — это сжечь свою жизнь, наполнить ее внешними впечатлениями и потом умереть... Богатство дает эту возможность, а смерть — она, быть может, так близка...».

XXII

В комнату вошел Новиков.

— Ты спишь, Левон? — громко крикнул он. — Меня не хотели даже пускать к тебе. Да вели хоть огонь зажечь. Тут сам черт ногу сломит.

— Это ты, — искренно обрадовался Левон, — как я рад тебе. Сейчас. — Он вскочил с постели и позвонил. — Огня, — приказал он. — Я очень рад тебе, — продолжал он, пока зажигали канделябры. — Я хотел уже опять ехать к тебе.

Лакей, зажегши огонь, ушел.

— Я хочу ехать в армию завтра, — закончил Левон.

— А наше собрание? — удивленно спросил Новиков.

— Зачем? — упавшим голосом ответил Левон. — Мне ничего не надо, я ничего не хочу... Мне надо только скорее уехать.

Новиков задумчиво взглянул на него и медленно произнес:

— Вот именно потому, что тебе ничего не надо и ты ничего не хочешь, ты должен ехать. Ты по крайней мере узнаешь, что надо и чего хотеть. Не поставишь же ты меня, кроме всего, в дурацкое положение перед Монтрозом и «нашими». Тебя ждут. Мы никого не держим насильно, и, приехавши, если хочешь, ты можешь отречься. Но ехать ты должен.

— Хорошо, — подумавши, сказал Левон, — я поеду. Но я в таком настроении, что не уверен, что последую за вами.

— Ты свободен, но я думаю, — ответил Новиков, — что твое настроение минутно.

Левон пожал плечами и стал собираться.

— Оденься в штатское, — сказал Новиков, — фрак и туфли, как на бал.

— Ты можешь отказаться сразу, после первого же вопроса, — говорил Новиков в карете. — Но я советую тебе подумать и не поддаваться этому настроению упадка. Я не знаю и не любопытствую знать, что ты переживаешь. Одно могу сказать тебе: между нами едва ли есть один, не испытывавший личного горя. Но что значит личное горе перед океаном человеческих страданий! Вспомни слова шеваляе Никто из нас не считает свое «я» центром мира.

Бахтеев слушал его, опустив голову. Быть может, Новиков и прав. Быть может, у них есть секрет, как позабыть личное горе и найти покой. Ну, что ж, попробуем.

— Я не отрекусь, — решительно произнес он.

— Я был в этом уверен, — промолвил спокойно Новиков.

Карета остановилась.

— А теперь, — сказал Данила Иванович, — согласно нашим правилам, позволь завязать тебе глаза.

— Делай, что знаешь, — ответил Левон.

Новиков вынул из кармана тонкий шелковый платок и завязал им глаза князю.

— Давай руку.

Он помог князю выйти из кареты.

Путь показался князю очень долгим. Наконец он услышал стук молотка о металлический щит; тихий вопрос и тихий ответ; в волнении он не расслышал слов. Дверь отворилась, и он почувствовал, что очутился в теплом помещении. Новиков держал его за руку и вел, долго вел, словно по извилистым коридорам. Наконец они остановились.

— Садись, — произнес Новиков, подводя Левона к креслу. — Отдай мне все металлические вещи, — продолжал он.

— Часы, кошелек с золотом, вот все, — ответил Левон. Новиков взял эти вещи.

— Сними чулок с правого колена, — продолжал он.

Бахтеев послушно исполнил приказание.

— Спусти с левой ноги туфлю и сними фрак и жилет. Левон исполнил и это.

— Теперь жди, — сказал Новиков. — Как услышишь три удара молотком, можешь снять повязку с глаз. Сосредоточься. Ты в хранилище размышления.

Новиков ушел.

Невольное чувство мистического любопытства овладело Левонем. Тайна дразнила его воображение. Он стоял на пороге чего-то неведомого, что, может быть, откроет ему новые пути и даст покой. Покой! Но разве возможен покой, когда его сердце сгорает на медленном огне и перед ним неотступно стоит бледное прекрасное лицо!..

Три медленных, протяжных, унылых удара молотка в щит прервали его размышления, и он торопливо сорвал с глаз повязку.

Мрачная, обитая черным комната была ярко освещена стенными канделябрами и люстрой, спускавшейся с потолка.

На черных стенах виднелись крупные надписи серебром:

«Если тебя привлекло сюда пустое любопытство, то уходи».

«Если боишься, чтобы тебе указали твои заблуждения, то пребывание здесь не принесет тебе пользы».

«Если ценишь человеческие отличия, уходи отсюда; здесь их не знают».

Левон задумчиво читал эти надписи.

«Если все это правда, — думал он, — и таковы их действительные убеждения, то с ними стоит познакомиться».

Он старался владеть собой, между тем как жуткая тишина, царящая вокруг, черные стены комнаты с яркими надписями, вся таинственность обстановки невольно действовали на его воображение и располагали к сосредоточенности.

И опять те же вопросы жизни и духа невольно овладели Левонем. Ему вспомнилась его короткая жизнь... Для чего он жил? И для чего он будет жить? Он еще так молод. Тоскливое чувство ожидания овладело им. Он в волнении ходил по комнате, смешно прихрамывая в одной туфле, но он не замечал этого.

Протяжный металлический звук, уже знакомый ему, заставил его остановиться и насторожиться.

Дверь открылась.

С обнаженной шпагой в руке, в сопровождении неизвестного человека, вошел Новиков.

— Сядь, — коротко сказал Новиков.

Бахтеев сел. Незнакомый накинул ему на шею петлю, а Новиков снова завязал глаза.

— Идем, — сказал он. Он взял князя за руку.

Князь послушно последовал за ним,

Ему казалось, что они шли долго, очень долго, снова по каким-то извилистым коридорам.

Он услышал шум отворяемой двери и почувствовал, что в комнате находятся люди. Его напряженный слух уловил едва слышное движение.

— Какая цель привела тебя сюда? — услышал он строгий голос.

Он вздрогнул. Какая цель привела его? Это было очень сложное чувство, которое он затруднялся формулировать. После некоторого раздумья он твердо ответил:

— Познавать смысл жизни.

Наступила глубокая тишина. Левону показалось, что он остался снова один. Но вот послышались шаги, неясный шепот, наконец чей-то громкий голос произнес:

— Великий мастер, что нам делать с посвященным?

На это послышался холодный ответ:

— Кинуть в подземелье!

К этому Левон не был готов. В подземелье! Быть может, на день, на два! Ему захотелось сорвать повязку с глаз и громко крикнуть:

— Я не хочу быть вашим пленником!

Отложить свой отъезд, не видеть Ирины!.. Зачем Новиков не предупредил его об этом!..

Но размышлять не было времени. Чьи-то сильные руки схватили его и высоко подняли.

— Бросайте, — послышался тот же холодный голос.

Руки, державшие его, опустились, и Левон упал, но тотчас был кем-то подхвачен. Сильно стукнула, захлопываясь, тяжелая дверь. Загрохотал железный засов, и Левон не знал, где он? Вокруг царила глубокая тишина. Но вот эту тишину нарушил тот же холодный голос:

— Стань на колени.

Левон послушно опустился на колени.

Раздались один за другим три медленных удара молотком в металлический щит.

Левон почувствовал прикосновение к губам холодного металла. Это ему поднесли чашу, и снова раздался тот же голос:

— Пей этот благотворный напиток и помни, что если сердце твое не чисто, если ты пришел к нам для измены и предательства, то этот напиток обратится в яд.

Другой голос, Левону показалось — голос Новикова, произнес:

— Скажи: «Клянусь строго и точно исполнять обязанности франкмасонства»...

Бахтеев повторил слова.

— Теперь отпей из кубка, — услышал он.

Он сделал глоток какого-то сладкого напитка.

— Повторяй за мной, — продолжал тот же голос: «Если же я нарушу мою клятву, пусть сладость этого напитка превратится в горечь и его благодать обратится в яд».

К его губам снова поднесли чашу, он хлебнул. Лицо его исказилось. Напиток был горек и отвратителен на вкус.

— Что значит изменение в чертах твоего лица? — раздался голос великого мастера. — В твоём сердце таится измена, или ты раскаиваешься в своём желании вступить в наше братство, или сладкий напиток обратился в горечь? Тогда удались.

— Да, — ответил Левон, — сладкий напиток обратился в горечь. Но я не уйду. Я хочу принадлежать к вашему братству.

Им овладело сильное волнение и досада на Новикова, не предупредившего его обо всех этих обрядах. Он боялся не так ответить, не так поступить, как надо. Но только одно он твердо решил: вступить в братство, какими бы трудностями ни было обставлено это вступление. Его апатия исчезла. Тайна, окружавшая его, пробудила его душу.

Его взяли за руки и снова повели среди каких-то колонн.

— Введите его на лестницу, — слышался голос великого мастера.

Левона повели на лестницу. Шаг за шагом он отсчитал сто ступеней.

Люди, поддерживавшие его, отошли. Он почувствовал, что стоит на площадке.

— Бросься вниз, — услышал он голос великого мастера.

Не давая себе времени размышлять, князь сделал прыжок и тотчас был кем-то подхвачен. В то же мгновение раздался сильный шум, звон металла, стук молотков и топот ног и громкие возгласы присутствующих.

— Да прольется кровь твоя, если ты изменишь, — снова слышался резкий голос.

И Левон почувствовал укол в руку. Кто-то взял его за уколотую руку. Боль была незначительна, но он слышал, как часто-часто закапали, с мягким звуком, капли на пол.

«Однако, — подумал Левон, — я могу так потерять много крови».

Тяжелые капли, быстро, одна за другой, падали на пол. Левону казалось, что он начинает слабеть и голова его кружится.

— Довольно, — раздался повелительный голос.

К руке Левона приложили кусок полотна, пропитанного чем-то охлаждающим и ароматичным, и шум падающих капель прекратился.

Кто-то ослабил повязку на его глазах, и он почувствовал яркий свет.

Снова раздался голос великого мастера:

— Брат старший надзиратель, находишь ли ты его достойным войти в наше общество?

— Нахожу, — послышался ответ.

— Чего ты требуешь для него?

— Света!

— Fiaf lux! — торжественно провозгласил великий мастер и трижды ударил молотком по бронзовому щиту.

С последним ударом с глаз Левона сняли повязку. Он сразу зажмурился от яркого света. Но через несколько мгновений открыл глаза и с любопытством оглянулся вокруг.

XXIII

Он находился в большой квадратной зале со сводчатым потолком, с двумя рядами колонн. Зала была ярко освещена многочисленными свечами. На выкрашенном голубой краской потолке ярко горели золотые звезды, солнце и луна.

С удивлением увидел он на полу у своих ног, куда, ему казалось, падала его кровь, лишь лужицу воды. Он взглянул на свою руку. На ней виднелся едва заметный укол. Он оглянулся вокруг, ища ту лестницу, по которой он взбирался на сто ступеней, и увидел в углу залы лестницу, странно уходящую в отверстие в полу и возвышающуюся над полом на три ступени.

«Вот оно что, — подумал он, — надо об этих фокусах спросить Новикова».

Вокруг Левона с обнаженными шпагами в руках стояли «братья», странно одетые в передниках из шкуры ягненка.

Когда он взглянул на них, они опустили шпаги и раздвинулись. Он увидел в глубине залы возвышение, на ко-

тором на троне сидел великий мастер; он узнал в нем шевалье Монтроза. Над троном был балдахин небесно-голубого цвета, усеянный звездами и завершенный блестящим треугольником с таинственным начертанием священного имени Адонаи.

На великом мастере была надета шляпа с черными перьями и большой черной кокардой. Длинная, темная мантия, как царственная порфира, закрывала его фигуру. На его шее на широкой ленте был маленький наугольник и циркуль. Перед великим мастером стоял столик, и на нем лежала книга. Посередине залы высился алтарь, к которому вели четыре ступени. У входной двери в восточной стороне комнаты стояли два бронзовых столба с капителями, увенчанные изображением яблок и на лицевой стороне буквами И и Б (Иахун и Боаз)¹. Возле столбов, у небольших треугольных столиков, стояли два «брата-надзирателя».

«Где я? У кого?» — промелькнуло в голове Левона.

Но не успел он хорошо оглядеться, как его взял за руку Новиков и подвел к алтарю. На алтаре лежала Библия и горели три канделябра с восковыми свечами.

— Стань на колени, — коротко произнес Новиков.

Левон опустилсся на колени.

Великий мастер, с обнаженной шпагой в руке, сошел со своего возвышения и, приблизившись к нему, торжественно произнес:

— Во имя Великого Строителя вселенной и в силу данной мне власти, я посвящаю тебя в ученики и члены великой директориальной ложи Владимира к порядку.

Он три раза ударил молотком по лезвию шпаги и, нагнувшись, поднял Левона с колен.

Один из братьев тотчас надел на Левона такой же, как на других, передник из ягнячьей шкуры, а другой поднес ему две пары белых перчаток.

— В знак чистоты носи эти перчатки, — произнес Монтроз, — а другую пару отдай той женщине, которую ты чтить, чьи руки не преступны и сердце чисто.

Левон вспыхнул.

«Ирина!» — хотелось ему крикнуть.

После всех этих обрядностей Монтроз дружески пожал ему руку и сказал:

— Ну вот, теперь вы наш.

Новиков обнял его и познакомил с присутствовавшими.

¹ Исправление и крепость.

Часть братьев была уже знакома Бахтееву. Он с удивлением узнал семеновца Дателя, преображенца Раховского, с которыми встречался в обществе, и многих других светских знакомых, в ком привык видеть только веселящуюся, легкомысленную гвардейскую молодежь. Он никак не подозревал, что они тоже проникнуты теми же идеями, как и Новиков. Было в собрании и несколько очень почтенных стариков, тоже до некоторой степени известных Бахтееву, как, например, сенатор Бахмутев или граф Телешев.

Кто был хозяином дома, Бахтеев не знал. И когда Новиков обратился ко всем с приглашением на ужин, он спросил его:

— Да кто же здесь хозяин?

Новиков указал ему на маленького скромного старичка, стоявшего в стороне.

— Вот хозяин, Порфирий Егорыч Остроухов.

— Как! — произнес Левон, — этот богач, купец.

— Именно, — ответил Новиков. — На него косилась императрица Екатерина, считая его мартинистом. Потемкин так и остался ему должен полмиллиона. Только его заступничеству он обязан тем, что не сидел в Шлюшине или не занимался ловлей соболей в Сибири. Он был масоном еще в великой национальной ложе князя Гагарина в семидесятых годах. Этот старик многое знает. Павел любил его, а потому он и теперь в чести и имеет доступ во дворец. Да я познакомлю тебя с ним. — Он подвел Левона к Остроухову. — Порфирий Егорыч, — сказал он, — познакомьтесь с нашим новым учеником.

Порфирий Егорыч поднял мутные сонные глаза на князя и, протянув ему руку, отрывисто спросил:

— Фамилия?

— Бахтеев, — ответил Левон.

— Не родственник ли князь Никиты? — спросил старик, глядя на Новикова.

— Его родной племянник, — ответил Новиков.

— Так ты не в дядю пошел, — сказал старик, — тот ни в Бога, ни в черта не верит. Однако, — засуетился он, — что ж вы стоите, гости дорогие... А ужин-то... Зови, Данила Иваныч.

Новиков с улыбкой отошел.

В соседней комнате масоны нашли свою обычную одежду. Переодевшись, все поднялись наверх по узкой лестнице, потом прошли анфиладой полуосвещенных сумрачных

комнат и наконец очутились в ярко освещенной великолепной столовой. В многочисленных золотых люстрах и канделябрах горели восковые свечи. На столе сверкала золотая и серебряная посуда, горел цветными огнями драгоценный хрусталь.

За стульями стояли лакеи в красных фраках и туфлях, в белых чулках.

«Ого, — подумал Бахтеев, — этот купчина умеет принимать».

Словно угадав его мысли, Новиков, севший с ним рядом, шепнул ему:

— Что, брат, удивлен? Да, мы умеем принимать гостей. Принимали и Потемкина, и Зубова, и самого Павла Петровича.

— Я вообще очень удивлен всем сегодняшним днем, — задумчиво произнес Левон. — К чему эти странные обряды? И зачем ты не предупредил меня о них? Признаюсь, минутами я чувствовал себя в странном положении. И потом этот Остроухов и этот царский ужин?

— Наши обряды, — ответил Новиков, — имеют за собой не одну сотню лет. Каждое слово, каждое изображение имеет глубокий смысл. Некоторые наши обряды берут свое начало от Хирама, великого строителя храма Соломонова. Это великие символы — и мы должны уважать их. Но, помимо этих мистических тайн, этих древних символов, у нас есть и живая, деятельная жизнь, исполненная мыслью об общем благе. И ради этой деятельности — здесь и я, и Датель, и Раховский, и масса других, и ты... Теперь ты наш и узнаешь, сколько сделано нами и сколько подготовлено для будущего. Мы молоды, мы энергичны, мы верим в свои идеи, и будущее принадлежит нам...

— А теперь, — вмешался в разговор Датель, — в нашей будничной жизни, в армии, в казармах, в наших поместьях мы шаг за шагом должны проводить высокие идеи уважения к человечеству... Посмотрите, князь Руцкий зорко следит, чтобы его крестьяне не подвергались излишним тяготам, ссылке и произволу управляющих, у Раховского в роте почти не бывает телесных наказаний, у меня тоже... и мы не одни... От ротных и эскадронных командиров до полковых в некоторых частях почти все против телесных наказаний. Я имею точные сведения, что император сам среди своих теперешних трудов и забот высказывал мысли об уничтожении рабства... Он говорил об этом и со Штейном... Он выразил надежду, что он не умрет, не увидя народ свободным. Я убежден, — продол-

жал с волнением Датель, — что к нам вернется Сперанский — жертва интриг наших феодалов. Сперанский наш друг, и он был нашим другом с ведома императора, когда четыре года тому назад наш гроссмейстер Фесслер ввел его в масонскую ложу. Мы крепнем и растем... Новиков вам еще много скажет о ваших обязанностях, о круге нашей деятельности. Теперь мы идем все в поход. Благодаря личному доверию шевалье Монтроза вы приняты в сообщество без предварительных посвящений и испытаний. Вам еще многое предстоит узнать... Но нам известно, что наши идеи близки вам.

— Вы правы, — ответил Левон, — я ваш душою. Быть может, и моя жизнь не будет бесплодна...

Датель пожал его руку.

Разговоры становились громче.

Порфирий Егорыч приказал лакеям удалиться, оставив на столе вино и фрукты...

В чаду общих разговоров время летело незаметно.

Лев Кириллович был захвачен общим одушевлением и забылся от своих неотступных мыслей...

XXIV

Весеннее утро вставало над столицей, когда он возвратился к себе домой.

Он чувствовал большую потребность разобраться в своих мыслях и чувствах. Новые впечатления совершенно захватили его. После отчаянной борьбы двенадцатого года, раненный, из глуши своей вотчины он вдруг очутился в столице, в самом водовороте общественных течений, новых мыслей и чувств. Кроме того, неожиданное увлечение, как смерч, закружило его... Пророки, масоны, Ирина, предстоящий поход — все сплелось почти в кошмар. Как брошенный в океан с разбитого корабля пловец, уцепившийся за обломок снасти глухой ночью, он чувствовал себя потерянным в душном, грозном мраке... И как слабый огонек на далеком берегу светилась робкая надежда — найти наконец твердую почву...

Едва он вошел в свою комнату, как послышался стук в дверь, резкий и нетерпеливый.

— Войдите! — крикнул он.

К его великому удивлению, на пороге показался старый князь.

— Я не помешаю тебе, Левон? — спросил он.

— Что за вопрос, дядя! — воскликнул Левон. — Но как же вы не спите до сих пор? Разве княгине плохо? — с тревогой закончил он, и сердце его сжалось при взгляде на старого князя.

Никита Арсеньевич был в обычном халате, с открытой шеей, в мягких туфлях. Его осунувшееся лицо, нахмуренные брови, ввалившиеся глаза носили отпечаток страданий.

— Садитесь, дядя, — взволнованно сказал Левон, — вы сами, кажется, нездоровы. А что княгиня? — повторил он.

— Iгéne, слава Богу, физически здорова, — произнес князь, тяжело опускаясь в кресло. — Да и я, кажется, здоров. Но все же, — продолжал он, — я хотел именно поговорить о ней.

Левон отвернулся. Он почувствовал, что бледнеет. Уже ли князь прочел в его душе его тайну? Левон почувствовал, что на прямой вопрос он не сможет солгать.

Тяжелое чувство длилось несколько секунд...

Но князь спокойно спросил:

— А ты откуда сейчас?

Одно мгновение Левону хотелось все рассказать старику, поделиться с ним своими впечатлениями, порасспросить кое о чем, но он вспомнил о тайне, окружающей их сообщество, и ответил:

— От Новикова. В пятницу мы уезжаем...

— А-а! Ну, что ж! Мне жаль, что ты едешь, но если это неизбежно — поезжай, — сказал старик. Он помолчал и снова начал: — Ты, наверное, сам заметил, как изменилась Ирина после этой истории?

Все ревнивые подозрения разом воскресли в душе Левона.

— Да, — угрюмо сказал он, — я заметил. Княгиня испытала слишком сильное потрясение...

— Она неузнаваема, — упавшим голосом произнес князь. — Я много жил и много видел. Я чувствую, что что-то тяготит ее душу... Она молода, сильна, горда... Эта история, тем более кончившаяся дурацкой комедией с разоблаченным святым, не могла бы сломить ее. Тут есть что-то другое. Если бы я не знал Ирины, я мог бы подумать, что какое-то новое сильное чувство овладело ею... — Голос старого князя звучал сдержанно и скорбно. — А если так... если это так... Какой, однако, вздор, — продолжал он, проводя рукой по широкому лбу. — В ней просто слишком много мистицизма... Я стар... Да, я чувствую это. Я все изжил, все пережил...

Левон молчал.

Кажется, пытка была бы ему легче этого разговора.

Молчание длилось довольно долго.

— Может быть, — прервал молчание князь, — надо развлечь ее? Теперь везде празднества... Мы торжествуем славу русского оружия... Не устроить ли и мне праздник? А? Тем более ты уезжаешь. Это был бы прощальный вечер... Ты пригласил бы своих товарищей, кого знаешь... Это могло бы развлечь ее...

Левон оживился. У него появилась полуосознанная тайная мечта поговорить с ней опять, как тогда... Это так удобно на большом вечере...

— Конечно, дядя, это развлечет княгиню...

— А и то правда, — тоже оживился князь, — живем, словно затворники. Только эти дневные приемы... Тоска. А потом, — все больше оживляясь, продолжал он, — поедem за границу. В Карлсбад. Отчего нет? Туда собираются великие княгини Екатерина Павловна и Мария Павловна, едет Витгенштейн, Остерман, будут Волконские, Анна Степановна Протасова и еще много, много... Пожалуй, и с тобой там встретимся, — уже совсем весело закончил князь.

Эта мысль прямо привела в восторг Левона.

— О, это очень хорошо, — живо отозвался он...

— Да, — с усмешкой отозвался Никита Арсеньевич, — хорошо, если только нас пустят туда... — Это решение, видимо, успокоило старого князя. — Ну, ладно, — сказал он, вставая. — Значит, сперва пируем, а потом — что Бог даст... Доброй ночи.

Он вышел.

Левон чувствовал, что вокруг него сплетается словно какая-то сеть. Неведомая сила толкает его к тому, от чего он хотел бежать. День за днем, час за часом, шаг за шагом он приближается к какому-то роковому моменту, и нет силы разорвать крепко сплетенную паутину судьбы. Разве он не хотел бежать? Случайная встреча с Монтрозом задержала его. Теперь опять задержка. Быть может, ему следовало сказать князю, что не нужно никакого празднества, что нужен его отъезд. Ведь он знал, что мог уехать завтра же вечером, и солгал, что едет в пятницу, чтобы лишний раз увидеть Ирину, чтобы сказать ей (он теперь сознавал это в глубине души) то слово, которое жгло его губы... Бежать? Но разве можно бежать от судьбы? Разве он, если будет жив, не прилетит к ней в Карлсбад? Нет, не уйти от судьбы!

Давно Петербург не видел такого блестящего съезда. Высшие сановники, представители аристократии и военного мира откликнулись на приглашение старого екатерининского вельможи. Князь Никита пользовался большим престижем как в силу своего древнего имени и богатства, так и всем известной близости ко двору.

Непрерывной вереницей подъезжали экипажи к ярко освещенному дворцу. И казалось, им не будет конца.

Любопытный народ теснился на набережной, любуясь иллюминацией дома, на фронтоне которого горел двуглавый орел и под ним соединенный вензель «А. и Е.».

Князь не ошибся, рассчитывая, что этот блестящий прием оживит Ирину. Он уже давно не видел своей молодой жены в таком оживленно приподнятом настроении, и при каждом взгляде на нее его сердце наполнялось гордостью. Он слышал шепот восторга среди гостей. И действительно, Ирина была сегодня ослепительно хороша, в белом платье, с открытой шеей и руками. На черных локонах горела княжеская корона. На шее белела нитка жемчугов с брильянтовой подвеской. Ирина немного побледнела, отчего ее глаза казались больше. Легкий нервный румянец играл на ее смуглых щеках...

Даже канцлер граф Румянцев, целуя ее руку, с восторгом сказал:

— Вы божественны, княгиня.

Левон не сводил с нее ревнивых глаз. Но она словно избегала его и ни разу не взглянула на него.

Просторные гостиные наполнялись.

Было известно, что только траур по принцу Ольденбургскому помешал приезду высоких гостей...

Ирина была окружена целой толпой молодых красавиц, среди которых была и княгиня Пронская, с которой она встретилась в последний раз на собрании у «пророка». Но Пронская не сделала на это ни намека. И среди этих красавиц царила Ирина, и как будто все безмолвно признавали ее первенство.

Но вот в толпе, ее окружающей, послышался шепот, гости расступились, давая дорогу старому князю, сопровождавшему молодую красавицу.

Левон был поражен ее красотой.

— Кто это? — в изумлении спросил он стоявшего рядом с ним какого-то старика со звездой на фраке.

Тот удивленно поднял брови.

— Как! Вы не знаете? — воскликнул он. — Да ведь это Марья Антоновна Нарышкина, жена Дмитрия Львовича.

И старый сенатор сделал быстрое движение навстречу новой гостье.

Левон, конечно, слышал об этой женщине удивительной красоты... Так вот какова она, это «невенчанная императрица», мать дочери императора. Одна из красивейших женщин в Европе, соперница королевы Луизы, «прусской Мадонны». Да, она нечеловечески хороша. Он невольно перевел глаза на Ирину.

Казалось, среди присутствовавших тоже возникла подобная мысль...

Кто прекраснее?

Но обе они были так совершенны в своей красоте и так не похожи одна на другую, что их нельзя было сравнивать.

Энергичная страстная красота Ирины и нежная мечтательная красота Нарышкиной. Ее темно-голубые глаза были полны тихого света. К темно-русым локонам роскошных волос так шли голубые бирюзовые васильки с брильянтовыми каплями росы.

С ласковой, почти радостной улыбкой Нарышкина отвечала на приветствия знакомых. Но, однако, всем было хорошо известно, что под этой кроткой ангелоподобной наружностью бывшей княжны Четвертинской скрывалась мятежная и страстная, честолюбивая душа, не женский характер и твердая воля, не отступающая ни перед чем.

— Как рада я, дорогая княгиня, — начала Нарышкина, протягивая обе руки, — что мне удалось сегодня побывать у вас.

— Благодарю вас, Марья Антоновна, — ответила Ирина, — это большое счастье для меня.

Они поцеловались.

При внимательном наблюдении можно было заметить, что в то время, как Ирича просто и радушно приветствовала свою гостью, Нарышкина окинула ее с ног до головы мгновенным ревнивым взором и в ее тоне слышалось некоторое принуждение.

Ее годы проходили, а Ирина так еще молода. Она не могла не видеть, что ее красота не затмит Ирины. До сих пор она встретила только одну соперницу своей красоте... Это было давно, пять лет тому назад, когда «прусская Мадонна» приезжала в Петербург... И «прусская Мадонна» была побеждена... Ее нет уже теперь... этой побежденной,

но страшной соперницы... Ее уже нет... Она угасла, она ушла туда, откуда никто не возвращается...

Но эта ослепительная красавица еще так молода и еще долго будет молода... Почему знать?

Но никто не мог прочесть мыслей и ревнивых опасений, промелькнувших в этой глубокой душе.

Нарышкина весело и непринужденно беседовала, осыпая Ирину любезностями.

Но среди присутствовавших нашелся один, который если и не прочел тайных мыслей Нарышкиной, то думал о том же..

Это был молодой аббат Дегранж, хорошо известный в высших кругах столицы, неперенный член салонов, вроде княгини Напраксиной, где занимались религиозными вопросами. Красивый и вкрадчивый, с сухим лицом и блестящими черными глазами, он имел большой успех у дам, умея легко успокаивать их совесть в маленьких грехах и открывать им пути к вечному спасению. Он имел непосредственные связи с «двором» короля Людовика XVIII, как именовал себя принц Прованский, уже вступивший, судя по его воззваниям, в восемнадцатый год своего царствования. Он считал себя королем Франции с 1795 года — года смерти несчастного дофина, или, иначе, Людовика XVII.

Дегранж был другом и всех эмигрантов, геройствовавших при русском дворе, горевших жаждой пасть на поле брани за чистоту и славу бургонских лилий и мирно проживавших в России за счет щедрот русских монархов.

Дегранж уже давно следил своими блестящими глазами за этими двумя красавицами.

— Какая удивительная женщина эта княгиня Бахтеева, — проговорил он, обращаясь к своему соседу, старому эмигранту маркизу д'Арвильи.

— Да, она удивительно красива, — ответил маркиз.

— И, кроме того, какая душа, — тихо произнес аббат. — Страстное религиозное чувство, близкое к мистицизму, энергия и, я уверен, — добавил он, — она честолюбива. Да, несомненно, она честолюбива, — повторил он.

Его взгляд перенесся на Нарышкину.

Маркиз уловил этот взгляд и с легкой иронией сказал:

— Между тем как другая, несмотря на свою идеальную красоту, больше принадлежит земле, чем небу... Ей чужды высшие запросы духа...

Аббат кинул на д'Арвильи быстрый взгляд и ответил:

— Быть может. Насколько я вижу, в русском обществе сильно развито искание истинной веры... Оно не удовлетворено и алчет духовной пищи...

— Подкормите его, дорогой аббат, — насмешливо произнес д'Арвильи, — у вас, наверное, остались значительные запасы. Франция, кажется, уже сыта.

— Родник Божий неистощим, — серьезно ответил аббат, делая вид, что не замечает насмешки. — Мы видим только один путь спасенья. А скажите, маркиз, — резко переменял он разговор, — как здоровье вашего сына? Пишет ли он вам?

По бледному лицу д'Арвильи скользнула тень страдания. Его сын, единственный наследник гордого имени д'Арвильи, уже десять лет как стал под знамена Наполеона. Это был тяжелый удар для старика. «Я пойду по пути славы, указанной Бонапартом, — сказал при расставании сын. — Я — француз и мое место под знаменами Франции, а не в передних ее врагов».

Эти слова до сих пор жгли сердце маркиза. И хотя он не прерывал отношений с сыном, эта рана горела.

Аббат верно рассчитал удар. На одно мгновение погасшие глаза д'Арвильи вспыхнули, но он овладел собою и спокойно ответил:

— Для моего мальчика близится час расплаты за безумное увлечение мишурной славой... Близко время победы правды над ложью.

— Я не сомневаюсь в этом, — сухо ответил аббат, отходя от старого эмигранта и направляясь к группе, окружавшей Нарышкину и княгиню Бахтееву.

XXVI

Старый князь занялся наиболее почетными гостями, такими как канцлер граф Николай Петрович Румянцев, тесть князя сенатор Буйносов, главнокомандующий Петербурга Сергей Кузьмич Вязмитинов, управляющий военным министерством князь Горчаков и другие. Граф Николай Петрович, впрочем, недолго пробыл на вечере. Его вообще стесняла его глухота, и, кроме того, он действительно был завален делами и ежечасно ожидал от Аракчеева какого-либо экстренного распоряжения. Он вскоре уехал, а для Горчакова, Вязмитинова и Буйносова князь устроил карты.

По случаю траура при дворе официально балов с танцами в придворных кругах не давалось, устраивались про-

сто вечера, но на них молодежь всегда танцевала. Так и теперь, хотя князь и звал не на бал, а на простой вечер, тем не менее дамы приехали одетые, как на бал.

На хорах большой белой залы музыканты уже настраивали свои инструменты, а молодые люди спешили приглашать дам.

Не прошло и получаса, как в зале закружились многочисленные пары.

Левон так отвык от подобного зрелища и так танцы не вязались ни с его настроением, ни с его мыслями, что вид танцующих людей казался ему дик и странен. Его сердце сжималось от неопределенной боли, словно от обиды. Он стоял у колонны, скрестив руки, и мысль его невольно переносилась к ужасным картинам недавнего прошлого, к кровавым полям битв, к пылающей России, к нищете и запустению, виденным им теперь, и потом обращалась к ближнему будущему. К этим мрачным мыслям примешивалась и ревнивая тоска... Нарышкина и Ирина соперничали в первенстве. Они не имели почти ни минуты отдыха, переходя из объятий в объятия.

— А что же ты не танцуешь? — услышал он за собой голос дяди.

Он быстро обернулся.

— Я отвык, дядя, — с улыбкой ответил он.

— Рано, — рассмеялся старый князь. — Если бы это был настоящий бал, я бы сам тряхнул стариной. Но я рад, — продолжал он, — что устроил вечер. Смотри, как оживлена Ирина. Да, — задумчиво закончил он, — какая великая сила — молодость...

Он грустно вздохнул.

В эту минуту его заметила Ирина и, пользуясь минутой свободы, проскользнула к нему. Он ласково улыбнулся ей.

— Что, устала?

— Очень, — ответила она, — я бы хотела отдохнуть незаметно...

— Так Левон проводит тебя в твою гостиную, там, наверное, никто не потревожит тебя. Видишь, как все заняты, — сказал Никита Арсеньевич.

— Но я не хочу лишать князя удовольствия, — холодно сказала княгиня.

— Я не танцую и сам рад бы уйти от шума, — поспешно отозвался Левон.

— Ну, вот и отлично, — произнес старый князь, — а я пойду к старикам.

Левон подал руку княгине.

Действительно, в маленькой гостиной Ирины было пусто. Это не была одна из парадных комнат, открытых для гостей. Но все же гостиная, куда Ирина приглашала дам отдыхать, была убрана по-праздничному и походила на маленький сад.

Княгиня устало опустилась на низенький диванчик. На ее лице не осталось ни признака недавнего оживления. Щеки побледнели, глаза угасли. Она рассеянно играла точеным веером из слоновой кости, украшенным редкими кружевами.

— Я, может быть, лишний, — начал Левон, не сядя. — Но все же я рад случаю видеть вас наедине.

Княгиня молчала.

— Быть может, это наше последнее свидание в жизни, — дрожащим голосом продолжал он. — Я завтра уезжаю. На войне жизнь и смерть — дело случая. Кто знает, вернусь ли я.

Она нервно закрыла тонкий веер и молчала.

На энергичном лице Левона отразилось страдание.

— Вы молчите — пусть так, — продолжал он, — я много страдал в последние дни... после этого... И вы не откажете мне в утешении, которое ничего не стоит для вас и бесконечно дорого для меня...

Его голос прерывался.

— Что я могу сделать для вас? — с усилием произнесла она. — У нищего не просят хлеба.

— О, только слово, одно только слово, — воскликнул Левон, — и вы снимете с души моей тяжелое бремя... мучительных сомнений... Вы дадите мне последнее счастье унести в душе ваш образ чистым и незапятнанным...

Она напряженно смотрела на него.

— Я не понимаю вас, — глухо сказала она, — чего вы хотите от меня и какое мне дело до того, каким вы унесете мой «образ», как выразились вы?..

— О, не говорите, не говорите так, — умоляющим голосом начал Левон, — это мое последнее, мое единственное счастье... После недолгих минут доверия вы изменились, вы опять смотрите на меня, как на врага... Что с вами? И что сделал я? Вы не хотите говорить со мной, вас не узнать... Скажите же мне, Ирина, моя дорогая сестра, как в счастливые минуты вы позволили мне называть вас, — скажите... Я все перенесу... Скажите, вы все тогда сказали? — почти шепотом произнес он, низко наклоняясь к ее лицу. — Вы ничего не утаили?.. Быть может, я должен убить вашего «пророка»? — дрожащим

голосом, с искаженным от муки и ярости лицом закончил он.

Несколько мгновений она смотрела на него удивленно расширенными глазами и вдруг, мгновенно вспыхнув, вскочила и выпрямилась во весь рост. Тонкий веер хрустнул в ее руках, и его жалкие обломки упали на мягкий ковер.

Левон невольно отшатнулся.

— И вы смели, и вы могли подумать, — задыхающимся голосом начала она. — О Боже! Вы решились подумать, что я!.. Да разве я, я, — сжимая с силой на груди руки, продолжала она, — разве я могла бы это пережить? Разве я могла бы после этого взглянуть в чужие глаза, на небо, на солнце и живой встретить зарю той ночи? Да говорите же! — она топнула ногой. — Как смели вы!..

Она вдруг стихла, закрыла лицо руками и со стоном и рыданием опустила на диван...

Левон, ошеломленный, молчал. Но потом, мало-помалу, чувство неизмеримой радости наполнило его душу.

— Ирина, — воскликнул он, бросаясь к ней.

Она быстро встала. Лицо ее было бледно, глаза сухи, губы плотно сжаты.

— Уйдите прочь, — резко сказала она, — это Божье проклятие! Оставьте меня! Уезжайте! Живите или умирайте! Наслаждайтесь жизнью или страдайте! Вы мне чужой!

И, подобрав длинный шлейф своего платья, она твердой походкой направилась к двери, не оборачиваясь.

— Ирина! — крикнул Левон, и в этом крике было столько безнадежности, столько отчаяния, как будто погибающий брат звал на помощь.

Ирина остановилась и обернулась.

Она сама испугалась выражения лица Левона.

— Ирина, — продолжал он, не двигаясь с места, — вы уйдете сейчас, и этот порог будет для меня порогом вечности. Не торопитесь произносить мой приговор.

Его голос стал странно спокоен, и было что-то страшное в этом спокойствии.

— Но если вы все же уйдете, то послушайте последнее слово осужденного. Кто может осуждать меня за мои муки, за мои сомнения? — продолжал он, снова одушевляясь. — Разве преступно чувство человека?

Она сделала невольно шаг к Левону.

— Так послушайте же меня, — страстным шепотом говорил он. — Разве преступление ничего не хочет для себя и отдать свою жизнь другому? Разве преступление перед

лицом смерти сказать любимому человеку: «Я люблю, люблю тебя!» Не искушать, не соблазнять пришел я тебя, а только сказать, что я тебя бесконечно люблю, что ты моя единственная вера, единый Бог, единое счастье! Что ты далека, как солнце, что я не ищу тебя и что одно мое желание, чтобы ты узнала, что было сердце, только тобою полное, только тебе отданное!.. О, Ирина, — страстным стоном вырвалось у него, — разве это преступление? Пусть приговор произнесет Бог, но я люблю, люблю... — И он протянул руки. — Только сказать — и умереть!..

Ирина была уже около него. Она вся дрожала.

— Умереть? Нет, нет, я не хочу этого, Левон! Только сказать, только сказать... — замирающим голосом произнесла она, горячими сухими руками беря руки Левона.

— А, — прошептал Левон, — прости... Я счастлив... — Он тихо привлек ее к себе... — Теперь прощай...

— Прощай...

Чудный вихрь захватил Левона, и он прижался губами к ее губам.

Но это было одно мгновение. Она с силой вырвалась из его объятий.

— О, не надо! Не надо! — почти с ужасом прошептала она. — Мы безумны!

Левон, тяжело дыша, сделал шаг назад.

— Ты права, уйди, — упавшим голосом сказал он.

С невыразимой нежностью княгиня взглянула на него.

— Прощай, прощай навсегда! — тихо сказала она. — Мне осталось только молиться, — и с подавленным рыданием она выбежала из комнаты...

Закрыв лицо руками, Левон в отчаянии опустился на диван.

«Ну, вот, — говорил он себе, — последнее слово сказано. А дальше?»

Он долго сидел, словно застыв и душой и телом...

Когда он вышел, танцы уже кончились и гости собирались к ужину.

Он взглянул на Ирину. Ее лицо прямо сияло. Она казалась счастливой и радостной.

Ужин прошел для Левона, как сон. Он много пил, отвечал на какие-то здравицы. Пили за его здоровье, за здоровье его товарищей, уезжавших с ним вместе в армию, за армию и победы... Музыка на хорах играла... Веселые голоса сливались в общий гул.

Уже всходило солнце, когда из гостеприимного бахтеевского дворца уехали последние гости...

— Видишь, как все хорошо вышло, — весело сказал старый князь.

— Очень хорошо, дядя, — ответил, смотря в сторону, Левон, — а теперь мы попрощаемся.

— Как? Когда же ты едешь? — спросил Никита Арсеньевич.

— Через час или два, — ответил Левон. — Мы так сговорились с Новиковым.

— А как же Ирина? — спросил князь. — Она будет обижена, что ты не простился с ней.

— Мы простились сегодня, — ответил Левон, — княгиня знает, что я еду рано утром.

— А-а, — произнес князь.

— Прощайте, дядя, — сказал Левон.

— Прощай, мой мальчик, — растроганным голосом промолвил князь, — храни тебя Бог. Но не прощай, а до свидания. Быть может, увидимся летом за границей. Пиши, если что надо, в деньгах не стесняйся.

Князь крепко обнял Левона и расцеловал. Он даже не хотел ложиться спать, желая проводить племянника, но Левон настоял, чтобы князь пошел отдыхать.

— Мне будет легче, дядя, уехать одному. Долгие прощания — лишние слезы. Благодарю вас за все.

— Ну, как знаешь, — ответил князь.

Он еще раз обнял племянника и ушел.

Левону действительно было легче не видеть князя...

Вчера Новиков сказал ему, что готов ехать в любой час и только ждет его.

— Ну, вот я и разбужу беднягу, — невольно усмехаясь, подумал Левон.

Он заготовил рапорт в военное министерство, приказав отвезти его сегодня, велел собрать свой походный багаж и через час уже выехал из этого дома, где так много пережил за немного дней.

Было чудесное весеннее утро, когда Левон и Новиков выехали за заставу. Новиков зевал и хмурился. Бахтеев, наоборот, был нервно оживлен и без умолку говорил.

Недалеко отъехав от заставы, они увидели впереди роскошную карету с княжескими гербами.

— Кто бы это мог быть? — произнес Новиков.

— Посмотрим, ну-ка обгони, — крикнул Левон кучеру.

До первой станции они ехали на княжеской тройке.

Их коляска быстро обогнала карету, и друзья успели разглядеть в окне бледное лицо «пророка» и княгиню Напраксину в темной шали.

— Кто кого похищает? — засмеялся Новиков.

Но Бахтеев нахмурился. Эта встреча показалась ему дурным предзнаменованием и пробудила в его душе много тяжелых воспоминаний...

«Скорей, скорей вперед! — с тоскою думал он, — туда, в неведомую даль, к неведомой судьбе».

— Гони всю! — громко крикнул он.

Ямщик привстал, гикнул, чистокровные кони рванулись, сильнее зазвенели колокольцы, и тройка понеслась, взметая за собой клубы пыли...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Только что загоралась весенняя розовая заря над маленьким силезским городком Бунцлау, утопавшим в садах, едва покрытых молодой листвой.

В глубине просторного сада на крыльце небольшого двухэтажного дома показалась совсем юная девушка. Ей могло быть лет шестнадцать — семнадцать. Великолепные золотистые волосы ее, заплетенные в две тяжелые косы, падали ниже пояса. Темные голубые глаза, окаймленные черными ресницами и бровями, смотрели открыто и весело. Но в очертании ее полудетского рта и твердого подбородка виднелись энергия и решимость.

Огромная лохматая собака неопределенной породы с радостным лаем бросилась к молодой девушке.

— Тсс! тише, Рыцарь! — лаская собаку, произнесла девушка. — Тише, так ты разбудишь наших гостей.

Собака словно поняла слова своей хозяйки и замолчала, ласково вилая хвостом.

Девушка легко сбежала с крыльца, пробежала по саду к забору и, подпрыгнув, ловко ухватила за его верхушку, подтянулась на руках и, поставив ноги на поперечный брус, нагнулась на улицу.

На улице было тихо и пустынно. Утренний ветерок слегка колебал русские и прусские флаги, украшавшие фасады домов и заборы.

В эти дни на маленький, никому раньше не ведомый городок было обращено внимание всей Европы. 6 апреля во главе главной армии в Бунцлау прибыли из Калиша русский император, фельдмаршал князь Кутузов со своим штабом и прусский король. Александр, встреченный, как и везде на своем пути, с восторгом и триумфом, остановился здесь на несколько дней, чтобы дать некоторый отдых главной армии, насчитывавшей, впрочем, в своих рядах, несмотря на громкое название «главной», немногим больше восемнадцати тысяч, и подождать известий от других отря-

дов, действия которых были согласованы с действиями главной армии, направлявшейся на столицу Саксонии Дрезден. Прусский корпус Блюхера передовыми отрядами уже занимал памятную Пруссии Иену, Геру и Плацен, сторожа дорогу в Гоф. Русский отряд Винцингероде находился в Лейпциге, действуя на сообщения вице-короля Евгения, и граф Витгенштейн раскинулся по берегу Салы. Между тем было получено известие, что французские войска сосредоточиваются между Вюрцбургом и Эрфуртом, угрожая союзному левому флангу со стороны Гофа.

Все это волновало государя, нетерпеливо рвавшегося вперед, и еще более старого, осторожного фельдмаршала. К этому присоединилась еще болезнь фельдмаршала. Он слабел не по дням, а по часам, уже не мог сесть на лошадь и с трудом сидел в коляске при въезде в город, едва отвечая на восторженные крики:

— Да здравствует «дедушка»!

— Да здравствует Кутузов!

Молодая девушка смотрела на пустынную улицу. Город просыпался. Издали прозвучала труба. Послышался со стороны лагеря рокот барабанов, ржание коней.

Молодая девушка была дочерью старого скрипача, учителя музыки Готлиба Гардера-Герта. Старый Готлиб вынужден был год тому назад покинуть Берлин, где у него были хорошие заработки, и поселиться в Силезии, так как навлек на себя подозрение французской полиции в принадлежности к тайному обществу Тугенбунд. Поселившись в Бунцлау, он кое-как перебивался, частью грошовыми уроками, частью работами Герты — вышивками и шитьем. Скромный заработок давал им средства к существованию. Они арендовали на окраине города небольшой домик, верхний этаж которого обыкновенно сдавали.

В настоящее время жильцами старого Готлиба были трое русских офицеров, принятые как стариком, так и его дочерью с истинным восторгом.

Молодая девушка, стоя на заборе, тихонько напевала:

Durch marshiren,
Einquartiren,
Alimentieren,
Requisiren,
Einscribiren,
Frau entführen,
Haus verliren,

Nicht resoniren,
Und doch illuminiren,
Das ist zum krepiren¹.

Последние слова песни девушка пропела с особенным чувством, и в ее голосе послышались слезы.

— Bravo, bravo, фрейлейн Герта! — раздался за ней веселый голос. — Я и не знал, что вы так прелестно поете.

Девушка обернулась, слабо вскрикнула и, вся вспыхнув, неловко соскочила с забора и чуть не упала, от чего сконфузилась еще больше.

Перед нею в полной парадной форме стоял молодой русский офицер.

— Ах, господин Новиков! — воскликнула она, — как вам не стыдно подслушивать.

— Подслушивать, — смеясь, ответил Данила Иванович. — Сперва, правда, вы только мурлыкали, а кончили так громко, что, я думаю, в доме слышно. Ну, с добрым утром.

И он протянул Герте руку.

— С добрым утром, — ответила Герта, пожимая руку молодого офицера. — Однако как вы рано встали. А ваши друзья еще спят?

— Встают, — отозвался Новиков.

— Ну, как чувствует себя ваш князь? — непринужденно начала Герта. — Отчего он всегда такой печальный? У него, наверное, осталась в России невеста? Да? Вот мой двоюродный брат Фриц (он поступил теперь в ландвер) тоже все вздыхает. Он был студентом в Гейдельберге, и там у него невеста. Нет, если бы я полюбила, я пошла бы за любимым человеком на войну...

¹ В переводе современника, автора известных записок, сопровождавшего в походе императора Александра I статс-секретаря и адмирала А. С. Шишкова:

Мимо проходят,
Дай им постой,
Накорми да напой;
Тут тебя схватят,
В солдаты возьмут,
Жену уведут,
Весь твой скарб и дом
Опрокинут вверх дном,
Согнут тебя в дугу,
Все, все им в горло суй,
Молчи, — ни гу-гу,
И еще иллиминуй;
Ну, право, лучше смерть,
Чем это терпеть.

Герта весело болтала, но при последних словах ее глаза потемнели, и лицо приняло решительное выражение.

Новиков смотрел на нее, и на его энергичном лице ясно выразилось восхищение.

— Нет, фрейлейн Герта, — ответил он, — у князя не осталось невесты в России. У него просто меланхолический характер. Так вы бы пошли на войну? — спросил он.

— Пошла бы, — тряхнув своими великолепными косами, произнесла Герта. — Но, однако, — закончила она, — раз вы и ваши друзья уже встали, надо подумать о завтраке.

— Очень хорошо, — сказал Новиков. — Тем более что мы торопимся в штаб.

— В таком случае — бежим, — крикнула Герта. — Рыцарь, за мной.

И она побежала к дому. Новиков поспешил за ней.

II

Князю Бахтееву с Новиковым пришлось потратить значительно больше времени, чем они предполагали, прежде чем им удалось добраться до главной квартиры. Прежде всего, главнейшее затруднение составляло отсутствие почтовых лошадей, всеобщая неурядица, карантин. А когда они переехали русскую границу, то получили самые неопределенные и противоречивые сведения о местопребывании главной квартиры. Положим, это объяснялось очень просто. Император стремительно двигался вперед, и сегодня был здесь, а завтра уже на пятьдесят верст впереди. Наконец, после долгих блужданий друзья нагнали главную квартиру на походе из Калиша, в одном переходе от Бунцлау. Но добраться до штаба им удалось только по его прибытии в город. Тут начались новые мытарства. Двухэтажный домик на углу Schlosstrasse и улицы Николая, где остановился фельдмаршал, походил на осажденную крепость. Прусские и русские офицеры всех родов оружия наполняли небольшие приемные в нижнем этаже, узкий двор, толпились на улице. Бесперывно прибывали курьеры от армии графа Витгенштейна, от отряда Блюхера и снова неслись назад с приказаниями фельдмаршала. Никто не обращал внимания на прибывших из России молодых офицеров. С ними едва разговаривали, нетерпеливо отмахиваясь от них. Они даже не знали, где могут остановиться на постой. Князя Бахтеева обидно поразило то, что к прусским офицерам относились гораздо внимательнее. В то время как городские

власти предупредительно предоставляли бесплатные помещения приезжавшим прусским офицерам, русские должны были сами заботиться о себе. Военное начальство тоже не принимало в них участия. Офицеры рыскали по городу. Прусские офицеры, несмотря на братство по оружию, заметно держались особняком, всюду стараясь выдвинуться на первое место, в чем, к обидному удивлению русских, их словно поощряло военное начальство. Это было дурно понятое великодушие русского императора. Вступая как освободитель на прусскую территорию, Александр хотел щадить самолюбие униженного народа и выразил желание, чтобы русские войска относились со всевозможным вниманием к своим союзникам. Ближайшие начальники довели это до крайности и при малейшем недоразумении принимали сторону немцев. Усердие дошло до того, что из Эльбинга, где была главная квартира Витгенштейна, пришел приказ, которым предписывалось, чтобы все командиры отдельных частей представляли от местных немецких властей, где квартировали их отряды, свидетельства о хорошем поведении!

Этот приказ был подписан дежурным генерал-майором и кавалером фон Ольдекопом.

Но в то время как офицеры регулярной немецкой армии и зажиточные бюргеры и фермеры вели себя заносчиво и недоверчиво, простое население и ополченцы радушно и радостно встречали своих будущих освободителей. Получалось странное явление: официальная Пруссия во главе с самим королем относилась к русским недоверчиво и высокомерно, тогда как народ видел в них друзей. Во главе народного движения стоял знаменитый Штейн, как бы второй король Пруссии, которого венчанный король Фридрих-Вильгельм явно не любил и опасался.

На помощь друзьям явился случайный знакомый, молодой офицер кирасирской дивизии из колонны генерала Торماسова поручик Зарницын. Зарницын как раз состоял при генералквартирмейстере и, встретив друзей во дворе штаба, выручил их. Он предусмотрительно за день до вступления армии в Бунцлау успел снять у Гардера верх, состоявший из двух комнат, и предложил друзьям поселиться у него. Конечно, они с благодарностью приняли это предложение.

В тот же день они стали друзьями. Семен Гаврилыч Зарницын непрерывно совершил весь поход от самой Москвы. Он уже огляделся вокруг и был очень полезен своими советами.

Герта хозяйничала за столом, разливая кофе. Старый Готлиб, высокий, сухой, с худым лицом и длинными седыми волосами, падавшими ему на плечи, сидел в глубоком кресле. Его истощенное лицо с глубоко запавшими глазами было печально и задумчиво. Князь Бахтеев, действительно, имел угрюмый и мрачный вид. Он заметно осунулся, и его лицо приобрело неприятное жестокое выражение. Новиков и Зарницын, напротив, были очень оживлены. Новиков не переставая болтал с Гертой, кормил и ласкал Рыцаря, а Зарницын, худощавый блондин с открытым, смелым лицом, поддерживал его веселыми шутками.

Окна маленькой столовой с одной стороны выходили на улицу. Городок уже проснулся. На улице было заметно оживление. То и дело скакали всадники, прошел взвод grenадер, очевидно, занять караул. С плетеными сумками шли хозяйки за провизией.

— Скоро у вас опустеет, — сказал Новиков, смотря в окно.

— Да, — ответил Готлиб, — все, кто имеет силы держать в руках оружие, уйдут туда, — и он сделал неопределенный жест рукою. — Останутся только женщины, дети и старики, как я. Вот когда я тоскую о своей молодости и еще о том, что у меня нет сына, — грустно закончил он.

Герта вспыхнула и низко опустила голову. Новикову показалось, что на ее глазах блеснули слезы. Ему стало жаль ее.

— Вы должны благодарить Бога, господин Гардер, — сказал он, — за то, что у вас есть дочь. Отечество требует не только крови своих сыновей, но героизма и самоотверженности своих дочерей, их забот, их мужественного сердца, вдохновляющего мужчин на битву.

Готлиб бросил на Герту полный любви взгляд.

— Вы не так меня поняли, господин офицер, — ответил он. — Я хотел бы, кроме дочери, еще иметь сына, чтобы отдать все на жертву родине, так как у меня ничего нет иного. Сам я никуда не гожусь...

Герта совсем притихла, не поднимая потемневших глаз от недопитой чашки с кофе.

Бахтеев взглянул на часы и встал.

— Однако нам пора, — сказал он. — Благодарю вас, господин Гардер, благодарю вас, фрейлейн Герта.

Зарницын и Новиков поднялись тоже.

— Действительно, пора, — произнес Зарницын. — До свидания.

Они поклонились и вышли.

Герта молча убирала со стола. Готлиб задумчиво сидел, опустив голову.

— Да, — прервал он наконец молчание, — у нас ничего нет, что могли бы мы пожертвовать отечеству. Герта, — продолжал он, и его голос дрогнул, — у меня есть еще моя старая скрипка... она дорогая... Я стар, пальцы меня уже не слушают... продай скрипку...

Его голос оборвался.

Герта порывисто выпрямилась. Она знала, что скрипка была, после нее, лучшим сокровищем старика. Она знала, что эта скрипка в минуты тоски, уныния и горя была единственной отрадой и утешением старика...

— Никогда, отец, — решительно сказала она, тряхнув головой. — Никогда! Я уже думала... и мы, быть может, найдем что-нибудь.

— Найдем, — грустно повторил старик. — Ты знаешь, я лишился теперь последних уроков, у тебя тоже теперь мало работы... Ведь не можем же мы взять деньги с русских офицеров, принесших нам свою кровь!

— Нет, — покраснев, сказала Герта, — мы не возьмем с них денег. Мне князь сказал, что они не обременят нас. Он, очевидно, хотел говорить о плате, но я отклонила этот разговор. Нет, я надеюсь на другое.

Готлиб вопросительно смотрел на дочь.

Герта, видимо, была смущена.

— Я встретила вчера жену городского советника Мельцер, — в смущении произнесла она. — Фрау Мельцер сказала, что у нее много работы, и велела мне зайти сегодня. Я сейчас пойду к ней, — торопливо добавила она.

Старик покачал головой.

— Этот толстый Мельцер дурной человек, — сказал он, — при его богатстве он с трудом пожертвовал двадцать талеров и всячески бранит Штейна за войну. Говорит, что король никогда бы не согласился, если бы не Штейн. Еще бы, он богат... Ему все равно, что король, что Наполеон. Он всюду говорит, что война одно разорение, что мирным гражданам и так хорошо живется, а Наполеона все равно не победить... Не стоит и идти к нему... — закончил старик.

— Я все же пойду, отец, — ответила Герта, — его жена, кажется, хорошая женщина.

— Ну, что же, иди с Богом, — произнес Готлиб.

Герта поцеловала отца, взяла в руки плетеную сумку, накинула на голову темную косынку, позвала Рыцаря и вышла.

III

На улице было большое оживление. Все словно куда-то торопились. Особенно много народу направлялось по большой улице к ратуше, где записывались ополченцы и принимались пожертвования. По дороге Герта встречала и ополченцев в серых и черных куртках, высоких сапогах, в разнообразных шапках, на которых виднелся жестяной крест с надписью: «С Богом за короля и отечество».

Некоторые из ополченцев шли с ружьями, другие были опоясаны саблями, с пистолетами в чехлах. Были и с пиками. Вид у всех был веселый и бодрый.

Герта шла быстро, не останавливаясь, но совсем не к дому советника Мельцера. Она остановилась на углу у дверей маленькой парикмахерской. На пороге, глаза на толпу, стоял молодой человек. Увидя Герту, он радостно улыбнулся и низко поклонился.

Это был парикмахер Ганс.

— С добрым утром, фрейлейн Герта, — начал он, — куда спешите?

В этом квартале маленького городка все знали друг друга, тем более Герту, которая сама ходила на базар и шила на многих. А парикмахеру Гансу удалось даже один раз причесать ее, когда она в прошлом году собиралась на свадьбу соседской дочери. Кроме того, как профессионал, он любовался тяжелыми волосами Герты и уверял, что таких кос нет больше в Бунцлау, да мало, пожалуй, найдется и во всей Пруссии.

— Нет, Ганс, — ответила Герта, — я прямо к вам.

— Ко мне! — воскликнул радостно Ганс, — милости просим. Уж не предстоит ли в ратуше бал по случаю пребывания высоких гостей? Ну, что ж! Из ваших волос, фрейлейн Герта, мы сделаем восьмое чудо света. Вы будете красивее покойной королевы. Милости просим.

Он пропустил в свою лавочку молодую девушку с Рыцарем, который в этой местности пользовался не меньшей известностью, чем его хозяйка.

Герта не торопясь сняла со своих роскошных волос косынку, положила на стул сумку и, обратившись к Гансу, сказала:

— Так вы находите, что мои волосы хороши?

— Единственные! — в увлечении воскликнул Ганс.

— А сколько могли бы стоять такие волосы? — улыбаясь, спросила Герта.

Ганс бросил на тяжелые косы взгляд знатока, слегка коснулся их мягкой волны и серьезно сказал:

— За такие волосы было бы мало дать десять талеров.

— Ну, так вот, — произнесла Герта, — возьмите эти косы и дайте мне десять талеров.

Ганс даже отшатнулся, широко раскрыв рот.

— Вы шутите, фрейлейн, — растерянно произнес он, — я никогда не решаюсь на это!

— Почему? — серьезно спросила Герта. — Разве вам никогда не приходилось стричь женщин?

— Да... но... вы... такие волосы... — в смущении бормотал Ганс. — Я не могу... Было бы преступлением покупать такие волосы. Это все равно, что оскальпировать человека за деньги. А я не дикарь! — с гордостью закончил Ганс.

— В таком случае я вам не продаю волос, а прошу только остричь меня, — сказала решительно Герта. — Если же вы отказываетесь, я сделаю это сама, — и она быстрым движением взяла со стола большие ножницы.

— О, фрейлейн! — воскликнул Ганс, — ради Бога! Хоть не портите... если вы настаиваете, я остригу... Но не куплю! Никогда не куплю!

— Хорошо, — сказала Герта, садясь на стул. — Потопитесь.

Со вздохом, дрожащими руками Ганс поднял одну косу, потом другую... Как золотые змеи, упали на пол тяжелые косы.

— Теперь подровняйте, — скомандовала Герта.

Все вздыхая, Ганс стал подстригать Герту. Когда все было кончено, Герта посмотрела в зеркало. Она была заметно бледна. Ей нелегко было расстаться с этой гордостью женской красоты. В первую минуту она не узнала себя. Лицо приобрело словно новое, незнакомое выражение, голова стала меньше, а глаза казались больше. Несколько мгновений Герта с изумлением смотрела на себя. Но потом лицо ее приняло веселое выражение, она по привычке тряхнула головой и засмеялась.

— А ведь так гораздо легче, дорогой Ганс, — сказала она. — Благодарю вас. Однако сколько я вам должна?

Но Ганс только печально и укоризненно покачал головой.

— Ну, как хотите, — произнесла Герта. — Так не купите?

— Не могу, фрейлейн, — ответил Ганс.

— Так до свидания и еще раз спасибо, а косы — сюда.

И Герта раскрыла сумку. Ганс бережно опустил в нее косы.

Герта подвязала косынку, пожала руку Гансу и бодро вышла из лавочки.

В просторном зале ратуши было тесно. Толпа почти исключительно состояла из женщин. За большим столом сидел пастор и один из городских советников и принимали пожертвования. Перед ними были грудями навалены кольца, серьги, браслеты, различная серебряная и золотая утварь — кубки, тарелки, кофейники и проч. На другом конце стола лежали также грудой железные кольца с заветной надписью:

«Gold gab ich für Eisen».

Герте долго пришлось ждать очереди, хотя все делалось быстро и просто. Женщины молча клали на стол принесенные вещи и отходили к другому краю, где выбирали железное кольцо.

Но чем ближе подходила очередь, тем чувство робости и стыда все более овладевало Гертой. И когда, наконец, она очутилась на виду у самого стола, со своей сумкой в руке, она вдруг растерялась до такой степени, что не могла произнести ни слова.

Пастор в недоумении поднял на нее глаза, но, заметив ее смущение, ласково произнес:

— А вы что, мое дитя? Вы что-то хотите сказать?

— Да... я, — начала взволнованно Герта, теребя свой мешок. Но, увидя улыбочки, промелькнувшие на некоторых лицах, вдруг овладела собой и закончила: — У меня нет золота и серебра, как у этих дам. Я принесла, что могла.

Она раскрыла свою сумку и положила перед изумленными членами комитета на стол две тяжелые золотые косы. Окружающие с любопытством вытянули шеи.

— Вот, — продолжала Герта, — это мои волосы. Парикмахер сказал, что они стоят дороже десяти талеров. Я больше ничего не имею.

Шепот удивления пробежал в толпе. Члены комитета молча смотрели то на молодую девушку, похожую теперь на Эндимиона или Ганимеда, то на лежащие на столе пышные волосы.

Первый пришел в себя пастор.

— От имени родины благодарю вас, прекрасное дитя, — в волнении начал он. — Эти волосы стоят дороже, они стоят бесконечно дороже, как выражение высокого чувства!

Он торопливо отошел к концу стола, взял горсть железных колец и, подойдя к Герте, сказал:

— Дайте вашу руку. Никогда это святое кольцо не отдавалось за более благородную жертву.

Он выбрал из кучки колец небольшое кольцо и сам надел его на тоненький пальчик смущенной Герты.

— Да благословит вас Бог, дитя, — торжественно произнес он. — Скажите нам ваше имя.

— Дочь музыканта Гардера Герта, — тихо ответила девушка.

На нее уже смотрели с почтением. Пожертвовать кольцом или серьги — это довольно просто, но расстаться с таким природным украшением, отдать часть своей красоты — это слишком большая жертва для женщины. Недаром сами бессмертные боги пожалели великолепные волосы красавицы Вереники и обратили их в блистающее созвездие.

Не одна из присутствовавших женщин в глубине души решила, что была бы неспособна на такую жертву...

Радостная и гордая вышла Герта на улицу. Словно она исполнила долг, давно тяготевший над нею. Одно ее удивляло — это, как казалось ей, преувеличенность похвал. Правда, она с грустью расставалась со своими косами, которыми любовались даже встречные, но все же это не стоит таких похвал. Она с гордостью глядела на свое железное кольцо.

Дожидавшийся ее на улице Рыцарь словно понял ее настроение и встретил ее радостным лаем.

Но Герта не была бы женщиной, если бы ее изредка не тревожила мысль, не очень ли обезобразила она себя и как взглянет на нее теперь этот красивый русский офицер?

IV

В просторной комнате, с окнами, выходившими в сад, у стола в глубоком мягком кресле сидел главнокомандующий союзными армиями светлейший князь Кутузов-Смоленский. На нем была теплая серая куртка с фельдмаршальскими погонами, украшенная Георгиевской звездой. Ноги фельдмаршала, укутанные меховым одеялом, покоились на высокой подушке. Одутловатое желтое лицо князя с отвислыми щеками и тройным подбородком имело болезненный и угрюмый вид. На широком лвином лбу резко легла между бровей глубокая складка. Только единственный глаз светился по-прежнему затаенной, глубокой невысказанной думой...

С каждым днем фельдмаршалу становилось хуже. Он не испытывал никаких страданий, но силы его быстро таяли. Он с большим трудом уже мог подниматься с кровати или кресла. Он угасал заметно для всех окружающих. Но острый и проницательный ум его не мерк. Старый воин даже с ложа смерти зорко следил за событиями... Но он был одинок. С ним считались теперь только для вида.

На другом конце стола, окруженный бумагами, сидел молодой генерал в мундире с Аннинской звездой и Георгием в петлице. Это был любимец светлейшего, его бывший ученик в сухопутном кадетском корпусе, а теперь адъютант и помощник начальника его штаба, Карл Федорович Толь.

Бледное лицо Толя было гладко выбрито. Высокий кок надо лбом искусно взбит, височки ровно зачесаны вперед. Новый мундир застегнут на все пуговицы. В этом отношении Толь старался подражать императору, которого никто, даже в походе, при всех неудобствах военной жизни, не видел в неряшливом виде. Между тем Толь не был штабным франтом. Он прошел суровую боевую школу, начиная с итальянского похода бессмертного Суворова, где он сумел заслужить похвалу великого вождя и дружбу «не знавшего страха» Милорадовича, и кончая компанией минувшего года.

Толь сидел неподвижно, не прерывая молчания. А фельдмаршал не отрываясь смотрел на лежавшую перед ним на столе карту, и его старческие губы шевелились, словно он что-то шептал.

Из соседних комнат доносился гул сдержанных голосов, в открытые окна врвался заглушенный шум улицы за садом.

— Да, — произнес словно про себя фельдмаршал, откидываясь на спинку кресла, — пора остановиться.

— Что изволите сказать, ваша светлость? — спросил Толь, наклоня голову.

Кутузов взглянул на него и, слабо ударяя обессиленной рукой по карте, раздраженно произнес:

— Ну да, конечно, перейти Эльбу легко!.. Да как вернуться? С рылом в крови!.. Вперед! Вперед! — продолжал он. — Освободили Берлин — угодили немцу, да кой черт в этом! Да их Блюхеру вахмистром быть, а не армией командовать... Этот генерал «вперед»... А я бы ему по... — Он тяжело перевел дух, потом закрыл глаза и коротко приказал: — Пиши, графу Витгенштейну.

Толь наклонился над столом и написал титул бумаги.

— Когда маршал Ней двинется к Дрездену из Франкони, — медленно диктовал фельдмаршал, — тогда, без всякого сомнения, корпус, концентрированный около Магдебурга, сделает диверсию на Берлин. В сем случае, не обращая на сие движение никакого внимания, извольте помышлять только о соединении с Блюхером и с главною нашей армией. Отделяясь же от Дрездена, ослабите в сем месте силы наши так, что неприятель будет в состоянии прорваться чрез Эльбу и открыть сообщение с Варшавским

княжеством. Оставя же Берлин несколько и на воздухе, удержите нашу главную операционную линию.

Кутузов замолчал.

— Король прусский не согласится оставить свою столицу «на воздухе», — заметил Толь, — его величество тоже.

— Тогда припиши: «Прусский двор сам видит необходимость сего», — спокойно добавил Кутузов.

Толь с удивлением взглянул на старого фельдмаршала, но не посмел задать вертевшийся на языке вопрос.

В это время на пороге показался молоденький адъютант и доложил:

— Лейб-медик его величества короля прусского профессор Гуфеланд просит позволения войти к вашей светлости.

Кутузов промолчал, пожевал губами и потом произнес с легкой иронией:

— Что ж, пусть войдет. Не будем обижать нашего дорогого союзника.

Адъютант исчез и через минуту пропустил в комнату человека в длинном черном сюртуке, с холодным важным лицом, с острыми, блестящими глазами.

Он низко поклонился фельдмаршалу.

— Как чувствует себя ваша светлость? Его величество очень обеспокоен.

— Его величество очень добр, — ответил Кутузов. — Я чувствую себя прекрасно, дорогой профессор. Ваши порошки действуют чудесно.

Гуфеланд взял стул и сел рядом с фельдмаршалом.

Несколько мгновений он пристально глядел в лицо князя, потом попробовал его пульс и наконец сказал:

— Лихорадка еще не прошла, но она пройдет. Будем продолжать. Ваша светлость одержит еще не одну блистательную победу... Я пропишу вам еще микстуру.

Гуфеланд подошел к столу и начал писать рецепт.

Кутузов следил за ним, и легкая полупечальная, полунасмешливая улыбка скользила по его пухлым губам.

Гуфеланд кончил и встал.

— Вечером я еще навещу вашу светлость.

Кутузов кивнул головой.

— Скажите, профессор, — вдруг спросил он, — что по вашему мнению, делает актер, сыграв свою роль?

Гуфеланд остановился и с удивлением взглянул на князя.

— Но я думаю, ваша светлость, что тогда он уходит со сцены, — ответил профессор.

— Вот именно, — медленно произнес Кутузов, — тогда он уходит со сцены. До свидания, дорогой профессор, до вечера.

Он снова кивнул головой и наклонился над картой.

Гуфеланд поклонился и вышел.

Когда дверь за ним закрылась, Кутузов поднял голову и, указав взором на лежащий на столе рецепт, сказал:

— Брось это, Карлуша, туда же.

Толь молча встал, взял рецепт, разорвал его и бросил в камин. Это проделывалось со всеми рецептами знаменитого профессора. Сперва Толь пробовал возражать, убеждал испытать действие лекарства, но встречал в ответ короткое «брось».

И в глубине души он чувствовал, что его старый покровитель и вождь прав. Еще живой, он уже уходил из жизни. Он был лишним. Это чувствовал не только он сам, но и все окружающие его. Окруженный почти царственным почетом, облеченный, казалось, неограниченной властью главнокомандующего, он был лишний и ненужный человек. Его приказания принимались с видимой почтительностью и отменялись государем. Командующие армиями не исполняли его распоряжений, хотя спрашивали их и аккуратно посылали рапорты, а ждали инструкций из квартиры императора. словно в насмешку, император спрашивал его советов после того, как уже отдавал распоряжения. Старейшие генералы армии — Тормасов, Милорадович, Барклай де Толли, граф Витгенштейн — уже интриговали при главной квартире и между собою за приз власти главнокомандующего. Той же чести добивался и старый Блюхер. В то же время государь, лаская его и выказывая ему внешние знаки величайшего уважения, писал Салтыкову: «Слава Богу, у нас все хорошо, но несколько трудно выжить отсюда фельдмаршала, что весьма необходимо».

И все это видел, понимал и чувствовал умирающий старик... И на все смотрел взглядом старого мудреца, уже переступившего одной ногой за грань вечности. Только в редкие минуты в нем пробуждался старый, опытный вождь, и тогда он широко и смело развивал свои планы, но, встречая почтительно-насмешливое противодействие, снова погасал и выслушивал самые нелепые распоряжения, наклоняя в знак согласия свою думную голову...

Толь перебирал лежавшие на столе бумаги, делая на некоторых пометки, из других — выписки, а часть откладывая для личного доклада фельдмаршалу или начальнику

штаба главнокомандующего князю Петру Михайловичу Волконскому.

Откинувшись на спинку кресла, с закрытыми глазами, фельдмаршал, казалось, дремал. Несколько раз Толь нетерпеливо взглядывал на него, но не осмеливался тревожить, между тем как в приемной дожидалась масса народу. Некоторых князь сам хотел принять лично, другие надеялись на эту честь. Отодвинув бумаги, Толь стал просматривать список лиц, которых фельдмаршал хотел принять лично. Тут были генералы Тормасов и Дохтуров, главные начальники расположившейся у Бунцлау главной армии, несколько почтенных генералов, лично известных фельдмаршалу, старых соратников Суворова, теперь затертых прусскими интригами, и еще молодой князь Бахтеев, о котором были получены Кутузовым личные письма от его друга, старого князя Никиты Арсеньевича, и канцлера Румянцева.

Время шло, а Кутузов, кажется, задремал на самом деле. Из этого томительного ожидания Толя вывели неожиданно раздавшиеся восторженные крики: «Ура!» и «Hoch!», «Да здравствует император! Да здравствует король!»

Это прибыли союзные монархи для обычного каждодневного посещения фельдмаршала

Кутузов вздрогнул, открыл глаза и сделал движение встать, но сейчас же откинулся в кресле. Он был очень слаб. Крики не смолкали

Толь вскочил с места и бросился к дверям.

За дверями послышалось движение, твердые, быстрые шаги. Двери распахнулись, и Толь увидел перед собою союзных монархов

Император на мгновение приостановился пропуская вперед прусского короля

V

Тяжело опершись обеими руками на стол, Кутузов снова сделал попытку встать, но Александр быстрыми шагами подошел к нему и, положив ему на плечо руку, ласково сказал своим грудным, слегка глуховатым голосом

— Сидите, Михаил Илларионыч, вам вредны движения.

— О да, — совершенно деревянным голосом произнес Фридрих-Вильгельм, едва наклоняя голову

На его длинном, угрюмом лице с низким лбом и тупым подбородком оставалось обычное упрямое и надменное выражение. Он весь был похож на деревянную куклу прямой,

сухой, с резкими, угловатыми движениями. Но, однако, эта спина умела очень низко и гибко склоняться в Тильзите перед грозным победителем под Иеной, и это деревянное лицо могло расплываться в подобострастную улыбку во время дружеских бесед с камердинером Наполеона в Дрездене, когда прусскому королю, особенно нелюбимому императором Запада, приходилось, чтобы добиться аудиенции, являться во дворец на дежурство в такой ранний час, когда просыпались одни лакеи.

Заметив Толя, император кивнул головой и ласково сказал:

— Здравствуй, Толь.

Фридрих только взглянул и не счел нужным ответить на глубокий поклон русского генерала.

Тихонько, пятясь к дверям, Толь незаметно вышел.

— Ну, что ж, — весело заговорил император, — все слава Богу.

— Все слава Богу. как эхо повторил старый фельд-маршал.

— Наши войска бодро идут вперед, — продолжал император. — Дрезден наш, мы занимаем Лейпциг, наши силы растут, и, Бог даст, к лету мы перейдем Рейн и внесем войну в пределы Франции! Настает час расплаты!

Серо-голубые глаза императора на одно мгновение приняли стальной, жесткий блеск, губы плотно сжались.

Александр ушел тридцать шестой год, но он казался гораздо моложе. Если бы не большая лысина, его можно было бы принять за юношу, до такой степени его фигура сохранила юношескую гибкость и стройность, а чистое прекрасное лицо — цвет юности.

Кутузов пристально смотрел на это так хорошо знакомое лицо императора, на эти большие глаза, имевшие свойство становиться почти прозрачными и непроницаемыми, на эти губы, то чувственные, то суровые, на длинный выдающийся массивный подбородок, так похожий в профиль на подбородок его великой бабки, и не мог решить вопроса, с какой целью говорит император эти до очевидности нелепые слова. Не может же он думать на самом деле, что Наполеон допустит союзников перейти Рейн с распушенными знаменами? Не может он думать и того, что Наполеон легко, без борьбы, позволит отнять у себя гегемонию над Западной Европой, когда у него есть Италия, Вестфалия, Бавария, все силы Рейнского союза, и когда Австрия еще не сказала своего последнего слова. Или император хочет оживить робкую душу этого хилого короля?

— Ваше величество, — начал Кутузов, — силы мои падают. Я уже не могу вести армий вашего величества. Плоть ослабела моя, но дух бодр. Страшный враг стоит перед вами. Он только притаился. Надлежит остановить армии, ждать резервов и прусских вспомогательных войск, которые сформировал Шарнгорст, а пуще всего склонить к союзу императора Франца и только тогда начать наступательную войну.

Александр кинул на прусского короля выразительный взгляд, как бы обращая его внимание на малодушие фельдмаршала, и ответил, хотя с улыбкой, но тоном, в котором сквозило неудовольствие:

— Дорогой князь, ведь всеми военными операциями мы руководили совместно с вами. Что касается Австрии, то Меттерних заверил нас, что если Австрия не присоединится к нам, то во всяком случае останется нейтральной. По последним сведениям, Наполеон не может рассчитывать на силы Рейнского союза, куда мы обратились с призывом к объединению. Италия волнуется. Король Мюрат, — это уже доподлинно известно, — бросил армию и уехал в Неаполь. Веллингтон теснит войска Наполеона в Испании. Истощенная Франция ропщет. Набор идет слабо... Его партия проиграна! От великой армии не осталось ничего! Наполеон не сможет задержать нашего наступления, если мы не будем терять времени. Поэтому я и говорю, что дорог каждый час. Так же думает и Блюхер.

— О да, — важно подтвердил король, — генерал Блюхер прирожденный вождь...

Государь встал.

— Поправляйтесь скорее, дорогой князь, и ведите нас снова к победам, — сказал он.

— Да, поправляйтесь, — подтвердил прусский король. — Гуфеланд подает большие надежды.

— Благодарю, ваше величество, — ответил Кутузов, низко наклоняя голову.

— Итак, — произнес государь, — завтра главная армия выступает на Дрезден.

Лицо старого фельдмаршала дрогнуло, но он промолчал.

— Я надеюсь еще поговорить с вами перед отъездом, — закончил государь.

Он дружески обнял фельдмаршала, король кивнул ему величественно головой, и монархи вышли из комнаты.

Стоявший в соседней комнате Толь слышал, как государь сказал пониженным голосом:

— Он очень слаб и физически, и духовно.

На что прусский король ответил:

— О да! Блюхер был бы больше на месте!

Александр кинул на него быстрый взгляд и ничего не ответил.

Когда Толь вновь вошел в кабинет, он увидел Кутузова словно еще больше одряхлевшего, с погасшим взором, неподвижно смотревшим в расцветающий под весенним теплом сад...

О чем думал в эти мгновения старый вождь, ярко, как никогда, осознавший сейчас, что он пережил самого себя?.. Слышался ли ему резкий голос великого Суворова в страшную ночь измайловского штурма:

— Михайло, я назначаю тебя комендантом Измаила!

И безумная атака среди огненного вихря турецких снарядов, диких криков: «Ура!», «Аллах! Аллах!»

И он во главе своих полков на неприступных твердых?.. Грезилась ли ему картины минувшего давно царствования великой царицы, блеск ее двора, тени ее сподвижников, великолепный князь Тавриды?.. Или видел он пылающую Москву и слышал злобное шипение врагов: «Развратный, выживший из ума старик, погубивший Москву и империю!..» Вспоминал ли неудовольствие государя, постоянные уколы самолюбию, посягательство на его славу!.. Весь тернистый путь славы, окончившийся здесь, у чужого рубежа, который он переступил без веры в необходимость начинаемого дела, с болью в душе за истощенную Россию, влекомую на новые ужасы войны во имя чужой свободы!

Вспоминал ли он слова, вырвавшиеся из глубины русского сердца, сказанные им государю при переходе Немана:

— Ваше величество, вы дали клятву не влагать меча в ножны, пока хоть один неприятель останется на земле русской. Неприятеля нет. Исполните вашу клятву — вложите меч в ножны!..

И холодное лицо императора, молча отвернувшегося от него...

— Я исполнил свой долг, я совершил свое назначение, — тихо прошептал старый вождь, — пора оставить сцену...

Толь хотел начать доклад, но Кутузов слабо махнул рукой и сказал:

— Я не могу ничем больше заниматься. Отошли все бумаги князю Петру Михайловичу

— Но, ваша светлость.. — начал Толь.

— Я сказал, — коротко произнес князь.

Толь замолчал, но через мгновение спросил:

— Угодно вашей светлости принять этих лиц?

И Толь положил на стол перед фельдмаршалом список.

Кутузов взглянул на него, и его лицо прояснилось.

— Ну как же, старых боевых товарищей! — сказал он. — Не надо отдавать их в жертву прусским вахмистрам. Пока я еще могу их устроить. Зови по порядку. Потом и молодого Бахтеева. Остальных отошли; я устал и никого больше не приму сегодня.

Толь вышел.

VI

Зарницын, придя в штаб, сейчас же отыскал знакомого адъютанта и попросил его помочь молодым людям узнать как-нибудь об их дальнейшей судьбе. Нелегко было вообще чего-нибудь добиться в такой сутолоке. Наверх, где были покои светлейшего, пускали только избранных, преимущественно курьеров из действующих армий, где ближайшие к князю дежурные адъютанты или сам Толь принимали их донесения, редко допуская до главнокомандующего. А в приемных нижнего этажа была вторая толпа народу. Тут были военные всех рангов и возрастов и всех родов оружия. Адъютанты едва успевали опрашивать, принимая от некоторых рапорты и прошения. Большинство военных были в старых, потрепанных мундирах, в грубых сапогах; по их загорелым, обветренным лицам, как и по костюму, можно было безошибочно определить, что они сломали весь поход. Но здесь эти герои чувствовали себя непривычно и неловко. Было заметно, что они не привыкли к штабной обстановке и, видимо, робели, разговаривая с важными, нарядными адъютантами. Среди этой толпы выделялись щегольски одетые в новенькие, блестящие мундиры прусские офицеры. Они держались в стороне, насмешливо поглядывая на оборванных русских офицеров и перекидываясь короткими замечаниями.

Ко всему равнодушный, Бахтеев невольно обратил на них внимание

— Посмотри, — сказал он Новикову, — похоже, что не мы пришли их спасать, а они оказывают нам великодушное покровительство.

Новиков передернул плечами.

— Они держат себя победителями, — ответил он. — Боюсь, как бы нам не перессориться с дорогими союзниками.

В это время к проходившему адъютанту подошел один из немецких офицеров и, остановив его, довольно резко произнес:

— Господин адъютант, я жду уже целый час. Соблаговолите доложить обо мне главнокомандующему.

— Вы курьер из армии? У вас донесения? — быстро спросил адъютант.

— Я не курьер, — ответил офицер, — но я адъютант генерала Блюхера.

— С донесением? — нетерпеливо переспросил адъютант. — Если с донесением, дайте его мне, я передам его начальнику штаба.

Немец вздернул голову.

— Я имею лично доложить главнокомандующему, — сказал он. — Прошу меня не задерживать. Я лейтенант гвардейского конного полка имени ее величества королевы Луизы барон Герцфельд.

— Очень рад, — сухо ответил адъютант, — но фельд-маршал слишком занят, чтобы выслушивать личные доклады каждого желающего. Напишите рапорт и подайте. А теперь позвольте мне пройти, — и, слегка отстранив изумленного барона, он прошел дальше.

Барон вернулся к группе своих товарищей и что-то начал говорить негодующим тоном. После его слов вся группа прусских офицеров, гремя саблями и гордо подняв головы, направилась к выходу.

Бахтеев с изумлением смотрел им вслед.

— Что же это такое? — невольно произнес он, — каждый прусский лейтенант считает, что главнокомандующий обязан его принять по первому слову.

Стоявший рядом пожилой полковник с седыми усами обратился к нему и сказал:

— Я всю русскую кампанию командовал батареей, а тут вдруг получил приказ сдать ее на пополнение прусских парков... Как же это, — в волнении продолжал он, — я каждое орудие в батарее по имени звал! И что ж теперь? Теперь и я без дела. Мало того, сколько им порошу да снарядов передавали, смотри, пожалуй, и до орудий добрались. Вот я и пришел к Михал Ларивонычу. С турецкой войны знает меня. Не таковский — не выдаст.

К разговору присоединились и другие. Большинство оказалось недовольных. Кто неожиданно был переведен из армии «своего» Витгенштейна к Бюлову или Блюхеру, кто, явившись из госпиталя, вдруг находил свою должность замещенной и оставался не у дел, некоторые, как в свое время Бахтеев, были исключены из службы «за смертью». Вообще стремительное движение русских войск вперед, поспешный переход через Неман внесли в армию настоящий

хаос. Не хватало провианта, пороху, снарядов. Армия таяла от болезней и изнурения, лошади падали...

Бахтеев слушал и не верил ушам... Как! При таком положении дел лететь вперед на борьбу с великим полководцем, в чужой стране!.. Сердце его сжималось от тоскливого предчувствия...

Наконец появился торжествующий Зарницын.

— Идем наверх. Главнокомандующий сейчас примет вас, — сказал он.

Наверху их встретил тот же адъютант, приятель Семена Гаврилыча, поручик Рошин.

— Подождите минутку. Сейчас я доложу о вас генералу Толлю, — произнес он.

Прошло еще несколько минут. Рошин вернулся и провел их в соседнюю комнату. Там их встретил Толь.

Он очень любезно поздоровался с молодыми людьми и осведомился, чего именно они желают.

— Мы хотим поскорее попасть в действующую армию, в какой-нибудь передовой отряд, — ответил Бахтеев.

— А, ну что ж, это нетрудно, — сказал Толь, — вы, я вижу, оба кавалеристы, — добавил он, окинув их взглядом.

— Да, ваше превосходительство, — ответил Новиков, — и если возможно, мы хотели бы получить назначение в один отряд.

— Низус и Эвриал, — улыбнулся генерал.

— И потом, ваше превосходительство, — добавил Лев Кириллович, — мы бы просились в состав отряда, находящегося под командой русского генерала.

Толь недовольно поморщился.

— Это я не понимаю, — сухо сказал он. — Мы сражаемся за одно дело, и мы все братья. Его величество не одобряет подобных чувств своих офицерах.

Бахтеев молчал.

— Впрочем, — снова начал генерал, — это пока еще не представляет затруднений.

Он подошел к столу и наклонился над развернутыми листами.

Несколько минут он рассматривал их, словно соображая.

— Отлично, — сказал он наконец, — вы хотите вперед? Мы вас назначаем в корпус Винцингероде, в бригаду генерала Ланского, в Сумский драгунский полк. Это вас устраивает?

Молодые офицеры поклонились.

— Рошин, — обратился Толь к молодому адъютанту, — заготовь приказ.

В эту минуту из кабинета фельдмаршала вышел дежурный офицер и произнес:

— Здесь ли князь Бахтеев? Его светлость желает принять его.

— Я, — ответил Лев Кириллович.

— Пожалуйста, — любезно проговорил офицер, приоткрывая дверь.

С чувством невольной робости, несвойственной его характеру, Бахтеев переступил порог кабинета. Дверь за ним затворилась. Он сделал шаг вперед и почтительно поклонился. Он давно, чуть ли не с самого Смоленска, не видел Кутузова и теперь был поражен его болезненным видом. До сих пор все слухи о болезни фельдмаршала он склонен был считать интригой со стороны его врагов, всеми силами старавшихся доказать, что старый фельдмаршал уже не годится в вожди. Но теперь он сам увидел и почувствовал, что этот старец уже стоит на краю могилы.

Кутузов поднял на него безучастный, утомленный взор.

— Ты князь Бахтеев, племянник Никиты Арсеньевича? — спросил он.

— Да, ваша светлость, — ответил Лев Кириллович.

— А, ну, здравствуй, — продолжал Кутузов, — мы большие друзья с твоим дядей, подойди ко мне. Ближе!

Лев Кириллович подошел вплотную к креслу фельдмаршала.

— Дай обнять тебя, — с чувством произнес он, — ты словно гость залетный из стран моей молодости.

Он обнял склонившегося к нему Льва Кирилловича и поцеловал его в голову.

— Ну, Христос с тобой, — начал Кутузов, — я получил письмо от князя Никиты. Он пишет, что ты молодец, да это и сам я знаю. Этих крестиков я даром не давал, — он кивнул на Георгиевский крест, белевший в петлице Левона. — Ну, что старик? Как живет? Чай, не такая развалина, как я?

Левон ответил, что дядя вполне здоров и даже несколько месяцев тому назад женился.

Слабая улыбка промелькнула в лице князя.

— Ах, он злодей! Не забыл прежних авантур, — произнес он. — На ком же?

Левон сказал.

— И, поди, хороша? — даже несколько оживляясь, спросил князь.

Старый фельдмаршал питал слабость к красивым женщинам.

— Ее находят красавицей, — ответил Левон, невольно побледнев, до такой степени ярко промелькнуло в его воображении прекрасное лицо Ирины.

— Эх, эх! — тяжело вздохнул фельдмаршал, — суета сует и всяческая суета, — в горьком раздумье, как бы про себя произнес он.

Минутное оживление исчезло с его лица, и оно вновь приняло утомленный, болезненный вид.

— Да, — вдруг сказал он, — так оставайся при мне пока...

— Ваша светлость, — быстро ответил Левон, — я уже записан генералом Толем в Сумский драгунский полк.

— А, вот как, — тихо сказал фельдмаршал. — Ну, что ж, с Богом. Будешь писать дяде — поклонись от старого друга... Ну, с Богом, — повторил он.

Он снова обнял Левона и перекрестил его. У порога Левон обернулся и в последний раз взглянул на старого вождя.

Кутузов смотрел прямо перед собой и, казалось, уже забыл о самом существовании Левона. Он словно во что-то вглядывался, что смутно и неопределенно рисовалось перед ним вдали.

Левон вышел на цыпочках, словно из комнаты умирающего, с тяжестью в сердце и с ощущением непривычного, странного щекотанья в горле.

— Ну, слава Богу, — с облегчением произнес Новиков, выйдя на улицу, — можем сказать: «ныне отпускаеши»... А о чем говорил с тобой фельдмаршал?

Бахтееву не хотелось, да, пожалуй, он и не мог бы передать то сложное чувство, какое он унес в своей душе после свидания со старым вождем. Это чувство бесконечной, благоговейной грусти, тайного страдания о невозвратном славном и блестящем прошлом, грызущей бессмертной мысли, старой, как мир, о тленности земного, предчувствие утраты и страх грядущего. Чувство невыразимое, похожее на то, которое иногда безотчетно наполняет душу в час вечерней зари после блистающего дня...

Бахтеев коротко ответил:

— Ничего особенного. Он расспрашивал о дяде...

— А как его здоровье? — интересовался Новиков.

— По-видимому, он нездоров, — неохотно ответил Левон.

— О, он давно хворает, — вмешался Зарницын. — Это всегда с ним бывало, когда он чем недоволен. А

теперь, говорят, у них все контры с главной квартирой государя.

— Может быть, — отозвался Левон.

— А я вот что узнал, — переменял разговор Зарницын, — завтра главная армия выступает в поход. Государи тоже едут.

— Тем лучше, — отозвался Левон, — поедем и мы.

— А сегодня надо нам поблагодарить наших дорогих хозяев, — продолжал Зарницын, — и хорошенько угостить их.

— И то, — заметил Новиков, — какое свинство. Едим, пьем. А ведь они люди бедные.

— Мне показалось, что дочь обиделась, когда я заговорил о плате, — сказал князь.

— Все же надо как-нибудь уладить, — произнес Новиков.

— Ну, ладно, — сказал Зарницын, — вы там улаживайте, а я полечу в полк, — узнаю, что и как, и часа через два вернусь, по дороге захвачу провианта, пришлю своего Яшку помочь по хозяйству, и сделаем отвальную. Прощайте пока, братцы, — и, сделав под козырек, Зарницын свернул в боковую улицу.

Новиков и Бахтеев, каждый полный своих мыслей, молча дошли до дома.

VII

Герта сидела на маленькой скамеечке у ног отца, прижавшись к нему головой, а старый Готлиб гладил ее короткие кудри, и в глазах его стояли слезы, но лицо сияло гордостью и любовью. Никогда эта золотистая головка не была ему дороже и милее...

— Маленькая моя Герта, милая моя девочка, — шептал он.

А Герта, счастливая и оживленная, целовала его морщинистую руку и повторяла:

— Как я рада, как легко я себя чувствую! Твоя скрипка цела! Какое счастье!

В первый момент Готлиб не узнал своей дочери, но когда Герта бросилась к нему, молча показала заветное железное кольцо, старик все понял и заплакал от умиления и гордости...

— А ты и поверил, — весело говорила Герта, — что я пойду за работой к этому Мальцеру? Да, жди от него работы. Он дрожит над каждым грошем...

Она весело смеялась. Потом, как будто ничего не случилось, побежала по хозяйству, потом опять прибежала и села у ног отца.

— Теперь можно и отдохнуть, — сказала она, — будем ждать наших гостей.

Старик продолжал гладить ее голову.

— Ты теперь совсем мальчик, — любовно сказал он.

— Ах, — вздохнула Герта, — я бы и на самом деле хотела быть мальчиком. Я бы поступила в ландвер, как Фриц. Хотя, — задумчиво добавила она, — отчего нельзя поступить в ополчение и женщине. Мне Новиков говорил, что у них в армии есть женщина-герой, какая-то Дурова. Что она долго служила, участвовала во многих сражениях, пока узнали, что она женщина. Сам император отличил ее.

Готлиб с беспокойством сказал:

— Она, должно быть, сильная и крепкая, а ты совсем ребенок.

Герта ничего не ответила, задумчиво глядя в окно.

— А вот и наши гости, — вся вспыхнув, воскликнула она. — Я пойду.

Она вскочила и выбежала из комнаты.

Новиков сразу прошел к себе наверх, предоставив князю поговорить со стариком относительно уплаты. Бахтеев вошел к Готлибу.

— Добрый день, дорогой хозяин, — произнес он.

— Добрый день, — ласково ответил старик. — Ну, что нового?

— Новости есть, — продолжал князь, садясь против Гардера, — завтра мы выступаем.

— Уже — с искренним сожалением проговорил Готлиб. — Это нам грустно, — но что же делать!

— И я пришел к вам, дорогой господин Гардер, — продолжал князь, беря старика за руку, — поблагодарить вас за ваше гостеприимство, за ваше отношение к нам. Мы никогда не забудем этого.

Растроганный старик пожал руку князю.

— О, об этом не стоит говорить, — сказал он, — мы исполнили свой долг.

— Но, — несколько запинаясь, начал князь, — кроме нашей сердечной, глубокой благодарности, между нами есть еще маленькие счета. Вы не откажете покончить их. Мы бы не хотели быть вам в тягость. Жить теперь очень трудно...

Старик понял и сделал протестующий жест рукой.

— Нет, нет, — с достоинством произнес он, — никаких подобных счетов! Вы не захотите обидеть нас, князь, и не предложите нам денег за наше родственное отношение к вам!

— Дорогой господин Гардер, — настаивал князь, — никакими деньгами нельзя заплатить за ваше внимание, за заботы вашей дочери, мы сознаем это. Но ведь можно заплатить за наш «фураж», — смеясь, закончил он.

Старик покачал головой.

— Прошу вас, кончите этот разговор, — серьезно сказал он. — Вы наши дорогие гости. Мы гордимся, что могли принести хоть ничтожную пользу. Я прошу вас кончить это. Итак, — продолжал он, — к моему стыду должен сознаться, что наши власти относятся к русским офицерам не так, как надлежит. Мне стыдно за них! И наш магистрат забыл, что вы наши защитники и наши освободители. Почему он распорядился отвести бесплатные квартиры всем немецким офицерам и даже, по возможности, солдатам, а о русских офицерах не позаботился? Почему он строго требует, чтобы доставляли немецким офицерам провиант, а про русских молчит? Я знаю, много ваших офицеров живут под открытым небом, между тем как немецкие солдаты имеют квартиры! А ведь вы сделали тяжелый поход, вы забыли зло, которое мы приносили вам во время этой несчастной войны. Ваш император, весь народ русский так великодушен... Так позвольте мне заплатить хоть часть моего долга. Я не хочу быть неблагодарным. Предстоит великая война, великий подвиг, в котором вы помогаете нам. Предстоит борьба за вечные идеалы, за свободу нации и за свободу духа.

Старик разволновался, он покраснел, глаза его блеснули. Он встал с кресла и большими шагами ходил взад и вперед по комнате.

Князь тоже встал. Слова Гардера поразили его. Они подтверждали все, что он видел и слышал, и вместе с тем будили в нем смутное сознание о странной двойственности той страны, спасти которую пришли русские. — И, словно угадывая его мысли, Гардер продолжал: — Вас удивляет, что я так говорю? Я скажу вам больше. Вы слышали о Тугенбунде, основанном Штейном и Яном? С гордостью могу сказать, что я был одним из первых членов его.

Князь кивнул головой.

— Тугенбунд был основан не только для борьбы с Наполеоном, — продолжал Гардер, одушевляясь. — Есть две Пруссии. Одна — наглая, грубая, неблагодарная — Прус-

сия Гогенцоллерна, Бюлова, Калькрейта, Фосса и других, и есть Пруссия, хранящая лучшие идеалы, благородная и свободолюбивая — Пруссия Виланда, Гете, Шиллера, Пруссия Штейна и Арндта!..

Князь с жадным вниманием слушал пылкие слова старика.

— О, — с жаром продолжал Гардер, — мы страдаем не от одного Наполеона. Мы имеем лозунгом — борьбу не только за внешнюю свободу! Нет! Мы измучились под властью феодалов. Мы, основатели Тугенбунда, были гонимы не одним Наполеоном, но и своим королем. Где прекрасные обещания канцлера Гарденберга, торжественно три года тому назад на собрании областных депутатов обещавшего от имени короля представительный образ правления, наделение крестьян землею?.. Где все это? Сам король со своими приспешниками — фельдмаршалом Калькрейтом, министром Фоссом и другими заведомо обманывали народ! Штейн в свое время сумел добиться личной свободы для крепостных крестьян, и что же? Тогда само наше правительство, боясь его, донесло на него французскому правительству... И Штейн бежал из родной страны, гонимый, как зверь, и наконец нашел себе защиту в лице вашего великодушного монарха. А народ остался по-прежнему рабом! Я и другие члены Тугенбунда едва спаслись и разбежались по глухим углам. И только теперь, когда вы пришли спасти нас, мы снова можем поднять голову!.. Они дошли до того, что не хотели всеобщего ополчения, боясь, что народ, свергнув иго Наполеона, обратит свое оружие против них! Но ополчение вызвано к жизни народной душой, упорными стараниями Штейна и благородным призывом вашего государя! Король ненавидит Штейна и не верит вам и боится вас!..

Взволнованный старик замолчал.

Никогда князь не ожидал от этого кроткого старика такой бури негодования, такого страстного порыва. Пламенная речь Гардера осветила ему положение дел. Мысли роем закружились в его голове. «Всемирный союз за свободу народов», — вспомнил он слова Монтроза. Да, угнетенные народы могут соединиться для общей борьбы. Яснее представилась ему и роль Штейна при русском дворе. Он вспомнил насмешливую, но полную глубокого значения фразу дяди: «Штейн великий патриот, но он хочет подменить прусского короля русским императором».

Со стороны Штейна это был гениальный ход. Всем была известна склонность императора к либеральным идеям. И, поставив его во главе союза, можно было смело надеяться

провести при его помощи, помимо желания короля, самые широкие реформы.

— Господин Гардер, — сказал князь, — вы открыли мне новые горизонты. Я понимаю вас и сочувствую вам. В моей стране тоже рабство, но мы в лучших условиях, так как наш монарх едва ли не сильнее нас чувствует, что настало время разбить цепи, сковавшие народ.

— Да, в этом вы счастливее нас, — ответил Гардер. — И дай Бог вашей великой и великодушной родине скорее увидеть солнце свободы!

Их разговор был прерван приходом Новикова. С некоторым удивлением он взглянул на взволнованные лица собеседников. Особенно поразило его волнение князя, в последнее время словно окаменевшего в холодном, мрачном равнодушии.

Старик по обыкновению радушно встретил его.

— Ваш товарищ передал грустную весть, — сказал он, — вам надо завтра выступать. Куда вы назначены?

Новиков сказал.

— Бог сохранит вас, — с чувством произнес Гардер.

Новиков оглянулся по сторонам, ища глазами Герту, и вдруг вскрикнул:

— Фрейлейн Герта! Вы!..

Его возглас имел такое странное выражение, что князь быстро обернулся и застыл пораженный.

Вся розовая от смущения, на пороге стояла Герта. Но где ее великолепные косы!..

Несколько мгновений длилось молчание. Старый Готлиб с глубокой нежностью глядел на свою дочь.

Первым опомнился Новиков. Он быстро сделал несколько шагов к Герте.

— Фрейлейн Герта, — с волнением произнес он, — что вы сделали!

Она еще больше покраснела, но не опустила глаз.

— Вот, — гордо ответила она, протягивая руку, украшенную железным кольцом.

С глубоким, почти благоговейным чувством Новиков бережно взял эту тонкую детскую ручку и, наклонившись, поднес ее к губам. Герта не отняла руки, и порыв молодого офицера и самому Гардеру показался вполне естественным.

Князь тоже был тронут.

— Фрейлейн Герта, нам нечего говорить. Дайте и мне вашу руку, — произнес он.

Герта протянула ему руку, и он тоже поцеловал ее.

К Герте сразу вернулась ее непринужденная веселость. Она казалась счастливой.

— А где же третий? — спросила она.

— Он ушел готовиться к отъезду, — ответил Новиков. — Он завтра выступает.

— А вы? — спросила Герта.

— И мы с ним, — отозвался князь.

Герта мгновенно побледнела и резко отвернулась.

— Вот как, — тихо сказала она. — Я пойду распоряжусь..

И она торопливо выбежала из комнаты. Верный Рыцарь ждал ее у порога.

Девушка сбежала с крыльца и бросилась в глубину сада. Рыцарь тихо, без обычного лая, бежал за ней. Он понимал, что Герта бежит по глухим дорожкам сада не для игры. В заросшем травой и кустами углу сада под большим столетним каштаном девушка тихо опустилась на старую скамейку и закрыла руками лицо. Верный Рыцарь тихо и ласково ткнул в ее руки холодным носом. Герта открыла лицо, порывисто обняла Рыцаря за шею и, прижавшись лицом к его морде, закрыла глаза и замерла...

VIII

Поговорив еще несколько минут со стариком, молодые люди прошли к себе наверх.

— Через час обед, приходите, — сказал Гардер.

Молодые люди поблагодарили.

У себя князь передал Новикову свой разговор со стариком. Новиков слушал его с большим интересом.

— Да, — с горечью сказал он, — это все так. Конечно, мы дадим им свободу. Мы купим ее для них нашей кровью. Мы расчистим перед ними пути к процветанию и могуществу, а сами останемся жалкими рабами.

— А император! — воскликнул князь.

Новиков покачал головой.

— Улита едет — когда-то будет, — ответил он. — Да и когда кончится эта война? Но у нас есть свой Тугенбунд и, с Божьей помощью, мы тоже постараемся что-нибудь сделать.

Друзья принялись за сборы своего несложного багажа, продолжая обмениваться замечаниями.

— Да, — говорил Новиков, — после того, что ты мне сказал, для меня многое понятно. И эта странная рознь между офицерами регулярной армии короля и ополченца-

ми, и разница отношений к нам со стороны властей и народа. Нет, уж если сражаться рука об руку, то я предпочел бы стоять в рядах ландвера, а не с господами Герпфельдами.

— Не все ли равно, где умирать, — прежним тоном произнес князь, к которому вновь вернулось обычное настроение.

Его взгляд упал на аккуратно сложенные в глубине чемодана кружевные женские перчатки. Это были перчатки, данные ему при его посвящении в масоны. Он суеверно хранил их, не решаясь расстаться с ними. Эти перчатки были предназначены им Ирине, но он не отдал их, по какому-то странному чувству, перед отъездом. Они казались ему «ее» вещью — тонкой связью, оставшейся между ними, и он не хотел порывать этой связи... Как будто он имел какое-то поручение к Ирине, еще не исполненное, но исполнение которого доставит ему и радость и счастье. Эти перчатки будили в нем и тоску, и мечты, и воспоминания.

Задумался и Новиков.

Когда они спустились вниз, Герта уже сидела за столом. В ней не было обычного оживления. Она была спокойна и серьезна. Новиков делал неудачные попытки оживить общее настроение, но это ему плохо удавалось. Его шутки были принужденны, его смех натянут. За обедом почти не ели, и обед кончился в тягостном молчании.

Всех выручил приход Зарницына. Он ворвался в комнату радостный и сияющий.

— Добрый день, дорогой господин Гардер; добрый день, фрейлейн...

Он словно поперхнулся и остался с раскрытым ртом и изумленным взглядом.

Лицо его было до того комично, что ему невольно ответили дружным смехом. Веселее всех смеялась Герта.

Зарницын улыбнулся.

— А, — воскликнул он, — все смеются, значит, все хорошо. Так вот кто эта девушка с золотыми косами, о которой говорит уже весь город!

Герта вспыхнула.

— Не смущайтесь, дорогая фрейлейн, — продолжал Семен Гаврилыч, — ей-богу, вы сегодня героиня. О вас уже известно королю, и, знаете, ей-богу, это правда, из ваших волос плетут уже кольца и браслеты и продают в ратуше. А ведь прошло только несколько часов!

— Что ты говоришь! — воскликнул Новиков.

— Вот тебе крест, — быстро крестясь, ответил Зарницын, — я сам слышал разговор двух ополченцев.

Герта закрыла лицо руками.

— Ура, дорогая фрейлейн, — подбежал к ней Зарницын, — а вы, ей-богу, стали лучше прежнего! Какой из вас вышел бы теперь дивный кавалерист. — Он бесцеремонно отвел от лица ее руки и горячо пожал их. — А теперь, дорогая фрейлейн, ради Бога, помогите.

Весело улыбаясь, Герта кинула на него вопросительный взгляд.

— В чем дело?

— Сейчас с партизанским отрядом я отбил обоз одного из маршалов, — балагурил Зарницын, — и не знаю, куда деть провиант. А так как мы завтра уезжаем, то имеем честь пригласить вас сегодня на ужин или, как говорим мы русские, на отвальную. Помогите же мне распорядиться.

Герта, смеясь, последовала за ним. В сенях стояли два солдата с большими корзинами.

Герта даже всплеснула руками.

— Да тут, действительно, целый транспорт, — воскликнула она.

Рыцарь уже сутился около корзин, жадно обнюхивая их

— Погоди, приятель, — смеялся Зарницын, лаская собаку, — и ты покушаешь сегодня не хуже французского маршала.

Корзины были перенесены в кухню, и Герта только ахала, вынимая их содержимое. Представлялось прямо удивительным, где и как мог добыть Зарницын эти коньяк, рейнские вина, ликеры, паштеты, страсбургские пироги, дичь и Бог знает что еще! Он только посмеивался, но своей тайны не открыл.

Оба солдата были оставлены в помощь Герте и со свойственной русским солдатам расторопностью и деловитостью принялись за работу

Когда Зарницын вернулся в столовую, он не застал Новикова. Не было его и наверху, Данила Иваныч куда-то исчез.

Между князем и Готлибом опять возобновился разговор на прежнюю тему

— Поверьте, — говорил Гардер, — народ ценит и любит русских освободителей. Недоброжелательство администрации исходит от придворной партии...

Веселое лицо Зарницына приняло серьезное выражение

— К сожалению, господин Гардер, — вмешался он в разговор, — не все похоже на вас. Я имею и другие сведения.

Гардер насторожился.

— Что такое? — спросил князь. — Я не замечал со стороны населения дурного отношения к нам.

— Это потому, — ответил Зарницын, — что ты не шел вместе с армией. Конечно, пока мы где-нибудь были, население показывало нам расположение, может быть, из боязни, а, может быть, и в искреннем порыве. Но стоило уйти с места, как вслед за нами летели жалобы и требования вознаграждения за убытки, якобы причиненные нами.

— Не может быть! — воскликнул Гардер. — Это единичные случаи.

Зарницын покачал головой.

— Да, беднейшее население, — сказал он, — было искренно и радушно. Но тот, у кого хоть что-нибудь было, спешили с жалобами. Все убытки, что понесли они во время прохождения в прошлом году французских войск, они старались возместить за счет русских. Это печальная правда, господин Гардер. Наши штабы завалены жалобами и исками. Ваши бюргеры бессовестно лгали, обманывали, приписывали нам то, что сделали французские войска. Я сейчас из полка. Там уже образовали комиссию для рассмотрения этих жалоб...

— О, Боже мой, — прошептал Гардер, — это выродки!

— Ты увидишь, — быстро произнес Зарницын по-русски, обращаясь к князю, — что будет дальше...

— Нет, — воскликнул Гардер, — это не будет так продолжаться. Клянусь вам, что лучшая часть народа презирает этих мирных мародеров. Вы увидите, что чем дальше вы будете подвигаться, тем больше вас будут ценить. Правительство старается внушить недоверие к вам, распускаются слухи, что вы хотите оставить навсегда за собой Силезию и Померанию, пользуясь нашей слабостью... Нет, нет, этого не может быть! Вы увидите...

— Да, мы увидим, — ответил Зарницын.

Князь слушал, опустив голову. Что же происходит на самом деле? Или этот старый идеалист увлекается, или Зарницын преувеличивает.

— Увидим, — тихо повторил он. — Может быть, прусский народ поверит в наше бескорыстие, когда поймет, что мы идем за его свободу, гремя собственными цепями...

— Одно я могу сказать, — начал Зарницын, — только ратники ландвера видят в нас братьев по оружию. Но они сами в пренебрежении у регулярной армии. Их чуть не открыто называют сбродом и бродягами. Ни один последний волонтер-солдат королевской армии не согласится пой-

ти в ландвер даже офицером. Но, господин Гардер, — добавил Зарницын, видя искреннее огорчение старика, — ведь поход только что начался, вы правы, мы еще недостаточно знакомы друг с другом. Может быть, все эти углы сгладятся. Я хотел бы верить этому для вас самих...

Лицо старого мечтателя просияло. Он горячо пожал руку Зарницыну.

— И верьте, верьте, — с жаром сказал он, — я знаю мой народ.

«По Шиллеру и Гете, пожалуй», — с невольной насмешкой подумал князь.

И князь, и Зарницын, оба почувствовали неловкость такого разговора, тем более что они не хотели огорчать старика. Они постарались перевести разговор на другие темы, и старик скоро повеселел и оживился.

IX

Шум города замирал, сливаясь в один неопределенный гул... Где-то далеко прозвучал и замер призыв труб на вечернюю молитву. Донесся рокот барабанов. Тишина опускалась на шумный город, и, казалось, с этой благоуханной тишиной весенней ночи слетали блаженные грезы и мирные сны на грозные полки, готовящиеся к кровавым боям, и на жителей города, обреченного неведомой судьбе в ужасах войны.

Столовая была ярко освещена, и стол убран по праздничному. Никогда на скромном столе старого музыканта не было такого разнообразия вин и всякой еды. Старик только покачивал головой.

Герта была лихорадочно оживлена и без умолку говорила, словно не хотела дать себе возможности задуматься. В таком же настроении был и Новиков. Князь старался тоже быть веселым, но ему это плохо удавалось. Его сердце болело все той же неперестающей тупой болью, которая почти ни на минуту не оставляла его с самого выезда из Петербурга. Один только Зарницын был искренне и неподдельно весел. Он чувствовал себя свободным, как птица. Он был молод, здоров. Война была его стихией, и судьба, казалось, берегла его среди самых отчаянных предприятий. Он шутил, смеялся, подливал вина то Герте, то Гардеру, выдумывал всевозможные здравицы. Когда он провозгласил здравицу за Герту, то все трое крикнули «ура!».

Новиков подошел чокнуться с молодой девушкой. Когда он протянул бокал, чтобы чокнуться, Герта чуть не выро-

нила своего бокала. Она увидела на мизинце правой руки Даниила Ивановича искусно сплетенное из золотистых волос кольцо. Она сильно побледнела и расширенными глазами взглянула прямо в глаза Новикова. Он ответил ей глубоким взглядом, полным тайного ожидания.

Она чокнулась, и их пальцы на мгновение соприкоснулись.

Окна в сад были открыты, и широкая, благоухающая волна вливалась в них. Озаренный луною, сад походил на сказочную декорацию. Город совсем затих.

— Боже, какая ночь! — вздохнул старик. — Разве в такую ночь не наполняется душа ужасом при мысли о морях крови, проливаемых в братоубийственной резне. Ведь мир Божий так прекрасен...

— Он отвратителен, — резко произнес князь. — Человек в этом мире — игралище чуждых враждебных сил. Позор, нищета, болезни, предательство, разочарования, бессмысленные мечты и кровь — вот из чего сплетается жизнь человека!

Новиков с удивлением взглянул на князя. Он не ожидал от своего всегда сдержанного товарища такой вспышки.

— Грустно, если человек в вашем возрасте может так думать, — тихо сказал Гардер.

— Оставим этот разговор, — сухо сказал князь. — Зачем портить настроение другим?

Он встал и подошел к окну. Эта ночь раздражала его и томила его душу... Бесконечная жажда любви наполняла его сердце. Все его существо рвалось и тянулось к далекому северу, где теперь белые ночи, где золотая заря, не померкнув, дробится на гладкой поверхности Невы, где оставил он то, что было единственно дорого ему в жизни и от чего он должен был отречься.

Послышался отдаленный топот. Все ближе.

— Кавалерийский отряд! — крикнул Зарницын. Все бросились к окнам.

Теперь уже ясно слышался мерный стук копыт на улице за садом.

Прошло несколько мгновений, и вот, заглушая шум копыт, вдруг раздались звуки воинственной песни.

Чей-то мужественный голос пел:

Живее, друзья! На коня, на коня!
На поле, на волю честную!
На поле, на воле ждет доля меня,
И сердце под грудью я чую!

Мне в поле защитников нет никого,
Один я стою за себя одного¹

При первых звуках песни Герта насторожилась.

— Это ландвер! — воскликнула она и бросилась из комнаты.

Через минуту ее светлая фигура промелькнула в саду, в полосе лунного света.

Не долго думая, Новиков в одно мгновение был уже в окне и, спрыгнув в сад, побежал за ней.

Он нашел Герту там же, где и утром, на заборе, и примостился рядом с ней. Вся бледная, она взглянула на него блестящими глазами, с легкой улыбкой.

Озаренные луной, медленно продвигались по улице всадники.

А голос крепнул, ширился и звучал, как вызов.

Нет воли на свете! Владыки казнят
Рабов безответно послушных.
Притворство, обман и коварство царят
Над сонмом людей малодушных!
Кто смерти бестрепетно выдержит взгляд,
Один только волен... А кто он? — солдат!
Житейские дрязги с души он долой;
Нет страха ему и заботы!
Он смело судьбу вызывает на бой —
Не нынче, так завтра с ней счеты.
А завтра — так что же! Ведь чаша полна!
Сегодня ж ее мы осушим до дна!

Всадники уже проехали, и издали донесся, как боевой клич, последний аккорд напева:

Живей же, друзья, вороного седлай;
Бой жаркую грудь расколodит!
И юность, и жизнь так и бьют через край.

Последние звуки замерли вдали, а Герта все еще смотрела вслед темным силуэтам всадников.

— О чем вы думаете, Герта? — тихо спросил ее Новиков, как-то невольно называя ее просто. Гертой.

Она медленно повернула к нему бледное лицо и ответила:

— Я завидую им.

И она тихо повторила напев:

А завтра. Так что же! Ведь чаша полна!
Сегодня ж ее мы осушим до дна!

¹ «Военная песня» Шиллера, перевод Л. Мея

Герта легко прыгнула и медленно пошла по дорожке к дому.

Новиков догнал ее.

— Да, сегодня, Герта, — начал он, осторожно беря ее за руку, — завтра уже не принадлежит нам. Завтра мы расстанемся надолго, может быть, навсегда.

Он почувствовал легкое пожатие ее руки и поднес ее к своим губам.

Она не отняла руки и все так же медленно шла с опущенной головой.

— Будете ли вы вспоминать обо мне, Герта? — спросил он.

— Я не забуду вас, — услышал он тихий ответ.

Она освободила свою руку. Лицо ее приняло строгое, печальное выражение.

— Я не забуду вас, — продолжала она, — но, может быть, мы увидимся с вами скоро... Кто знает!

Новикову безумно хотелось схватить в объятия эту бледную, такую прекрасную девушку и целовать ее печальные глаза, ее золотые кудри. Но мгновенная мысль обожгла его. Зачем? И что будет дальше? Какое право имеет он возмущать ее покой, он, идущий на бой? Разве может связать он теперь свою жизнь, ему не принадлежащую, с чужой, едва расцветающей жизнью? Он сдержал свой порыв.

— Герта, — начал он, — эти немногие дни, которые я провел здесь, останутся моим лучшим воспоминанием. И если я останусь жив, я вернусь к вам, я вернусь сюда...

Его голос прервался. Он удержал готовое сорваться признание.

Она вдруг остановилась и словно ждала. Она казалась светлым видением в своем белом платье, в лунном мягком сиянии.

Несколько мгновений длилось молчание. Она первая нарушила его.

— Прощайте, — печально сказала она, — но только помните всегда, в минуты опасности, в бою, что вы дороги мне, что моя мысль, моя душа неотступно будет с вами, и если небо не остается глухим к нашим молитвам, — Бог сохранит вас. — Она подняла на звездное небо вдохновенный взор. — Прощайте же! Здесь ли, там ли, — она подняла руку к далекому небу, — но мы еще встретимся.

И прежде чем Новиков успел сделать движение, она повернулась и побежала к дому.

Он долго стоял и смотрел ей вслед. Страшная тоска, словно сознание безвозвратной потери, наполнила его ду-

шу. Разве он не безумен! Отчего не взял он счастья, которое так неожиданно встретило его на пути? Отчего не обогатил своей пустынной жизни хоть одной минутой счастья? Этих минут так мало, так бесконечно мало, и они не повторяются!..

Он вернулся домой. Его друзья уже прощались с Гардером.

— Мы еще увидимся, увидимся завтра, — твердил растроганный старик. — Мы проводим вас...

Окончив последние приготовления, друзья решили отправиться из дому на рассвете прямо в легкий кирасирский полк, где служил Зарницын, устроивший для Новикова и князя лошадей из числа заводных, и продолжать путь уже вместе с полком.

Зарницын и Бахтеев скоро заснули. Но Новиков заснуть не мог.

Он сидел у открытого окна, и сладкие и печальные мысли овладели им. Непробудная тишина царила вокруг. Но вдруг он вздрогнул и прислушался. Снизу слышались тихие, печальные звуки какой-то незнакомой мелодии. Сперва тихие, словно издалека доносившиеся звуки стали громче, отчетливее и, казалось, наполняли собой весь дремлющий сад и страстной тоскою и бесконечным восторгом дрожали в воздухе.

Новиков узнал скрипку. Звуки лились, как слезы. Словно чье-то сердце плакало о чудной несбыточной мечте и молило и ждало чуда — вернуть невозвратимое, сделать доступным недостижимое. Блаженные воспоминания минувшего, горечь настоящего, страх темного будущего, минутный крик торжества сливались в одну молитву, возносящуюся к бесстрастным звездам, к безответному небу. Невысказанное и непроизносимое, все, что таится в душе человека, в ее тайниках, все, чему нет выражения на человеческом языке, изливалось в этих звуках. Скрипка пела... Она пела о блаженных страданиях любви, о радости первого свидания, о горе разлуки, о счастье, которого нет, но которое могло бы быть... Скрипка рыдала, ликовала, молилась и плакала...

Новиков чувствовал, как непривычные, незнакомые с детства слезы закипали в его душе, как сердце его переполнялось любовью, нежностью, отчаянием... Волшебные дали раскинулись перед ним, иной мир рисовался обманчивым миражем перед его внутренним взором, мир недостижимый, как потерянный рай.

Судороги сдавили его горло, он опустил на руки голову и уже не мог сдержать слез.

А внизу, у окна, бледный, как мрамор, стоял старый Готлиб со своей волшебной скрипкой; его горящие глаза были устремлены в сад и, казалось, созерцали чудные видения, реявшие в лунном сиянии, и в морщинах его старого лица застыли слезы. А на полу у его ног, на коленях, сложив молитвенно руки, стояла Герта...

Х

В великолепный солнечный день 12 апреля улицы столицы Саксонского королевства Дрездена были заполнены толпами оживленного, празднично настроенного народа. Весь город был богато украшен. С балконов домов и из окон свешивались ковры и гирлянды цветов. Гирляндами, цветными материями и русскими и саксонскими флагами были украшены фасады зданий. В окнах магазинов виднелись портреты императора Александра I и масса карикатур на Наполеона, и были выставлены многочисленные книжки-памфлеты на него же. Виднелись транспаранты с надписями: «Добро пожаловать», «Александр-освободителю», «Боже, благослови его оружие» и т. п. Над воротами заставы возвышался убранный цветами вензель императора. Члены магистрата, почетнейшие граждане города и группа нарядных, в белых платьях, девушек с полными цветов руками шли по дороге за заставу, сопровождаемые восторженными криками: «Да здравствует русский император! Да здравствует русская армия!»

Столица Саксонии готовилась встречать русского императора. Саксония была без короля уже два месяца. Старый король Фридрих-Август, обязанный своим королевским титулом Наполеону, его верный союзник и поклонник, очутился в очень затруднительном положении. После вторжения русских войск в Пруссию, занятия Берлина и вооружения Пруссии было очевидно, что театром военных действий прежде всего будет Саксония.

Обстоятельства требовали, чтобы саксонский король определенно принял чью-нибудь сторону. Но одинаково неуверенный как в могуществе Наполеона, так и в силах союзников, боясь тех и других и чувствуя симпатию к Наполеону, король избрал самое гибельное решение, а именно: молчать до последней возможности, в явном противоречии с настроением народа, враждебного к императору французов. Он оставил свое королевство и уехал

первоначально на баварскую границу, а потом в Прагу под покровительство Австрии, оставя в конце концов всех в недоумении относительно своего решения, так как перед отъездом он убеждал народ сохранять верность, тишину и спокойствие и вместе с тем объявил, что он до конца исполнит свои обязательства, как член Рейнского союза.

Он не позабыл захватить с собою двести тысяч талеров звонкой монетой, на четыре миллиона облигаций и большую часть драгоценностей из так называемой зеленой кладовой. Чтобы не выпустить его из своих рук, Наполеон приказал последовать за ним своему послу в Саксонии барону Серра.

Бедный старый король совсем растерялся. А народные массы, зная о разгроме Наполеона в России и видя триумфальное шествие по Пруссии и Саксонии императора Александра, восторженно приветствовали русские войска, считая своего поработителя погибшим.

Стройными линиями выстроились по бокам дороги русские и прусские войска в конном и пешем строю, с артиллерией, знаменами и музыкой. В торжественной встрече приняла участие и блестящая саксонская гвардия. Но все внимание саксонцев было устремлено на боевые русские полки, победоносно дошедшие до них от далеких снегов «Московий»!.. Они с удивлением и восхищением смотрели на эти загорелые, сурово-добродушные лица, на старые мундиры, на молодецкую выправку солдат и весь их бодрый, воинственный вид. Эти люди казались им вылитыми из стали. С некоторым страхом глядели они на казачьи сотни, о которых слышали столько страшных и удивительных рассказов. Перешептывались, указывая пальцами на мохнатые казачьи шапки. Но вот в толпе послышались крики: «Едут, едут!»

Издадека доносились звуки торжественной музыки и восторженные крики войск и народа. По мере приближения торжественного кортежа крики становились громче, почти заглушая звуки музыки. Легкое облачко пыли обозначало путь следования императора и короля с их блестящей свитой.

Государи ехали шагом. Александр был в мундире. Лучи солнца горели на золоте и серебре свитских мундиров. Десятки тысяч людей надрывали свою грудь восторженными криками. Склонялись знамена. Музыка играла встречу. Молодые девушки бросали цветы под ноги коней. Лицо государя имело счастливое, радостное выражение. Он действительно походил на победоносного вождя, вступающего в освобожденную им страну!..

Но лицо Фридриха сохраняло, как всегда, высокомерно недовольное выражение. Только при взгляде на ряды своих пруссаков в новеньких чистеньких мундирах его лицо на миг просветлело, но это выражение тотчас исчезло, когда он перевел взгляд на русские полки в их стареньких мундирах, и словно брезгливая гримаса пробежала по его деревянному лицу. Он наклонился с седла и что-то сказал императору, указывая глазами на русские войска. Император слегка нахмурился, взглянул недовольным взглядом на ряды своих войск и досадливо передернул плечами.

Остановившись при въезде в Дрезден на площади, монархи пропустили мимо себя войска церемониальным маршем.

Император поблагодарил их за молодецкую выправку и, сопровождаемый теми же восторженными криками войск и народа, направился в так называемый Брюлевский дворец, где решил остановиться на все время своего пребывания в Дрездене. Он отклонил предложение магистрата поселиться в королевском дворце. Он вступил в Дрезден гостем, а не победителем, а хозяина не было дома, поэтому он не счел возможным воспользоваться его домом.

Бахтеев, Новиков и Зарницын тоже принимали участие в этом торжественном въезде и параде. Но здесь им пришлось расстаться. Зарницын оставался при главных силах, а Новиков с Бахтеевым должны были ехать дальше к Люцену, где стоял авангард Винцингероде и их полк.

Три друга медленно двигались верхом среди запруженной народом толпы.

— Ну, — угрюмо говорил Новиков, — кажется, довольно теперь с нас парадов и торжественных встреч.

— Кажется, — отозвался Зарницын. — Говорят, что войска Наполеона стягиваются к Лейпцигу. Будет игра!

— Этому там не верят, — насмешливо произнес Бахтеев, махнув рукой вслед удаляющейся блестящей свите государей. — Ведь они ожидают сопротивления только на берегах Рейна. Они считают это военной прогулкой. Они идут вперед, закрыв глаза, словно на параде. Как бы не проиграть игру!

Веселый смех и русская речь, послышавшаяся над их головами, прервали его слова и заставили друзей поднять головы.

На богато убранном коврами и цветами балконе сидело несколько нарядных женщин в обществе блестящих офицеров. Особенно оживленно смеялась и говорила, пересыпая свою речь французскими фразами, молодая черноволосая

красавица. Она обрывала цветы с гирлянд и бросала их в толпу.

— Да ведь это княгиня Волконская, — с изумлением воскликнул Лев Кириллович.

— И Пронская, и другая Волконская, и Измайлова, — подтвердил Новиков. — А с ними молодой Олсуфьев и Строганов, — указал он на молодых офицеров.

— Весело, нечего сказать.

Это, действительно, были известная своей красотой и эксцентричностью княгиня Зинаида Александровна Волконская и другая Волконская, Софья Григорьевна, жена любимца и друга государя генерал-адъютанта Петра Михайловича.

Бахтеев и Новиков встречали всех их довольно часто в петербургских кругах.

Слегка поднявшись на стремянах, они сняли шляпы. Их узнали.

Зинаида Александровна низко наклонилась с балкона и, кинув в молодых офицеров цветами, весело закричала:

— Князь, князь, господин Новиков, пожалуйста к нам.

Стоя за ней, Олсуфьев и Строганов тоже делали им приветственные жесты.

— Но, княгиня, мы торопимся, — крикнул Бахтеев.

— В Париж? — смеясь спросила Волконская. — Но мы все туда торопимся! Идите, идите!

— Да идите же, — поддержала ее Софья Григорьевна, — у нас для вас куча новостей и приветов. Ведите с собой и товарища, — и она приветливо кивнула головой на Зарницына.

Лакеи, стоявшие у подъезда дома и слышавшие разговор, уже подбежали и взяли лошадей под уздцы.

Сердце князя вдруг загорелось надеждой. Не едет ли Ирина? Не привезли ли они сведений о ней из Петербурга?

Он кинул вопросительный взгляд на Новикова и Зарницына

Что ж, зайдем, — тихо сказал Новиков, — любопытно

Зарницын немного колебался.

— Идти — так вместе, — решительно проговорил князь. — Ну, слезай!

Друзьям казалось, что они попали в великосветский уголок Петербурга. Та же обычная обстановка, те же лица, тот же тон легкой сплетни и сомнительных новостей.

С видом опытных стратегов дамы в один голос утверждали, что самое большое, если от Эльбы до Рейна произойдет одно сражение, — и Франция будет у ног императора, что

если бы не Кутузов, то мы были бы давно на берегах Рейна, что следует назначить главнокомандующим идола петербургских кругов графа Петра Христиановича Витгенштейна.

Но в этой дамской болтовне Бахтеев улавливал отзвуки мнений и решений главной императорской квартиры. Эти великосветские дамы совершали победоносный поход вместе с русской армией. С особенным увлечением, перебивая друг друга, Пронская, жена флигель-адъютанта, и Софья Григорьевна передавали свои впечатления от поездки в Дрезден. Они ехали вместе с главной квартирой и только за один переход поспешили вперед вместе с квартирными, чтобы как-нибудь устроиться здесь. По пути на остановках его величество часто устаивал их своим посещением. Теперь они обдумывают план устроить праздник в честь государя, разыграть пьесу, которую заканчивает для этого случая Шишков.

— Ах, это прелестно, — щебетала Пронская, — я и Софья Григорьевна будем в русских платьях, а Зина в тирольском костюме.

— А я буду изображать немецкого малютку, — смеясь, вставил Строганов.

— Я тоже, — вмешался Олсуфьев, — буду играть роль мальчика. Правда, Сапа, — обратился он к Строганову, — у нас выигрышные роли? Мы будем маршировать и припевать: «Wir danken, wir danken!» Только как же, Софья Григорьевна, ведь мальчиков не хватает, не примете ли вы участие? — смеясь, предложил он Бахтееву.

— Молчите, — погрозила ему пальцем Софья Григорьевна, — вот передам ваши слова Александру Семеновичу он покажет вам, как насмеяться над его пьесой.

— Это будет ужасно, княгиня, — всплеснув руками, воскликнул Строганов, — вдруг он заставит нас выучить наизусть всю пьесу! Это будет действительно ужасно. Это убьет меня вернее неприятельского ядра!

Девятнадцатилетний Строганов, действительно походил на мальчика. Он шутил и смеялся. Бедный юноша, могли ли он предвидеть в эти минуты, что через год неприятельское ядро разорвет его в клочки!

— Нет, серьезно, — сказала Софья Григорьевна, — это преинтересная вещь. Я вам покажу ее.

Она быстро вышла в соседнюю комнату и вернулась с рукописью в руках.

— Вот смотрите, — начала она, — пьеса называется «Маленький праздник или слабая дань благодарности русским воинам в лице главнокомандующего над ними» По-

слушайте немного. Уверю вас, что некоторые фразы нельзя читать без умиления. Ведь Александр Семенович такой мастер. Недаром государь поручает ему писать самые возвышенные манифесты! Послушайте же. Это мы с Зиной будем играть первое явление.

— Господи, помилуй! — шепнул Строганов на ухо князю.

— Я говорю, — продолжала Софья Григорьевна, — Зина, а ты говори свою роль, хорошо? Помнишь ее?

— Я знаю наизусть, — ответила Зинаида Александровна, — и это вовсе не так страшно, — и она бросила цветок в Строганова.

— За это торжественно беру назад свои слова, — воскликнул Строганов, ловя цветок.

— Да замолчите же, наконец, — прикрикнула Софья Григорьевна. — Я начинаю.

— Она стала в позу и слащавым, умиленным тоном начала:

— Где мы? На берегах Эльбы! Российский орел летит, и под сень крыл его стекаются народы.

Зинаида Александровна вскочила с места и с пафосом отвечала:

— По всему пути услаждали нас ясные дни, теплые ночи, благодетельный воздух; иного не видали и не слышали мы, как сияние торжественных огней и крики радостей и восторгов. Казалось, небо нас благословляет, и земля, расцветая под ногами нашими, празднует наш приход.

Подняв к потолку глаза, Софья Григорьевна продолжала.

— Ах, моя милая! Как приятно видеть славу своего отечества! Кто возвел нас на высоту сего блаженства?

— Не правда ли, как это трогательно? — обратилась она к Бахтееву.

— Весьма, — ответил он, — но, пожалуй, преждевременно. Народы пока еще в когтях Наполеона и боятся идти под сень крыл российского орла.

— Как! — воскликнула Пронская, — вы не видите наших побед?

— Поживем — увидим, — ответил Новиков, кусая губы.

Его начинало раздражать это дамское общество, эта слащавая болтовня и мечты о каком-то празднике. Зарницын тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Ему, уже давно не бывавшему в светских гостиных, все эти разговоры казались дикими и неуместными.

Разговор перешел на бал, который собиралось дать местное общество в честь государя.

Среди этого потока разговоров Бахтеев жадно ждал услышать хоть одно слово о той, далекой... Несколько раз пытался он спросить, не имеют ли они, случайно, сведений об его дяде, но не мог решиться.

Время шло.

Лев Кириллович поднялся, за ним и Новиков с Зарницким. Только тут дамы поинтересовались спросить, куда он отправляется. Князь ответил, что в авангард.

— Счастливцев, — вздохнула Пронская, — он будет в Париже раньше нас.

Только сев на лошадей, друзья свободно перевели дух

— С таким штабом далеко не уйдешь, — произнес Новиков, резюмируя этими словами общее впечатление.

Бахтеев ничего не ответил. Эта встреча петербургских знакомых пробудила в его душе мучительные воспоминания.

XI

Зарницин уговорил Бахтеева и Новикова остаться до следующего утра. Была уже страстная суббота.

— Разговеемся вместе, а там и расстанемся, — говорил он. — Бог весть, когда приведет судьба снова встретиться.

Оживление в городе не прекращалось. Заехав в полк и оставив там лошадей, друзья отправились бродить по городу. По всем улицам двигались оживленные толпы народа, офицеры союзных войск уже успели свести знакомство с местными дамами и парочками гуляли по городу. Особенно много народу толпилось по берегу Эльбы у великолепного моста, по ту сторону которого остановился государь. По эту сторону поселился прусский король, но он не привлекал к себе общественного внимания. Говорили, что государь сейчас пешком перешел мост среди народа и теперь находится у прусского короля. Многие офицеры брали лодки и катались по Эльбе, любуясь ее цветущими берегами.

То здесь, то там раздавались звуки музыки и слышались крики в честь русских

Ничто не напоминало войны, а скорее, общее ликование по случаю мира. О Наполеоне словно забыли, о нем даже не говорили. Большинство думало, что он где-то далеко, в истощенной Франции, готовой к возмущению, что он с трудом собирает кое-какое войско, чтобы хоть не с голыми руками встретить союзные войска. О том, что он зять австрийского императора и что Австрия еще не сказала своего слова, тоже словно забыли.

Все гостиницы и рестораны были переполнены офицерами и приезжими из окрестных городков. В одном из лучших ресторанов города, в «Золотой Саксонии», друзья едва нашли свободный столик и спросили себе обед. За большим столом посреди зала сидела многочисленная компания прусских офицеров. Они шумели больше всех. Громко стучали по столу бутылками, не обращали внимания на русских офицеров, кричали и делали вслух замечания насчет находившихся в зале дам. Среди этой шумной компании находился и лейтенант барон Герцфельд.

Бахтеев безразлично пожал плечами

— Посмотри, — сказал он, обращаясь к Новикову, — а ведь они только надеются на победу за нашими спинами. Что же будет, если они действительно благодаря нам станут победителями.

— И будут хозяйничать в побежденной стране, — добавил Зарницын.

В эту минуту раздался резкий голос барона.

— Нам нечего таскать для них из огня горячие каштаны. Увидите, благодаря нашим победам эти господа захватят себе и Познань, и герцогство Варшавское. Пусть эти оборванцы убираются назад за Неман, в свои медвежьи берлоги.

Герцфельд не успел кончить, как около него очутился князь Бахтеев, бледный, с горящими глазами.

— Господин лейтенант, — резко и отчетливо проговорил по-немецки князь, — вы — пьяный нахал.

После этих слов, прозвучавших, как пощечина, в зале водворилась мгновенная тишина.

Герцфельд в первые минуты не мог понять, что произошло. Но наконец он понял и весь красный вскочил, хватаясь за эфес сабли. Его товарищи тоже вскочили.

— Повторите, что вы сказали, — хриплым голосом закричал он, надвигаясь на Бахтеева

— Если вы сделаете еще шаг ко мне, — страшным шепотом произнес князь, — то, клянусь, я разобью вам голову

Было что-то до такой степени угрожающее в бледном лице князя, в его потемневших глазах, что барон сделал шаг назад.

— Вы дадите мне удовлетворение, — прохрипел он.

— Когда угодно, — быстро ответил князь. — До завтра меня можно найти на квартирах драгунского полка третьей дивизии. Я князь Бахтеев. А теперь даю вам пять минут сроку. Если через пять минут вы не уйдете отсюда, то я выкину вас за дверь.

И, круто повернувшись, князь с этими словами спокойно отошел на свое место.

— И это наши союзники, — с пренебрежением произнес Новиков.

— Больше, — сказал Зарницын, — это люди, которых мы пришли спасать. Но, однако, брат, ты заварил скверную кашу. Ты знаешь, как к нам относятся в таких случаях. В конце концов всегда виноваты мы.

— Да, — отозвался Новиков, — государь видит в них несчастных, угнетенных жертв и требует от нас особого внимания к ним. Хороши угнетенные жертвы, нечего сказать! По правде сказать, я предпочел бы драться с ними, а не с французами.

Между тем Герцфельд, переговорив вполголоса с товарищами, встал со всей компанией и шумно вышел из залы, не заплатив по счету.

С наступлением темноты оживление в городе не прекращалось. Окна домов были ярко освещены, на площади и главных улицах горели цветные лампы.

Толпы народа теснились по берегам Эльбы, где располагались русские войска для встречи святой ночи.

И вот несметные толпы народа словно замерли.

Могучий хор тысячи русских голосов запел бессмертную песнь «Христос воскрес!». Ликующие звуки подымались к чистым звездам.

Святая ночь медленно плыла над землей...

И никто не видел в эти торжественные минуты ангела смерти, уже распростершего свои черные крылья над их головами и не слышал, как уже дрожала земля под железными стопами императора Запада во главе словно чудом созданных новых легионов...

И в эту ночь, двумя часами позднее, бледный, странный человек с загадочными серыми глазами и непроницаемой душой, один в скудно освещенном, мрачном кабинете Брюлевского дворца, в слезах умиления писал:

«В субботу 12-го, после обедни, следовательно, после *«Воскресни, Боже»*, мы вступили в Дрезден, а в полночь мы пропели на берегах Эльбы *«Христос воскрес!»* Трудно передать вам волнение, охватившее меня при воспоминании обо всем происшедшем за этот год и о том, куда нас вело Божественное Провидение!..

И сквозь эти слезы он не видел грозного призрака грядущего, потоков крови и нищей, убогой, разоренной своей страны, погибающей в безысходном рабстве.

ХII

«Сел Риппах, 18 апреля 1813 г

Я пишу вам, — зачем? Я знаю, что этого письма я все равно не отправлю. Но в эти часы напряженного молчания ночи, накануне боя, на роковой черте жизни и смерти, моя душа зовет вас. Ваше прекрасное строгое лицо неотступно преследует меня, это лицо на котором, на один краткий миг я видел выражение страстной души. Моя жизнь до встречи с вами — пуста. У меня не было прошлого, у меня не было воспоминаний. Мое прошлое, мое настоящее, мое будущее — вы. Все от вас и к вам. Разве это не безумие! О пусть, обожаемая Ирина, это безумие... Но у меня нет ничего больше... На полях славы, в ожидании боя, в вихре событий, решающих судьбу мира, я вижу только вас. Я одинок, я всегда был одинок. Не в первый раз иду я в бой, и никогда мысль о смерти не волновала меня, но теперь, — клянусь вам, это не страх, — я боюсь умереть, не увидев еще раз этого лица, этих темных глаз, не почувствовав мгновенного трепета нежной руки...»

Две сальные свечи тускло освещали убогую обстановку комнаты. Простой деревянный стол, табуретки и широкие лавки вдоль стен. Это был один из крайних домиков селения, почти покинутого жителями. Но эта обстановка казалась настоящим комфортом в походной жизни. Позиции у Риппаха были заняты генералом Ланским с передовым отрядом авангарда Винцингероде.

В углу на лавке, прикрывшись шинелью, спал юный корнет Белоусов из эскадрона князя Левона. Ему было не более восемнадцати лет, и это был его первый поход.

Князь бросил перо и задумался. Им вновь овладело чувство глубокой апатии. Вспышка страсти, нежности, мечты погасла так же быстро, как и зародилась. Опять выплыл мучительный вопрос: зачем? Зачем это письмо, которое он не думал отправлять? Глупое мальчишество!.. Зачем он здесь? Зачем этот поход? И зачем и самая жизнь?

Ему вспомнилось бледное лицо Монтроза. Тот знает, зачем живет, и умеет внушать это другим.

«Я не гожусь в проповедники, — думал князь, — пусть они дадут мне настоящее дело, — тогда, быть может, я отдамся им душой и найду цель жизни. Новикову кажется, что он нашел эту цель, но он что-то не похож теперь на счастливого человека.. ему недостает его Герты...»

Князь горько усмехнулся. Новикова не было уже три дня. Он с небольшой партией отправился на разведку и в штаб Винцингероде, с поручением Ланского.

Левон взял письмо и медленно протянул его к свече. Но едва пламя коснулось края бумаги, как он отдернул руку, словно почувствовал боль. Ему стало вдруг жаль уничтожить это воспоминание о тех минутах, когда так властно охватили его мечты. Он бережно сложил бумагу и спрятал в боковой карман, потом встал и вышел. Перед ним через все селение тянулась большая дорога, теперь озаренная лунной, поднимаясь по отлогому скату на противоположную высоту. Вдоль крутого берега ручья Риппах безмолвно двигались и выстраивались войска, а над ними на возвышенности виднелись орудия. Кое-где горели костры, слышался глухой шум... Знакомая картина в ночь перед боем. Кому судьба изрекла уже смертный приговор? Быть может, ему?

Князь снова вернулся в комнату и начал ходить из угла в угол. Спать ему не хотелось, да притом и не стоило. С минуты на минуту надо было ждать приказа выводить эскадрон. В комнату тихо вошел его вестовой.

— Не будет ли приказаний, ваше сиятельство? — спросил он.

Этот вестовой по имени Егор, взятый князем к себе несколько дней назад, оказался забранным в прошлом году рекрутом из смоленского имения князя. Крестьяне Бахтевых издавна любили своих господ, и Егор был несказанно рад такой удаче, что ему пришлось служить своему барину.

— Нет, ничего, — ответил Левон. — А, впрочем, — добавил он, — приготовь на всякий случай поскорее чай и чего-нибудь. Может, подъедет Данила Иванович.

— Слушаю-с, — и Егор ушел.

Князь, действительно, с минуты на минуту ждал приезда Новикова и уже начинал тревожиться за него.

На этот раз ожидания не обманули его. Не прошло и десяти минут, как в комнату торопливо вошел Новиков.

— Вот и я, — крикнул он, переступая порог.

— Как я рад! — с истинным облегчением воскликнул князь. — Ну, рассказывай.

Вошедший вестовой помог Новикову снять шинель.

— Ты откуда? — спросил князь.

— Устал, хочу есть, как собака, — ответил Новиков. — Сейчас от нашего генерала — все доложил как следует. Фу, черт, ноги совсем затекли, — закончил он, с наслаждением вытягиваясь на лавке.

— Я уже распорядился, — отозвался князь.

— Да, — вдруг произнес Новиков, вскакивая с лавки. — Перекрестись, Левон, — фельдмаршал скончался, но это еще для всех тайна. Государь ожидает сражения и не хочет пока, чтобы армия знала об этом. Старика очень любили

Лицо Новикова стало серьезно и печально.

— Мир его праху! — торжественно сказал Левон. Это не было для него неожиданностью после последнего свидания с фельдмаршалом, но все же его сердце болезненно сжалось. Как будто вместе с этим стариком ушла навсегда в вечность целая эпоха славы, блеска, побед. Он был последним носителем великой славы минувшего. Настали новые времена, выдвинулись новые люди... Над его славной могилой уже сплетаются, как змеи, низкие интриги, зависть — уже делят наследие его власти. — Этого надо было ожидать, — грустно сказал Левон, — но все же это скорбная весть. Мы потеряли великого русского человека.

— Да, — ответил Новиков, махнув рукой, — но там думают иначе. Старик все же стеснял их. Теперь у них вполне развязаны руки. То-то покажут себя! А положение наше скверно.

— Скверно? — переспросил Левон. — Конечно, оно не так блестяще, как думает, например, Софья Григорьевна, но все же, если мы не будем безумно лезть вперед, — наше дело не проиграно.

— Уже поздно, — мрачно сказал Новиков.

— Как поздно! — удивленно воскликнул князь.

— Сейчас, — отозвался Данила Иваныч, указывая глазами на вошедшего Егора.

Егор быстро поставил на стол закуски и вино, потом сбегал и вернулся с чайником и посудой.

— Больше ничего, — нетерпеливо сказал князь.

Егор вышел.

— Ну, так вот, — наливая себе вина, начал Новиков. — А младенец еще спит? — перебил он себя, указывая глазами на Белоусова.

— Спит и будет спать, пока не разбудят, — ответил князь. — Говори, не стеснясь.

— Ну, так вот, — повторил Новиков, — я скажу тебе самые достоверные сведения. Пока думали, что Наполеон где-то там во Франции собирает жалкие остатки войск, — он уже здесь. Он сам ведет на нас двухсоттысячную армию, он сейчас, наверное, в десяти верстах от нас. Его войска заняли или займут на днях Лейпциг, а у нас не наберется и ста тысяч!.. Нам придется отступить за Эльбу, или мы будем уничтожены.

Князь был поражен.

— Как, — медленно спросил он, — Наполеон уже здесь, у него уже есть новая армия? Но это неслыханно! Он волшебник.

Князь в волнении заходил по комнате.

— Да, это почти чудо, — ответил Новиков, — в главной квартире ошеломлены. Прусский король, говорят, рвет и мечет и чуть ли не готов сам лететь просить пощады... И все же бой хотят дать! — закончил он.

— Но кто же главнокомандующий? — спросил князь.

— Назначен Витгенштейн, — ответил Новиков. — Барклай, Тормасов и Милорадович беснуются. Прусский король обозлен, что государь не согласился назначить главнокомандующим этого старого вахмистра Блюхера.

— Хоть это-то слава Богу, — заметил князь.

— Да что, — почти с отчаянием произнес Новиков, — а сколько у Наполеона еще войск в крепостях на Эльбе, Одере, Висле. В Кракове! Говорят, идут войска из Италии и Испании, собираются войска Рейнского союза! А Витгенштейн! Да что он! Он будет куклой, так как все его распоряжения идут на утверждение в императорскую квартиру! И это-то против Наполеона! Против величайшего полководца. Ну, а теперь, — закончил он, — надо готовиться к бою. Завтра мы будем атакованы самим Наполеоном, и да поможет нам Бог! Да, скажи, пожалуйста, — снова начал он, — что, имеешь ли известия от Герцфельда, или этот герой сбежал?

— Нет, он не сбежал, — улыбнулся князь, — он ухитрился переслать мне записку, что, принужденный экстренно выехать, он откладывает дело до первой встречи. Вообще вся эта история довольно глупа, — и князь пожал плечами.

— Ты не можешь себе представить, — сказал Новиков, — до какой степени нагло ведут себя прусские офицеры. Они теперь везде в штабах, всем распоряжаются. Да и среди населения — оно здесь богаче — уже совсем не то отношение. За каждый пук соломы дерут втридорога. Я не раз слышал, как эти скоты говорили, что без нас они прекрасно бы жили, а мы приносим им только разорение, что с Наполеоном нам все равно не справиться, и прочее. Я часто вспоминал слова Гардера, что есть две Пруссии, ну, так той, к какой принадлежит он с дочерью, осталось очень немного и скоро, кажется, вовсе не останется, а останутся одни скоты, которые готовы были бы даже сейчас сожрать нас... Ведь они ненавидят и презирают нас. Мы испытываем еще это на своей шкуре...

Новиков взволнованно замолчал.

В эту минуту вошел вестовой и передал приказ строить эскадроны.

— Эй, юноша, — крикнул Новиков, стаскивая с Белоусова шинель, — торопитесь в первый бой.

Белоусов вскочил и сел на лавке, протирая глаза. Кажется, он еще не понимал, где он и кто разбудил его.

— Скорей, скорей, — торопил его Новиков

Белоусов очухался и вскочил на ноги

— А, здравствуйте, — весело проговорил он, протягивая руку, — наконец-то бой!

Его юное лицо с большими карими глазами светилось оживлением.

Князь с заметной симпатией глядел на юношу

— А все-таки, Гриша, — сказал он, — вам рано идти в поход. Я бы не пустил вас. Посмотрите, ведь вы совсем ребенок.

Гриша вспыхнул.

— Это вы увидите в деле, — звенящим голосом ответил он.

— Да вы, Гриша, не обижайтесь, — примирительно сказал Новиков, — ведь вы уже не раз доказали свою смелость на разведках.

— А все же вы не захотели взять меня с собой, — с упреком сказал юноша.

— Ну, возьму в следующий раз, — улыбнулся Новиков.

— Правда?

— Правда. Вот моя рука.

Гриша горячо пожал протянутую руку.

Гриша был единственным сыном богатого и родовитого пензенского помещика. Благодаря связям он был принят прямо в последний класс пажеского корпуса и через полгода уже выпущен офицером.

И князь, и Новиков сразу почувствовали симпатию к восторженному юноше, и через несколько дней он уже стал для них близким. Что касается Белоусова, то он чуть ли не обожал их и видел в них героев.

ХIII

Небо было безоблачно, воздух тих и прозрачен. На отлогом скате возвышенности, на левом фланге расположения наших войск стройными линиями вытянулся драгунский полк, в котором служил Бахтеев.

Со своего возвышенного места Левону ясно были видны противоположные возвышенности, лощина, пересеченная большой дорогой, дома селения и крутые берега риппахского ручья и развернутые на этом берегу в боевом порядке колонны русских войск — пехоты и многочисленной кавалерии.

Царило напряженное ожидание. Левон взял подзорную трубу. Скаты холмов были пусты. Но вот на вершине холма показалась фигура всадника. Конь остановился. Через мгновение появились еще несколько всадников и стали в стороне от первого. Левон почувствовал, что у него прехватило дыхание и потом учащенно забилося сердце. Стройная серая лошадь и сидящий на ней невысокий человек в длинном сюртуке и треугольной шляпе ясно вырисовывались на чистом небе. Лошадь стояла как вкопанная и казалась со своим всадником чудесным памятником.

— Это он, — вслух произнес Левон.

Но на эту группу уже устремились все глаза. Словно всколыхнулись ряды, по ним пробежал шепот. Наполеон!

Левон в первый раз видел великого императора Запада, того, чье имя уже при жизни было окружено легендой. Этот маленький человек на тонконогом арабском коне, неподвижно, как статуя, стоящий на вершине холма, казался ему воплощением грозной силы, почти двадцать лет потрясавшей мир громами своих побед.

Не отрываясь глядел на него Левон. Вот император повернул голову и слегка поднял руку. В ту же минуту стоявший недалеко от него всадник в шитом золотом мундире приподнял шляпу, украшенную перьями, и повернул коня. Император не глядя протянул руку назад, и в то же мгновение в этой руке очутилась подзорная труба. Несколько минут император внимательно рассматривал русские позиции, потом отдал трубу тем же порядком, как и получил, и вдруг, к великому удивлению Левона, тронул коня и медленно начал спускаться по отлогому скату. Свита следовала за ним... Он медленно спускался, а тем временем из-за гребня холма и прямо, и слева, и справа вдруг показались густые цепи стрелков, потом грозные каре пехоты и волнующаяся масса кавалерии. Каре двигались на расстоянии нескольких сот шагов друг от друга. Прямо против драгун Левона шел отдельный отряд кавалерии. Впереди несли тот самый всадник в золотом мундире, стоявший раньше рядом с императором. Левон узнал его по лошади и белому плюмажу. Император остановился. Головные части уже поравнялись с ним, и, как отдаленный гром, послышались восторженные крики. Войска приветствовали своего императора. Стрелковые цепи бегом

спускались по скату; было видно, как солдаты потрясали ружьями, высоко поднимая их над головой. Крики становились громче. Уже ясно были слышны возгласы:

— *Vive l'empereur!*

Всадник в золотом мундире подскакал к императору и, сняв шляпу, указывал ею куда-то вниз. Император тронул коня и рысью поехал вниз. Окруженный блестящей свитой, он быстро приближался к русским позициям, по-видимому, нисколько не думая об опасности, а опасность была близка.

Русские батареи насторожились. Еще мгновение, и крайняя батарея полковника Горского грянула. Густое облако дыму и песку заслонило от глаз Левона императора и его свиту. От батареи понеслось радостное «Ура». У Левона похолодели руки. Дым рассеялся, и первое, что увидел Левон, — это неподвижно стоящую фигуру Наполеона... По долине неслась белая обезумевшая лошадь без всадника. На ее белой шерсти были видны темные пятна... Кучка людей толпилась около одного места. Бежали с носилками. Император снял шляпу, потом тихо повернул коня и медленно начал подниматься на возвышенность. Через несколько минут Наполеон скрылся за гребнем холма, сопровождаемый все теми же иступленными криками:

— *Vive l'empereur!*

Загрохотали орудия, внося смерть и опустошение в густые массы каре. Но каре смыкались вновь и тем же шагом, с ружьями наперевес шли вперед. Стрелки уже открыли огонь, а со ската загремели французские пушки. Лощина заволоклась дымом, прорезаемым вспышками выстрелов. На отдельных участках боя слышались крики «Ура». Это русская пехота двинулась в контратаку на атакующие цепи французских стрелков. Под убийственным огнем французы с ответными криками: «*Vive l'empereur!*» — лезли на крутой берег Риппах. Поражаемые огнем, сталкиваемые в ручей, они лезли тучей и издали казались муравьями. Их поддерживала артиллерия и по всему фронту залпы наступающих каре. Густые колонны французов уже появились в центре русского расположения на другом берегу ручья. С правого фланга в обхват наступали другие колонны, а на левый фланг, прикрываемый драгунским полком, неслась в карьер кавалерийская бригада.

— Отчего мы не бросимся на них? — весь дрожа от нетерпения, спросил подъехавший к Бахтееву Белоусов. — Смотрите, князь, — продолжал он, — как растянулся их фронт, мы могли бы отрезать вон ту часть.

Левон пожал плечами.

— Наш центр прорван, левый фланг обойден, сражение проиграно, — глухо сказал он.

В эту минуту по фронту полка с обнаженной саблей в руках промчался командир полка полковник Громов. За ним несли трубач и адъютант.

— Ребята, вперед, — кричал он, — туда, на врагов, ура!

Трубач заиграл поход.

— Ура! Ура! — повторила тысяча голосов.

Ряды всколыхнулись. Эскадронные командиры приняли команду. Бахтеев выехал перед фронтом своего эскадрона, поднял саблю и крикнул:

— Первый эскадрон! Сабли вон! Развернутым строем, в карьер марш!

Как один человек, эскадрон снялся и понесся по ложине навстречу неприятельской кавалерии. Наступал тот момент боя, когда личная инициатива начальника уступала место стихийному общему порыву. Могучее «Ура» прорезало воздух; ряды расстраивались. Одна, другая лошадь споткнулась, всадники упали, но на них никто не обратил внимания. Киверы с длинными султанами, красные мундиры французов мелькали перед глазами. Еще мгновение, и все смешалось. Замолкли крики. Слышались только лязг оружия, тяжелое сопение лошадей, изредка пронзительное ржание. Небольшой отряд французов при стремительном натиске русских оказался отрезанным от своих. Молодой французский лейтенант заметил опасность и, повернув коней, помчался широким полукругом к своим. Это заметил Белоусов. Повинуясь мгновенному порыву, он собрал свой взвод и быстро двинулся наперерез. Французы понимали, что каждая минута им может стоить жизни, так как с тыла на них тоже наседали значительный отряд. Если русские их задержат с фронта, то гибель отряда неминуема.

Пригнувшись к шеем коней, красные мундиры летели бешеным галопом.

— За мной, братцы, за мной! Ура! — кричал Белоусов, до крови шпора своего коня.

Несколько минут длилась эта бурная скачка. Белоусову удалось перерезать дорогу.

Французский офицер, такой же юноша, как и он, прямо бросился на него с поднятой саблей. Белоусов успел выстрелить из пистолета, но промахнулся и в тот же миг почувствовал короткий, но безболезненный удар по левой руке. Русские и французы смешались в одну кучу. Подоспели еще русские, преследовавшие этот отряд. Белоусов

чувствовал себя как во сне... Он ли, или кто другой кричал иступленным голосом: «Бей! Руби!»

Словно чуждая сила вселилась в него.

Когда он опомнился, он увидел беспорядочно скачущих по разным направлениям французских кавалеристов и лежащего на земле юного французского лейтенанта.

Он оглянулся назад. В дымном тумане он увидел, как отчаянно пробивался его полк под напором неприятельской кавалерии, поддержанной пехотными частями. Они были охвачены с трех сторон. Полк уже спешился и, сомкнувшись в каре, отражал атаки ружейным огнем. Гибель его была близка. Одно спасение его было в бегстве, но Белоусов знал, что Громов скорее умрет, чем побежит. И он был прав. Никому в голову не приходило бежать. Сзади загрохотали пушки. Это Ланской, узнав о трагическом положении 5-го драгунского, выслал для прикрытия его два орудия.

Французы отхлынули.

Громов опять посадил людей на коней. В это время ординарец привез приказ — немедленно отступать. Отступление было объявлено по всему фронту. Русские усилили огонь до последней степени и под прикрытием этого огня отходили со своих позиций. Неприятель не преследовал.

Белоусов скоро присоединился к своему полку. Он был ранен в левую руку, но был весел и чувствовал себя счастливым. Он был уверен, что одержана победа. Но его счастливое настроение быстро прошло, когда он увидел мрачные, хмурые лица офицеров и солдат. Бахтеев едва взглянул на него и, видимо, не заметил его раненой руки. Громов ехал, опустив голову, кусая усы. Полк понес страшную убыль, до одной четверти своего состава. Кроме того, все были удручены отступлением. Новиков, командир 3-го эскадрона, подъехал к Белоусову.

— Вы ранены, Гриша? — спросил он, указывая глазами на левую руку.

— Кажется, — ответил Белоусов, — только несерьезно. Даже кровь не идет сейчас.

— Слава Богу, — отозвался Новиков. — Поражение, — тихо закончил он. — Началось.

XIV

До глубокого вечера продолжалось артиллерийское сражение, под гром которого отступил отряд Ланского и поддерживавшая его многочисленная кавалерия Винцинге-

роде. Войска отступали в порядке, даже успев захватить большинство своих раненых и несколько десятков пленных. Обозы и телеги с ранеными тянулись по темной дороге. В глубоком молчании двигались ряды войск. Настроение у всех было сумрачное. Все инстинктивно понимали, что война только что началась и началась неудачей, хотя дело само по себе было незначительно, только авангардное.

Громов поехал вперед к Ланскому. Распространился слух, что отступление ведется на Пегау на соединение с главными силами. Вернувшийся Громов сообщил, что в сражении участвовали дивизии Сугама, Жирара и Маршана и что убитый французский генерал был маршал Бессьер, старый друг Наполеона, командовавший в роковой день гвардейской кавалерией.

— Известно, — добавил Громов, — что государь не хочет отступать дальше и отдано распоряжение готовиться к бою. Сражение будет дано, по всей вероятности, у Пегау, куда стягиваются многочисленные войска.

Жители деревеньки, где остановился 5-й драгунский полк, уже знали о маленькой неудаче, постигшей русский передовой отряд. Все ворота были закрыты, на улице ни души. Помня строжайший приказ по армии — не стеснять мирных жителей, Громов приказал солдатам расположиться в поле.

Бахтеев, Новиков и Белоусов в сопровождении вестовых отправились на поиски места для ночлега. Белоусов непременно хотел ночевать среди поля, но именно из-за него друзья не хотели этого. Бахтеев хотел осмотреть рану юноши, так как хорошо знал, что иногда самые незначительные ранения холодным оружием сопровождаются лихорадкой.

— Что за пустяки, — возражал Белоусов, — я не ребенок.

— Молчите, Гриша, — ответил Новиков, — дело было самое пустое. Неужели вы не хотите участвовать в настоящем бою?

Перед этим аргументом Гриша замолчал.

Подъехали к одним воротам. Долго не отвечали на стук. Наконец послышался недовольный голос, спрашивавший, кто там и что нужно?

— Русские офицеры просят ночлега, — крикнул Бахтеев.

— Хозяйка больна и места нет, — грубо произнес тот же голос.

Новиков вспыхнул и тронул лошадь к воротам.

— Оставь, — сказал Бахтеев, — не будем «чинить утеснений» нашим дорогим союзникам, поедem дальше.

— Это черт знает что такое, — волновался Новиков, — тон-то, тон каков!

У следующих ворот повторилось то же, только с той разницей, что был болен уже хозяин, а не хозяйка.

— Ну, теперь последний опыт, — с глухим раздражением сказал князь. — Хотя бы весь дом был болен, а я «учиню им утеснение».

На этот раз был выбран домик побольше, и по приказанию офицеров вестовые подняли адский стук в ворота. Было слышно, как по двору пробежало несколько человек к воротам.

— Какой черт не дает спать по ночам? — послышался злобный голос.

— Осторожнее, приятель, — крикнул взбешенный Левон, — здесь русские офицеры.

— У меня места нет, — ответил голос, — ступайте к соседу.

— Открой сейчас, или я велю ломать ворота, — закричал Новиков.

За воротами воцарилось молчание.

Прождав несколько мгновений, Новиков приказал вестовым ломать ворота.

— Позвольте, ваше сиятельство, — попросил Егор, — я живо отомкну ворота. — И, не дожидаясь разрешения, Егор соскочил с коня, в одно мгновение, как кошка, вскарабкался на ворота и прыгнул во двор. За воротами слышались крики и громкий, спокойный голос Егора: «Не трожь, хозяин, ей-ей не трожь — видишь это!»

Жест был, должно быть, энергичный, так как сейчас же послышался крик:

— Проклятый разбойник!

Бахтеев вздрогнул, но промолчал.

Ворота распахнулись, и всадники въехали в просторный двор, освещенный двумя большими фонарями.

Кроме Егора, во дворе находилось несколько человек, среди которых выделялся видом и костюмом высокий и широкоплечий человек с рыжей бородой, очевидно, хозяин. Он стоял посреди двора, враждебно смотря на офицеров.

— Кто здесь обругал проклятым разбойником русского солдата? — громко спросил Левон по-немецки, и по его голосу, с металлическими нотами, Новиков, хорошо знавший его, понял, что князь взбешен до последней степени.

Немцы молчали.

— А вот этот, ваше сиятельство, — отозвался Егор, указывая на хозяина. — Я малость хотел ткнуть их благо-родие эфесом в зубы, уж больно наседали.

Но князь уже не слушал его последних слов. Нервы, взвинченные боем, не выдержали. Он грудью наехал на хозяина, который, однако, не посторонился.

Так это ты! — тихо произнес Левон.

Да, это я, — нагло ответил немец. — Вы врываетесь в мирный дом, как...

Он не кончил.

Левон поднял тяжелую плетку и с размаху ударил хозяина, едва успевшего закрыть лицо.

Удар был так силен, что немец пошатнулся, потом выпрямился, и первым его движением было броситься к князю. Но, увидя его решительное лицо и руку, положенную на эфес полуобнаженной сабли, он остановился, потом круго повернулся и направился к дому.

— Стой, — закричал князь, — сперва укажи, где поставить лошадей, и проводи нас в комнату. Еще шаг, и я велю тебя повесить.

Бахтеев был в таком состоянии бешенства, что действительно мог привести в исполнение свою угрозу. Хозяин инстинктивно понял это. Он подошел к группе своих оробевших рабочих и коротко и отрывисто отдал им приказание, не подымая глаз. Было заметно, что ему мучительно стыдно перед своими рабочими. Потом он отошел в сторону и угрюмо стал ждать, пока офицеры слезут с коней. Дождавшись, он молча махнул рукой, приглашая офицеров следовать за ним. В окнах дома засветились огни. Шум разбудил его обитателей.

Через несколько минут офицеры были в просторной чистой комнате, очевидно, столовой. Большой стол был покрыт скатертью, в углу стоял низенький шкаф, на нем гарелки и стаканы. Хозяин скрылся. Вестовые принесли сена, Егор притащил еду и по приказанию Новикова воды. Данила Иванович хотел заняться раной Белоусова. С видом опытных хирургов он и Бахтеев осмотрели рану.

— Вздор, — решил Новиков, — не стоит и обращаться к медику. У него и так много работы, справимся без него.

Рана действительно оказалась незначительной.

От локтя до кисти был разрезан рукав, и тянулась неглубокая царапина. Однако и рукав, и рука были залиты кровью. Белоусов чувствовал себя превосходно. Пока Новиков промывал и перевязывал руку раненого, Бахтеев нерв-но ходил из угла в угол.

— Какая грязная история, — сказал он наконец, брезгливо ежась, — драться, как конюху!

— Не на дуэль же было вызывать этого грубого скота, — спокойно ответил Новиков, — иначе нельзя было поступить.

— Я не знаю, как надо было поступить, — угрюмо продолжал князь, — но это было... слишком по-немецки.

Новиков пожал плечами.

— Я бы мог даже застрелить его, — горячо воскликнул Гриша.

— Это было бы, пожалуй, лучше, — задумчиво произнес князь.

— Да ну его к Богу, — сказал Новиков. — Одно тут плохо. Это показывает, каковы наши милые союзники. Как трудно нам будет дальше при малейшей неудаче. А что, если мы проиграем большое сражение и отступим за Эльбу? Что тогда?

— Но ведь не все же таковы, — возразил князь. — Мы сами видели в Бунцлау ландштурм, мы видели женщин, готовых встать в ряды защитников родины!

Лицо Новикова омрачилось. Он вспомнил Герту

— Да, это другая порода, — ответил он, — жестокие, жадные, вероломные и рядом с ними — чистые, смелые борцы за свободу.

— Я говорил это тебе еще вчера. Для меня это не неожиданность. И опять повторяю, что их мало, их очень мало, и, я думаю, через два поколения их уже не будет вовсе, а останутся в Германии только первые, останутся Герцфельды и, как этот хозяин, потомки рыцарей-разбойников больших дорог и негодяев их разбойничьих шпак.

— Что за непонятное ослепление! — воскликнул князь.

— Наше дело маленькое, — с горечью отозвался Новиков, — иди и умирай там, куда пошлют.

Гриша с напряженным вниманием слушал этот разговор.

— Я никогда не любил немцев, — робко произнес он, — я очень рад, — продолжал он, весь вспыхнув, — что и вы не любите их. И я гораздо охотнее воевал бы против них, а не за них, — закончил он.

— Молодец Гриша, — весело сказал Новиков, — видеть, что русский, только ты этого никому, кроме нас, не говори, а то скажут, что ты не патриот, а наше высшее начальство таких не любит. А теперь закусим да и на боковую. Где-то теперь наш друг Сеничка? — вздохнул он. — Он бы живо всех развеселил.

— А где его полк сейчас? — спросил князь.

— Понятия не имею; как тогда мы выехали из Дрездена вместе, ведь он направился в штаб Винцингероде, — с тех пор о нем сведений не имею, и в штабе справлялся, там тоже не могли указать, где первый кирасирский полк, — ответил Новиков. — Бог даст, встретимся. А теперь доброй ночи, — закончил он.

XV

В предрассветном сумраке на склоне пологого холма, возвышавшегося над дорогой в Пегау, виднелась группа всадников. Двое из них стояли впереди, молча и напряженно всматриваясь в даль пустынной дороги.

Это были русский император и прусский король. Фридрих-Вильгельм явно не мог скрыть своего беспокойства и нетерпения. Его деревянное лицо было сумрачно и злобно. Он то и дело поглядывал на часы, нервно ударяя хлыстом своего коня. Александр был, как всегда, спокоен, с обычной легкой усмешкой на губах.

— Правый Боже! — проговорил наконец Фридрих-Вильгельм, — где же они?

— Они будут, дорогой Фридрих, — спокойно ответил Александр.

— Где ж они? — тупо повторил Фридрих-Вильгельм. — Им пора бы показаться. Это Ауэрштедт, ваше величество, — с раздражением закончил он.

Император молчал, устремив глаза на показавшуюся на горизонте золотую полоску зари. Он словно молился. Быть может, так и было. Потом он обратил задумчивый взор на волнообразную равнину, тянувшуюся от Люцена, и тихо проговорил:

— Какие великие воспоминания! На этой самой равнине два века тому назад пал жертвой во имя свободы благородный Густав-Адольф...

Фридрих, которого вообще никогда не волновали никакие идеи, недовольно взглянул на Александра и хмуро ответил:

— Ваше величество вспоминает Густава-Адольфа, а я Ауэрштедт и Иену.

— Да, — с одушевлением воскликнул Александр, — но здесь, на этих прославленных полях, мы тоже боремся за свободу Европы, за свободу Германии, за мир и правду!

Фридриха всегда удивляла и была чужда возвышенная мечтательность его царственного друга. Он попросту не ве-

рил ей и мучительно думал, не прогадал ли он, выступив против Наполеона? Он не верил и в бескорыстие Александра и никак не мог понять, как можно воевать за другого, когда есть возможность заключить для себя блестящий мир. Он вечно жил под страхом, что его союзник протянет руку Наполеону, отдав его на жертву разгневанному врагу, и ненавидел в душе всех, кто заставил его заключить этот союз.

Взошло солнце, но дорога все еще была пустынна. Но вот вдаль за клубилась пыль. Александр облегченно вздохнул. Фридрих не мог сдержать своего нетерпения.

Он повернулся к свите и своим резким грубым голосом крикнул, указывая рукой на дорогу:

— Узнать.

От свиты тотчас отделился молодой адъютант и карьером помчался на разведку...

— Ну вот, это они, — проговорил Александр, всматриваясь в подозрную трубу

Фридрих совсем одеревенел, выпрямившись на лошади.

Медленно тянулось время. Наконец прискакавший адъютант доложил, что это идет бригада Дольфса, а за нею корпус Йорка.

— В семь часов войска уже должны были стоять по диспозиции, а они только что идут, — резко проговорил Фридрих, взглянув на часы.

Проходящие войска приветствовали государей. Лицо Александра сияло. Казалось, ни на одно мгновение не оставляла его уверенность в победе. План сражения казался ему безошибочным, диспозиция великолепной. Наполеон наступал на Лейпциг и проходил мимо русской армии, не подозревая о ее сосредоточении близ Пегау и совершенно обнажая этим свой фланг. Этим-то и решил воспользоваться новый главнокомандующий союзными армиями граф Витгенштейн. В то время, когда голова французской армии покажется у Лейпцига, он ударит в хвост ее колонн с фланга. План был хорош, особенно при царившей уверенности, что армия Наполеона малочисленнее союзной...

Со стороны Лейпцига уже слышалась канонада. Это Лористон атаковал войска Клейста, прикрывавшие Лейпциг. Предположения Витгенштейна осуществлялись.

Войска были готовы к бою. Государи переменили место и теперь стояли на высоком холме перед Гросс-Гершенем, откуда открывался широкий вид на линии разбросанных селений Кайи, Раны, Гросс-Гершена и Клейн-Гершена, составлявших ключ позиции. Ясно были видны биваки французских войск. По донесению разведчиков это был корпус

маршала Нея. Обозревая многочисленные стройные полки пехоты и кавалерии, грозные батареи, готовые поддержать их удар, Александр уверенно и спокойно ждал.

Рядом с государем стоял и главнокомандующий. Было тихо. Наступал тот момент, когда все сознают, что «пора».

К Витгенштейну подскакал прямой и сухой, с большими седыми усами и блестящим взглядом из-под нависших бровей Блюхер. Он, действительно, всем своим грубым обликом походил на старого вахмистра.

Отсалютовав саблей, он громким сиповатым голосом спросил по-немецки:

— Разрешите начинать, ваше сиятельство?

Витгенштейн бросил быстрый взгляд на государя. Государь ответил чуть заметным наклоном головы.

— С Божьей помощью, — произнес граф на том же языке.

Блюхер поднял саблю, повернул коня и погнал его с юношеской стремительностью.

Послышались звуки труб и барабанов. Около орудий засуетились люди, ряды войск дрогнули и быстро и стройно, как на параде, двинулись вперед.

— О, как идут мои пруссаки! Какое равнение! — в восхищении вскричал Фридрих. — Как они поднимают ногу!

Александр бросил на него странный, не то презрительный, не то негодующий взгляд, и молча отвернулся.

В эту минуту воздух дрогнул от тяжелого залпа орудий. Загорался первый бой за свободу Германии!

Маленький человек с бесстрастным, бледным лицом, в треуголке, на чистокровном арабском скакуне, медленно ехал по дороге от Люцена к Лейпцигу. Почти рядом с ним, на полкорпуса сзади, ехал человек высокого роста и атлетического телосложения, в шляпе с пышным плюмажем, в блестящем маршальском мундире. Густые рыжеватые волосы виднелись из-под шляпы. На массивном лице лежал отпечаток львиного мужества и решительности. Немногочисленная свита почтительно следовала за ними на расстоянии пятнадцати шагов. И впереди и сзади тянулись войска. Воздух дрожал от неистовых восторженных криков: «Vive l'empereur!»

Но эти крики так часто раздавались в ушах этого человека с мраморным лицом, от Эбро до Эльбы, от пирамид до Москвы, что он почти не слышал их.

— Да, — говорил он, не глядя на маршала, — союзники не ожидали меня. Я совершу эту кампанию не как

император, а как главнокомандующий итальянской и египетской армией! Посмотрите, Ней, — живо добавил он, указывая рукой на ряды войск, — разве это не молодцы!

— У них один недостаток, ваше величество, — ответил Ней, — их молодость

— Ну, от него они избавляются с каждым днем, — заметил император. — Однако что это такое?

Сзади раздался оглушительный гром орудий.

— Ведь это ваш корпус.

С этими словами император быстро обернулся, но Ней, повернув лошадь, уже неся во весь опор по свободному узкому краю дороги. Отбившиеся от рядов солдаты торопливо отскакивали в сторону, завидя его бешеную скачку

Наполеон медленно повернул лошадь и поднял руку. Войска остановились. Несколько мгновений император прислушивался, следя за направлением дыма от выстрелов в подозрную трубу, и наконец нетерпеливо махнул рукой своим ординарцам и адъютантам, мгновенно очутившимся близ него. Резким отрывистым голосом он отдал им приказания:

— Вернуть вице-короля и Макдональда на выстрелы! Маршану спешить к Страдзиделю! Бертрону двинуться во фланг союзникам.

Было что-то необыкновенное, почти сверхчеловеческое в гениальной быстроте его соображений.

Через несколько минут ординарцы уже скакали по разным направлениям, а он, по-прежнему бесстрастный, повернул свою кавалерию и во главе ее поскакал на выстрелы.

По всей линии кипел бой. Союзники стремительно атаковали Гросс-Гершен под прикрытием тридцати шести орудий, громивших селение и французский бивак с расстояния восьмисот шагов.

Кавалерия бросилась в обход Гросс-Гершена на Клейн-Гершен, а пехота Клюкса ударила на селение Рану. Застигнутые врасплох, французы подались назад.

На холме против Гросс-Гершена виднелась фигура Александра и рядом с ним прусского короля. Король был бледен и беспокойно озирался по сторонам. Пальба со стороны союзников усилилась. Французские батареи отвечали. У подножия холма рвались бомбы и шлепались случайные пули.

Фридрих-Вильгельм не выдержал. Он наклонился к императору и голосом, утратившим всякое высокомерие, произнес:

— Ты в большой опасности, не отъехать ли лучше? Смотри, уже долетают пули.

Александр на миг оторвался от зрелища развёртывавшегося сражения и кинул взгляд на бледное, теперь уже не деревянное лицо Фридриха-Вильгельма. Но этот взгляд был так безразличен, что казалось, будто император не видит своего собеседника.

— Эти пули не для меня, — со спокойной уверенностью произнес он, отворачиваясь.

Прусская кавалерия Дольфа неслась на Гросс-Гершен, вздымая целые тучи пыли. Впереди неслись приданные ей эскадроны русской кавалерии.

— Bravo, bravo! — тихо произнес император.

Кавалерия уже была в трехстах шагах от линий французской пехоты. Но вдруг ряды неприятеля раздались, ахнули орудия, и огненный град картечи встретил кавалеристов. Было видно, как скошены первые ряды. За первым залпом последовал новый. Пруссаки дрогнули, остановились, смешались в кучу, задние в неудержимом беге теснили передних, и через несколько мгновений прусская кавалерия беспорядочной толпой поскакала налево к Страдзиделю. Только два русских эскадрона продолжали свою бешеную скачку, смыкая поредевшие ряды. Как ураган, налетели они на французскую пехоту, смешались с нею и исчезли в пушечном дыму. Справа русско-прусская войска ворвались в Гросс-Гершен. Оправившиеся французы под командой Сугама, заменявшего Нея, рванулись вперед. Тогда Блюхер бросил на них кавалерию Цитена под прикрытием русских батарейных рот. Но особенно жаркое дело происходило у селений Клейн-Гершена и Раны и между ними. Тут был и пятый драгунский полк. В канавах и рвах, пересекавших эту местность, засели французские стрелки. Их выбивали штыками под губительным огнем неприятеля. По несколько раз каждый ров переходил из рук в руки. Русские эскадроны рвались на французские батареи, врубались в пехоту, отступали, сметаемые картечью, и бросались вновь с той же дерзостью. Сквозь дым сражения показались огненные языки. Клейн-Гершен запылал от раскаленных снарядов. На плечах отступающих французов союзные войска ворвались в пылающее селение. Первым ворвался пятый драгунский полк. За ним неслась прусская кавалерия и тяжело наступала пехота. Бахтеев все время бился с Белоусовым, который ни за что не хотел отставать от него.

Бахтеев со своим сильно поредевшим эскадроном бросался, как вихрь, во все стороны. Бледный и решительный,

он являлся всюду, где был гуще дым сражения, и, молча стиснув зубы, вел безумные атаки на сильнейшего неприятеля. Казалось, он искал смерти или искушал судьбу. Но едва войска миновали горящее селение, как были встречены свежими войсками неприятеля. Впереди на крупной лошади ехал маршал Ней. С обнаженной саблей в руке, с пылающим лицом он кричал громким голосом:

— За мной, дети, вперед! Да здравствует император!

— Да здравствует император! — гремели молодые голоса.

Тесные каре железным клином врезались в наступающих союзников, разорвали их фронт и погнали перед собой. То тут, то там мелькала высокая фигура маршала. Тысячи пуль летели в него, но ему суждено было пасть не от неприятельских пуль, а от родных французских...

Но уже спешила на выручку гвардейская бригада Редера, во главе неся сам Шарнгорст, создатель прусской армии, великий патриот и смелый воин. Бахтеев видел, как лошадь Шарнгорста широким прыжком перемахнула через ров, как Шарнгорст поднял саблю, обернулся, что-то крикнул и вдруг склонился на бок и упал с лошади.

Клейн-Гершен снова был в руках союзников.

Небо померкло от дыма, и справа, и слева, и впереди пылали деревни. Пылали Гросс-Гершен, Рана, Кайя, Клейн-Гершен, Эйсдорф и другие деревни. Враги сражались в огненном кольце. По несколько раз пылающие деревни переходили из рук в руки. Русские овладели Кайей — центром французского расположения. Наступал решительный момент боя. Но все предвидел, за всем следил серыми глазами «маленький капрал» в треугольной шляпе. Медленно под страшным огнем объезжал он ряды своей гвардии. Остановясь перед фронтом, он несколько мгновений пристально смотрел на юношеские восторженные лица своих молодых гвардейцев. Все ждали, затаив дыхание, что скажет император. Наполеон поднял руку и громко, отрывисто бросил:

— La garde au feu!

Грянули восемьдесят орудий гвардейской артиллерии Друо, и молодая гвардия бросилась на штурм Кайи. Это было начало общей атаки. Ней, подкрепленный резервами, бросился на Клейн-Гершен и Рану; подоспевший вице-король наступал на Эйсдорф. Лористон, занявший Лейпциг, грозил правому флангу союзников, а Бертран обходил их слева. Резервы союзников были еще далеко. Поражаемые непрерывным огнем, русско-пруссские войска уступили ог-

ненную линию пылающих деревень и позиции, заваленные горами убитых и раненых.

Канонада стихала.

Сомнения не было. Союзники были обойдены с обоих флангов.

Сражение было проиграно. Заняв линию селений, французы прекратили наступление. Небо погасло. Приближалась ночь. Густые клубы дыма, чернея, сгущались над полем сражения. Ярче взвивалось пламя пожарищ.

А на холме впереди Вербена все еще виднелись неподвижно стоящие фигуры. Это были Александр и Фридрих-Вильгельм. Последние выстрелы замерли. Наступила тишина.

На печальный холм не доносились даже стоны раненых, покрывавших поле проигранного сражения.

XVI

Союзные войска отступили на свои утренние позиции. Кое-где загорались костры. Зловещее зарево стояло над пылающими деревнями, и от этого зарева еще глубже казался бездонный мрак беззвездной ночи. Вся дорога была загромождена повозками с ранеными. И их стоны, их возгласы, то жалобные и беспомощные, то озлобленные и угрожающие, одни нарушали тишину ночи.

Ветер раздувал кровавое пламя факелов в руках фельдгегерей, ехавших впереди и указывавших путь государям, направлявшимся через Стенч и Пегау в Гройч, где расположилась главная квартира. Оба молчали. Надежды обманули обоих. Вместо легких побед над истощенным и малочисленным врагом они наткнулись на железную стену, о которую разбились их усилия, и увидели перед собою армию, превышавшую их численностью, воодушевленную и грозную, во главе с Наполеоном, все тем же страшным и непобедимым.

— А все же мы возобновим завтра сражение, — прервал Александр молчание. — Да, мы не одержали победы, но ведь мы и не разбиты. Мы сохранили все свои позиции и даже Гросс-Гершен остался в наших руках!

— Да, мы возобновим сражение завтра, хотя бы это было новой Иеной, — с отчаянием воскликнул Фридрих. — Мы ничего не можем сделать иного! Мы не можем, не должны, не смеем уйти за Эльбу! Это значит — погубить Пруссию, себя и свое потомство!..

Александр, видимо, тронутый отчаянием Фридриха, тихо и мягко сказал:

— Успокойся, Фридрих, Бог поможет нам!

— Да, — злобно ответил Фридрих, — если мы будем иметь успех, то перед всем светом должны сознаться, что им мы обязаны исключительно одному Богу!

— Ты совершенно прав, дорогой друг, — спокойно и серьезно ответил Александр.

Снова наступило молчание.

— Я сейчас же, вернувшись, отдам распоряжение к завтрашнему бою, — прервал молчание Александр, — хотя Витгенштейну уже приказано готовиться...

Фридрих молчал.

Александр проводил вторую бессонную ночь. Едва вернувшись в Гройч, он призвал к себе князя Волконского и начал диктовать ему распоряжения на завтрашний день. Но его работа вскоре была прервана дежурным флигель-адъютантом, доложившим о прибытии главнокомандующего.

Витгенштейн вошел с сумрачным и озабоченным видом.

— Ваше величество, — начал он, — положение не позволяет нам возобновить завтра сражение. Мы должны отступить.

— Отступить! — воскликнул пораженный Александр. — Куда? За Эльбу?

Витгенштейн молча наклонил голову.

— Это невозможно, — продолжал Александр. — Что же случилось? Ведь мы же не разбиты. Потери французов не меньше наших!..

— Ваше величество, — начал Витгенштейн, — мы не разбиты сегодня, но мы будем отрезаны завтра от Эльбы и разбиты. Мы охвачены с обоих флангов. Лейпциг занят Лористоном; Клейст отступил к Вурцену. Взгляните на карту, ваше величество, и вы увидите, что мы должны отступить.

Государь внимательно рассматривал лежащую перед ним карту.

— Кроме того, — продолжал Витгенштейн, — у Наполеона сильные резервы и сорок тысяч нового войска. Мы же можем ввести в дело, как известно вашему величеству, еще только двадцать пять тысяч... Вот, государь, настоящее расположение сил.

И Витгенштейн, склонившись над картой, начал показывать государю наши и неприятельские позиции, с подробным расчетом сил.

— Я не мог решиться принять на себя столь тяжелую ответственность, — закончил он, — и жду приказаний вашего величества.

— Я разделяю мнение графа, — произнес Волконский, внимательно следивший за словами Витгенштейна.

Государь отошел от стола и несколько раз молча прошелся по комнате.

— Отступить! — тихо произнес он. — Это значит признать себя побежденными, поколебать чувства прусского народа, укрепить связи Наполеона с членами Рейнского союза!.. А между тем... Но прусский король не согласится на это, — прервал себя Александр.

— Это единственное средство спасти армию, — заметил Витгенштейн.

— Кампания только что началась, — сказал Волконский, — а наши силы будут прибывать с каждым днем. Кроме того, Австрия...

— Надо покориться необходимости, — быстро прервал его Александр, очевидно, решившись произнести роковое слово, — мы отступаем. Действуйте, как найдете лучше, граф. Я испытываю к вам полнейшую доверенность.

Витгенштейн поклонился.

— Итак, граф, с Богом, — закончил Александр, наклонив голову. — А мне надо еще поговорить с королем.

В тяжелых сапогах с большими шпорами, в рубаше, без мундира, сидел на своей походной кровати Фридрих. На его шее резко обозначилась красная черта от узкого и жесткого воротника мундира. Глаза были мутны, и лицо имело сонное выражение. Он только что, измученный бессонной ночью и тревожным днем, заснул тяжелым сном, как его лично разбудил император.

Фридрих порывался надеть мундир, но Александр положил ему руку на плечо и ласково произнес:

— До того ли теперь, Фридрих.

Вообще в отношении русского императора к прусскому королю всегда проглядывала какая-то трогательная, снисходительная нежность, словно к ребенку. И было удивительно, как чуткая, утонченная и навсегда раненная душа императора, искавшая новых путей, могла мириться с этим грубым, прямолинейным, без истинного достоинства и гордости, надутым прусским капралом. Но Александр был весь соткан из странных противоречий. Тихим, убедительным голосом начал он объяснять положение дел. Но при первом

же слове «отступление» король сорвался с места и, нетерпеливо натягивая узкий мундир, словно без формы он чувствовал себя не королем, нервно закричал:

— Отступить! Никогда! Как великий Фридрих, я скорее погибну под развалинами своей монархии!

И он ударил себя кулаком в грудь.

— Но это необходимо, дорогой друг, — спокойно убеждал его император и вновь повторил все доводы, приведенные ему Витгинштейном. — И потом, что ты будешь делать без моих войск? — добавил он.

— А, вот как! — в раздражении отвечал король. — Так я умру один!

Александр пожал плечами.

— Мы клялись друг другу в вечной дружбе, — тихо произнес он, — и я готов умереть с тобою, я, я один, но жизнь моих солдат принадлежит не мне, а отечеству.

— Если б Винцингероде поддержал Блюхера, ничего этого не было бы, — с горячностью произнес король. — Моим войскам не было оказано поддержки!

— Разве мы не за вас сражаемся, — строго и медленно произнес Александр, — разве не ради вас мы пришли сюда?.. Но нет, нет, — перебил он самого себя, — то воля Бога, то великая миссия, возложенная Им на меня.

Он резко оборвал свою речь и низко наклонил голову.

Фридрих не слышал его слов, а если и слышал, то не понял его, и продолжал:

— Отступить! Отдать опять Пруссию ему на жертву! Ах зачем, зачем я послушался гибельных советов. Теперь все погибло!

— Ничто не погибло, — ответил Александр, — мы отступаем на свои резервы.

— До Москвы? — язвительно спросил Фридрих и с горечью продолжал: — Я знаю, что если мы начнем отступать, то не остановимся на Эльбе, а пойдем за Вислу, и мне придется побывать в Мемеле! Ах, если бы была жива Луиза!

— Да, если бы была жива, — беззвучным голосом произнес Александр, и скорбная тень прошла по его лицу.

Король бегал по комнате, нелепо махая руками. Он был жалок и смешон. Вошедший адъютант почтительно вытянулся у порога и отчетливо отрапортовал:

— От его высокопревосходительства генерала Блюхера депеши, — он подал бумаги.

— Дайте, — король нетерпеливо выхватил из его рук бумаги, — можете идти.

Адъютант вышел.

Король развернул бумаги, но с первых же строк из его груди вырвался словно стон, и он тяжело опустился в кресло.

— Что случилось, дорогой Фридрих? — тревожно спросил Александр, быстро подходя к нему.

— Это ужасно! — воскликнул Фридрих. — Принц Лепольд ранен, Блюхер ранен, мой Гюнербейн убит, Шарнгорст умирает!.. — Король закрыл глаза рукой. Через несколько мгновений он продолжал: — Но он, мой герой Блюхер, настаивает на сражении. Да будет сражение, — закончил он, вставая с кресла и гордо выпячивая грудь.

— В таком случае распорядись, — холодно сказал Александр, — я уже отдал своим войскам приказ отступить.

— Но ведь это Ауэрштедт, — с отчаянием воскликнул король, глядя своими оловянными глазами в спокойное, словно застывшее лицо императора.

— Да, конечно, — ответил Александр, — это потеря кампании. Но я думаю, дорогой Фридрих, что ты не пойдешь на это. И поверь мне — не следует предоставлять случайностям битвы того, чего в непродолжительном времени, почти наверняка, можно достигнуть. Мы еще подождем Австрии. До свидания. У нас есть хорошая поговорка: — Утро вечера мудренее.

Александр пожал руку Фридриху и вышел.

XVII

В просторном кабинете за большим столом, ярко освещенным свечами в бронзовых канделябрах под зелеными колпаками, склонившись над бумагами, сидел мужчина. Свет из-под зеленых колпаков делал еще бледнее его длинное, бледное лицо с большим орлиным носом, высоким лбом и чуть полными, красиво очерченными губами. Он был еще молод, лет сорока, не более. Обстановка кабинета носила отпечаток деловитости и вместе с тем изящного художественного вкуса. Мраморный камин с великолепной решеткой, прикрытый прозрачным экраном, массивные старинные часы на камине, картины хороших мастеров, преимущественно на мифологические сюжеты, как Даная и Ио, этажерки с драгоценными безделушками, веерами редкой японской работы — все это говорило о художественных наклонностях владельца, но темного дерева стол, заваленный бумагами, шкафы с делами и книгами давали представление о серьезной работе.

Над столом висел большой портрет пожилого человека в фиолетовом камзоле, со звездой ордена Марии-Терезии на груди, с лысой головой, узким лицом и отвислой нижней губой. Это был последний портрет императора австрийского Франца I, а сидевший под портретом человек был его первый доверенный министр, почти вершитель судеб империи, граф Меттерних. С гибким и ясным умом он соединял честолюбивую, страстную и чувственную душу. Мастер интриги, он с одинаковым искусством плел свои сети и в любви, и в политике. Он любил и умел хорошо жить, всегда сохраняя свою холодную корректность, и мог работать, не вставая из-за стола, целые сутки.

Настоящее политическое положение требовало от него напряжения всех сил, и, как паук, он выпускал из себя паутину, закидывая ее концы и в главную квартиру императора Александра, и в лагерь Наполеона, и в Лондон.

Боковая дверь тихо отворилась, и вошел один из секретарей графа, по-видимому, самый скромный и незначительный, но на деле его довереннейшее лицо.

— Что нового, Кунст? — спросил граф, не поднимая головы.

— Донесения Стадиона и Бубны, — ответил Кунст, кладя на стол бумаги.

— А, — равнодушно произнес граф, не выказывая нетерпения ознакомиться с бумагами. — Что еще?

— Французский посол граф Нарбонн прислал справиться, когда сегодня он может увидеть ваше сиятельство, — продолжал Кунст.

— Ну, и что же? — спросил граф. — Очевидно, он также получил известия от герцога Виченцкого или Басано.

— Очевидно, — сказал Кунст. — Я ответил, согласно вашим распоряжениям, что вы, как всегда, готовы принять господина посла в одиннадцать часов.

— Очень хорошо, — промолвил граф, — у меня есть еще час времени. Вы свободны, Кунст, сейчас. Распорядитесь, чтобы господина посла провели тотчас ко мне. Если будет надо, я вас приглашу позднее.

Кунст поклонился и вышел. На его сухом лице с маленькими острыми глазами сохранялась обычная невозмутимость. Граф именно и дорожил им за его невозмутимый вид, умение скрывать свои чувства. Он знал, что по лицу его секретаря никто не узнает, радостны или нет полученные депеши, доволен ли сам граф, или расстроен, и никто не выпытает у него лишнего слова.

Граф медленно ножичком вскрыл пакет Бубна, отвозившего Наполеону в Дрезден, уже оставленный союзными войсками после Люценского сражения, собственноручное письмо императора Франца, и погрузился в чтение.

«Император французский, — доносил, между прочим, граф Бубна, — явно выражает недовольство политикой венского кабинета. Император раздражен, что в главную квартиру союзников отправлен именно граф Стадион, которого он считает своим открытым врагом. Император Наполеон выразился, что во всем он замечает двойственность австрийской политики, и добавил: «Такое поведение легко может наскучить и мне, и императору Александру и побудить нас к прямому соглашению между собою без посредничества Австрии».

— Ого, — прошептал Меттерних, прочтя эти строки и нахмутив брови.

«Император, — продолжал он читать, — закончил следующими словами: *«une mission au quartier général russe partagerait le monde en deux»*.

Письмо дрогнуло в руке Меттерниха. Ужаснее всего было для него сознание, что его разгадали. У маленького корсиканца зоркий взгляд.

«Да, да, — думал Меттерних, — *une mission au quartier général russe* может опрокинуть все планы. Вместо вооруженного посредничества могущественной Австрии явится ее полное одиночество и ее прежнее унижение, но этого нельзя допустить, — почти вслух произнес он. — Кто может учесть настроение русского императора? Прусский король не идет в счет, ему бросят подачку и довольно... Весь союз держится только русским императором».

Граф едва пробежал дальнейшие строки письма, в которых граф Бубна сообщал о своем разговоре с уполномоченным Наполеона герцогом Виченцским. Это было уже неважно. Блестящий выпад Меттерниха, в виде письма Франца с изъявлениями родственных чувств и уверениями в неразрывности союза и общности династических и политических интересов, оказался ударом шпаги по воде. Корсиканец разгадал все. Планы Меттерниха и его политика были просты и несложны. Идея всей его политики укладывалась в двух словах: ложь и предательство. Лгать, лгать, лгать, без конца, беззастенчиво, с открытым взором и ясной улыбкой... Уверять Наполеона, не щадя обещаний, в своей неизменной преданности и усыпить его недоверчивость, чтобы он не мог сразу наложить своей тяжелой руки на Австрию. Уверять Александра и Лондон в полной готов-

ности прийти на помощь коалиции, чтобы не допустить их сближения с Наполеоном, в случае чего Австрия при самых благоприятных условиях осталась бы в прежнем униженном положении. И самому, не доверяя ни той, ни другой стороне, выжидать минуты, когда можно будет с наибольшей для себя выгодой предать кого-нибудь из них. И вот, кажется, его игра преждевременно разгадана этим бешеным корсиканцем. Если Наполеон действительно заключит сепаратный мир с Александром, то он сам, Меттерних, останется незначительным министром почти вассального императора Австрии и притом нищим, так как сразу иссякнут золотые ручьи, текущие сейчас к нему из Лондона и из главной квартиры Александра. А жизнь так дорога, так дорога любовь и роскошь!

Меттерних с досадой бросил письмо в сторону и взялся за донесение графа Стадиона.

«На предложения венского кабинета, — писал Стадион, — последовало полное согласие союзных монархов; заявление, что Австрия примкнет к коалиции, если до 1 июня Наполеоном не будут приняты требования, указанные союзникам венским кабинетом, принято с нескрываемым облегчением».

«Да, если Наполеон и Александр до 1 июня не поделят мира», — с горечью подумал Меттерних.

Он бросил и это письмо. Что нового оно сказала ему? Что союзники охотно приняли выработанные венским кабинетом условия мира, лишаящие Наполеона всех его почти двадцатилетних побед и возвышающие Австрию, Россию и Пруссию? Но в этом нельзя сомневаться.

Что заявление Австрии о присоединении к коалиции встречено с восторгом? Но иного и нельзя было ожидать. Враг силен. За первой победой может последовать и другая, и третья. Русские снова будут отброшены за Неман и тогда... Но тогда надо быть безумцем, чтобы отвергнуть условия почетного мира... «Едва ли до этого может дойти самоотверженность русского императора, — с усмешкой подумал Меттерних. — Довольно того, что он предпринял этот поход, в прямой ущерб своей стране и к выгоде ненадежных друзей, — цинично думал Меттерних. — И еще, и еще, — пришла ему в голову ужасная мысль, — Наполеон, чтобы заручиться доверием Александра, может послать ему всю дипломатическую переписку с венским кабинетом последнего времени. Это он может сделать по двум причинам. Во-первых, показать искренность своего обращения, а, во-вторых, доказать, что, кроме себя, он может рассчитывать

на все силы Австрийской империи! Тогда все равно — всему конец! Проклятый выскочка обыграл его! Император Франц трус и предатель. В крайнем случае он пожертвует своим министром... А там безвестность и нищета. Итак, — закончил он свои размышления, — выводы таковы: Наполеон не верит и грозит — раз Военные наши приготовления не закончены — два. Александр непостоянен, Россия недовольна этой войной и возможен сепаратный мир с Францией — три. Результат — уничтожение Пруссии, полное унижение Австрии и падение его, Меттерниха»

Меттерних резко встал и заходил по комнате. Потом остановился, презрительно и насмешливо взглянул на портрет своего императора и тихо произнес:

— А его величество любит играть дуэты на скрипке. Но едва ли ему доставит удовольствие дуэт с прусским королем

Но граф Меттерних был не таким человеком, которого можно легко повалить. Ведь в конце концов в резерве сам Наполеон! Он должен помнить, кто заключил его брак с дочерью императора... Что касается обязательства перед союзниками, то ведь все трактаты пишутся для того, чтобы их нарушать. И во всяком случае надо выиграть время до 1 июня, обезопасив себя со стороны Наполеона. А время лучший союзник дипломатов. И, несколько успокоенный, Меттерних сел к столу.

XVIII

Когда через десять минут посол Франции граф Нарбонн вошел в кабинет, он увидел перед собою то же невозмутимое лицо с холодной любезной улыбкой на губах.

Граф Нарбонн с ног до головы был вельможа. Он казался истинным представителем старой Франции, Франции времен королей. Его юность и молодость протекли при роскошных дворах Людовиков, и он сберег все старые традиции своего древнего рода. Рыцарски честный, гордый без тщеславия, он казался своим в обществе королей и императоров. От него веяло старым романтизмом, и казалось недоразумением его присутствие среди новых людей двора новой Франции. Многие считали его роялистом. Но этот гордый, старый вельможа был пламенным патриотом. Он видел и понимал, чем Франция обязана Наполеону, и в его сердце были неразделимы Франция и ее император. В придворных венских кругах он был принят как свой, и ему было доступно многое в этом кругу «посвященных». Наполеон

знал, что делал, когда назначил этого старого аристократа, чей род восходил к XI веку, своим представителем при самом легкомысленном и тщеславном дворе в Европе, на смену графу Отто, считавшемуся при этом дворе «рагуеи».

С обычной, несколько старомодной любезностью он приветствовал всемогущего австрийского министра. Но Меттерних заметил оттенок высокомерной гордости и холодности в его тоне.

— Как я рад, господин граф, — начал он, — что вы почтили меня своим посещением. Какие добрые вести у вас? Новая победа? Кажется, мы опять начинаем привыкать к ним. Надеюсь, его величество здоров?

Меттерних подвинул графу кресло.

— Благодарю вас, — ответил Нарбонн, садясь, — его величество редко так хорошо себя чувствовал, как теперь. Что касается новой победы — ее пока еще нет, но, конечно, она близка.

Меттерних сделал жест, говорящий, что в этом не может быть сомнения.

— Союзники отступают, — продолжал Нарбонн, — наши силы растут. Вице-король уехал в Италию формировать новую армию. Со дня на день мы ожидаем в Дрезден саксонского короля. Последняя победа императора сделала еще теснее Рейнский союз. Наши ресурсы неистощимы, между тем как Россия истощена, а Пруссия... но ведь вам известно, дорогой граф, что прусский король теперь в отчаянии...

Меттерних слушал эти слова, полузакрыв глаза, взвешивал и оценивал их, выжидая дальнейшего.

— Но император ждет определенного решения от Австрии, с которой его связывают родственные и политические узы, — закончил Нарбонн.

— Но, Боже мой! — воскликнул Меттерних, — разве мой августейший повелитель не ясно выразился в своем письме? Разве не с достаточной определенностью венский кабинет предлагает свои дружеские услуги?

— Да, но на каких условиях? — заметил Нарбонн. — Уступки Иллирии, уничтожения Рейнского союза, раздела герцогства Варшавского и восстановления Пруссии в границах до шестого года. Не слишком ли это дорого?

— Да разве это наши требования? — живо возразил Меттерних, — это даже не требования союзников. Это их мечты. Это высший предел их желаний. Мы только посредники. Передавая их желания, мы вместе с тем стараемся умерить их. Мой император ясно выразился, что уже первое сражение умерило многие увлечения и рассеяло многие

несбыточные мечты. Но мы также находим, что было бы справедливо со стороны императора Наполеона великодушно пойти на некоторые уступки во имя всеобщего мира, который достойно увенчал бы его славное царствование.

— Однако, — прервал его Нарбонн, — вы уже не желаете играть роль мирных посредников, вы вооружаетесь. Император недоволен назначением Стадиона. Будем открытвенны, дорогой граф. Я дам вам дружеский совет — не раздражайте льва. Подумайте, что может произойти, если император Наполеон обратится непосредственно к русскому императору.

— О да, — с едва уловимой усмешкой произнес Меттерних. — *Une mission au quartier général russe partagerait le monde en deux.*

Нарбонн бросил на него быстрый взгляд. Эти фразы были упомянуты в инструкции, полученной им сегодня утром от герцога Виченцкого, но он не знал, что эта же фраза приведена и в донесении графа Бубна Меттерниху.

— Вы правы, — спокойно возразил он, — это может случиться. Переписка здешнего русского посла графа Штакельберга с графом Нессельроде, между прочим, теперь лучшим дипломатом в России, исключая, конечно, самого императора, дает для этого достаточно оснований.

Несмотря на всю свою выдержку, Меттерних не мог скрыть невольного движения беспокойства. Конечно, эта переписка в достаточной мере компрометирует его политику.

— По определению императора, — равнодушным тоном заметил Нарбонн, — интрига — не политика, так как политика ведет всегда к определенной цели, а интрига вовлекает в противоречащие действия, не имеющие постоянной цели.

— Какое глубокое определение! — воскликнул Меттерних. — Вот именно поэтому мы и не можем вмешиваться в интриги, какие, как вы говорите, связывают Штакельберга с Нессельроде. Они действуют на свой риск и страх, да мы и не интересуемся их поступками. И потом, каких еще доказательств нашего доброжелательства требует его величество император Наполеон? — продолжал Меттерних. — Разве, даже в нарушение нашего нейтралитета, мы не согласились пропустить через наши владения целый корпус Понятовского на соединение с французской армией? Разве мы не выражали открыто нашего отрицательного отношения к выступлению Пруссии?

Легкая усмешка пробежала по губам Нарбонна.

— Поменьше нейтралитета, милый граф, — сказал он, — и побольше содействия нам, вот чего хотел бы, ради взаимной выгоды, император Наполеон. А еще, — добавил он, вставая, и в его голосе послышалась скрытая угроза, — уверяю вас, что время очень дорого, момент легко может быть упущен, а император Наполеон нетерпелив. Когда я могу написать его величеству определенные, положительные условия, на которых Австрия заключает союз с Францией против коалиции? — закончил Нарбонн, глядя в лицо Меттерниха блестящими глазами.

Меттерних встал и, хотя чувствовал себя оскорбленным тоном Нарбонна, был по-прежнему холодно-спокоен.

«Надо терпеть пока», — пронеслось в его мыслях...

Этот тон был уже хорошо знаком ему. Таким тоном много лет говорили французские послы с австрийскими дипломатами. Много лет... начиная с Кампо-Формийского мира, когда Наполеон был еще просто генералом Бонапарте... Весь кипя от сознания своего унижения, Меттерних ровным голосом ответил:

— Когда соблаговолит выслушать меня его величество, кто один только может решить такой вопрос.

— Только помните, господин граф, — уже с улыбкой сказал Нарбонн, — замечательную латинскую поговорку: «*Tardentibus — ossa*».

— О, не беспокойтесь, господин посол, — тем же тоном ответил Меттерних, — если мы опоздали к Люцену, то теперь поторопимся в Париж.

Они взглянули друг на друга, как два авгура. Они поняли друг друга, и поняли также то, что никакие их переговоры не изменят того неведомого будущего, которое надвигалось на них — неизбежная, темная Мойра.

XIX

В лесу у Гервердской дороги расположился кавалерийский отряд. Ночь была темная, хотя звездная. У составленных ружей солдаты разводили костры и готовили свой незатейливый ужин. Слышалось ржание лошадей и оживленный солдатский гомон. Отряд состоял из двух эскадронов пятого драгунского полка. Полк находился в составе арьергарда генерала Милорадовича, прикрывавшего отступление союзной армии после поражения при Гросс-Гершене или Люцене. Макдональд следовал по пятам отступающей армии, и только благодаря доблести русского арьергарда, при-

нимавшего на себя тяжелые удары, союзная армия могла отступить в порядке на сильные позиции у города Бауцена. Драгунский полк был, если так можно выразиться, арьергардом арьергарда. Это была первая спокойная ночь после почти двухнедельных ежедневных схваток и сражений. Но теперь царила тишина. Упорный враг отстал, или утомленный, или обдумывая новый удар. Ни один выстрел не прерывал молчания этой теплой весенней ночи. Драгунским отрядом командовал князь Бахтеев. С ним был Новиков.

Разгорались костры. Солдаты вешали над огнем свои котелки, вбив в землю толстые суки и положив на них третий. Образовывались оживленные группы. Солдаты были веселы и бодры, несмотря на усталость, как всегда бывает после боев, когда со всею силою пробуждается инстинкт жизни, когда одно сознание, что ты жив, уже действует возбуждающе.

— Дядя, а дядя, — обратился молодой лупоглазый солдат к угрюмому седоусому драгуну, важно сосавшему трубку, лежа на шинели, — кто они будут, хрестьяне али нет?

— Ты это про кого? — спросил «дядя», сплюнув в сторону.

— Да про эстых немцев, дядя Митрий, — ответил молодой солдат.

— Да про каких эстых? — вмешался другой молодой солдат, — те ли, что супротив нас, те ли, что с нами?

Дядя Митрий угрюмо взглянул на говорившего и важно заметил:

— Теи, кто супротив нас, хрэнцузы, хоть бы и есть вместе с ними немцы, баварцы, понял? А с нами сущие истинные немцы, так-то...

— Все едино немцы, — не унимался молодой, — заодно в Россее храмы грабили.

— Да я, дядя Митрий, про тех, что с нами, — сказал первый.

— Говорят, быдто хрестьяне, — ответил дядя Митрий, — только не по-нашему.

— То-то, что не по-нашему, — оживился молодой. — Я вот, дяденька, при Гиршине видел, — продолжал он, размахивая руками, — как это, значит, наддали мы, а ихние такие мальчишки, право, ей-ей, орут и прут. Ну, мы, значит, их прижали, немного их и было... Тут двое их, парнишки так годов по пятнадцати, бросили ружья да кричат: пардону, пардону!.. Ну, вахмистр Анкудинов и говорит: «Не трож их, братцы». И впрямь жалостно — сущие парнишки... А тут вдруг Блюховы немцы с офицером ихним. Закричали на нас что-то, должно, нехорошее, да к

ним. Анкудинов кричит: «Не трожь, — это наши пленные». Куды тебе — немцы на них, те только вот этак руки подняли, а немцы их как зачали рубить. О-ох, — вздохнул солдат, — так нешто хрестьяне?

— То ли бывает, — вмешался молодой бравый вахмистр, — сам видел, как ихний офицер пленного застрелил из пистолета. Так себе, ни за что. Хранцуз не то... Он тебе в сражении ровно зверь, а опосля кричит: камрат, камрат, манже, — смеется...

Наступило молчание.

— А то, — прервал молчание все тот же лупоглазый солдат, — перед Гиршином подъехал к нам ихний генерал, старый, с эстакими усами, и ну лаяться по-своему, а по-нашему кричит только: свинья да свинья... А тут и наши господа офицеры... Что ж это, дядя, обругать нас и свой должен, на то он стоит... а немец как же? А?

— Молчи, не твоего ума дело, — угрюмо сказал дядя Митрий, — значит, оно так и надо. Дедушки нет, вот что! Он показал бы им повадку! — не вытерпел старый драгун, поднимаясь с шинели. — Поди-ка лучше посмотри, чай, размазня уж готова.

Лупоглазый вскочил и подбежал к костру.

— Чудно, — ни к кому не обращаясь, проговорил вахмистр, — вчера церкви Божии грабили, а ныне в друзья попали, да нас же и бранят. Чудно, — повторил он.

Лупоглазый принес котелок. Солдаты вытащили из-за голенищ ложки, из-за пазухи краюхи хлеба и принялись за ужин.

В стороне от солдат на пне срубленного дерева сидел князь Бахтеев, а рядом с ним на шинели лежал Новиков, подложив под голову руки, устремив глаза на звездное небо.

— Интересно знать, — прервал молчание Данила Иванович, — остановимся ли мы здесь у Бауцена, или пойдем дальше.

Новиков произнес свои слова тоном человека, которому, именно ему, нисколько это не интересно, а только хочется отогнать от себя какие-то другие, важнейшие мысли.

— Почему же нет? — насмешливо ответил Левон. — Эти позиции спасли однажды Фридриха Великого после гохкирхенского поражения. Почему им не спасти и Фридриха маленького!

— Но то был Фридрих Великий и против него Даун, а это Фридрих маленький — и против него Наполеон. Это разница, — равнодушно возразил Новиков.

Князь пожал плечами и ничего не ответил. Наступило молчание. Его опять прервал Новиков.

— Дело при Люцене представлено как победа, — начал он. — Войска получили благодарность, граф Витгенштейн орден Андрея Первозванного, а генерал Милорадович графское достоинство, и Блюхер, Блюхер, этот старый вахмистр, — Георгия второго класса!

— Ну, что ж, — отозвался князь, — Милорадович работал графство.

— Я не говорю про него, — ответил Новиков, — но Блюхер! Но делать из Люцена победу, а из Блюхера героя!

— Надо же утешить чем-нибудь прусского короля: ему, бедняге, ведь хуже всех придется в случае неудачи. Опять надо будет приниматься за чистку сапог Наполеона, как во времена дрезденского съезда королей перед походом в Россию.

— Когда-то все это кончится! — вздохнул Новиков.

— Ах, да не все ли равно! — угрюмо произнес князь. — Везде, всегда одно и то же, одна тоска, одна бессмысленность... Для чего эта война, эта кровь, для чего Наполеон и Александр, эта ночь и звезды и... — Он замолчал.

Молчал и Новиков, снова неподвижно глядя на звездное небо, вспоминая иную весеннюю ночь...

Говор смолк. Погасали костры. Солдаты, завернувшись в шинели, приткнувшись друг к другу, спали. Только немногие еще возились около лошадей или костров. Тихо шумел лес молодой зеленью. Веяло свежим дыханием весны, словно глубоко и мерно дышала земля, просыпаясь после зимнего сна к теплу и свету. И тоскливее, и больнее становилось одинокому сердцу.

— Ваше сиятельство, людей ведут с заставы, — прервал задумчивость друзей вахмистр.

Князь поднял голову, Новиков привстал на локте.

— Каких людей? — спросил Левон.

— Не могу знать, с первой заставы привели, — повторил вахмистр.

— Ведите сюда, — приказал князь.

В передовой заставе с полуэскадроном стоял Белоусов.

Через несколько минут на поляне перед князем появилась группа всадников, человек пятнадцать. Унтер-офицер с первой заставы, подъехав к князю, доложил, что эти люди — десять человек — были задержаны первой заставой. Они заявили, что принадлежат к прусской кавалерии и ищут свой отряд.

По приказанию Белоусова их направили сюда.

— Кто из вас старший? — спросил по-немецки князь, обращаясь к задержанным.

— Я, — ответил один из них.

Он соскочил с коня и быстро подошел к князю. Насколько можно было рассмотреть его лицо, это был совсем молодой человек, без усов, с длинными волосами. Он снял круглую шляпу, поклонился и проговорил:

— Фридрих Курт, бывший студент, теперь поручик разведочной сотни легкого конного ополчения при четвертой кавалерийской бригаде корпуса Йорка.

Молодой человек произнес эти слова звучным, отчетливым голосом. И самый тон его, и фигура — все внушало князю полное доверие. Он встал и вежливо ответил на поклон. Встал и Новиков.

— Мы очень рады, — весело продолжал молодой человек, — что наконец наткнулись на вас, ведь с самого сражения при Гросс-Гершене мы все блуждали среди неприятельских отрядов.

— Тем лучше, — любезно ответил князь, — вы отдохнете у нас, и мы укажем вам дорогу хоть приблизительно, так как мы сами точно не знаем, где находится в настоящее время корпус Йорка.

— Благодарю вас, — ответил Курт, — позвольте позаботиться о товарищах.

— Пожалуйста, — ответил князь.

Курт поклонился ему и Новикову и отошел.

— Какая разница между офицером ландштурма и офицером регулярной прусской армии, — невольно воскликнул Новиков.

— Зато они и не могут терпеть друг друга, насколько я замечал, — ответил князь.

Через несколько минут Курт вернулся.

— Со мной девять товарищей, — начал он, — три из них студенты из Гейдельберга, четверо из Иены, один художник и один архитектор. — Он засмеялся. — Как видите, компания не хуже всякой другой.

Этот юноша невольно внушал симпатию. Сбросив на землю плащ, он уселся на него, вынул из-за пояса трубку, набил ее табаком и, взяв из потухшего костра тлеющий уголек, закурил.

— Вы, может быть, голодны? — спросил князь.

— Этого не могу сказать, — рассмеялся Курт, — нам дважды повезло. Нам дважды удалось захватить чьи-то, по-видимому, генеральские экипажи, так как, кроме жарен-

ной дичи и паштетов, нашли в них еще и запасы вина. Нет, мы вполне сыты.

— Но как вы попали туда? — спросил князь.

— А после сражения под Гершеном, когда этот старый крикун Блюхер вздумал ночью напугать французов. Мы отпросились тогда к нему.

— Я слышал про это неудачное дело, — заметил Новиков.

— Еще бы удачное, — воскликнул Курт, — да этому Блюхеру я бы эскадрона не дал, не только армии. Прет всегда словно с завязанными глазами. Орет как сумасшедший: «Вперед, вперед!» А сам даже карт не умеет читать. Глуп и груб. А считает себя полководцем. Нет, вы подумайте, завел нас прямо в ров. Сколько людей перекалечилось! Правда, нам удалось, небольшой части, выкарабкаться, и мы ударили вперед. Мы проскакали, как по улице, по французскому биваку вплоть до самого императора. Я сам видел его. Он стоял у костра, заложив руки сзади под сюртук и расставив ноги. Его лицо было ярко освещено. Ну, конечно, тут поднялся целый содом. В одно мгновение перед нами стояли стеной гренадеры в медвежьих шапках. Назад уже не было пути. Как мы пробирались — не помню, и сколько полегло наших — не знаю.

— Ваших полегло очень много, это была бессмысленная выходка, пристойная разве юному сорвиголове, а не старому генералу, — заметил князь. — Кажется, только прусский король был в восторге от этого.

— Они пара друг другу, — с неожиданной серьезностью и горечью сказал Курт. — Блюхер считает короля великим королем, король считает Блюхера великим полководцем. Оба они ненавидят Шарнгорста, презирают Штейна и относятся с пренебрежением ко всему, что есть в Пруссии живого. Ведь этот король ненавидит свой народ и боится его, ведь его мечта уничтожить ландштурм и обратить весь народ в таких же кукол, как его излюбленные гвардейцы. — Курт встал. — Не смотрите на меня с таким удивлением, господа русские офицеры, что я так говорю, — горячо продолжал он, — но мы верим, что ваш император поднял войну за свободу народа, а не для усиления деспотической власти прусского короля! Потому что король, Блюхер и вся их придворная клика и их вымуштрованные куклы, которыми они гордятся, — ненавидят вас!

— Вы говорите удивительные вещи, — начал князь, — ведь ваша армия вышла из народа. Ваши офицеры — цвет вашей нации.

— Нет, нет и тысячу раз нет! — воскликнул Курт. — Наши офицеры — не цвет нации, а ее паразиты, наша армия — не народ, а рабы. Если бы было это иначе, — не было бы ни Ауэрштедта, ни Иены, Наполеон не бывал бы в Берлине, наши принцы не целовали бы ему руки, и наш король не входил бы в дружеские сношения с его лакеями!

— Но ведь то, что вы говорите, — прервал его Новиков, — похоже на проповедь междоусобной войны.

— Вы правы, это междоусобная война, она уже началась, — мрачно ответил Курт, — и она будет продолжаться или, вернее, примет явные формы, когда минуют эти дни, внешне соединившие нас. И горе Пруссии, если победят они!.. — Курт в волнении замолчал и потом продолжал с новым одушевлением: — Гром Французской революции разбудил нас. Мы вспомнили, что и мы не родились рабами. Наполеон унизил наше отечество, но он и показал, чего стоит пробудившийся народ. Он пожинает теперь плоды собственных уроков. И тогда началась глухая, внутренняя борьба. Кто наши офицеры? — Дворяне с огромными привилегиями, потомки феодалов, во главе которых стоят могущественные аристократические фамилии и сам король. Они инстинктивно почуяли опасность и приняли свои меры. Чудовищной дисциплиной они стали убивать в прусском солдате все живое, все то, что он приносил с собою в душевные казармы от своих полей. Они делали из них бездушных автоматов. Они не только физически, но духовно отнимали их от того народа, из среды которого взяли их. Народ стоит на рубеже новой жизни, он может стать великим народом, и вот они торопятся убить его душу. Они торопятся, их заветное желание сделать всю Пруссию одной душевной казармой, где люди под палкой обращаются в машины. Знаменитая палка Фридриха Великого — единственный герб Гогенцоллернов. Поколение за поколением будут они пропускать через свои казармы, убивая душу народа, и добьются своего! Добьются презрения всех народов и собственной гибели, потому что не было государства, полагавшего свое могущество только в грубой силе и не павшего под ударами более грозной силы! И они добьются этого, если мы не помешаем им!

— Но теперь вы деретесь плечом к плечу, — сказал князь.

— Да, — ответил Курт, — мы деремся плечом к плечу, но у нас разные цели. Между нами пропасть! Мы боремся за свободу народа, а они за свои привилегии и за материальные блага. Они бы пошли на всякое унижение,

если бы Наполеон гарантировал им прежнюю жизнь, прежние права и произвол и бросил им подачку, а мы за всю империю Наполеона не согласились бы быть рабами! — закончил Курт.

— Да, ваш народ пробудился, — произнес Новиков, — и, кажется, ваш король не очень доволен этим.

— Разве вы еще не видели, — подхватил Курт, — с каким презрением он смотрит на ландштурм, как не хотел он его! А как относятся к нам офицеры регулярной армии! Мы для них сброд, мужики! Мы не умеем вытягивать носки и выпячивать груди, — этого довольно для презрения короля и его офицеров. Но они проглядели душу народа. Проснулись и наши женщины, но они и их хотят обратить в самок и кухарок. Они с пренебрежением слушают женщину, если она заговорит о чем-нибудь ином, кроме кухни и детей! Но у нас есть женщины, есть героини. Только вчера я встретил на большой дороге старика, больного, измученного, несчастного, но гордого. Его единственная дочь, его маленькая Герта, ушла волонтером в ландштурм!

В одно мгновение Новиков был на ногах.

— Кто? Что вы сказали? — воскликнул он, крепко схватив за руку Курта.

Курт изумленно отшатнулся.

— Но что я сказал? — удивился он. — Я сказал, что моя двоюродная сестра Герта, дочь старого Гардера, пошла в ландштурм.

— Она, она, — тихо прошептал Новиков, отпуская руки Курта. — Боже мой!

Он был так взволнован, что не мог говорить. Он отошел в сторону и прислонился к дверям.

Видя, что Курт с каким-то испуганным недоумением смотрит на Новикова, князь поспешил сказать:

— Вы должны извинить моего друга, я взволнован этим известием не меньше его... Мы имели случай близко познакомиться с милым Гардером и фрейлейн Гертой. Мы прожили в их гостеприимном доме в Бунцлау несколько дней.

— А, — воскликнул Курт, — так вы и есть те офицеры, о которых мне писала сестренка? Я получил от нее одно письмо с оказией, когда мы были еще в Дрездене. Она просила меня, если можно, найти вас там и передать ее поклон. Позвольте, где же третий? Я помню фамилии. Я так часто их повторял, отыскивая вас, что хорошо запомнил их. Князь Бахтеев.

— Я, — сказал Бахтеев.

— Зарницын...

— Неизвестно где, — сказал оправившийся Новиков, — а третий — Новиков — это я, — добавил он. — Позвольте пожать вашу руку. Так вы и есть тот самый брат Фриц из Гейдельберга?

Курт засмеялся и крепко пожал протянутую руку.

— Мое поручение еще не выполнено, — сказал он, обращаясь к Новикову. — Должно быть, вы оставили по себе особо приятное воспоминание, потому что Герта просила передать вам... вот... сейчас.

Курт полез в карман, вытащил клеенчатый бумажник, порылся в нем и подал Новикову маленькую веточку не распустившейся еще сирени.

— Благодарю, — коротко сказал Новиков, беря веточку

— Но расскажите же нам, — сказал князь, — что вы еще знаете? Куда ехал Гардер?

— Гардер направлялся в Лейпциг, — ответил Курт, — ему тяжело стало оставаться в Бунцлау после бегства Герты, да и средств к жизни нет. А в Лейпциге у него есть друзья, которые помогут ему найти уроки. Он плохо себя чувствует, но гордится Гертой. К сожалению, я ничем не мог помочь ему.

— Но где же Герта? — спросил Новиков.

— Гардер подозревает, что она записалась в дружину мести, которую организует Лютцов, — ответил Курт. — Гардер удивляется, где она достала костюм и как решилась на это? Кажется, ей помог местный парикмахер, так как он исчез в один день с Гертой и закрыл свою лавочку. Я помню его. Прекомичное создание. Рыжий, весь в веснушках, с вздернутым носом и напomaженной головой. Глуп невероятно, но добрый малый. Он обожал Герту и всегда вздыхал, когда она проходила мимо его лавочки. Если это так, то я очень рад, — серьезно добавил Курт. — Ганс сильный и преданный малый. Он скорее умрет, чем позволит обидеть Герту. Да, у нее есть еще друг, — это ее Рыцарь.

Новиков молча жадно слушал слова Курта. Бахтеев тоже молчал, низко опустив голову. Он смеялся над собою в душе, но за такую же веточку сирени, полученную от Ирины, он отдал бы полжизни...

Бледнели звезды, розовел край неба.

Теперь при свете друзья могли рассмотреть лицо своего ночного гостя. Это был очень красивый юноша с открытым смелым лицом, с большими карими глазами и черными кудрями до плеч. На широком поясе висели сабля и два пистолета в чехлах.

— Пора, — сказал Курт. — Вы укажете дорогу к какому-нибудь штабу?

— Могу указать вам путь в штаб арьергарда, — ответил Бахтеев.

Курт разбудил своих товарищей и через несколько минут, получив от князя пропуск и сердечно пожав руку друзьям, выехал со своим отрядом по указанному направлению.

XX

Князя Никиту Арсеньевича серьезно беспокоило здоровье Ирины. Она сильно похудела, увеличившиеся глаза блестели лихорадочным блеском, бледное лицо часто вспыхивало нервным румянцем, какая-то порывистость, беспокойство проглядывали во всем ее существе. Со старым князем и с отцом она была неизменно ласкова, стараясь быть оживленной и веселой, но все это было заметно искусственно и не обманывало князя. Он приписывал это отчасти нервному потрясению, испытанному Ириной, и то-скливому однообразию жизни.

Жизнь в том кругу, к которому они принадлежали в Петербурге, совсем затихла. Многие уезжали за границу вслед за главной квартирой, Волконская, Пронская, графиня Остерман и другие, рассчитывая провести весну и лето в Карлсбаде, куда собиралась и великая княгиня Екатерина Павловна. Ни о каких вечерах и балах не было и помину. Все притихли в ожидании вестей из армии. Ирина приняла деятельное участие во многих благотворительных кружках и делила свое время между ними и посещением церквей, и все чаще и чаще посещала католические службы в Пажеском корпусе. Но это было в моде, и князь не обращал на это никакого внимания. Тем более что там служил аббат Дегранж, пользовавшийся репутацией красноречивого проповедника, и весь Петербург стекался слушать его. К тому же в последнее время аббат Дегранж стал частым гостем в доме Бахтеевых. Это случилось как-то само собой, незаметно. Всегда светски-изящный, остроумный, он напоминал собой тех принцев церкви, которые играли такую роль при дворе французских королей. При этом он так красиво, с таким проникновением говорил о высшем назначении человека, о самоотвержении, смирении и покорности воле Бога, что действовал успокоительно на Ирину. Сперва только посетитель приемных дней, он в последнее время стал появляться и в обыкновенные дни, и княгиня охотно при-
ни-

мала его. Своим светским тактом, умением поддерживать интересный разговор, а главное умением казаться всецело разделяющим взгляды собеседника аббат успел понравиться и старому князю, несмотря на то, что тот, по собственному выражению, терпеть не мог этих ливрейных слуг Господа Бога. Он часто забывал о сутане Дегранжа и видел в нем только умного и хорошо осведомленного собеседника. Князю даже было приятно, что Ирина наконец нашла человека, не принадлежащего к числу ее поклонников, с которым могла легко и свободно говорить. Дегранж с большим искусством избегал при князе религиозных тем, и, когда князь, по привычке старого вольтерьянца, позволял себе иногда легкомысленную шутку, аббат отвечал ему сдержанной улыбкой, как бы говорившей: ваша шутка очень мила, но, вы видите, я не могу ее поддержать.

Князь привык к его посещениям и, когда на его обычный вопрос: «Кто у княгини?» — он получал обычный ответ: «Господин аббат», — он равнодушно произносил: «А!» — и шел к себе, если у него не было желания немножко поболтать или посплетничать, на что милый аббат тоже был мастер.

А в маленькой угловой гостиной, в лиловых сумерках угасающего весеннего дня, аббат Дегранж своим глубоким, проникновенным голосом говорил притихшей, бледной Ирине:

— Что значат горе или радость маленького эгоистичного сердца человека, заключенного в самом себе? Любовь, — но она мимолетна и недолговечна, как сама красота. И разве красота создана для того, чтобы, насытив жадные инстинкты, увянуть без пользы для себя и других, как увядают цветы, поднесенные влюбленным танцовщице? Разве все сокровища молодого чистого сердца даны для того, чтобы оплатить ими минуты эгоистического наслаждения, после которого останется опустошенное сердце и пустынная жизнь?

— Но, господин аббат, — тихо ответила Ирина, — и красота и любящее сердце даны для счастья, а не для горя.

— Вы думаете, княгиня? — медленно произнес аббат, глядя на Ирину своими большими черными глазами. — А если эта красота заставит забыть слабого человека свой долг? А если это желанное счастье нанесет смертельный удар третьему человеку? Разве тогда эта красота — не проклятье, и это счастье не преступление?

Ирина побледнела еще больше и крепко сжала руки, лежащие на коленях.

— Нет, — продолжал аббат, — это химера, это заблуждение души, и, значит, счастье надо искать в другом месте.

— Но где же, где же? — страстно вырвалось у Ирины. — Или вы скажете, что счастье в молитве, в глухих стенах монастыря, в отречении, да? Вы должны говорить так, ведь это... ваше ремесло!

Дегранж слегка побледнел, но спокойно ответил:

— Вы заблуждаетесь, княгиня, это была бы бесплодная жертва, противная законам природы и негодная Богу.

— Тогда я не понимаю вас, — произнесла княгиня.

— Если воин, хорошо вооруженный, — продолжал Дегранж, постепенно одушевляясь, — вступает в бой, то должен ли он бросить свое оружие и сложить руки? Когда в жизнь вступает создание, одаренное Богом могучей властью красоты и чистоты, — то должно ли оно отказаться от этой власти, быть может, предназначенной вести мир по новому пути? Подумайте, княгиня, об этом. Мы еще не раз вернемся к этой теме, и вы согласитесь со мной, что истинное счастье в том, чтобы угадать волю Бога и свое предназначение. Тогда от победы к победе Бог приведет своего избранника к величайшему торжеству. Если бы вы были дочерью нашей церкви, то в святой исповедальне ваша душа раскрылась бы во всей полноте и познала бы себя.

Ирина молчала, опустив голову. Аббат тихо поцеловал ей руку и вышел тоже молча.

Он ушел, а Ирина долго еще сидела неподвижно у окна.

«Грех, проклятие, отчаяние. Да, все это верно, — думала она, — и нет выхода». Она смутно понимала, что за словами Дегранжа скрывается тайная цель. Какая? — она не давала себе труда разгадывать, да и не интересовалась этим... Но он был прав, говоря о преступной любви...

И ей захотелось тихого сумрака церкви, покаянных слез и кроткого прощающего голоса.

А сердце болело знакомой болью, тоской воспоминания, и воображение рисовало страшные картины кровавых полей сражения.

XXI

Из-за границы между тем приходили все радостные вести. Наступила Пасха. Русские вступили в Дрезден. Казалось, впереди их не было врага. Легковерные шумно ликовали, более серьезные в сомнениях покачивали головой. Но едва пришло известие о занятии Дрездена, как в тот же

день вечером неизвестно откуда распространились слухи о наступлении Наполеона. Как всегда в минуты острого напряжения, слухи предупреждали события.

Сперва неясные и темные, слухи эти росли, ширились. Уже шепотом передавали друг другу о страшном сражении, о гибели армии, о приближении Наполеона к Неману. Из главной квартиры не было никаких известий. Старый князь ездил к Румянцеву, но глухой канцлер тоже ничего не знал и только упрямо повторял:

— Я говорил, меня не слушали. Я предсказывал это. Игра на прусского короля всегда кончится проигрышем. Эти немцы одно проклятие для России.

В своем раздражении канцлер забывал всякую осторожность, но, впрочем, он говорил своему старому другу.

Выйдя от канцлера, князь вспомнил, что уже давно у него не был Соберсе, и решил заехать к виконту. Он по опыту знал, что Соберсе часто оказывался более осведомленным, чем многие сановники, и всегда удивлялся этому, но виконт только лукаво улыбался.

Но каково же было изумление князя, когда старая Дарья с распухшими от слез глазами сказала ему, что виконт и ее старый хозяин уехали уже шесть дней тому назад во Францию.

— Как во Францию! — воскликнул он. — Да они дороги не найдут туда!

Действительно, как можно было бежать через неприятельскую страну, через ее армии... Это казалось безумием.

— И вот оставили письмо на имя князя Бахтеева, — продолжала старуха.

— Это я, — произнес князь.

— Велено отдать через неделю, а неделя завтра, — сказала Дарья. — Я сейчас.

Она вышла и сейчас же явилась с письмом в руке.

Князь нетерпеливо разорвал пакет.

«Дорогой князь, — прочел он, — я ухожу на родину, чтобы стать в ряды ее защитников. Мой долг и мое сердце призывают меня под знамена императора. Совесть не упрекает меня. Я никому не давал слова и, следовательно, свободен в своих поступках. Г. Дюмон едет со мною. Несмотря ни на что, после родины самые горячие его симпатии принадлежат России. Он умоляет вас принять от него в воспоминание вашего великодушного отношения ко мне, кого он полюбил, как сына, его маленький музей; это — часть его души, и он хочет, чтобы музей был в достойных руках. Он просит еще не оставить его старую слугу, которой любовь к

родине помешала, несмотря на все ее горе, последовать за ним. Еще раз выражаю вам мою глубокую благодарность и прошу передать мой почтительный привет княгине. Невольный враг, я никогда не перестану любить и уважать русский народ. Быть может, наши потомки будут счастливее нас.

Преданный вам виконт Ж. де Соберсе.

Р.С. Я знаю, что ваш племянник в армии, во вражеских рядах; я все же его друг».

Князь был тронут этим письмом.

— Ты знаешь, что пишет мне виконт? — обратился он к Дарье.

— Знаю, — ответила Дарья и заплакала.

— Ну, так завтра я пришлю сюда людей, ты все им укажешь и сама тоже переедешь ко мне, — сказал князь.

В глубоком раздумье вернулся он домой. Он застал Ирину дома в столовой с ее отцом, тоже только что приехавшим.

Князь дружески поздоровался с ним, поцеловал жене руку и на ее вопросительный взгляд произнес:

— Ничего не узнал, канцлер тоже ничего не знает. А Соберсе бежал.

— Как бежал! — воскликнул Буйносов.

Никита Арсеньевич рассказал о своем посещении Соберсе и прочел письмо.

Но Ирина слушала совершенно безучастно. Едва дообедав, она ушла к себе. После ее ухода Евстафий Павлович обратился к князю.

— Как похудела Ирина, — сказал он.

Князь кивнул головой.

— Она не хочет обращаться к медикам, — ответил он, — и не хочет уезжать ни в имение, ни за границу.

Буйносов покачал головой. Ему самому страстно хотелось поехать за границу, но средств на это у него не было, а снова спрашивать он стеснялся.

— И потом, — продолжал князь, — я боюсь, что близость к театру военных действий еще сильнее поразит ее.

— Но, во всяком случае, я поговорю кое с кем, — закончил Буйносов, — заручусь мнением медика, а потом буду настаивать на отъезде.

Князь кивнул головой.

Ирина провела бессонную ночь. Ею овладела непонятная уверенность, что слухи справедливы, что, действительно, произошло что-то ужасное. Напрасно она отгоняла от

себя страшные картины. Ей снился Левон, он звал ее, протягивая окровавленные руки, и шептал:

— Только сказать, только сказать...

Ей представлялись груды трупов, гром орудий, искалеченные тела.

Она металась всю ночь, плакала, молилась... То рвалась туда, то боялась возможной встречи там.

Пришедший на другой день Дегранж удивился измученному виду княгини. Но, по его мнению, скорбное выражение лица придавало ее красоте больше одухотворенности и делало ее похожей на мученицу. Он принес новые тревожные слухи. Но передавал их осторожно и с оговорками. Ирина так измучилась за ночь, что слушала его почти равнодушно. Затем Дегранж с грустью сообщил, что он на днях уезжает, так как имеет важные поручения в Варшаву по делам церкви и что по совету медиков должен провести некоторое время в Карлсбаде.

— Но отчего бы не поехать в Карлсбад и вам? — обратился он к Никите Арсеньевичу. — Мне кажется, для княгини это было бы полезно. Перемена впечатлений, курс лечения в Карлсбаде — это, несомненно, повлияло бы благотворно.

Князь был очень рад неожиданному союзнику и с жаром ответил:

— Да, я был бы счастлив этой поездке, не знаю, как княгиня.

Ирина сидела молча, опустив голову. В ее душе происходила та же борьба. Она боялась приблизиться к тому, от чего, по ее сознанию, должна была бежать, и страстно хотела этого.

— Я не знаю, — тихо отозвалась она, не подымая головы, — мне кажется, я так устала, что мне не хочется двигаться.

Она усмехнулась.

— О, это нехороший признак, — улыбаясь, заметил Дегранж, — в таком случае именно необходимо насильно оживить организм. Нельзя поддаваться временному упадку духа. Здесь, вдали от событий, в неизвестности нервы чрезмерно напрягаются. Я понимаю, какие великие для России и страшные события теперь совершаются. Но их легче переживать вблизи, чем вдали в полном неведении.

Последние слова Дегранж произнес с особенным ударением. Ирина молча покачала головой, между тем как сер-

дце ее сильно билось и она готова была кричать: ехать, ехать, ехать!

Вечером приехал Буйносов и прямо начал с того, что сегодня он видел медика Киршбаума, который лечит всех сенаторов, и с первых же слов о состоянии здоровья Ирины Киршбаум заявил: в Карлсбад!

— Я завтра же привезу его, — закончил Буйносов.

— Ради Бога, отец! — воскликнула Ирина.

— Но, дорогая Игёне, отчего бы нам не поехать и в самом деле? — ласково начал Никита Арсеньевич. — Для тебя это будет развлечением, а для нас, — ведь вы поедете с нами, Евстафий Павлович? — обратился он к Буйносову.

— Еще бы! — радостно откликнулся Буйносов.

— Вот видишь, — продолжал Никита Арсеньевич, — а для нас это полезно. Мы подлечимся.

Он нежно взял Ирину за руку.

— Притом мы встретим там своих. И, может быть, даже Левона. А? Поедем.

Князь чувствовал, как похолодела в его руке рука Ирины, когда она тихим, беззвучным голосом ответила:

— Делайте, что хотите, я на все согласна.

XXII

Дорога действительно оживила Ирину. Она так по-детски была оживлена и весела, как давно уже не бывала.

Бахтеевы выехали целым поездом в сопровождении многочисленной прислуги, в числе которой устроилась и старая Дарья. С Бахтеевыми ехали Евстафий Павлович и Дегранж; последний только до Вильны.

Уже в дороге путники узнали печальные вести об оставлении Дрездена и отступлении союзных войск за Эльбу, а также и о смерти Кутузова.

Эта смерть особенно поразила Никиту Арсеньевича. Он вдвойне скорбно почувствовал утрату. Он потерял своего сверстника, с которым было связано много воспоминаний, и, кроме того, оплакивал в нем человека, нужного для России в эти тяжелые дни, в которого верила вся Россия.

Чем дальше подвигались, тем нетерпеливее становилась Ирина.

Они ехали по пути наших войск. Вот и цветущий Бунцлау, где погасла славная жизнь князя Смоленского и где несколько недель тому назад жил и тосковал Левон... Но Ирина не подозревала этого.

Подъезжая к живописному саксонскому городку Герлицам, они слышали от местных жителей, что союзная армия расположилась у Бауцена, недалеко от Герлиц, и что в Герлицах сейчас много русских.

Ирина непременно захотела остановиться здесь, и старый князь не противоречил ей. Один Евстафий Павлович робко заметил, что находится так близко от армии небезопасно, но его мнение не было принято в расчет. Ирина так и горела нетерпением быть поближе к театру войны.

И, действительно, в городе они увидели немало офицеров, приехавших в тыл по делам.

Найти помещение не представилось затруднений. Едва хозяин гостиницы, где они остановились, узнал, что богатым путешественникам нужен дом, он сейчас же предложил свой, находящийся верстах в трех от города у живописной горы Ландс-Крон. Евстафий Павлович, по просьбе Ирины, сейчас же поехал осмотреть его и вернулся в полном восторге.

Это был прекрасный, просторный дом, окруженный цветущим садом. С верхнего балкона открывался великолепный вид. Все хозяйственные пристройки, конюшни и сараи были в полной исправности.

Князь не стоял за ценой, и даже алчность трактирщика была вполне удовлетворена.

И дом, и сад, и окрестности чрезвычайно понравились Ирине. А с горы открывался великолепный вид. Вдали синели хребты Богемских гор, а кругом виднелись, раскинувшиеся среди долин и лесов, многочисленные городки и деревни, утопавшие в зелени.

И впервые за много дней радостное успокоение сошло на душу Ирины. Здесь тишина, здесь нет докучного шума столицы, ни сплетен, ни знакомых, так надоевших лиц. Долго ночью сидела она на балконе... Медленно поднялась из-за горы луна. Благоухал сад... И жажда жизни властно пробуждалась в молодой душе.

Евстафий Павлович с утра отправился в город на разведку и вернулся к завтраку оживленный, веселый, забыв все свои опасения, с целой кучей новостей.

Здесь, в Герлицах, оказался сам Александр Семенович Шишков, статс-секретарь, неотлучно находившийся при государе, автор всех замечательных манифестов. Уж если здесь он, значит, опасности нет. Государь с прусским королем впереди при армии. Сражение при Гершене не имеет значения. Мы просто отступили, чтобы усилиться. Шишков

говорил, что у Бауцена позиции очень сильные, что мы теперь сильнее Наполеона и в победе нельзя сомневаться, что государь весел и бодр, как никогда, а прусский король все боится. Здесь находятся еще несколько чиновников из главной квартиры. Александр Семенович очень рад, что здесь князь, и непременно хочет повидаться с ним.

Никита Арсеньевич тоже был очень доволен этим обстоятельством. Есть с кем поговорить, узнать новости, выяснить некоторые положения. И, кроме того, несмотря на разницу взглядов, он всегда любил этого вечно «юного», пылкого старика, всегда увлекающегося, иногда неистового на словах, но доброго и мягкого на деле. Страстное поклонение всему русскому и нелюбовь ко всему иноземному доводили его иногда до крайних мнений, создавали ему врагов и при дворе и в обществе, но за него была действительная беззаветная любовь к России и доверие императора.

Шишков не утерпел и в тот же день приехал к князю. Князь встретил его радушно, была довольна и Ирина, а Евстафий Павлович не знал, как и угодить знатному гостю. Шишков нравился Ирине своим старомодным, вычурно-любезным разговором, постоянным доброжелательством и искренностью. После обычных приветствий разговор, естественно, перешел на современные события.

Шишков был недоволен союзниками.

— Помилуйте, — говорил он, — на что это похоже? Мы их насильно спасаем от этого губителя народов. А они что? Их король открыто говорит, что его завлекли в союз с Россией, их генералы сваливают всю вину за гершенское дело на нас, их солдаты грабят своих же и потом в своих преступлениях обвиняют наших, их офицеры волками смотрят на наших, а жители рады шкуру содрать с нас. Не дай Бог неудачи, да они нас, как предатели, сейчас же бросят. Государь — святой. Он один терпит и страдает за всех, обо всем думает и сам ничего не ищет... Э-эх! — старик с досадой махнул рукой, — неблагодарный, бесчувственный народ.

— Я всегда говорил, — заметил Бахтеев, — что мы пригреваем змею на своей груди. У нас своего дела довольно. Нелегко починиться после прошлого года.

Шишков покачал головой.

— Пока на престоле сидит сей ненасытный властолюбец, никакой покой не может быть, — сказал он. — Французы — хороший народ; конечно, они безбожники и легкомысленны, но сердце у них верное, и ежели бы им дать истинного христианского короля, то с течением времени их нравы улучшились бы. Надлежало бы теперь же

объявить французскому народу, что наш архистратиг вооружился священным мечом не против Франции, а единственно против похитителя престолов, дабы народ французский понял, что не считаем его исконным врагом. Он мог бы сделаться нам надежным другом. А теперь Австрия! — всегда были предателями. Что она сейчас задумывает? Всем обещает, всех улещает, — а сама ни туда, ни сюда. — Шишков глубоко вздохнул и добавил: — Трудно сейчас государю, очень трудно. А он всегда светел, твердо верит в Промысел Божий.

— Вы бы сказали ему это, — заметил князь.

Старик развел руками.

— Это тоже, — начал он, — как покойный князь Михайла Ларионович... Я ему говорю: скажи прямо государю, как мне говоришь, что-де надо повременить, силы собрать, не очень доверяться немцам. А он мне отвечает: «Все говорил; слушает о бедствиях России, в глазах слезы, потом молча обнимет, а я зареву, как баба». Тем и кончалось. — На глазах у старика навернулись слезы. — А здесь народ добрый, — переменил он разговор, — услужливый. И как подумаешь, ведь все это были словенские земли, — и все онемечено. Разве это Герлицы? Ведь это Горелицы. Из Хомутова сделали Комметау, из Липецка — Лейпциг, из Кралев — Градец-Кениг-гретц, из Болеслава — Бунцлау, из Борислава — Бреслау, из Буди сын (Будисын) — Бауцен... — Старик воодушевился. — Они так и самих славян хотели онемечить. Да полно! Славянская душа сказывается.

За разговорами незаметно настал вечер. И Шишков заторопился домой.

— У меня тут чуть не каждый вечер собираются Алопеус, Комнено и некоторые другие. Мы и прогулки по окрестностям совершаем, поедемте вместе, — говорил он, обращаясь к Ирине, — окрестности здесь замечательные.

Он уехал, сговорившись свидеться на следующий день.

XXIII

Никита Арсеньевич с удовольствием замечал, что путешествие принесло действительную пользу Ирине. Она словно расцвела. Исчезла ее апатия, она была очень оживлена.

Как было условлено — на другой день Бахтеевы и Евстафий Павлович заехали за Шишковым, у которого застали небольшую компанию и среди них молодого офицера из

армии, корнета Старосельского. Корнет приехал только вчера для покупки овса и уже отправил свой обоз, а сам сейчас должен был выехать догонять его. Узнав, что перед ним князь Бахтеев, он осведомился, не родственник ли ему ротмистр Бахтеев пятого драгунского полка? Узнав, что это его племянник, он с видимой радостью сообщил, что не раз встречался с ним и что в последний раз видел его неделю тому назад.

— И жив, не ранен? А в бою был? — с видимым облегчением спросил князь.

— Как же, — ответил Старосельский, — и при Риппах, и при Гершене — и ни одной царапины.

Сердце Ирины сильно билось, безумная радость охватила все ее существо. Ей хотелось плакать, кричать... Но она только тихо прошептала:

— Слава Богу!

— Вы увидите его? — спросил князь. — Так передайте этому злодею, что он мог бы написать хоть пару строчек. Что мы его знать не хотим, а, впрочем, будем рады, если он навестит нас в Карлсбаде, — добавил князь, улыбаясь.

Тысяча вопросов теснились в голове Ирины, но она не решалась задать ни одного из них. И зачем? Самое главное она знала. В эту минуту она ни о чем не думала, кроме того, что он жив, что он близко... Ни сомнений, ни раздумья... жив, жив, — радостно повторяло ее сердце. Она даже не слушала слов Старосельского, что ожидают боя, что этот бой должен быть страшно кровопролитен на неприступных Будисынских позициях.

Но она с особенным чувством пожала руку Старосельскому и на прощание взглянула на него такими сияющими глазами, что молодой корнет гордо подумал, что произвел впечатление на красавицу княгиню, и чуть было не отложил своего отъезда.

Весь этот день Ирина чувствовала себя счастливой. Она весело разговаривала с молодыми чиновниками, окружавшими ее, любуясь с вершины Ландс-Крона открывшимся видом.

А, вернувшись поздно вечером домой, она до глубокой ночи сидела на балконе с бьющимся сердцем, с влажными глазами и не то мечтала, не то молилась.

Ночью она увидела сон. Ей снилось, что она с Левоном идет по цветущему лугу. Небо безоблачно, ярко светит солнце, сладким запахом благоухают полевые цветы... Ле-

вон держит ее за руку, и она чувствует, как горяча его рука. Он что-то говорит ей тихо и нежно. Она теснее прижимается к нему... Но вдруг набежали тучи, солнце померкло, стало темно, и Левона нет. Он исчез. Она в ужасе кричит: «Левон, Левон». Ей невыразимо страшно, так страшно, как это бывает во сне. И в ответ на ее отчаянный призыв в небе заблистала молния и раздался оглушительный удар грома. Она упала на колени, продолжая громко призывать его, но ее голос не был слышен за громовыми раскатами. Все небо гремело, дрожала земля... Кругом царил тьма, изредка прорезаемая огненными змеями молний... «Iréne, Iréne!» — громко звал чей-то голос. Чья-то рука коснулась ее плеча, и она проснулась.

В сумрачном рассвете она увидела Никиту Арсеньевича. Он был вполне одет и очень бледен, хотя спокоен. Но что это? Продолжение сна? Гром гремит по-прежнему...

— Гроза? — воскликнула она, приходя в себя.

— Нет, сражение, — тихо ответил князь. — Не волнуйся, дорогая, до нас далеко, но все же лучше быть наготове. Собирайся скорей. Ты очень стонала во сне.

Он нежно поцеловал ее в голову и вышел.

Ирина села на постель. В широко открытых глазах отражался ужас. Она так дрожала, что не могла одеться. Она с трудом позвонила, и на звонок явилась старая Дарья. С самого почти переезда в дом Бахтеевых Дарья незаметно сумела устроиться при молодой княгине. Бог весть, где она научилась искусству горничной, но только в ловкости, проворстве и знании своего дела редко кто мог бы с ней поспорить. При этом она никого не старалась оттереть и всем помогала. А молодую княгиню прямо обожала.

— Не надо, княгинюшка, — говорила она, помогая Ирине одеваться, — чего напугалась-то, золотая. Он далеко... Ну, полно...

И странно, ее ласковый, старческий голос действовал успокоительно на Ирину. Она тихо заплакала.

— Ах, Даша, Даша, — прошептала она, — ведь там смерть... Ведь это смерть гудит... И там умирают, умирают... Боже мой!..

— Воля Божия, молиться надо, — ответила Дарья. — Горько ох сколько... Всем тяжело... А помирать все будем.

Дарья перекрестилась.

Гул не прекращался ни на минуту. Все жители высыпали на улицы городка, многие бежали в поле, чтобы лучше слышать направление выстрелов, другие торопливо караб-

кались на Ландс-Крон. Евстафий Павлович поскакал к Шишкову, а старый князь велел заложить экипажи и быть наготове.

Ирина вышла на балкон. Она испытывала настоящий ужас, подобный тому, какой она испытывала во сне. И минутами ей казалось, что это еще все сон. И она вздрогнула, когда подошел к ней муж.

— Не волнуйся так, Igéne, — нежно сказал он.

— Но это ужасно, ужасно! — ответила она, ломая руки. — Все сильнее и сильнее!..

Действительно, теперь был слышен уже один сплошной рев.

Евстафий Павлович вернулся бледный и встревоженный.

— И зачем, зачем мы поехали! — начал он.

— Евстафий Павлович, — строго остановил его князь, указывая глазами на Ирину.

Но Евстафий Павлович ничего не видел.

— Никаких известий! Лошади у него готовы, — говорил он. — Шишков тоже не знает, что делать. Даже неизвестно, куда можно ехать! Легко попасть в руки врагов.

Князь обнял за плечи Ирину и увел с балкона.

Евстафий Павлович буквально метался по всему дому и двору, приказывая все складывать и в сотый раз осматривая, готовы ли экипажи. Он даже запретил кучерам отходить от них. Князь снова послал конного с письмом к Александру Семеновичу, в котором просил задержать посланного и в случае тревоги немедленно отправить его с указанием, куда ехать.

Ирина убежала к себе в комнату и, вся дрожа, уткнула голову в подушки и заткнула уши... Но гул все был слышен, и дом дрожал. Несколько раз подходил к ней Никита Арсеньевич, но она только махала рукою. Весь день Ирина пролежала словно в полузабытии...

Наступил вечер. Канонада постепенно стихла. Рев орудий сменился отдельными выстрелами... Но вот и они раздавались все реже и реже, и наконец смолкли. И страшна казалась эта тишина.

Наступила тьма. На небо набежали тучи. Ирина подняла голову, прислушиваясь к тишине, и перекрестилась. Потом встала и вышла в столовую.

Там она застала Шишкова, заехавшего к князю поделиться своими соображениями, и Никиту Арсеньевича.

Евстафия Павловича не было. Его теперь никакими силами нельзя было бы отогнать от готовых экипажей. Он

словно боялся, что в случае тревоги его забудут и уедут без него. Завернувшись в теплый плащ, он молча сидел в углу кареты и сказал, что так и не выйдет из нее.

Шишков был спокоен. По его мнению, сражение выиграно, иначе уж здесь кто-нибудь да был бы.

— Ведь в случае отступления, — говорил он, — главная квартира непременно должна проехать через Горелицы. Вот как стало тихо! Это хороший знак. Не то было при Гершене. Не пройти ли нам немного на горку посмотреть? Вот и погода разгуливается. В небе посветлело. А?

Ирина охотно согласилась; ей хотелось какого-нибудь движения.

Она шла, тяжело опираясь на руку мужа. Но лишь только они завернули за угол, и им открылся свободный вид, они остановились, пораженные. Край неба пылал. Огромное зарево разлилось по всему горизонту, и низко над землей протянулась неровная огненная полоса. В некоторых местах было видно, как взметалось пламя и медленно плыли клубы черного дыма. Несколько минут они молча смотрели на эту грозную картину. Наконец Шишков медленно повернулся и дрожащим голосом произнес:

— О, люди, люди! В какое бедствие вы сами себя ввергаете! Вы называетесь христианами, но если бы святая вера владычествовала в сердцах ваших, вы не истребляли бы друг друга...

Шишков любил возвышенный слог, но в эту ночь при зловещем зареве пожаров, после страшного дня, его пафос казался естественным выражением его чувств.

— Надо быть готовым ко всему, — сказал он, помолчав. — Я еду и в случае чего извещу вас.

Он уехал, видимо, встревоженный больше, чем хотел показать.

Несмотря на все настояния князя, Ирина отказалась лечь в постель. Она вышла опять на балкон и, опершись на перила, пристально смотрела на дорогу, пролегающую у подножия горы. На небольшом пространстве дороги, видимом ей, проходили, очевидно, любопытные, выходившие в поле... Потом дорога оставалась пустой некоторое время, и вновь появились, но уже конные. И вдруг из-за поворота показался небольшой отряд бешено несущихся всадников, затем тройки, сколько? Ирина не успела заметить, за ними опять всадники... и все скрылось... Все это промелькнуло

так быстро, что она только немного спустя могла восстановить эту картину в своем воображении.

Ночь тянулась бесконечно. Никто не ложился спать. Только Шишкова, вообще слабого здоровьем, свалила усталость. Перед рассветом он прилег и ему показалось, что не успел он закрыть глаза, как его потревожили.

Вбежавший камердинер разбудил его испуганным криком:

— Ваше высокопревосходительство, вставайте. Государь со всей свитой уже давно проехали город. Неприятель вступает в город...

Шишков вскочил и зашатался. Бедный старик, он был забыт! Он, с кем государь с трудом расставался и даже не разрешал уехать лечиться! Он забыт!

Голова его тряслась, ноги плохо слушались. Однако он не забыл своих друзей и, едва оправившись, приказал немедленно отправить конного к Бахтеевым и сообщить им, в каком направлении проследовал государь.

На дворе уже была суматоха. Люди торопливо усаживались в экипажи. Хозяева желали Шишкову счастливого пути. Через несколько минут Шишков, хорошо закутанный, уже выезжал со двора в коляске. Кучер погнал лошадей во всю.

Получасом позднее по той же дороге за ним следом неслись экипажи князя Бахтеева.

Забившись в угол, сидела Ирина, неподвижная, бледная. Князь держал в руках ее бесчувственную руку. А в другом углу так же неподвижно сидел Евстафий Павлович и время от времени прерывающимся голосом шептал:

— Господи, помилуй! Господи, помилуй! — и крестился.

XXIV

Победа осталась верна своему любимцу. Но и в самой победе уже слышалось смутное предупреждение судьбы, и как будто счастье, утомленное долгим служением Наполеону, уже начинало оставлять его. Да, сражение было выиграно и союзные армии отступили и спаслись, хотя потрясенные. А между тем они могли быть уничтожены. И тогда вновь знамена Наполеона показались бы на берегах Немана, и Австрия оставила бы свою двуличную политику, и прусский король бросил бы Александра...

Участь Европы зависела от минутной слабости храбрейшего из маршалов Наполеона, героя Фридланда и Эльхин-

гена — Нея. В минуту нерешительности он отказался от первоначального плана идти на Вуршенское шоссе — путь отступления союзников — и бросился на Клейн-Бауцен занять не имеющие значения высоты. Это спасло союзников, и Ней слишком поздно заметил свою ошибку.

Союзники отступали, прикрываемые армией Барклая, все время с упорными арьергардными боями.

У Громова собрались офицеры его полка. Пятый драгунский расположился очень удобно в небольшой деревне недалеко от городка Рейхенбаха, где находилась главная квартира главнокомандующего.

Полк отдыхал после своего последнего дела на позициях Рейхенбаха. Хотя военные действия еще продолжались, правда, довольно вяло, но в армии упорно говорили о перемирии и даже возможности мира.

Громов занял большой, просторный дом.

Было шумно и весело. Сам Громов, в расстегнутом сюртуке, с трубкой в зубах, метал банк «по маленькой», попивая холодный пунш. Против него сидел старый ротмистр с длинными седыми усами, Багров, и равнодушно ставил по золотому. Несколько молодых офицеров принимали участие в игре. Другие частью следили за игрой, частью, разбившись на группы, оживленно разговаривали.

Особенно горячо обсуждался вопрос о смещении графа Витгенштейна и назначении главнокомандующим Барклая-де-Толли. Никто не возражал против назначения Барклая-де-Толли, но все единогласно считали Витгенштейна несколько не виновным во всех неудачах и потому его жалели. Всем было известно, что Блюхер, считая себя старшим в чине, часто не находил нужным исполнять приказания главнокомандующего и преследовал свои собственные планы, всегда лишённые всякого смысла и заканчивающиеся постоянной неудачей. Но он был любимцем Фридриха — потому находился под особым покровительством государя. Кроме того, императорская квартира вечно вмешивалась в распоряжения главнокомандующего и даже без его ведома отдавала свои приказания и отменяла его.

Но среди этого шумного общества три человека не разделяли общего веселья. Это были Бахтеев, Новиков и молодой офицер в адъютантской форме, с красивым бледным лицом, большими утомленными глазами и курчавыми каштановыми волосами. Около него теснилась группа офицеров, некоторые из них, видимо, знали его раньше, а

поручик Видинеев, известный кутила, был, очевидно, его приятелем, судя по тому, как он усердно угощал его пуншем и говорил:

— Да пей же, Костя! Ей-богу, тебя подменили. Разве ты таков был? Помнишь? — он наклонился к уху офицера и что-то прошептал, от чего офицер слегка покраснел. — Эх, — продолжал Видинеев, — тряхнем, Костя, стариной.

И он чокнулся с ним.

— Ты вот не изменяешься, несмотря ни на что, — с улыбкой заметил офицер.

— Ей-богу, нет! — воскликнул Видинеев. — Сегодня жив, завтра нет...

— Да, это так, — задумчиво произнес офицер, — но народные бедствия, но разоренная Россия, нищета, сиротство, разрушение...

Он грустно замолчал.

— А не ты ли, — возразил Видинеев, — все толковал про Амуров и Цирцей, а? Так выпьем за любовь! Горю не поможем... А, пожалуй, и поможем — своею смертью. Выпьем же!

И он снова протянул свой стакан. Офицер, улыбаясь, чокнулся с ним.

— Ты неисправим, — произнес он, — но ты прав по своему.

— Кто это такой? — спросил у своего соседа Бахтеев, заинтересованный словами и наружностью молодого офицера.

Бахтеев пришел после всех.

— Это адъютант Раевского — Батюшков, — ответил тот. — Он проездом здесь в главную квартиру. Он, говорят, поэт.

— А, — произнес Левон, — слышал.

Он, действительно, слышал фамилию Батюшкова и, кажется, где-то читал даже его какое-то стихотворение. Во всяком случае, Батюшков показался ему интересным человеком, а главное новым. Свои довольно-таки наскучили, хотя все были милые люди и хорошие товарищи. Левон подошел к Батюшкову, познакомился с ним и сел рядом. Скоро между ними завязался оживленный разговор. Должно быть, разговор этот не казался интересным остальным, и их скоро оставили вдвоем.

Зато пришедшего через полчаса Белоусова окружила целая толпа, с жадным вниманием слушая его рассказ.

— Я как раз скакал назад, передав приказание, — говорил он, — с батареи Горского. И так близко был, что

ядра перелетали через мою голову. Это было, когда они переходили вброд речку. Я сразу узнал его по лошади и треугольной шляпе. Он со свитой выехал из-за поворота и прямо остановился против наших батарей. Тут с батареи Горского открыли по нему адский огонь. А я, признаться, в восторг пришел. Он хоть бы что! Гранаты и ядра так и ложатся около него... А он словно и не видит их.

— Это тебе не прусский король, — произнес кто-то из офицеров. — Тот все норовит за нашего государя спрятаться.

— Да, это не прусский король, — с жаром продолжал Белоусов. — Он долго стоял, свита сзади, а рядом с ним два генерала: один весь в золоте и шляпа с плюмажем, какой-нибудь маршал. Он им говорит и указывает на что-то рукой. И в это время, не успел я глазом моргнуть, как поднялась столбом пыль и дым и, когда рассеялась, вижу, двух нет. Он один.

— Везет же Горскому, — воскликнул один из слушателей, — второй раз. Помните при Риппахе?

— Я даже остановился, — продолжал Белоусов, — а он медленно слез с коня и подошел к дереву, наклонился. А кругом сущий ад. Потом выпрямился, вышел вперед, сложил на груди руки и смотрит на нашу батарею. Смотрит, словно ждет. Тут к нему подошли, окружили его... Не знаю, кто это был убит?

— Один из них был обер-гофмаршал Наполеона, его лучший и старейший друг, Дюрок, герцог Фриульский, — послышался чей-то голос.

Все оглянулись. Эти слова произнес Батюшков, подошедший с Бахтеевым.

— У нас известно об этом, — добавил он. — Это, наверное, тяжелый удар для Наполеона, тем более что так недавно он потерял еще и другого своего друга.

— Будет он помнить батарею Горского, — заметил кто-то.

Новиков задумчиво стоял в стороне.

Бахтеев подошел к нему.

— О чём думаешь? — спросил он Новикова. — Скучно?

— Я решил уехать, — ответил Новиков.

— Уехать? Куда и когда решил? — с удивлением воскликнул князь.

— Видишь ли, — начал Новиков, — я сегодня узнал, как майор Люцов предложил Винцингероде присоединить к его черной дружине, или дружине мести, или черт его

знает, как он теперь называет ее, русский отряд. Я хочу проситься туда. В штабе Винцингероде у меня есть друзья. Это не представит затруднений.

— В дружину Люцова? — медленно повторил Бахтеев, пристально глядя на Новикова.

Он заметил, как по лицу Новикова проскользнуло страдальческое выражение.

— Что ж, ты прав, — совсем тихо сказал князь и подумал, что сам он не медлил бы тоже ни одной минуты, если бы был в положении Новикова.

Данила Иванович крепко пожал ему руку.

Бахтееву стало еще грустнее. У Новикова хоть была надежда скоро увидеть свою Герту, она думает о нем, — он знает это. Они свободны... А я, думал Бахтеев. — Что там происходит теперь? Когда он увидит ее и как его встретят? И самое главное... она не свободна...

Бахтеев не знал, что недавно Ирина была так близко от него. Старосельский не успел исполнить поручение.

Он был убит.

Карты бросили и все сели за ужин, за которым веселье разыгралось еще больше.

Особенно разошелся Видинеев.

— Господа, — кричал он, — чтобы пир был настоящим, необходимо, чтобы на пиру был певец. Певец радости и любви. И да погибну я, не увидав Парижа, если такого певца нет здесь!

— Давай певца! — раздались голоса.

— Это наш гость, — продолжал Видинеев, — Константин Николаевич Батюшков.

Батюшков вспыхнул, когда на него устремились все взоры.

— Перестань, Вася, вздор молоть! — крикнул он.

— Просите его, братцы, — не унимался Видинеев, — пусть говорит.

— Просим! Просим! — раздались крики.

— Но я не могу, у меня нет настроения, — говорил Батюшков.

— Дайте ему вина! — закричал Видинеев.

Десять рук протянулись к Батюшкову со стаканами.

— Да скажите что-нибудь, ведь не отвяжутся, — заметил ему тихо Бахтеев.

— Но у меня нет ничего подходящего к их настроению, — ответил Батюшков.

— Прочтите подходящее к вашему, — посоветовал Бахтеев.

Батюшков быстро взглянул на него и сказал:

— Когда так — хорошо! Я согласен, — громко добавил он.

Раздались аплодисменты.

— Только должен предупредить, что стихи мои могут показаться мрачными, — продолжал он.

— Это хорошо, — слышался шутливый голос Громова, — а то мои офицеры, кажется, воображают, что они собрались в «Красном кабачке», а не на войне.

— Дуй мрачное, — крикнул Видинеев.

Батюшков встал, слегка побледневший, обвел всех загоревшимися глазами и начал:

Мой друг! Я видел море зла
И неба мстительного кары,
Врагов неистовы дела,
Войну и гибельны пожары;
Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах изданных,
Я видел бедных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаянье рыдали
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом.

В начале неуверенный и слабый, голос Батюшкова креп и рос по мере того, как он читал. Лица слушателей становились серьезнее и тень печали ложилась на них.

Трижды с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной,
Среди развалин и могил;
Трижды прах ее священный
Слезам скорби омочил.
И там, где зданья величавы
И башни древние царей,
Свидетели протекшей славы
И новой славы наших дней;
И там, где с миром почивали
Останки иноков святых,
И мимо веки протекали,
Святыни не касаясь их;
И там, где роскоши рукою,
Дней мира и трудов плоды,
Пред златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады, —
Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры.

Он сделал паузу, взглянул вокруг на серьезные лица и, обратившись прямо к Видинееву, снова продолжал:

А ты, мой друг, товарищ мой,
Велишь мне петь любовь и радость,
Беспечность, счастье и покой
И шумную за чашей младость.
Мне петь коварные забавы
Армид и ветреных Цирцей
Среди могил моих друзей,
Утраченных на поле славы!..
Нет, нет! Талант погибни мой!..

Словно судороги сжали его горло. Его голос задрожал и оборвался... Он наклонил голову и опустил на стул.

Несколько мгновений царил тишина.

— Костя, ты прав, — прервал молчание Видинеев, — прости, больше не буду!

И он бросился обнимать Батюшкова. Все сразу заговорили.

— Спасибо, — с чувством произнес Громов, пожимая руку Батюшкова.

Старый Багров с влажными глазами тоже пожал его руку, молча.

Все старались пожать ему руку или чокнуться с ним. Настроение изменилось, всем ярко вспомнились тяжелые дни и далекая родина. Но так как за здоровье Батюшкова, за процветание России, за русские войска слишком много пили, то настроение довольно скоро перестало быть мрачным.

Бахтеев пригласил Батюшкова к себе ночевать, и они ушли раньше других. Новиков остался и засел за карты.

XXV

Меттерниху понадобилась вся его изворотливость, весь его гений интриги, чтобы добиться успеха. Главная задача его была парализовать результаты Бауценской победы, не дать Наполеону воспользоваться ею. Он видел, что если Наполеон бросится сейчас же вслед за союзниками, то он кончит тем, что уничтожит армию, и тогда его партия выиграна. И он лгал, лгал бесстыдно и цинично. Он превеличивал силы союзников, он советовал Наполеону прекратить временно военные действия, чтобы усилить свою армию и дать время укомплектовать австрийскую. Когда Австрия будет в полной готовности, она будет страшным орудием в руках Наполеона, если союзники не согласятся

на мир. В то же время он уверял Александра в неизменной преданности и поручился словом, что Австрия не подымет против него оружия. Положим, его слово ничего не стоило, но ему все же верили.

Опутанный лестью, уверениями в преданности, родительскими чувствами Франца и косвенным влиянием Марии-Луизы, сам желая мира, Наполеон уступил.

4 июня в Плесвице было подписано перемирие до 20 июля.

Но смутный инстинкт подсказывал Наполеону, что он обманут.

«Если союзники не хотят искренно мира, то это перемирие может стать для нас роковым», — подумал он.

Это был огромный, мрачный дом, окруженный большим запущенным садом, с широким, покрытым тиной прудом. Плакучие ивы склонялись над его грязной водой, и в длинные темные вечера тишина запущенного сада нарушалась лишь унылым кваканьем лягушек.

Никто не понимал, почему государь избрал это мрачное место, Петерсвальдау, покинув ради него цветущий и веселый Рейхенбах. За забором сада тянулись убогие домишки обывателей.

В этом пустынном и мрачном доме жили только двое, не считая необходимой, крайне немногочисленной прислуги, — государь и граф Толстой. Они жили в противоположных углах дома. Государь занимал две комнаты, спальню и кабинет. Окна его помещения выходили в запущенный сад. И всю ночь до рассвета в его кабинете светились большие окна и мелькал на занавесках его силуэт, когда он ходил по кабинету, иногда целыми часами.

А в лунные теплые ночи в заросших аллеях старого сада можно было нередко видеть одиноко бродящую высокую фигуру. Император всегда был один, хотя из своего пустынного убежища имел деятельные сношения с главной квартирой, много писал и распоряжался. Но часто посланные с экстренными донесениями часами ждали в приемной, когда их примет император.

Чиновники императорской квартиры и небольшая свита кое-как разместились по обывательским домишкам. В числе прочих приближенных был и Александр Семенович Шишков. Он устроился вместе с генералом Балашовым в маленьком домике. Они заняли две комнатки: Шишков наверху, а Балашов внизу.

Одинокая свеча слабо освещала большую, почти пустую комнату. У простого стола сидел Шишков и ждал, когда позовет его император. У него скопилось много дел, требовавших разрешения. За окном слышался монотонный шум дождя да кваканье лягушек. Огромный дом молчал, и было что-то жуткое и тоскливое в этом молчании. Шишков никак не мог отделаться от чувства какого-то суеверного страха.

Много лет этот дом стоял пустым. Люди болтали всякий вздор. Но, однако, лучшего места для привидений и не выдумать... Голова у старика болела, все тело ныло, его клонило в сон. Уже ночь. Государь, должно быть, забыл о нем, а уйти нельзя и нельзя напомнить о себе... За дверь кабинета — тишина... Старик долго крепился, но наконец усталость одолела, и, склоняясь головой на стол, он задремал.

Кипучая деятельность последнего времени, бессонные, тревожные ночи, опасности и шум сражений сменились затишьем. Дипломаты работали и интриговали в тиши, и Александром опять овладело душевное беспокойство, знакомая тоска и все те же воспоминания, от которых он забылся только в напряженной деятельности.

В углу перед образом Александра Невского теплилась лампадка. Две свечи освещали стол, оставляя в полумраке огромный кабинет. Государь сидел за столом и просматривал лежавшие перед ним бумаги, но никакого интереса не было заметно на его бледном лице. Все одно и то же! Жалобы и тревоги прусского короля, записка Аракчеева о пополнении артиллерии орудиями и снарядами, мемория Нессельроде по вопросу о субсидии, предлагаемой Англией коалиции... Но вот на бледном лице появилась как бы улыбка. Государь держал в руке листок бумаги. Это было письмо от его «Эгерии», от единственной женщины, с которой он был откровенен, кого он называл «*charme de mes yeux, adoration de mon coeur, lustre de siècle, phénomène de la nature...*» — от его сестры Екатерины. Он снова внимательно перечел ее письмо. Екатерина Павловна недавно приехала из России со своей сестрой, Марией, и находилась в настоящее время в Северной Богемии в Опочно. Ее неженский ум, удивительное политическое чутье и преданность брату не раз сослужили ему хорошую службу. Так и теперь. Екатерина Павловна уже была в оживленных сношениях с Меттернихом. Она оказалась очень искусным

и деятельным агентом союзников, умело пользуясь корыстолюбием и тщеславием Меттерниха.

Австрия еще не сказала своего последнего слова, но уже явно склонялась на сторону России.

Александр снова внимательно прочел письмо сестры, на несколько минут задумался и потом, отодвинув в сторону кучу бумаг, начал письмо сестре.

«Дорогой друг, — писал он, — я очень тронут всеми заботами, которые вы приложили для успеха общего дела. Мне кажется, что заботы эти произвели свое действие, потому что с каждым днем делаются все воинственнее, и я питаю наилучшие надежды на то, что дела пойдут как следует. Я сожалею, что вы ничего не сказали мне о Меттернихе и о том, что нужно сделать, чтобы иметь его совершенно на нашей стороне. У меня есть необходимые фонды, не экономьте. Я возвращаю вам 1700 дукатов и разрешаю вам продолжать эту тактику, самую верную из всех, как только представится надобность».

Государь положил перо и задумался. Ему стало вдруг грустно при мысли, что, исполняя святую, как ему казалось, миссию, возложенную на него самим Богом, ему приходится прибегать к таким мерам борьбы. Он встал и нервно заходил по кабинету. От Меттерниха его мысли перенеслись на других... Везде то же... Продажность, предательство, ложь, рабы или тираны. «Кому можно верить? — думал он, и вдруг медленно к его лицу стала приливать кровь. — Нет, — говорил он себе, — это неправда, это не так! — Он взглянул на образ. — Господи! ты видишь мою душу... Разве я так виновен, что так страдаю... Яви чудо, дай знамение... скажи, виновен ли я!.. — Глубокое молчание отвечало на страстный призыв души. — Я исполню свою святую миссию. После страшного года, принятого мною с покорностью раба Твоего, как заслуженное наказание, не Ты ли указал мне путь подвига! Если за меня Ты наказал народ мой, разве не по Твоей воле иду я теперь с верой и упованием даровать мир всему миру. Разве я не орудие Твое? Зачем же страшные призраки!.. Боже! Боже! Помилуй!..»

С выражением отчаяния на лице, сжав руки, с глазами, полными слез, Александр смотрел на образ. По углам комнаты толпились тени, слышались шорохи, словно сдержанный шепот... Бледное лицо с вздернутым носом, с глазами, полными смертного ужаса, медленно выплыва-

ло из темноты... яснее послышался шепот, и словно издалека донесся сдавленный, звучащий ужасом и отчаянием вопль:

— Monseigneur, de grâce!..

— Ложь, — громко закричал император, — это не я! Не я! Не я!

И, закрыв руками лицо, он тяжело упал на колени...

Шишков испуганно поднял голову и вскочил. Он ясно слышал голос императора. Быть может, государь звал его. Он нерешительно шагнул к двери и остановился, прислушиваясь.

Но все было тихо, лишь по-прежнему шумел за окном дождь да изредка квакали лягушки, бледный рассвет глядел в широкое окно, и догоравшая свеча казалась желтым пятном...

XXVI

Прошло два месяца с тех пор, как Александр торжественно и радостно вступал в Дрезден. Теперь столица Саксонии имела совсем иной вид. Благоразумные саксонцы аккуратно спрятали на всякий случай в укромные местечки торжественные надписи-транспаранты в честь русского императора, его бюсты и портреты и русские флаги, а также памфлеты и карикатуры на Наполеона, и вместо них везде красовались портреты и бюсты и вензеля французского императора и французские флаги. В окнах магазинов запестрели карикатуры на прусского короля и русского «медведя» и картины, изображающие зверства русских, особенно казаков.

Наполеон, вступив в Дрезден, сделал «отеческое» внушение магистрату, депутациям и народонаселению; под угрозой лишения престола приказал саксонскому королю вернуться в его столицу, что тот и поспешил сделать, и снова сделался хозяином Дрездена и Саксонии, как будто ничего не случилось.

Дрезденцы очень легко примирились со своим положением и, обсуждая по пивным и ресторанам политические события, даже соглашались, что, придерживаясь Наполеона, они выиграют больше.

Русский император, конечно, великодушнейший из государей в мире, но дело в том, что он отдает явное пред-

почтение Пруссии, между тем как Наполеон презирает ее. И в случае победы союзников Пруссия достигнет такого могущества, что легко съест Саксонию. Зачем же саксонцам содействовать собственной гибели? Между тем в случае успеха Наполеона, в чем трудно сомневаться после блестящих побед императора, Саксония получит неисчислимые выгоды за счет той же Пруссии и явное преобладание в Средней Германии.

Кроме того, мир уже не за горами.

Так рассуждали дрезденцы, и жизнь их текла обычным руслом.

Дрезден имел праздничный вид, там жили и император и король. Императорский двор приобрел прежний блеск, еще хорошо памятный дрезденцам. Короли, принцы и герцоги Баварии, Вюртемберга, Нассау, Гессен-Дармштадта и другие наполняли город. У всех у них были свои дворы, и чем незначительнее был кто-нибудь из них, тем пышнее имел двор. С ними приехали и их министры, посланники, генералы; у тех, в свою очередь, были секретари и адъютанты. На улицах царило необычайное оживление. Целыми днями весь этот блестящий сброд, в золотых и серебряных мундирах, лентах, звездах, шляпах с плюмажами, в шишаках с высокими перьями, носились по улицам верхом, пешком, в каретах, в колясках с важным и озабоченным видом, тогда как все их дела сводились только к одному — толкаться в приемных и передних дворца, ловить дворцовые слухи и сплетни, дожидаясь входа или выхода императора, и потом толковать каждый его взгляд. Все эти короли, герцоги, владетельные принцы, не говоря уже о мелких сошках, как их министры, потолкавшись несколько часов в приемных, выслушав несколько небрежных фраз от маршалов империи, перед которыми они заискивали, так же важно, с тем же парадом, возвращались назад, очень довольные, что привлекают к себе внимание уличных зевак. Наполеон редко удостаивал их выходом или аудиенцией, но при таком неожиданном счастье эти немецкие герцоги и принцы-Гогенцоллерны, нассауские, гессенские и прочие, втайне мечтавшие о королевской короне, старались выказать свою преданность и ловили случай поцеловать руку этого раздавателя корон и престолов.

Последние победы императора и ожидание мира, конечно, снова блестящего, заставляли их прилагать отчаянные усилия, чтобы вырвать что-нибудь для себя. Все были уверены, что Австрия не осмелится поднять руку на Наполео-

на. Жадные и мелкие честолюбцы, легко привыкавшие к унижению и рабству, они были совершенно загипнотизированы военным гением Наполеона.

Меттерних, уже два дня живший в Дрездене в ожидании личной аудиенции у французского императора, тоже значительной степени поддался этому общему настроению. Он приехал с огромными полномочиями, настоящим вершителем дальнейшей судьбы войны и с определенными директивами в пользу мира с империей.

Перед его отъездом император Франц, вручая ему письмо к Наполеону, дал ему последние инструкции.

Отложив в сторону скрипку и смычок и оттопырив насколько возможно свою нижнюю безобразную габсбургскую губу, что, по его мнению, придавало ему особенно величественный вид, его величество сказал:

— Милый Меттерних, зачем нам воевать, если мы можем получить от моего зятя без войны все, что нам надо, — Иллирию и что-нибудь еще? Нет никакой надобности работать на других.

— Но, ваше величество, — возразил ошеломленный Меттерних, — ведь мы обещали поддержку коалиции, ведь мы поручились поддерживать их требования...

— А кто же сказал — нет? — прервал его Франц. — Мы и будем их поддерживать, поскольку возможно... Не правда ли, милый Меттерних, какой очаровательный мальчик римский король?.. Подумайте, какая в нем течет кровь. С одной стороны Габсбурги, с другой владетельные князья Тревизы — предки Бонапарте. И потом, Меттерних, право, я не знаю, черт или полубог мой зять, но во всяком случае не простой смертный.

Меттерних молчал. Даже он был несколько смущен таким оборотом мыслей императора.

— Ведь в конце концов мы — хозяева положения, — заметил Франц. — Армия союзников погибла без нас. — И по его лицу пробежала хитрая и злая улыбка.

Да, это была правда. Никогда предательство Австрии не проявлялось в большем блеске.

Под влиянием убеждений Меттерниха в близком союзе, Александр бросил свои естественные пути отступления, несмотря на убеждения Барклая, и уклонился в Богемию. Этим он добровольно давал отрезать себя от Одера и Польши и заграждал себе дорогу Глацкими горами.

Армия была вовлечена в западню и без поддержки Австрии обречена на неминуемую гибель.

— Вы теперь знаете мои желания, — прервал молчание Франц. — Война только в самом крайнем случае, если зять откажет нам в справедливом удовлетворении. Дела союзников не могут быть для нас *casus belli*. Милая Луиза прислала мне очень трогательное письмо. Ну, я думаю, она может спать спокойно... А теперь, милый Меттерних, — продолжал император, — я передаю вам всю мою доверенность и всю власть. Доброго пути. Да, кстати, велите позвать ко мне графа Эстергази, я нашел чудесный дуэт, — закончил Франц, беря скрипку.

Нельзя сказать, что Меттерних скоро пришел в себя после этого разговора. Как! Так просто опрокинуть все здание дипломатии, свернуть с намеченного пути, пренебречь своими обещаниями, своим честным словом, так легко и весело предать своих недавних друзей! И сам он, Меттерних, в каком будет положении? А получаемые им «субсидии»? Долго Меттерних не мог заснуть в ночь перед своим отъездом. Но мало-помалу он успокоился. Политика есть политика, решил он, всегда во все времена своя рубашка была ближе к телу. А лично он? Что же... Если умеючи повести дело, то разве нельзя получить от Наполеона компенсации? И в уме Меттерниха замелькали заманчивые титулы: принц Понте-Корво, принц Беневентский, великий герцог Бергский и проч., и проч., что щедрой рукой раздавал император Запада своим друзьям и союзникам... Принц Пармский, например, это тоже звучит очень недурно.

То, что Меттерних увидел в Дрездене, заставило его подумать, что его августейший повелитель не так глуп, как это может показаться иному... К тому же ему было известно, что Александр не принял герцога Виченцкого, указав, что ему следует обратиться к императору Францу, что, конечно, увеличивало значение Австрии; а в стане союзников были серьезные разногласия среди прусского и русского высшего командного состава. Все это давало Меттерниху почву для более или менее независимого разговора с Наполеоном.

В ожидании аудиенции Меттерних имел частые свидания с Маре, герцогом Бассано, и из его слов убедился, что император Наполеон от души желает сохранить дружественные связи со своим тестем. А из разговоров с маршалом Бертье, принцем Невшательским, он мог вывести заключение, что маршалы искренно хотят мира.

Но хитрый Меттерних не открывал своих карт.

В ожидании приема Меттерних стоял в зале, окруженный блестящей толпой маршалов и придворных. Внешне Меттерних был совершенно спокоен, но в душе испытывал сильное волнение и как бы некоторую робость, вообще ему не свойственную. Чутьем придворного, по выражению лиц, по тону голоса и несколькими беглым фразам, он убедился, что император сегодня не в духе. Немецкие принцы, очевидно, уже осведомленные о дурном настроении императора, говорили шепотом и старались держаться подальше от дверей маленькой залы, отделявшей их от кабинета Наполеона. Меттерних видел всеобщее внимание к себе и, непринужденно беседуя, не переставал обдумывать предстоящий разговор.

— Довольно, Фен, — произнес Наполеон, беря со стола шляпу.

Барон Фен, секретарь императора, с облегчением вздохнул и положил перо. Еще бы! Он не машина. Император диктовал ему часа три подряд без остановки.

— Вечером вы принесете мне подписать, — продолжал Наполеон.

Фен встал, ожидая разрешения уйти, но Наполеон подошел к окну и, заложив за спину руки, смотрел в него. Хотя Наполеон взял со стола шляпу, видимо, собираясь уходить, но, кажется, забыл об этом.

Он был в белых лосинах, в ботфортах, в белом кашемировом жилете и синем мундире со звездой Почетного легиона. Брови его были слегка нахмурены. Фен хорошо знал о причине дурного настроения императора. Из перехваченной переписки графа Стадиона Наполеон ясно увидел двойную игру Австрии. Последнему письму Франца, пересланному ему Меттернихом, с уверением дружбы, он не верил и считал его обычной хитростью. Из Испании приходили неутешительные вести, а в армии не хватало лошадей и орудий. Между тем Россия и Пруссия заключили договор с Англией в Рейхенбахе, обеспечивающий их субсидиями.

Все это заставляло его жалеть о том, что он согласился на перемирие, и негодовать на Австрию, которая могла бы дать ему решительный перевес. А он еще не знал о розни в союзных войсках, о недостатке снаряжения и снарядов, о том, что австрийская армия не готова и в настоящее время ничем не могла бы помочь союзникам. И что он теряет

случай вернуть себе новой победой поколебленное могущество. Вошедший обер-церемониймейстер доложил его величеству, что на сегодня назначена аудиенция графу Меттерниху.

Наполеон быстро оглянулся.

— Да, — отрывисто произнес он, — я забыл. Пусть войдет.

«Неудачный день для Меттерниха», — подумал Фен, глядя на бледное, застывшее лицо императора и его потемневшие глаза.

Наполеон остановился посреди комнаты. Фен видел его строгий профиль, прядь волос, упавшую на лоб, сдвинутые брови и выдавшийся обтянутый живот.

Меттерних, низко наклонив голову, сделал несколько шагов и, отдав придворный поклон, остановился в почтительной позе.

Несколько мгновений, показавшихся австрийскому дипломату бесконечными, император молчал.

— Итак, вы здесь, Меттерних, — начал он наконец полунасмешливо, полупренебрежительно. — В добрый час! Но почему так поздно? Мы уже потеряли целый месяц...

Голос императора стал резким и суровым. Меттерних только что хотел возразить, но Наполеон не дал ему времени и продолжал:

— Бездействие вашего посредничества принесло много мне вреда. Вы находите для себя невыгодным ручаться за целостность французских владений. Пусть будет так, но почему вы не объявили мне этого прежде? Если бы вы не заключили со мною союзного трактата, я, быть может, не пошел бы на Россию; если бы вы объяснились со мною откровенно, по возвращении моем оттуда я изменил бы свои предположения и мог бы избежать новой войны. Вы, вероятно, хотели истощить меня новыми усилиями...

По мере того, как Наполеон говорил, росло его раздражение. Меттерних попал в неудачную минуту. Напрасно он делал попытки вставить слово, Наполеон уже не слушал его. Он, видимо, терял власть над своими словами.

— Но победа увенчала мои усилия, — продолжал он, делая жест левой рукой, — уже мои неприятели готовы были признать свои ошибки... И вот вы внезапно вкрадываетесь между воюющими державами, предлагая мне свое посредничество, а моим врагам союз с вами. Без вашего бедственного вмешательства мы заключили бы уже мир! Но вы, под предлогом посредничества, сделали большие воору-

жения и, окончив их, хотите предписать мне условия мира!..

Под этим градом упреков Меттерних побледнел и, униженный, стоял, слегка наклонив голову, и в его душеросло чувство непримиримой злобы и ненависти. Так Наполеон не говорил с Австрией и после Ваграма. Если бы император остановился, если бы он дал возможность Меттерниху высказаться, быть может, корысть пересилила бы в душе Меттерниха чувство обиды, и Наполеон приобрел бы союзника; но, раздражаясь собственными словами, он все повышал голос и, казалось, не мог уже остановиться.

— Какие же до сих пор результаты перемирия? — продолжал он. — Мне только известно, что в Рейхенбахе заключены два трактата Англией с Россией и Пруссией. Говорят еще о третьем, но у вас там господин Стадион, и вы должны знать об этом лучше моего!

Имя Стадион Наполеон произнес с невыразимым презрением. Потом, помолчав, словно сделав над собою усилие, он продолжал несколько спокойнее:

— Сознайтесь, с тех пор, как вы взяли на себя посредничество, вы сделались моим неприятелем. Вы надеетесь, пользуясь моим затруднительным положением, вознаградить свои потери. Чего хотите вы?

Наконец-то император позволил говорить. Меттерних овладел собою и с достоинством ответил:

— Мой государь не желает ничего, кроме такого влияния, которое внушило бы правительствам Европы собственные его чувства умеренности и уважения к правам и неприкосновенности прочих государств. Австрия желает мира, обеспеченного союзом самостоятельных владений.

— Говорите ясней, — нахмурясь, произнес Наполеон. — Я предлагал вам Иллирию за то, чтобы вы остались нейтральными. Согласны ли вы на это?

Наступил критический момент разговора. Наполеон сам предложил то, чего хотел Франц, и, конечно, прибавил бы и еще что-нибудь. Одно слово — и войны нет. Но тогда какова же роль будет его — Меттерниха? Наполеон в праве будет сказать, что Меттерних до сих пор только интриговал и мешал, и вместо владетельного княжества его просто удалят. Желание получить больше, показать, чем именно ему будет обязан Наполеон, из каких грозных тисков он выводит Францию, увлекло Меттерниха дальше, чем он предполагал. Мгновенно обдумав все эти комбинации и приняв ставший относительно миролюбивым тон императора за

признак слабости, ободрившийся и снова зазнавшийся Меттерних ответил:

— Уж мы не можем, государь, оставаться больше нейтральными; мы должны быть за вас или против вас.

Меттерних помолчал, ожидая, что Наполеон, поняв скрытую в его словах угрозу, сделает намек на новые компенсации и во всяком случае поймет, что перед ним не простой фельдъегерь, а полномочный посол. Но Наполеон хмуро молчал, продолжая пронизывающим взглядом глядеть в его лицо, и Меттерниху становилось неловко под этим взглядом. Однако он решил все же напугать императора грозной перспективой, ожидающей его.

— Мой государь, — продолжал Меттерних, — на стороне вашего величества, если вы сообразовались оценить по достоинству желания союзников...

С каждым словом Меттерниху становилось труднее продолжать свою речь под этим тяжелым взглядом.

Но, чувствуя, что отступать уже нельзя, он быстро, избегая взгляда императора, продолжал:

— А именно — раздела герцогства Варшавского между Россией, Пруссией и Австрией, уступки Пруссии Данцига, освобождения ганзеатических городов, Гамбурга и Любека, расторжения Рейнского союза...

Короткое гневное восклицание прервало его слова. Он взглянул в лицо императора и не мог оторваться от него, словно увидел голову Медузы.

— Как! — начал император глухим, каким-то зловеющим голосом. — Не только Иллирию, но еще Польшу, Любек, Гамбург и Бремен и уничтожение Рейнского союза! И вы говорите в духе умеренности! Вы говорите о вашем уважении к правам самостоятельных владений! А! Вы хотите получить всю Италию, Россия — Польшу, Швеция — Норвегию, Пруссия — Саксонию, Англия — Голландию и Бельгию! Вы надеетесь одним росчерком пера приобрести те крепости, которые покорил я столькими победами! Вы полагаете, что я предоставляю мою будущность сомнительному великодушию тех, кого я только что победил!

— Но, ваше величество, — стараясь овладеть собою, начал Меттерних, — силы союзников велики, Австрия тоже располагает...

Меттерних хотел сказать, что Австрия тоже располагает огромными силами, что эти силы могут быть предоставлены Наполеону и что Австрия не настаивает на своей свободе действий относительно союзников. Он хотел поправить

свою опрометчивую угрозу, но было уже поздно. Наполеон увидел в его словах прямую угрозу и вызов.

Он побледнел, лицо его приняло страшное, словно безумное выражение, он сделал шаг вперед. Меттерних невольно отступил.

Стоявший в дальнем углу барон Фен, забытый императором и не замеченный Меттернихом, беспомощно оглянулся: уйти было некуда.

— Нет! — почти с бешенством воскликнул император. — Нет, говорю вам! Прежде вы будете принуждены набрать миллион солдат! Прольете лучшую кровь нескольких поколений и тогда, быть может, достигнете подошвы Монмартра!

Император уже кричал. Его гневный голос доносился до приемной, и там наступила глубокая тишина. Все эти короли, герцоги, принцы мгновенно замерли, как гиены, услышавшие рыканье льва.

А Наполеон продолжал:

— И как смеют мне делать такие неслыханно оскорбительные предложения, когда мои победоносные войска стоят у ворот Берлина и Бреславля, когда здесь я сам с трехсоттысячною армией! Австрия, не вступая в бой, не извлекая даже меча, смеет предлагать такие условия! И это предлагает мне мой тесть? Нет! Униженный престол Франции будет плохим убежищем для его дочери и внука!

Наполеон уже ходил по комнате крупными шагами.

— Вы не нужны мне, — продолжал он, — скажите императору, что союзного договора двенадцатого года больше не существует!

Затем, круто повернувшись, он остановился перед Меттернихом и, прямо глядя ему в лицо, медленно произнес:

— Сколько дала вам Англия, Меттерних, чтобы вы сделались моим врагом?

При этом неожиданном оскорблении вся кровь бросилась в лицо Меттерниха, и он, задыхаясь, мог только произнести:

— Ваше величество...

Наполеон повернулся, и из его рук упала шляпа.

Первым привычным движением Меттерниха было нагнуться и поднять ее. Но он сейчас же выпрямился и не поднял ее. Этот поступок наполнил его самодовольством. «Все равно, — мелькнуло в его голове, — все кончено». Это было чувство лакея, которого выгоняют и который грубит на прощание своему барину.

Вспышка погасла. Лицо императора приняло обычное выражение. Меттерних, желая хоть чем-нибудь уязвить Наполеона, сказал:

— Ваша армия очень храбра, ваше величество, но ведь это все дети. Я видел их... Им тяжела походная жизнь.

Наполеон быстро повернулся.

— Что вы понимаете, — с пренебрежением заметил он, — вы — не солдат. Жизнь своя и чужая не имеет значения на войне. Что значат эти триста тысяч. Пусть погибнут, на смену придут другие.

Меттерних уже совсем овладел собою. Вопрос был решен; он вернул себе свою находчивость и, сделав шаг к двери, насмешливо произнес:

— Позвольте, ваше величество, отворить двери и окна, чтобы вся Европа слышала вас.

Но Наполеон, погружившись в задумчивость, не слушал его и молча начал ходить по кабинету. Меттерних ждал.

Наконец император остановился и совершенно спокойным голосом произнес:

— Можете уверить императора, что я охотно заключу мир, если Австрия поймет свою истинную пользу. Необходимо немедленно созвать конгресс. Поговорите об этом с герцогом Бассано. Ему известны мои намерения. Моя уступчивость Австрии идет дальше Иллирии.

Наполеон кивнул головой, и Меттерних с низким поклонном удалился. Мрачная задумчивость овладела императором. Он долго смотрел в окно. Овернувшись, он увидел Фена.

— А, — сказал он, — вы были здесь. Тем лучше, — и, помолчав, добавил: — я, кажется, сделал большую ошибку, Фен. Я приобрел смертельного врага, а было так легко купить друга...

Наполеон был прав. Меттерних вышел от него с глубокой ненавистью в душе. «Никакие конгрессы теперь не помогут. Это будет одна комедия, — думал Меттерних. — Война!»

XXVIII

Ночь была очень темна. Моросил дождь, и холодный ветер шумел в лесу, где расположился небольшой партизанский отряд. Этот отряд принадлежал к черной дружине майора Люцова. Отряд забрался слишком далеко вглубь неприятельского расположения и теперь направлялся на со-

единение с главными силами Люцова, оперировавшими под самым Дрезденом. Дорога была трудна и опасна. Со всех сторон были раскинуты неприятельские войска: вестфальские, вюртембергские, баварские, саксонские и французские. Опасаясь партизанской войны, боясь, что она может перейти в народную и увлечь за собою всю остальную Германию, Наполеон называл партизанские отряды разбойничьими шайками и отдал приказ истреблять их без сожаления, желая в корне подавить народное движение. Ему хорошо были известны Испания и Россия. Но он ошибался в оценке людей и народов. Германия не была ни Испанией, ни Россией. Немцы были слишком благоразумны, чтобы сжигать свои насиженные гнезда и вооружаться топорами или косами против пушек и ружей его армии. Воодушевление, охватившее Северную Пруссию, не имело общего характера и далеко не распространилось. Движение было главным образом среди пылкой молодежи, поддерживаемое сравнительно небольшой группой проповедников новой Германии; народ же, в общей массе, не хотел и боялся всеобщей войны. Воззвания союзников имели мало успеха в остальной Германии. План поднять всю Германию потерпел полное крушение. Участие прусского ландштурма, численно незначительного в общей массе союзных войск, еще не делало войну народной. Самая толща не была затронута, а зажиточные классы выразили свое участие лишь в пожертвованиях, но и эти жертвования, сравнительно изобильные при вступлении русских войск, почти прекратились, лишь только начались неудачи. Партизанский отряд Люцова был сформирован в надежде, что к нему будут стекаться добровольцы из всех германских государств. Отряд был снабжен и артиллерией, и кавалерией, русские военные власти оказали ему тоже деятельную поддержку. Но надежды не оправдались. Приток добровольцев был ничтожен, он не достиг и нескольких сотен, включая сюда даже некоторое количество по большей части искателей приключений — итальянцев, испанцев, тирольцев. Ему было далеко до народной армии, о которой мечтали союзники.

Народная война не удалась. Баварцы, вюртембергцы, вестфальцы, саксонцы, недавно приветствовавшие императора Александра, и члены Рейнского союза оставались по-прежнему покорны своему «тирану». Кроме того, действия черной дружины приобрели в значительной мере действительно разбойничий характер. Не говоря о французах, которых избегали брать в плен, а если брали, то

расстреливали, отдельные шайки без зазрения совести грабили и жгли целые деревни своих баварских, саксонских и прочих сородичей. И испуганное немецкое население во многих местах более боялось своих освободителей, чем французов. И только немногие отряды, сформированные не из регулярных войск, а из интеллигентной части общества, преимущественно студентов, исполняли свои смелые задачи с истинным благородством и патриотизмом. Но зато в самых недрах черной дружины уже возникали серьезные разногласия, и не раз дело доходило чуть не до открытого разрыва. Большую часть дружины составляли солдаты регулярных войск, и между ними и ландштурмистами были почти враждебные отношения.

Новикову удалось выпросить назначение в дружину, и Винцингероде дал ему пятьдесят казаков. С большим трудом удалось Даниле Ивановичу найти дружину в тылу неприятельских войск и присоединиться к ней за Люценом, откуда дружина, разбившись на несколько более или менее крупных отрядов, двинулась разными дорогами к Дрездену.

Сам Люцов с главными силами до полуторы тысячи человек с артиллерией уже зашел за Дрезден, куда стягивал все разбросанные отряды, рассчитывая напасть на саксонцев, идущих из Богемии.

Грубый и жестокий Люцов сразу произвел на Новикова неприятное впечатление, и он отделился от него со своими казаками. За эти немного дней у него было несколько незначительных стычек с неприятельскими баварскими разъездами и удалось отбить несколько небольших обозов, в которых с удовольствием похозяйничали его казаки. Он не мог не заметить, что его казаки с гораздо большей охотой били «немца», чем француза. И никак не могли понять, почему одни немцы считаются их друзьями, а другие врагами, когда их не различить и одни стоят других. Насмотревшиеся всяких ужасов, они не переставали поражаться жестокости «своих» немцев по отношению к «чужим» немцам. Действительно, Люцов не щадил никого. Когда представлялась возможность, он «пускал по ветру», как выражались его солдаты, мирные саксонские деревни.

С каждым днем и с каждым часом росло в Новикове отвращение к этим героям черной дружины, и, если бы не надежда встретить Герту, он вернулся бы к своим. Но и надежда постепенно исчезала. Он не знал даже имени, под которым скрывалась Гертта. Единственной приметой была собака. И он неумоимо расспрашивал всюду, не встречал

ли кто-нибудь молодого ландштурмиста с большой собакой по кличке Рыцарь.

До сих пор никто не мог дать ему желанного ответа. Да ведь и собака могла быть убита.

И в эту мрачную ночь, в глухом лесу, окруженный тысячью опасностей, он думал все о том же. Сидя под высоким дубом, в полной темноте, так как костры разводиться было опасно, он ждал теперь возвращения своих дозоров, высланных разведать местонахождение неприятеля. Кое-где в темноте вспыхивали и гасли огоньки. Это солдаты выбивали огонь и раскуривали трубки, шепотом беседуя между собою. Ветер усиливался и переходил уже в бурю. Было слышно, как в лесу ломались ветви. Но вот сквозь шум ветра послышался голос часового, выставленного у тропинки, ведущей на поляну:

— Стой, кто идет?

— Свои, свои, — раздался веселый ответ, — не узнал, дядя Петр, ежовая твоя голова.

Это вернулся дозор.

Солдаты замолчали, вскочили на ноги и ближе подошли к своему командиру, чтобы послушать, с чем приехал дозор.

Новиков тоже встал; два бравых урядника доложили, что впереди неприятеля не видно, а в одной версте, тут же в лесу, на поляне расположился большой отряд своих немцев. Дозорные побывали у них и хотя не знали ни слова по-немецки, но объяснились «чисто», как выразился один из них.

— Этот отряд тоже из дружины. Веселые все, — говорил урядник, — так что смеются, песни поют, костры жгут, нисколько не остерегаются. Командир толстый, рыжий, сидит на барабане, по-французски говорит и вино дует. Приказал передать, чтобы непременно к нему пришли наши.

— Да как же ты понял его? — удивился Новиков.

— Эвона, — улыбнулся урядник, — чего не понять. Он по-своему, а я отвечаю: слушаю! Так что как есть все понял.

Но Новиков так и не понял, а только пожал плечами.

— Ну, что ж, ведем, коли так, — сказал он и приказал собираться.

Через несколько минут отряд уже выезжал гуськом по узкой тропинке.

Уже издали были видны среди деревьев пылающие костры и доносились громкие крики.

«Удивительно, — думал Новиков, — что это значит? Кругом рыщут неприятельские дозоры...»

Часовой у поляны окликнул:

— Кто идет?

— Черная дружина, — ответил Данила Иваныч.

Часовой пропустил.

Дождик перестал моросить. Костры ярко освещали и группы лежавших и стоявших солдат, и стреноженных лошадей, и толстого офицера на барабане.

Подъехав прямо к нему, Новиков соскочил с лошади.

— Ротмистр Новиков из черной дружины, — произнес он.

— Поручик Рейх, — ответил немец, вскакивая.

Протягивая руку, он постарался изобразить на своем лице любезную улыбку, отчего его щетинистые усы поднялись к самым глазам, а губы растянулись, обнажая крепкие, блестящие зубы. Он был без каски. Рыжие волосы стояли вихрами над его низким лбом, таким низким, что казалось, что волосы начинаются чуть не от бровей.

Сзади него стоял солдат с бутылкой в одной руке, со стаканом в другой.

— Мы празднуем, господин ротмистр, — заговорил Рейх, — свой заслуженный отдых.

— Вы очень шумно празднуете, господин Рейх, — сухо заметил Новиков.

Немец захохотал, потирая руки.

— О! — воскликнул он, — это что? Вот доберемся до своего города, там уж погуляем!

— Да что же случилось, — спросил Новиков, — чтобы торжествовать? Разве есть известие о победе?

— Как! Вы ничего не знаете? — удивился немец.

— А вы что знаете? — ответил Новиков.

— Ах, ну, так вполне понятно, что вы не понимаете нашего веселья, — заметил Рейх.

При этом он повернул голову и свистнул. Солдат с бутылкой тотчас налил стакан и подал ему.

— Стакан господину ротмистру, — приказал Рейх.

Солдат живо нагнулся, вытащил откуда-то из-под барабана стакан и, наполнив его, подал Новикову.

— Но я ничего не понимаю, не будете ли вы добры объяснить наконец? — начал он.

— А теперь, — перебил его Рейх, — выпьем дружно за мир!

— Как за мир?! — воскликнул Новиков, и мгновенно волна радости поднялась к его сердцу. Мир — значит можно вполне отдаваться своим чувствам, искать Герту, найти ее и с ней вместе свое счастье. Он ни на миг не сомневался

в том, что она жива. Это была какая-то странная, инстинктивная уверенность.

— Да, да, — весело повторил Рейх, видимо, довольный произведенным впечатлением. — За мир! Ну, положим, пока еще не совсем мир, а только перемирие, почти на два месяца! Вот что! А за перемирием — мир, это ясно, как солнце. Меня уведомил Люцов. Мы все в восторге. Я всегда говорил, что наш Фридрих III стоит Фридриха II. Только оборванцы-ландштурмисты могут роптать. Мы же предпочитаем худой мир доброй ссоре. Наполеон увидел, что с нами теперь не легко справиться. Мы порядком пугнули его. Он и присмирел. Да, прусская армия первая в мире!.. — закончил он, чокаясь.

Новиков машинально чокнулся. Он так был поражен словами Рейха, что даже не знал, что отвечать. Самохвалство, тупость и наглость этого прусского офицера невольно внушали подозрение, что он выпил лишнее.

В конце концов, пристально взглядываясь в лицо Рейха, достойного подданного великого короля Фридриха III, Новиков нашел его забавным и не счел нужным отвечать ему. Но он все же считал вполне возможным заключение мира, конечно, не по тем соображениям, какие приводил Рейх.

— Значит, мы повернем домой? — спросил он.

— О, да, да, — подтвердил Рейх, — мы повернем домой! Довольно мы таскались по этим проклятым лесам, в голоде, в холоде, ежеминутно рискуя жизнью! Довольно войны, черт возьми! Да здравствует мир!

Солдат уже переменял бутылку и продолжал стоять наготове.

Рейх старался быть любезным с русским ротмистром; он не раз убеждался, что в русской кавалерии офицеры по преимуществу родовиты и богаты, из так называемых «бояр». А Новиков всем своим видом, а также умением говорить по-немецки поддерживал его в этом убеждении.

Рейх приказал принести побольше сена и усадил Новикова, предлагая ему закусить и выпить. Новиков, поглощенный своими мыслями, мало слушал словоохотливого немца, кое-как поддерживая разговор, но с удовольствием поел и выпил хорошего вина.

Утомление последних дней, бессонные ночи давали себя знать. Поблагодарив Рейха за гостеприимство, он пожелал ему доброй ночи и, завернувшись в шинель, уткнувшись в теплое сено заснул крепким сном. Скоро его примеру последовал и Рейх.

XXIX

Шум и громкие крики разбудили Данилу Иваныча. Уже рассветало. Небо было чисто, и над лесом загоралась заря. Новиков увидел необычайное оживление на поляне и услышал сердитый голос Рейха, окруженного толпой солдат.

Новиков вскочил и подошел к толпе. Солдаты, узнав офицера, расступились, и Новиков очутился в небольшом кругу, рядом с Рейхом.

Прямо перед собою он увидел трех юношей в форме французских стрелков. Один из них был офицер. Они стояли бледные, но спокойные, со связанными за спиной руками. Им было на вид лет по шестнадцати—семнадцати. Небольшого роста, худенькие, еще не сформировавшиеся, они были похожи на кадет среднего класса.

Рейх, еще не протрезвившийся, с опухшим лицом, красными глазами, кричал хриплым голосом на ломаном французском языке.

Новиков не успел еще понять из его криков ни одного слова, как французский офицер вдруг вспыхнул и с загоревшимися глазами, тоном бесконечного презрения сказал, качая головой:

— О подлец, подлец!..

На мгновение Рейх опешил, но потом, как-то захрипев, словно зарывав, бросился к французу и поднял руку. Офицер страшно побледнел, но не отступил, не сделал ни одного движения, продолжая неподвижно смотреть в лицо обезумевшего Рейха.

Но рука Рейха не опустилась. Она осталась в воздухе, со страшной силой сжатая чужой рукой, и он услышал чей-то тихий, но угрожающий голос:

— Вы этого не сделаете, поручик Рейх.

Он повернул искаженное болью и злобой лицо и встретил холодный, жесткий взгляд Новикова.

Он отступил на шаг, и Новиков выпустил его руку. Проклятье застыло на губах поручика при взгляде на решительное, с плотно сжатыми губами лицо русского «боярина».

Пленный француз с облегчением вздохнул и посмотрел на Новикова детски-благодарными глазами.

— Что это значит? — со сдержанным бешенством начал Рейх, отходя в сторону.

Солдаты быстро отодвинулись, словно испугавшись, и отошли подальше.

— Это значит, — спокойно ответил Новиков, — что я помешал вам совершить поступок, в котором вы, конечно, потом раскаялись бы.

Последние слова Данила Иванович произнес с нескрываемой насмешкой.

— Это не первый раз, — возразил Рейх. — Я умею с ними обращаться. Этих негодяев взяли в плен. Они шпионили за нами.

— Но ведь теперь перемирие, — заметил Новиков.

— Тем лучше, — скривив в улыбку губы, сказал Рейх. — Под шумок легче отправить к черту десяток-другой этих молодцов.

— Во всяком случае не при мне, — холодно сказал Новиков и, обратившись к своим казакам, громко крикнул:

— Развязать пленных!

— Этого вы не смаете делать, — теряя самообладание, закричал Рейх. — Это моя добыча, и я расстреляю их! Не смейте их развязывать, — обратился он к своим солдатам.

Немцы теснее окружили пленных, а казаки словно по команде обнажили пашки, смотря на своего командира. Еще минута, и загорелась бы схватка. Рейх злорадно усмехнулся. Немцев было по крайней мере в три раза больше.

Новиков мгновенно понял положение и быстро подошел к немецким солдатам, держа руку на кобуре пистолета.

— Слушать меня, — закричал он по-немецки. — Я здесь старший! Прочь! Или я повешу десятого.

Солдаты отошли нерешительно, поглядывая на Рейха. Но Рейх стоял тоже в нерешительности, не зная, что предпринять. В нем смутно говорила привычка к казарменной дисциплине, и он соображал, старший ли ему этот офицер, или нет?

Но прусский вахмистр оказался решительнее него. Он стал перед пленными, не двигаясь с места. Новиков подошел к нему и при взгляде на его наглое лицо почувствовал, что перестает владеть собой. Он выхватил пистолет и со словами:

— Когда я приказываю, приятель, меня слушают, — с размаху ударил его по голове ложем тяжелого пистолета.

Вахмистр пошатнулся и упал. Отошедшие немцы сразу вытянулись. Казаки уже перерезали пашками веревки.

Тут Рейх сразу решил, что русский офицер действительно старший.

Между тем молоденький француз взволнованно говорил Новикову:

— О, благодарю, благодарю вас, вам я обязан больше, чем жизнью. Вы, наверное, не немец?

— Я русский, — ответил Новиков.

— Я так и думал, — воскликнул француз, — вы очень великодушны. Они ничего не щадят... Мы — четырнадцатого стрелкового полка, дивизии Сугама, — продолжал он, — мы догоняли полк по дороге к Люцену. Они знали о перемирии, заговорили с нами и вдруг набросились на нас. О, если бы не их подлость, они даром не захватили бы нас!..

— Теперь вам нечего бояться, — заметил Новиков, — вы свободны. Но лучше не идите одни. Я скоро выступаю, и нам по дороге. Отдохните пока. Будьте моим гостем, хотя сейчас я должен оставить вас. Мне надо распорядиться.

С этими словами Новиков пожал юноше руку.

— Но ваше имя? — спросил француз. — Мое Огюст д'Обрейль.

— Новиков, — ответил Данила Иванович.

— Еще раз благодарю вас, господин Новиков, — произнес д'Обрейль. — Я поеду вместе с вами.

Рейх чувствовал себя униженным и от всей души ненавидел Новикова, но вместе с тем чувствовал к нему страх.

— Вы чересчур добры к этим разбойникам, — заискивающе начал он, подходя к Новикову. — Я знаю вашего славного партизана Фигнера. Он никогда не таскает за собою пленных. Это только обуза, и притом пель войны — уничтожить возможно больше врагов.

— О да, вы с Фигнером поняли бы друг друга, — пренебрежительно сказал Новиков, — но у нас разные взгляды, и поэтому я с особенным удовольствием заявляю вам, что я больше не остаюсь в черной дружине и не имею никакого желания когда-либо и где-либо встретиться с вами. Прощайте.

Рейх остался один, соображая услышанное, и наконец решил, что русский офицер теперь ему не старший.

— Так погоди же, голубчик, — злобно думал он, — я покажу тебе.

В это время к нему подошел очнувшийся вахмистр. Лоб у него распух и был окровавлен, глаза заплыли.

— Здорово, милый Вейс, разукрасил тебя русский офицер, — заметил Рейх, — но так как ты все же жив, то я дам тебе поручение.

Он взял Вейса за пуговицу, наклонился к нему и тихим голосом стал что-то объяснять, на что Вейс, улыбаясь, кивнул головой.

Новиков решил, не теряя времени, вернуться с отрядом к своим, не считая себя вправе распоряжаться им, раз заключено перемирие. А потом уже на свободе продолжать розыски Герты, для чего взять отпуск.

Он позвал урядника и распорядился готовиться к отъезду и позаботиться, чтобы пленным французам были даны лошади из запасных. Казаки крестились, узнав, что возвращаются к своим.

— Ну их к бесу, этих басурманов, — говорили они, — нехристь, разбойники, одно слово — немцы.

Вообще казакам, как и их командиру, пришлось не по душе союзники.

Новиков медленно ехал в голове отряда, погруженный в свои мысли. Какая-то тяжесть давила его сердце. Обманутые надежды, чувство отвращения при воспоминании об этой знаменитой черной дружине, темное будущее, смутное сознание бесплодности приносимых жертв, презрение к тем, кого было приказано считать друзьями и союзниками, — все это мучило и раздражало его.

Из глубокой задумчивости его вывел взволнованный голос урядника, подскакавшего к нему.

— Так что, ваше высокоблагородие, французов увели, — задыхаясь, докладывал урядник.

В первую минуту Новиков не понял его.

— Как увели? — переспросил он.

— Так точно, — ответил урядник. — Пока мы собирались, — немцы их и увели.

Новиков понял, и кровь бросилась ему в голову. Он вдруг вспомнил, что оставил их, не позаботясь вернуть им оружие.

— А, вот как, — стиснув зубы, произнес он, — хорошо же! Ребята, за мной! — крикнул он, круто поворачивая лошадь.

Его томление и глухое раздражение нашли выход.

На просторной поляне по-прежнему группами толпились пруссаки; было заметно, что они тоже готовились к выступлению. У составленных ружей лениво бродили двое солдат.

— Оцепить ружья, — скомандовал Новиков, не останавливаясь. Он пересек поляну, отыскивая Рейха, но его не было.

— Где командир? — спросил он солдата, стоявшего у опушки на часах.

Солдат молча указал на широкую тропинку, в конце которой виднелась прогалинка, на которой толпились люди.

Новиков погнал лошадь, сопровождаемый несколькими казачками. Другие остались у ружей.

Но едва он достиг прогалины, как услышал пронзительный крик, странно отозвавшийся в его сердце. Его конь ворвался в толпу солдат, испуганно бросившихся в разные стороны.

Новиков увидел на конце прогалины стоявших в ряд французов, опять со связанными руками, перед ним несколько солдат с ружьями у плеча, а между пленными и солдатами невысокого стройного юношу, распростершего руки, прикрывавшего собою французов.

Тирольская шляпа с пером и широкими полями, сдвинутая набекрень, закрывала от Новикова лицо юноши наполовину.

— Нет, — высоким звенящим голосом кричал юноша, — вы не будете убийцами! Убейте сперва меня, а потом опозорьте имя германца новым убийством.

— Уберите проклятого мальчишку, — закричал Рейх, — или я сам заткну ему глотку.

Но в тот же момент Рейх отскочил и испуганно обернулся. Лошадь Новикова ткнула его мордой в шею. Не успел он сказать и слова, как Новиков, спрыгнув с лошади, стоял уже рядом с ним.

Рейх пришел в себя.

— А, это опять вы! — крикнул он. — Но теперь я не позволю вам больше распоряжаться. Вы здесь не старший, и на каждого вашего солдата у меня четыре! Вы, кажется, думаете, что прусский офицер позволит безнаказанно ругать себя подлецом!

— Я не стану спорить с вами, кто старший, — глухо ответил Новиков, пристально следя за Рейхом, старавшимся незаметно расстегнуть кобуру, — но ваши солдаты безоружны, так как мои казаки завладели их ружьями.

Рейх бросил вокруг себя растерянный взгляд. Он увидел толпу своих безоружных солдат и понял, что о сопротивлении нельзя и думать. Лицо его исказилось от бешенства.

— А все же они сдохнут, — крикнул он. — Солдаты...

Но прежде, чем он успел раскрыть рот, дуло пистолета блеснуло перед его глазами, и спокойный голос Новикова произнес:

— Теперь командуйте, — для них и для себя.

Рейх отшатнулся.

— Убирайтесь к дьяволу, — хрипло произнес он, поворачиваясь.

— Но прежде уберите солдат и велите вернуть пленным оружие, — повелительно произнес Новиков.

Рейх махнул рукой вахмистру и медленно побрел на поляну.

Вся эта сцена произошла так быстро, что и юноша-заступник, и пленные французы даже не рассмотрели своего спасителя и только тогда поняли, в чем дело, когда ушли готовые их расстрелять солдаты.

Новиков повернулся к пленным и вдруг замер. Из глубины леса с радостным лаем выбежала огромная собака и бросилась к юноше. Юноша обнял ее, потом собака подбежала, виляя хвостом, к пленным, обнюхала их и, вернувшись к юноше, глухо рыча, встала рядом с ним.

Почти следом за ней выбежал из леса молодой человек, опоясанный длиннейшей саблей, путавшейся у него в ногах, и тоже подбежал к юноше.

Новиков едва устоял на ногах.

— Рыцарь! — крикнул он. — Рыцарь!

Собака насторожилась и вдруг, понюхав воздух, бросилась к нему.

Юноша словно застыл, прижав к груди руки. Потом быстрым движением снял с головы шляпу и с громким криком:

— Это вы, вы, — побежал к Новикову.

Новиков протянул обе руки. Ему хотелось крикнуть:

— Герта, моя Герта! — но он сдержался, вовремя поняв, что выдал бы ее.

Герта добежала, вся сияющая, с глазами, полными радостных слез, и без раздумья, повинаясь мгновенному порыву, обняла его... Но через мгновение, вся пылающая, вырвалась из его объятий и сказала прерывающимся голосом:

— Так вы не забыли Макса Гардера? Я здесь с Гансом...

А Ганс, раскрыв рот, смотрел на эту странную встречу... С удивлением и перешептыванием смотрели и солдаты на такую необычайную встречу немецкого ландштурмиста с русским офицером.

О пленных французах забыли, пока они сами не попросили развязать их.

XXX

Новиков только рукой махнул на вопрос урядника, что делать с немцами:

— Пусть убираются.

И немцы убрались скорее, чем предполагали. Казаки, не успевшие с утра как следует поесть, воспользовались готовыми кострами и, не спрашиваясь командира, занялись стряпней.

В стороне от всех, скрытые деревьями, сидели Герта с Новиковым. У их ног лежал Рыцарь.

— Это ужасно, ужасно, — рассказывала Герта, и ее холодная рука дрожала в руке Новикова. — Где же высокие мечты, где истинное геройство? О, я рада умереть за родину! Но не с ними. Я хочу видеть мою родину свободной, благородной, чтобы я могла гордиться ей... А они! Боже! Если бы вы знали, как травят они нас, как издеваются над нами... Для них мы — народное ополчение — сброд, бродяги... Они смеются над нами, унижают нас... Они запрещают нам говорить о свободе народа!! Они никого не щадят... они грабят своих и клеветуют на других. Они внушают мне ужас и отвращение... О, — со стоном вырвалось у Герты, — клянусь вам, в саксонских деревнях, где они зверствовали, мне было стыдно, что я — дитя одной с ними страны... Я счастлива, что остановила сегодня это новое убийство. Их было на моих глазах так много, этих убийств. Я бросила свой отряд, узнав о перемирии, и была одна с Гансом и собакой. Я случайно увидела... Без меня вы бы опоздали... Они лгуны, предатели, — говорила она шепотом, с выражением ужаса и словно удивления. — Разве я могла думать, что это такой ужас! Разве то я слышала в доме отца и то ожидала... — Она опустила голову, и крупные слезы катились по ее бледным, похудевшим щекам... — Но нет! — воскликнула она, — не может быть, чтобы вся страна, весь народ сделались их жертвой! Ведь жив еще Штейн, жив Ян, растет Тугенбунд. Они не смогут задушить его, хотя этого хочет сам король и Гарденберг и вся прусская казарма. Мы спасем Пруссию от нее самой, иначе она станет проклятием мира и бесславно падет! Ваш государь поможет нам! Он добр, великодушен и свободолюбив...

Новиков вспомнил свою печальную, далекую родину и молча вздохнул...

А Герта час за часом передавала ему все, что испытывала и пережила за эти два месяца. И перед ним рисовались страшные картины бессмысленной злобы, разнузданных инстинктов, кровавых зверств, называемых подвигами...

И когда она кончила, он тихо обнял ее и стал ей шептать те слова, от которых возрождается душа, мир кажется

прекрасным, и ослепительной волшебной сказкой становится весна молодой жизни.

Было решено, что Герта поедет в Карлсбад и будет жить там до заключения мира, который, конечно, как это бывает всегда, последует за перемирием. А Новиков возьмет отпуск, заручится пропуском, что, конечно, не представит затруднений, и проедет в Лейпциг за старым Гардером. А потом... потом ничего, кроме бесконечного счастья...

Так они мечтали!

Никогда так радостно не сияло для Новикова солнце, как в этот чудесный летний день, когда он ехал рядом с Гертой впереди своего маленького отряда.

Рыцарь бежал у самого стремени Герты, а Ганс, с которым уже познакомился Новиков, ехал за ней.

Рядом с Новиковым ехал и д'Обрейль. Юноша был счастлив и весел. Он не находил слов благодарности своему молодому спасителю господину Гардеру и без умолку рассказывал о себе и о своем императоре. Он еще не кончил Бриенской школы, той, в которой учился сам император. У него есть мать и отец, сенатор, и маленькая сестра Люсьена. Отец и мать сами благословили его на войну для защиты императора и Франции! Слова юного д'Обрейля дышали страстным обожанием своего императора. За дело при Бауцене 14-й полк причислен к молодой гвардии, но он не успел еще поставить на каску императорского орла.

Русских все любят и считают ошибкой императора его поход в Россию. Сам император любит русских и царя Александра, но зато все они ненавидят немцев, таких наглых в случае успеха и таких лакеев при неудаче. В своем увлечении юный француз забыл, что его спаситель тоже немец, но Новиков рассеянно слушал его, а Герта, не знавшая французского языка, не понимала его слов, да едва ли и замечала его, смотря сияющими глазами на Новикова. Не все ли ей равно!

Забежавший вперед Рыцарь вдруг остановился на середине дороги, залаял, зарычал и с опущенным хвостом и оцетинившейся спиной остановился.

— Он чует врага, — сказала Герта.

Но не успела она сказать этих слов, как на дороге, через канаву, отделяющую ее от леса, перескочили несколько всадников и стали поперек дороги...

Впереди на огромной рыжей лошади сидел молодой офицер в темно-зеленом мундире с шитым золотом воротником. Он держал в руке обнаженную саблю.

— Но это баварские кирасиры! — воскликнул д'Обрейль.

— Стой! Кто идет? — крикнул офицер, поднимая саблю.

— Русский отряд, — подъезжая, ответил Новиков.

Д'Обрейль подъехал с ним рядом.

— Как вы могли очутиться по эту сторону Эльбы? — резким голосом продолжал офицер, злобно поглядывая на русских. Его худощавое лицо с большим хищным носом имело угрюмое и дерзкое выражение.

Новикова раздражал этот тон. Герта испуганно глядела на его побледневшее лицо. Д'Обрейль настолько знал немецкий язык, чтобы понять, о чем говорил офицер.

— Мы только ночью узнали, что заключено перемирие, — сдерживаясь, спокойно ответил Новиков.

— Прошу вас не задерживать отряда, — на ломаном немецком языке произнес несколько высокомерным тоном д'Обрейль.

Этим тоном офицеры непобедимого императора привыкли говорить с немецкими офицерами.

— А как вы попали сюда? — спросил баварец на скверном французском языке, смягчая тон при виде формы французского офицера.

— Мне кажется, это не может интересовать вас, — холодно ответил д'Обрейль, — и надеюсь, что вы не задержите нас.

— Вас — нет, но не этих господ, — сказал баварец, указывая рукой на Новикова.

— Что это значит! — закричал Новиков. — Вы не смеете задерживать меня с отрядом!

— Вы, по-видимому, партизан? — спросил офицер, не отвечая.

— Да, я партизан! Довольны ли вы? Теперь посторонитесь, — наезжая на офицера, сказал Новиков.

Д'Обрейль не отставал от него.

— Оставьте этот отряд, я предупреждаю вас, вы свободны, — обратился к нему баварец.

— Я не позволю вам мешать им, — закричал д'Обрейль.

— Тем хуже для вас, я по крайней мере предупреждал, я исполняю приказ императора Наполеона, — произнес баварец, — а вам, — повернулся он к Новикову, —

я должен сказать, что перемирие существует для всех, кроме вас, и что вы и все вам подобные разбойничьи шайки, вместе с майором Люцовым, объявлены, по повелению императора Наполеона, вне закона! Вы мой арестант.

— Это ложь! — крикнул д'Обрейль.

— Вы шутите, мой милый, — со сдержанной яростью ответил Новиков, — я даю вам одну минуту сроку очистить дорогу.

— Слишком много, — насмешливо ответил баварец и, быстро вынув свисток, пронзительно свистнул.

В ту же минуту лес словно ожил, — и справа, и слева, и спереди, и сзади, вдоль канав и по опушке леса, преграждая и отрезая пути, показались кавалеристы.

Новиков огляделся. Потом перевел взгляд на мрачно-суровые лица своих казаков, опустивших страшные пики, наконец остановил глаза на бледном лице Герты.

Она была очень бледна, но улыбалась ему и глядела на него любящими, покорными глазами. Если д'Обрейль сомневался раньше, то теперь, взглянув на ее лицо, убедился, что перед ним женщина. Он тронул лошадь и закрыл Герту. Два его солдата, словно поняв его, стали за ней, а Ганс — справа.

— Сдаваться нельзя, — прошептала Герта, — они все равно расстреляют вас...

— Я останусь с вами во что бы то ни было, — быстро сказал д'Обрейль.

— Я буду защищаться, — спокойно сказал Новиков, — я не дамся живым этому мерзавцу.

— Сдайтесь? — нетерпеливо крикнул баварец.

Новиков крепко пожал руку Герте, словно прощаясь с ней.

— Я с тобой всюду, хоть на смерть, — едва слышно проговорила она.

— Одну минутку! — вдруг крикнул Новиков баварцу и, обратившись к удивленному д'Обрейлю, быстро начал:

— Милостивый государь, теперь я попрошу у вас помощи.

— Я весь ваш, располагайте моей жизнью, — ответил д'Обрейль.

— Я прошу вас, — продолжал Новиков, — воспользоваться предлагаемой свободой, взять эту... этого ландштурмиста, — он указал на Герту, — и позаботиться проводить его до безопасного места. Хорошо? Да? — лихорадочно спрашивал он.

Д'Обрейль колебался. Ему было жаль бросить этого великодушного человека, но он сам поступил бы так же и потому после мгновенного колебания кивнул головой и ответил:

— Я не хотел оставлять вас, но... — он взглянул на Герту, — я понимаю вас. Господин Гардер спас мою жизнь и может распоряжаться ею.

Герта напряженно слушала, почувствовав, что говорят о ней.

— В чем дело? — спросила она.

— Ничего, дорогая, — тихо ответил Данила Иванович, — ты свободна и сейчас уедешь с д'Обрейлем. Он проводит тебя до безопасного места, а там я присоединюсь к тебе... немного погодя.

Глаза Герты засверкали. С упреком, почти с негодованием взглянула она на Новикова и, отвернувшись, резко сказала:

— Я остаюсь.

— Но, Герта, умоляю... — начал Новиков.

— Господин офицер! — звонко крикнула Герта, — мы не сдаемся.

Д'Обрейль с изумлением и восторгом глядел на нее.

Баварец, казалось, ждал подтверждения ее слов, глядя на Новикова. Их лошади чуть не касались мордами.

— Вы слышали, — сказал Новиков, вынимая шапку. — Посторонитесь!

Одновременно раздались две команды:

— Вперед!

— Братцы, за мной!

Новиков поднял свою лошадь на дыбы и всей тяжестью обрушился на баварца. Лошадь баварца шарахнулась в сторону. Он едва усидел в седле.

С диким воем и визгом, наклонясь к гривам коней, с вытянутыми пиками, неудержимой лавой бросились казаки, перепрыгивая канавы направо и налево. Сбитые немцы бросились в лес. Но впереди уже неслись навстречу новые ряды, а сзади грянул залп. Казаки стали валиться. У самых стремян Герты с яростным лаем бежал Рыцарь, прыгая иногда вперед и бешено кусая за ноги немецких лошадей и солдат. Новиков, французы и Ганс окружали Герту. Они рубились во все стороны, медленно продвигаясь вперед.

Герта держала в руке пистолет, но не стреляла. Она решила не сдаваться в плен... Она хорошо знала, что ожидает ее в плену. Пуля или веревка, если в ней не узнают женщины, и хуже смерти, если узнают...

Казаки прокладывали себе путь поодиночке. Только около Новикова скопилась группа, окружая его со всех сторон и охраняя тыл.

Все понимали, что спасти может только чудо... Баварский офицер решил разбить и уничтожить эту спаянную кучку. Проскакав вперед, он густой колонной, целым эскадроном понесся на нее стремительным карьером и силой тяжести и стремительности разрезал ее надвое.

Раненая лошадь Новикова сделала отчаянный прыжок в сторону, и в то же мгновение он был отрезан от Герты. Он повернул коня, желая пробиться к ней, но истекающее кровью животное сделало только судорожную попытку и село на задние ноги. Он видел, как мелькала длинная сабля Ганса, и сквозь шум битвы слышал яростный лай Рыцаря и звонкий голос д'Орбейля:

— En avant!

Словно что-то яркое вспыхнуло перед его глазами и рассыпалось миллионами искр. Он выронил из рук саблю и вместе с лошадью свалился в ров... И ему показалось, что наступила мгновенная тишина.

Он открыл глаза от сильной боли, но что именно болело, он не мог понять... Он увидел над собой видневшееся среди деревьев голубое небо... Кто-то крепко держал его, и лошадь неслась бешеным галопом...

Глаза его снова закрылись. Голубое небо погасло, и опять наступили мрак и тишина.

XXXI

Сезон в Карлсбаде был чрезвычайно оживлен. Никогда еще не было такого блестящего и многолюдного съезда; съехались представители аристократии трех столиц: Петербурга, Вены и Берлина; прибывали раненые офицеры, русские и в меньшем числе прусские. Появлялись и исчезали дипломаты, мелькали фигуры блестящих адъютантов из главных союзных штабов, из императорской квартиры — из Петерсвальде, из Гитчина, где находился австрийский двор, из Рейхенбаха — ставки главнокомандующего Барк-лая-де-Толли. Дамы соперничали красотой и туалетами. С объявлением перемирия оживление заметно возросло, и появились новые лица, а с приездом из северной Богемии великих княгинь Екатерины Павловны и Марии Павловны,

герцогини Саксен-Веймарнской, приехавшей на свидание с братом, это оживление достигло своего апогея. Тем более что с приездом Екатерины Павловны все чаще и чаще появлялся в Карлсбаде «великий очарователь», русский император.

Все это общество, по которому едва скользили великие события, продолжало заниматься привычным делом: интриговало, злословило, ловило милости императора, составляло планы походов, критиковало или хвалило военачальников и обсуждало условия предстоящего мира, в котором не сомневалось. В петербургских салонах, перенесенных сюда, Дегранж, приехавший из Варшавы, по-прежнему ловил в свои сети скушающих дам и деятельно агитировал в пользу единой истинной церкви. Во главе его поклонниц стояла чернокудрая красавица Зинаида Александровна Волконская. Приехала и княгиня Напраксина, разочарованная и как бы сконфуженная. Над ней втихомолку подсмеивались, так как ей одной пришлось особенно расплатиться за увлечение многих. Со святым отцом Никифором произошла в Москве, куда его увезла Напраксина после петербургского случая, довольно неприятная история. Рассказывали, что в Москве он успел втереться в кружок богачей Ненастьевых, сектантов-хлыстов, и занять там видное положение. Но тут у него как-то сорвалось. Произошло что-то темное. Он успел соблазнить дочь московского туза из купцов Ворошилову, подбил ее украсть брильянты ее матери и крупную сумму у отца, забрал добычу и бежал, оставив соблазненную Ворошилову. Та в отчаянии призналась во всем отцу, а тот бросился к генерал-губернатору. Но отца Никифора и след простыл. Обобранных оказалось еще довольно много. Видно, что отец Никифор, потеряв свою карьеру в Петербурге, сбросил с себя маску и показался в истинном свете. Такой бесславный конец «пророка» глубоко поразил княгиню Напраксину. И так как она была его поклонницей до последнего дня, в то время как другие остались в стороне, в Петербурге, то она одна оказалась скомпрометированной... Все поспешили отречься от своего «учителя». Однако княгиня довольно скоро утешилась, присоединившись к кружку Зинаиды Волконской.

Но эта сплетня недолго занимала карлсбадское общество, живущее настоящим. Гораздо больше привлекала любопытство общества милость, оказываемая императором Дегранжу (было известно, что Дегранж тайно несколько раз был в Петерсвальде), и еще исключительное внима-

ние, проявленное государем к княгине Бахтеевой, только здесь представленной ему великой княгиней Екатериной Павловной. И между этими двумя обстоятельствами существовала как бы некоторая связь, так как Дегранж был постоянным гостем в доме Бахтеевых. Сама княгиня Ирина редко где появлялась, за исключением великой княгини. Это тоже волновало общественное мнение. Но когда молодая княгиня, всегда сумрачная и бледная, появлялась в каком-нибудь собрании, где ей следовало быть, она, к зависти всех дам, была центром внимания. Все лица, близкие ко двору, наперебой выказывали ей необыкновенное внимание, равнодушно принимаемое ею. Благоволение императора и дружба великой княгини окружали ее словно ореолом. Тут было о чем поговорить и позлословить, тем более что в числе ее поклонников был сам Пронский, муж известной красавицы, кумир дам обеих столиц, флигель-адъютант и любимец государя. Все видели его настойчивые ухаживания — и завидовали, и ревновали. Одна только его жена смотрела на это совершенно равнодушно. И муж, и жена оба имели шумный успех и уже давно перестали вмешиваться в маленькие сердечные дела друг друга.

Обеды, приемы, вечера, балы тянулись непрерывной цепью. В теплые, благоуханные ночи в садах вспыхивали фейерверки, сплетались интриги, завязывались романы, такие же короткие и, быть может, такие же яркие, как рассыпающиеся цветными искрами на темном небе ракеты.

Но когда стали прибывать раненные офицеры, дамы встрепенулись и тотчас занялись ими с настоящей трогательной заботливостью. Так как ввиду большого съезда прибывшим на отдых и для лечения офицерам было очень затруднительно находить помещения, то русские дамы озаботились оставить за собою несколько уютных домиков, наняли прислугу и предоставили их офицерам. Венские дамы держались в стороне, соблюдая по примеру своего двора нейтралитет; что же касалось берлинских дам, то, относясь с явным неодобрением, по примеру короля, к этой войне, они не проявляли никакого участия к русским офицерам, но своих считали жертвами русской политики и единственными героями бедственной войны.

Бахтеевы заняли большой красивый дом, окруженный великолепным садом, с чудесными цветниками. Евстафий Павлович чувствовал себя наверху блаженства. Он всюду

бывал, собирал и разносил новости, имел прекрасный выезд, не стеснялся в деньгах и притом чувствовал себя в полной безопасности. Старый князь тоже как будто успокоился. Внешне Ирина поправилась, не проявляла прежней нервности и лихорадочной деятельности. Она избегала бывать на праздниках и по возможности вела затворнический образ жизни. Дегранж по-прежнему бывал почти ежедневно. Но за этим внешним спокойствием Никита Арсеньевич не заметил странной перемены, происшедшей в княгине. Словно она пережила что-то очень тяжелое, что-то поборола в себе, в чем-то нашла силы и даже отраду. Глубокая покорность светилась в ее прекрасных глазах. Не знал князь и тех минут отчаяния, которые вдруг нарушали достигнутый покой, когда в тишине ночи княгиня плакала, молилась, проклинала жизнь и жаждала смерти... Но эти минуты проходили, покой покорности снова возвращался на миг в возмущившееся сердце...

Князь очень удивлялся, что от Левона нет никаких известий. Из штаба и от некоторых офицеров он знал, что Левон жив. Он так был уверен, что Левон, узнав о их приезде, поспешит приехать или хоть написать о себе. Он несколько раз начинал об этом разговор с женой, но Ирина с видимым равнодушием отвечала:

— Вы знаете, что он жив. Ведь это самое главное.

Но каждый раз Ирине стоило больших усилий сохранить это внешнее спокойствие. Ее оскорбленное сердце болело. Левону было известно, что они здесь, а его не было. Она не знала, что Старосельский был убит, не успев исполнить поручение. Но она подавляла движение своего сердца, непрестанно твердя себе, что прошлого нет, что Левон для нее умер и что она не должна, не смеет желать с ним встречи. «Красота не должна быть проклятием, — говорил Дегранж, — и не должна убивать и нести за собою грех и разрушение... Преступные мечты убивают душу... Одно спасение в отречении, пока не поздно... И под влиянием этих мыслей Ирина находила в себе силы побеждать порывы сердца. Кроме того, их заглушали и внешние впечатления, и новые горизонты, открывавшиеся перед ней. Особенно сильное впечатление произвела на нее великая княгиня Екатерина Павловна, и неотразимо и властно захватывали ее недолгие беседы с ней императора у его сестры, так непохожие на его обычно любезные разговоры со светскими красавицами. И что-то родственное своим настроениям видела она в настроении этих двух так высоко

стоявших над ней людей: один — вершитель судеб мира, окруженный лестью и поклонением сильных и слабых, и другая — молодая царственная красавица, его сестра, близкий друг и наперсница глубоких и тайных печалей его души. Инстинктом страдающей женщины она почуяла в этих баловнях судьбы таких же, как и она, мятущихся, страдающих людей. Под величавой спокойной внешностью, напоминавшей Екатерину II, в великой княгине угадывалась страстная и страдающая душа. И иногда в интимной обстановке, наедине, прекрасное лицо утрачивало свою величавость и имело скорбное выражение... Ирина вспоминала смутные придворные слухи, когда она была еще девочкой, и догадывалась о причинах этой скорби. Любовь не разбирает положения... Имя героя, любимца армии, связывалось в этих слухах с именем великой княжны... Невозможность выхода, насильственная долгая разлука, брак без увлечения, годы тоски и геройская смерть его на Бородинском поле... Весенняя мечта, ставшая трагедией сердца... Но весна не забывается... Ни блеск, ни слава не заменят первых весенних чувств, и дни весны навсегда останутся днями славы... И этой женщине, так много пережившей и дважды овдовевшей, едва было двадцать пять лет... И тихий голос государя, когда, глядя на нее прекрасными голубыми глазами, словно читая в ее душе, он говорил:

— Возмездие начинается здесь, а не там. Каждый злой поступок, каждая греховная мысль уже носит в себе зерно возмездия — страдания здесь. И это зерно растет, и вырастают цветы скорби, наполняя сердце, убивая радость и веселие и навсегда отнимая счастье. Нет человека несчастнее преступника. Быть может, до поры это зерно не произрастает на бесплодной почве, но дыхание Бога оживит ее... зерно даст плоды, и тогда начинается искупление... бессонные ночи, тоска, одиночество, страшные призраки, отчаяние...

Император опустил голову... Ирина слушала, затаив дыхание, пораженная его словами: Так может говорить только человек, испытавший все это... Но он! Такой добрый, такой великодушный!.. А император уже с ласковой улыбкой и прояснившимся лицом говорил:

— Но все это не может относиться к вам, милая княгиня, вы так юны, так чисты. Ваше назначение рассеивать печали и приносить утешение...

И император целовал ее руку, а она сгорала от чувства мучительного стыда...

И в такие минуты образ Левона таял и расплывался...

Весть о перемирии была принята Левонем с истинным облегчением. Он не сочувствовал этой войне. Не разделял энтузиазма некоторой части офицерства и высшего общества и не находил в своей душе никакой ненависти к врагам, а, наоборот, чувствовал антипатию к союзникам. Он надеялся, что перемирие закончится миром. И мир этот после многолетних войн будет прочен и глубок. Тогда он выйдет в отставку, станет свободным человеком и, быть может, найдет забвение и удовлетворение в той деятельности, теперь смутно представляющейся ему, о какой говорил ему Монтроз.

Белоусов был рад перемирию, как ребенок, и все порывался в Карлсбад, где, как говорили побывавшие там офицеры, было так весело. Но пока его еще задерживали некоторые дела по службе. Он уговаривал ехать и Бахтеева, но Левон колебался. То он рвался туда в надежде встретить там Ирину, то боялся новых страданий при встрече с ней, а без нее тоже не хотел быть в том обществе, где каждый встречный напоминал бы о ней. Боевая жизнь, иные интересы, опасности, постоянная игра со смертью несколько притупили остроту его тоски. Он довольно часто виделся с Батюшковым, и беседы с ним действовали на него успокоительно, особенно с тех пор, как Батюшков в минуту откровенности рассказал ему печальную повесть своей молодой любви. Это было пять лет тому назад, когда поэт после шведского похода, раненный, лечился в Риге... И там полюбил дочь своего хозяина, Мюгель... Начавшаяся идиллия была грубо оборвана ее отцом... и они расстались. Но забыть ее он не мог до сих пор и, должно быть, никогда не забудет... Эти чувства находили отзвук в душе князя...

— Любить в жизни можно только раз, — с глубоким убеждением говорил Батюшков. — Настоящая любовь так много берет сил и так опустошает душу, если она несчастна, что после нее душа делается бесплодной. Она становится похожей на мертвое море, покрывшее цветущие сады Содомы и Гоморры...

Левону казалось, что поэт прав.

Еще удерживало его желание дожидаться Новикова, судьба которого уже начинала беспокоить его. Ходили слухи, что весь отряд майора Люцова предательски истреблен вюртембергцами. Эти слухи были очень упорны. Кто-то говорил, что в Карлсбаде находится теперь раненый адъютант Люцова, известный поэт Теодор Кернер.

Все это очень тревожило Левона и внушало ему мрачные предчувствия. И предчувствия эти оправдались. Из Рейхенбаха приехал Белоусов, куда ездил немного проветриться со штабными приятелями, взволнованный, почти в отчаянии. Он сообщил, что видел Новикова, но в каком виде! У него разрублена голова, прострелено плечо... Он в бреду, никого не узнает, и доктора не ручаются за его жизнь. Он рассказал и подробности. Из пятидесяти человек Новикова спаслось только пятнадцать. Остальные были изрублены баварскими кирасирами. С невероятными трудностями уцелевшим удалось спастись и вывезти раненого командира. Они заботились о нем в дороге, как могли, но какие же заботы возможны при такой обстановке! Надо удивляться только, как они сумели довести его живым...

На глазах Белоусова были слезы. Левон слушал его, бледный и потрясенный.

— Я приехал, — говорил Белоусов, — посоветоваться с вами. В Рейхенбахе его нельзя оставить. Там ужасные условия лечения... Он не выживет... А что сделать и как? И возможно ли везти его и куда? Я, во всяком случае, вернусь к нему... Я не могу оставить его одного... О, Боже мой, какие же они негодяи!

— Хорошо, Гриша, — сказал Левон, — мы не оставим его. Я поеду с вами. Что-нибудь да сделаем.

Левон тотчас же отправился к Громову, объяснил, в чем дело, и попросил отпуск для себя и Белоусова.

— Еще бы нет! — ответил Громов. — Конечно, езжайте оба. Да и тебе надо отдохнуть. Я не стесняю тебя. Уезжай хоть на все перемирие. Экий бедняга! И черт дернул его связываться с этим немчурой. Сидел бы с нами... и был бы цел...

— Так я еду сейчас, — сказал Левон, — а тебе, во всяком случае, дам знать, что и как.

— Пожалуйста, голубчик, — ответил Громов, обнимая его.

Громов тоже был взволнован. Он был другом всех своих офицеров, со всеми был на «ты» и за каждого был готов в огонь и воду, как и каждый за него.

Бахтеев собрался быстро и уже через два часа выехал с Белоусовым в сопровождении Егора в Рейхенбах.

Они нашли Новикова в маленьком, чистеньком домике на окраине городка. Когда Левон вошел, он застал в комнате денщика Данилы Иваныча и штабного доктора, маленького, толстого человека, очень озабоченного и даже

встревоженного. Левон пришел в ужас, взглянув на своего друга. С забинтованной головой, Новиков лежал сине-бледный, давно небритые, отставшие усы и борода делали еще страшнее его бледность. И на этом лице мертвеца ярко горели огромные, лихорадочно открытые глаза. Запекшиеся губы шевелились. Он никого не узнавал.

Левон молча поздоровался с доктором вопросительно глядя на него.

— Плохо, очень плохо, — сказал доктор.

— Нет надежды? — побелевшими губами, почти беззвучно спросил Левон.

Доктор нетерпеливо передернул плечами.

— Надежда всегда должна быть, — упрямо ответил он, — но что я могу сделать! В этой дыре, несмотря на присутствие главной квартиры, ничего нет! Ни медикаментов, ни перевязочных средств... Да что говорить! — он махнул рукой. — Во всей армии ничего нет. Люди мрут, как мухи, с нас требуют, а что мы можем? Мы не боги, чтобы излечить словом или прикосновением руки! Раненые гниют заживо, а мы только смотрим...

Он отвернулся.

Левон подошел к постели и взял Новикова за руку. Ему показалось, что он обжег руку.

— Неужели ничего нельзя сделать? — спросил он, обращаясь к доктору.

— Здесь — ничего, — ответил доктор

— А где же? В Карлсбаде? — продолжал Левон. — Ведь ближе ничего нет.

Доктор задумался и потом сказал:

— В Карлсбаде — да. Там все есть, и, пожалуй, его можно было бы спасти. Но вынесет ли он перевозку, вот вопрос? — И, помолчав, добавил: — Впрочем, здесь его может спасти только чудо. Такие чудеса бывают, но редко. Попробовать довести его до Карлсбада меньше риску, чем попробовать оставить его здесь...

— Хорошо, — решительно сказал Левон, — я увезу его.

Гриша, стоя в ногах у постели раненого, плакал, закрыв рукою глаза.

— Надо приобрести коляску или дормез, — продолжал Левон, — а вы, доктор, не согласитесь ли сопровождать его вместе с нами до Карлсбада?

Доктор в нерешительности покачал головой.

— Но мы еще не знакомы, — вдруг вспомнил Левон. — Ротмистр Бахтеев.

— Лекарь штаба Ковров, — ответил доктор. — Не знаю, как отпуск, — уклончиво сказал он.

— Об отпуске не заботьтесь, — прервал его Левон, — я устрою его.

— Тогда я готов, — согласился доктор, которому, видимо, хотелось побывать в Карлсбаде. — Дело только за отпуском...

— И отлично, — отозвался Левон, — а теперь надо пойти за экипажем. Гриша, идем! — крикнул он.

Хотя жители по обычаю припрятали от своих союзников все, что можно, — припасы, экипажи, даже лошадей, но, узнав, что русский князь в деньгах не стесняется, сейчас же охотно показали свой товар. За тройную цену князь очень скоро купил большую карету, приспособленную для долгих путешествий, и четверку крепких, сильных лошадей, и даже нанял кучера. Потом заехал в штаб, где его хорошо знали, и в несколько минут устроил Коврову отпуск.

К вечеру с величайшими предосторожностями Новикова перенесли в карету; с ним сели Ковров и Бахтеев, а Белосусов с денщиком поехали верхом. В поводу денщик вел лошадь князя.

XXXIII

Жаркий, ослепительный день. Ни дуновения ветерка. Словно в томной лени задремал густой сад, с ленивым жужжанием садятся на цветы пчелы, и сами цветы, палимые солнцем, едва дышат своим ароматным дыханием. На открытой террасе, в кресле-качалке, сонно покачиваясь, сидела Ирина, полузакрыв глаза, словно в мечтательной дреме. Легкое белое платье было перехвачено в талии широкой пунцовой лентой, в черных волосах была воткнута яркая роза. Тишина ничем не нарушалась. Даже затих шум города в этот знойный, полуденный час. И такая же тишина царила в душе Ирины. Она сейчас ничего не хотела, ни о чем не думала, ни к чему не стремилась. Ей так было хорошо в этом солнечном воздухе, среди цветов, в сонном затишье старого сада. Быть может, этот кажущийся покой был лишь временной усталостью души.

Шум шагов на песчаной дорожке заставил ее выйти из этого блаженного состояния. Она открыла глаза и вся словно замерла, судорожно сжав ручки кресла. К террасе по дорожке, опустив голову, медленно шел Левон. Он не мог

еще ее видеть, огибая клумбу. Но в эти короткие мгновения она разглядела его осунувшееся, побледневшее лицо и странную, горькую полуулыбку. И ее душа на миг вспыхнула любовью, жалостью. Она сделала движение броситься ему навстречу, но вдруг застыла, побледневшая, с остановившимся сердцем.

Левон поднял голову и увидел ее. Он на мгновение приостановился, потом его лицо приняло необыкновенно счастливое выражение и с заглушенным криком: «Ирина!» — он взбежал на ступени террасы, протягивая обе руки.

Но сейчас же остановился, и лицо его погасло.

Ирина стояла перед ним бледная, надменная и холодная, как в самые первые дни их знакомства. Ни радости, ни волнения, ни даже удивления не было на ее застывшем лице.

— Я очень рада видеть вас, — равнодушным тоном произнесла она, протягивая руку. — Какая будет радость для Никиты Арсеньевича!

Она отвернулась в сторону, чтобы не видеть его лица, его вопрошающего, печального взгляда. Но он быстро овладел собою и, слегка прикоснувшись губами к ее руке, сухо ответил:

— Я также рад видеть вас. Я уже четыре дня в Карлсбаде, но только сегодня имел возможность прийти сюда.

Он не сказал, что пришел потому, что три дня Новиков был словно в агонии, что он считал преступлением оставить его, что в минуты прояснявшегося сознания Новиков, крепко сжимая ему руку, умоляюще шептал:

— Левон, не уходи, я должен сказать... — и снова впадал в забытие.

Было видно, что что-то камнем лежит на его душе, что он хочет завещать другу свою последнюю волю.

Только сегодня рано утром консилиум врачей решил, что смертельная опасность миновала, и только тогда Левон решил оставить больного друга на попечение Гриши Белоусова.

— Вы вообще не торопились навестить дядю, — небрежно произнесла Ирина. — Да это не удивительно. У вас новые интересы.

В душе Ирины после его слов вновь воскресла обида. Он так давно был извещен о их приезде сюда и не торопился. Тем лучше! Еще несколько минут тому назад всем своим обращением она хотела оттолкнуть его, показать, что он чужд ей, а теперь, когда ей казалось, что он сам отходит

от нее, ее сердце сжималось от обиды и беспричинной ревности.

— Эти три дня — причина была слишком серьезна, — сказал Левон.

— Конечно, — насмешливо произнесла Ирина, — но ведь до сегодня от сражения на Будисинских высотах прошло не три дня, а, кажется, больше месяца.

— Но разве я знал, что дядя здесь! — воскликнул Левон с умыслом, как и она сама, подчеркивая слово «дядя».

— А разве вы не знали? — удивилась Ирина. — Ведь Никита Арсеньевич уведомлял вас.

— Когда? Я ничего не получал, — возразил Левон.

— Это было накануне сражения, — начала Ирина, чувствуя, как невольная радость наполняет ее душу, — мы были в Герлицах.

— Вы там были! — воскликнул удивленный Левон. — И я не знал.

— Да, — кивнула головой Ирина, — мы там были и встретили там знакомого вам офицера, Старосельского. И ему-то и поручил Никита Арсеньевич передать вам, что мы едем в Карлсбад.

Ирина, сама того не замечая, совершенно утратила свой высокомерный тон и надменный вид. Ее голос звучал обычной простотой.

— Старосельский? — повторил Левон. — Да, я знал его. Но я не видел его. Он был убит в самом начале сражения.

Вспомнив убитого товарища, Левон снял кивер.

— Убит! — с волнением произнесла Ирина. — Такой молодой, такой веселый... Боже!..

— Теперь вы видите, Ирина, — тихо начал Левон, — что я не знал. Только поэтому я не приехал раньше... хотя, кажется, мне было бы лучше не приезжать вовсе. Я не ожидал такой встречи... Мы расстались не врагами, — продолжал он, — и расстались давно. Скажите же, что случилось опять, что вы вновь отталкиваете меня?

Он говорил с глубоким чувством, тихим и серьезным голосом. Облокотясь на перила веранды, Ирина неподвижно смотрела перед собой. Князь видел ее строгий профиль, черные локоны, яркую розу в волосах и печальные глаза. И во всей ее склоненной фигуре, в этих глазах не было ни надменности, ни холодности. И, казалось, была минута, когда Ирина, как тогда в Петербурге, вдруг обернется к нему с доверчивой улыбкой и, как тогда, протянет ему руки... Но этого не случилось. Ее лицо стало вдруг снова

холодно и непроницаемо, и, выпрямившись, опять чужая и недоступная, она ответила равнодушным тоном:

— Но ничего не случилось. Я очень рада видеть вас. И что могло случиться? У нас разные пути в жизни. Я интересуюсь вашей судьбой, как племянника моего мужа. Я уважаю вас, как честного человека и мужественного офицера.

— Но ведь было время... — начал Левон.

Краска медленно залила ее лицо.

— Я прошу вас забыть об этом, — дрогнувшим голосом прервала она. — Это было... это прошло...

— Но что было и что прошло! — страстно воскликнул Левон. — Было одно мгновение, но оно безвозвратно... Ему не будет повторения, я знаю это... я не жду его, не ищу его... но были тихие вечера, долгие разговоры, была нежная сестра, было тепло и свет в одинокой жизни!.. И этого нет! И этого не будет, говорите вы... Это жестоко и незаслуженно... — упавшим голосом закончил он.

— Эта дружба была самообманом, — отвернувшись, сказала Ирина. — Вы должны знать это... Но Бога нельзя обмануть... да и притом все это уже пережито... Все прошло... Все это было не нужно... Надо совсем иное... — Ирина говорила медленно, с усилием. — Но вот и Никита Арсеньевич, — с видимым облегчением вдруг прервала она себя.

Левон обернулся. По дорожке шел старый князь в сопровождении молодого красавца в конногвардейском белом мундире.

— Кто это? — спросил Левон, пристально глядя на Ирину.

Ему показалось, что Ирина слегка покраснела и в ее голосе послышалось смущение, когда она ответила:

— Это князь Пронский.

Это имя было слишком известно в столичных кругах, и Левон, конечно, слышал его. Он круто повернулся и пошел навстречу старому князю.

Никита Арсеньевич, узнав его, еще издали раскрыл свои объятия, крича:

— Иди, иди, блудный племянник!

Он с большим чувством обнял Левона. Потом познакомил его с Пронским.

— Очень рад наконец встретиться с вами, — любезно сказал Пронский. — Я так много слышал о вас от Никиты Арсеньевича и встречал ваше имя в реляциях о Будисинском сражении.

Левон сдержанно поклонился. Дядя взял его под руку и стал подробно расспрашивать.

Как бы находя себя лишним, а, главное, заметив на террасе белую фигуру Ирины, Пронский, извинившись, поспешил вперед. Левон, нахмурясь, посмотрел ему вслед. Пока они дошли до террасы, Левон успел в общих чертах сказать о себе и о том, как попал он сюда с раненым Новиковым.

— Бедняга, — заметил Никита Арсеньевич, — непременно навещу его.

Войдя на террасу, они застали Ирину сидевшей в калчке и около нее князя Пронского, что-то оживленно рассказывавшего ей. Ирина равнодушно слушала его.

Завязалась общая беседа. Главным образом говорили Пронский и Никита Арсеньевич. Разговор вертелся вокруг предстоящего в Праге мирного конгресса. Старый князь был уверен, что в августе будет уже заключен мир, так как обе стороны в достаточной мере истощены и, кроме того, продолжение войны не в интересах России. Как человек, близкий к императорской главной квартире, Пронский был очень сдержан, не возражал и не соглашался с этим мнением.

— Наполеон очень упрям и снова чувствует себя победителем, — заметил он. — Поведение Австрии тоже еще нерешительно.

— Ох, уж эти друзья, — вздохнул Никита Арсеньевич. — Говорят, скоро сюда будет государь? — переменял он разговор.

Пронский пожал плечами.

— Мы знаем там столько же, сколько знают и здесь, — улыбаясь, ответил он. — Об отъезде государя мы часто узнаем только через несколько часов. Притом государь часто за последнее время выезжает в Нейдорф к прусскому королю.

— Говорят, государь живет совсем отшельником? — спросила Ирина.

— Мы также, — засмеялся Пронский. — Его величество всегда один в этом мрачном замке, как его называют, графа Штильберга. Но его величество имеет о чем подумать. Но, Боже мой! Княгиня, представьте себе наше положение. Положим, наше местопребывание — цветущая долина, но ведь и самый чудный вид надоест, если он целые дни перед глазами. Службы у нас нет. Мы «на всякий случай»... И если бы вы знали, как уныло тянутся вечера, особенно ненастные... Брр... Благодарю Бога, что

его величеству пришла мысль отправить именно меня сюда с письмом к великой княгине.

— Вы знаете, — обратилась Ирина к мужу, — что князь приехал ко мне с приглашением от великой княгини сегодня на обед?

Никита Арсеньевич кивнул головой.

— Мне уже говорил Андрей Петрович. Это ведь не званый обед?

— Нет, — ответил Пронский, — ее высочество просто соскучилась по княгине, не видя ее второй день.

И он с улыбкой посмотрел на Ирину. Странное чувство испытывал Левон. Ему казалось, что он совершенно лишний, чужой. У Ирины свои интересы, свой круг новых и старых знакомых, и эта видимая близость к любимой сестре императора, конечно, наполняет ее жизнь. А этот красавец, так очевидно влюбленный? И что, действительно, для нее он сам, Левон, с его глупой и смешной, бесплодной любовью?.. Он хотел уйти, но князь решительно запротестовал, и Левон остался завтракать. К завтраку приехал и Евстафий Павлович, веселый и живой. Он шумно и непринужденно приветствовал Левона. Вообще во всей фигуре Евстафия Павловича было заметно чувство собственного достоинства. Прежней приниженности не было и следа. С тех пор, как он очутился за границей и старый князь, ни во что не вменявшаяся, передал ему полное ведение дел, Евстафий Павлович снова почувствовал себя барином. Он вошел в роль и распоряжался деньгами старого князя, как своими собственными. Сначала он еще пробовал спрашивать князя относительно расходов, но князь отмахивался обеими руками и просил Евстафия Павловича действовать совершенно самостоятельно. Он привез с собой новости о поражении армии Наполеона в Испании — Веллингтоном при Виттории.

Брат Наполеона, испанский король Иосиф, сам едва спасся, чуть ли даже не бежал во Францию.

— Ну, что ж, — заметил Бахтеев, — это сделает Наполеона более уступчивым.

Левон едва слушал эти разговоры, изредка бросая взгляды на Ирину и сидевшего рядом с нею князя Андрея Петровича. Он много слышал о необыкновенных успехах князя и теперь следил за ним с любопытством и ревностью, и должен был сознаться, что ни в наружности, ни в манере говорить молодого князя он не мог заметить ни признака чего-нибудь грубого или самодовольства и неприятной самоуверенности. Все в нем было естественно, изящно и про-

сто. Он как будто совсем не придавал никакого значения ни своей красоте, ни своему положению, ни своим успехам. Особенно поразило Левона доброе и доверчивое выражение его необыкновенно больших и глубоких темных глаз. Пронский имел врожденный редкий дар очарования, и это в большей или меньшей степени испытывали все встречающиеся с ним и мужчины, и женщины. Он никогда не вызывал к себе, несмотря на свои успехи, острой ненависти мужчин. Любовь сама шла к нему навстречу, и он принимал ее так же естественно, как дышал. Через пять минут разговора он уже казался старым знакомым, проникнутым интересами своего собеседника, добрым и отзывчивым. Он располагал к откровенности и доверию, и у него было много друзей среди мужчин и женщин.

Едва окончился завтрак, Левон поднялся прощаться. Он ушел с тяжелым чувством. При выходе из сада он столкнулся с высокой, стройной фигурой в сутане. Это был аббат Дегранж. Они молча обменялись поклонами.

— Не отсюда ли эта трогательная святость? — с горькой усмешкой подумал Левон.

XXXIV

Новиков поправлялся. Доктор Ковров оказался очень сведущим и искусным. Кроме того, не было во всем Карлсбаде сколько-нибудь известного врача, которого он не привлек бы к консультации. Бахтеев не знал, как и благодарить его. Ко всему, доктор был не корыстолюбив. Он упорно отказывался от гонорара, но князь, узнав, что у него в России большая необеспеченная семья, настоял на своем и вручил ему крупную сумму.

Новиков ничего не скрыл от друга. С мрачно горящими глазами он рассказал о предательстве баварского офицера.

— О, если бы мне только встретить, только встретить его! — с бешенством говорил он.

Иногда он впадал в отчаяние и целыми часами лежал неподвижно, повернувшись лицом к стене. И Левон не находил слов утешения. Да и что он мог сказать?

Белоусов, успокоившись за Новикова, целые дни пропадал из дому. Он нашел уже и родственников, и свойственников, завел новые знакомства и чувствовал себя отлично. Он приносил домой вместе с молодым оживлением всевозможные толки, сплетни, наблюдения и новости. Раза два ему удавалось встретиться и с княгиней Ириной, от кото-

рой он был в восторге, и, желая доставить Левону удовольствие, рассказывал об успехах его тетушки, передавал слухи о внимании к ней государя, о ревности дам из-за Пронского; говорил, что будто государь приезжает в Карлсбад довольно часто, и тогда великая княгиня приглашает к себе княгиню Бахтееву. Левон, бледнея, слушал эти рассказы, но не прерывал их, а даже поощрял. Сам он решил никуда не ходить, но чувствовал, как его влечет туда, где бывает Ирина, где говорят о ней, где он сам собственными глазами может проверить эти слухи.

Мрачное одиночество друзей было радостно нарушено неожиданным приездом Зарницына. Он тоже участвовал в Будисинском сражении в конно-гренадерском полку и был ранен в руку. Она и теперь на перевязи. Гаврила Семеныч принес с собой обычную жизнерадостность и, узнав, что дом друзей довольно просторен, решил переехать к ним, чему они были чрезвычайно рады. Своей непобедимой жизнерадостностью и непоколебимой уверенностью в благополучной развязке всяких житейских обстоятельств он сумел подействовать успокоительно даже на Новикова. С Белосовым он сразу дружески сошелся. Но, несмотря на свою видимую беспечность, он глубоко сочувствовал Новикову и наедине с Бахтеевым часто среди разговора грустно повторял:

— Герта, бедная маленькая Герта!

Старый князь сдержал слово и навестил Данилу Ивановича. Не зная сердечной печали Новикова, старик был поражен не столько болезненным, сколько страдальческим выражением его лица и мрачным отчаянием, иногда невольно прорывавшимся в его словах. Желая развлечь его, Никита Арсеньевич рассказал ему о бегстве Соберсе. Новиков действительно оживился.

— Так и надо, — сказал он. — Но как обожают Наполеона! Мудрено ли с такими людьми покорить мир!

Левон тоже выразил удовольствие, что Соберсе вырвался на волю. Уходя, старый князь сказал Левону:

— Мне кажется, что Новиков больше страдает от какого-то личного горя, чем от своих ран. Это опаснее.

Левон подивился чуткости старика.

На карлсбадском горизонте взошла новая звезда. Из Петерсвальде после свидания с государем приехал граф Меттерних. Собираясь на Пражский конгресс, он решил отдохнуть в Карлсбаде. Граф Меттерних, европейская

знаменитость, ближайший советник австрийского императора! Меттерних, на которого теперь устремлено внимание всего мира, так как у него в кармане окончательное решение Австрии! Меттерних, еще молодой, красивый, обаятельный собеседник и страстный поклонник женщин, столь же известный своими любовными похождениями, как и дипломатическими успехами при дворах Вены и Парижа!..

Боже мой! Любовь и политика! Это совсем в стиле Louis XIV или XV.

Среди дам царило преподнятое настроение. А приезд очаровательного дипломата как раз совпал с уже созревшим решением местного общества дать вечер в честь великой княгини Екатерины Павловны, оказывавшей такое радушное гостеприимство представителям этого общества. Присутствие Меттерниха придаст новый интерес этому блестящему балу. Наконец-то нашлось живое, настоящее дело! Костюмы, выбор приглашенных — все это требовало усиленных забот и размышлений. А вдруг будет и сам император?! Статс-дама великой княгини Екатерины Павловны княгиня Буракина составляла список приглашенных, и дамы были в тревоге, чтобы как-нибудь не быть пропущенными. Много разговоров вызвал выбор места для предстоящего бала. Но наконец остановились на предложении княгини Бахтеевой — дать бал у нее. Все знали ее близость к великой княгине, внимание к ней государя. Кроме того, вдруг вспомнили, что старый князь был обер-камергер, а главное, что он несметно богат, и хотя и были разговоры о подписке на этот бал, даваемый не одним лицом, а всем обществом, но все были уверены, что Бахтеев будет просить, чтобы ему оказали честь быть в полном смысле представителем общества. Так и случилось, и никто упорно не возражал, хотя и делали это для виду. Естественно, Левон сейчас же получил об этом сообщение от дяди, с просьбой принять участие в обсуждении деталей праздника. Первой мыслью его было отказаться, но у него не хватило решимости. А раз решившись принять приглашение, он счел необходимым сделать предварительно несколько визитов, чтобы не показаться на балу выходцем и сразу отделаться от неизбежных все одних и тех же вопросов.

Он посвятил визитам целый день и вернулся мрачнее тучи. Целый день его словно поджаривали на медленном огне намеками, улыбками, недосказанными словами, вопросами о здоровье дяди, произнесенными тоном, к которому

нельзя придаться, но от которого в нем закипало бешенство. А он должен был не понимать и мило улыбаться.

На другой день он побывал у дяди.

— Ну, что ж, Левон, тряхнем стариной, — самодовольно встретил его князь, — я сам буду наблюдать за всем. Ты поможешь?

— С удовольствием, дядя, — ответил Левон, — но если позволите, я вам порекомендую еще двух моих приятелей. Они лучше меня помогут.

— Кого? — спросил князь.

Левон назвал Белоусова и Зарницына.

— Раз они твои друзья, — они здесь дома, я очень буду рад их помощи, — серьезно и важно ответил старый князь.

Левон был уверен, что доставит этим приятелям удовольствие.

— У них бездна вкуса, — заметил он на всякий случай.

Уходя, он встретил в зале Ирину и молча поклонился ей. Она равнодушно протянула ему руку.

— Вы одна? — спросил он.

— Пока одна, — спокойно ответила она.

Несколько мгновений он ждал, что она предложит ему остаться. Но тем же тоном она добавила:

— Сейчас должен бы прийти Пронский, но его нет.

— Я не мешаю, — холодно произнес Левон, закусив губы, и, снова поклонившись, быстро вышел...

В тот же день вечером у княгини Пронской очень оживленно обсуждали сенсационное известие. Граф Меттерних, после великих княгинь, первый визит нанес княгине Бахтеевой. Так и говорили: «княгине Бахтеевой», а не князю Бахтееву, или Бахтеевым. О, конечно, хитрый дипломат сделал это не случайно и не зря потом, при всех остальных визитах, восторгался красотой и умом молодой княгини.

XXXV

Никита Арсеньевич действительно тряхнул стариной, припомнив сказочные пиры, какие он давал в былые дни в честь императрицы и своего незабвенного друга великопного князя Тавриды.

Перед домом толпились зеваки, любуясь на убранный русскими, прусскими и австрийскими флагами ярко освещенный фасад и на пылающего над подъездом большого двуглавого орла под императорской короной.

Густой сад осветился цветными лампами, и меланхолические звуки менуэта доносились на улицу. Длинной вереницей стояли кареты и коляски.

Левон поздно приехал на бал после долгих колебаний. С утра он твердо решил не ехать, но чем дальше шло время, тем все больше росло в его душе чувство мучительного любопытства и раздраженной ревности. Но, придя, он сразу почувствовал себя одиноким и чужим. Смотря на скользящие перед ним нарядные и оживленные пары танцующих, он не мог отделаться от недавних воспоминаний страдания и ужаса; и опять, как и на первом балу у дяди в Петербурге, диким и чуждым казалось ему это веселье в ярко освещенных залах, убранных цветами, когда еще и теперь тысячи раненых умирали без помощи, перевозимые, как дрова, на простых телегах, по скверным дорогам, за сотню верст... Его не удивляло веселье молодых офицеров, вырвавшихся из ада и готовых опять броситься туда. Но все эти разряженные куклы, все это так называемое общество, потянувшееся ради тщеславия, забавы и жалкого честолюбия за императорской квартирой!..

Пробираясь среди толпы знакомых и незнакомых, он искал глазами Ирину и нашел ее в стороне от танцующих в малой зале, окруженной целой толпой. Она сидела рядом с великой княгиней Екатериной Павловной, приехавшей без сестры, уже отправившейся в Веймар.

Бахтеев в первый раз видел великую княгиню. Его поразила спокойная красота ее лица, с выражением мысли и печали. Лицо Ирины тоже было задумчиво и серьезно, и эти две женщины представляли резкий контраст с веселым оживлением окружающих.

За креслом Ирины, наклонясь к ней, стоял высокий стройный человек в расшитом придворном мундире. Во всей его осанке, в манере говорить чувствовался человек, для которого блестящее общество и присутствие принцессы были привычны. Его лицо не было красиво, но в нем было что-то не общее, резко выделяющее его из круга других. Чрезвычайно высокий лоб, большие яркие глаза и полунасмешливая улыбка на чуть полных, красивых губах.

— Граф Меттерних, — сказал кто-то рядом с Левон.

Так вот он, тот человек, который, по всеобщему убеждению, являлся сейчас вершителем войны и мира...

Но теперь на лице всемогущего министра не было видно ничего, кроме искреннего восхищения красавицей собеседницей. Он казался просто изящным придворным кавалером, искренно влюбленным. Можно было подумать, что ничего иного он никогда не делал, как только ухаживал за красавицами. Но всем было известно, что блестящий дипломат делил свою жизнь между политикой и любовью. Ирина внимательно слушала его и казалась заинтересованной. Рядом с Меттернихом неподвижно стоял Пронский, нервно потирая подбородок, изредка бросая взор на Меттерниха.

«Он ревнует», — с ясновидением влюбленного подумал Левон.

Великая княгиня беседовала со стоявшим перед ней Никитой Арсеньевичем. В ближайшей к ним группе Левон увидел неизменного Дегранжа в тихой, но оживленной беседе с Волконской и княгиней Буракиной. К ним подошел сияющий Буйносов. Сказал несколько слов и подлетел к другой группе. Везде он говорил по несколько слов и вновь в радостной суетливости устремлялся к новому месту. Он, видимо, чувствовал себя наверху блаженства и играл роль гостеприимного хозяина.

«Чужие, все чужие», — думал Бахтеев и не мог оторваться от милого лица. Вот Ирина подняла голову, улыбнулась и слегка покраснела. Левону казалось, что Меттерних слишком низко наклоняется к ней и держится свободнее, чем следовало. Он невольно взглянул на Пронского и словно прочел на его лице выражение своих чувств. Пронский, очевидно, забыв, что на него устремлена не одна пара глаз, стоял, нахмутив брови, пристально глядя на Меттерниха. Ирина вдруг повернулась к нему и с улыбкой что-то сказала, и мгновенно лицо князя просияло. Левон почувствовал, что кровь приливает ему к голове и холодеют руки. Он резко повернулся и хотел уйти, но в эту минуту произошло какое-то движение; пронесся, как дуновение ветра, неясный шепот и чей-то негромкий голос произнес:

— Государь.

Меттерних замолчал и выпрямился. Ирина встала, Екатерина Павловна тоже, а старый князь, поклонившись великой княгине, быстро направился к выходу.

Великая княгиня взяла под руку Ирину и направилась за ним. За нею потянулись и остальные. Хотя смутно мечтали о приезде государя, но никто на это не надеялся, тем более что сама великая княгиня, приехав, сообщила, что ее августейший брат не приехал в Карлсбад.

Среди низко склонившихся рядов государь шел по большой зале. За ним в адмиральском мундире тяжело ступал Александр Семенович с обер-гофмаршалом графом Толстым, а за ними, к величайшему изумлению Левона, в темном фраке и темных чулках виднелся Монтроз. Левон даже не поверил своим глазам. Но ошибиться было нельзя. Монтроз заметил его и, едва улыбаясь, сделал ему приветственный жест рукой.

Лицо государя было удивительно ясно и молодо, как будто никогда никакая печаль не омрачала этого чистого лба и блеска больших, слегка прищуренных серо-голубых глаз.

Он милостиво поздоровался со старым князем, что-то сказав, на что Никита Арсеньевич очень громким голосом, так как государь был слегка глуховат, ответил по-французски:

— Государь, это величайшее счастье подданного.

Тут же вертелся и Евстафий Павлович, стараясь обратить на себя внимание государя. И когда это ему удалось, когда государь с ласковой улыбкой протянул ему руку, Евстафий Павлович весь засиял и даже прослезился. Ирина и великая княгиня встретили его на пороге маленькой залы. Левона поразило то особенное выражение лица, с каким Пронский смотрел на покрасневшую Ирину и на государя, слегка наклонившегося перед ней, целуя ее руку. И, как отравленные иглы, вдруг впились в душу Левона темные, странные намеки.

Все заметили, что государь неблагосклонно взглянул на графа Меттерниха, стоявшего с ней рядом, и слегка кивнул ему, не протягивая руки. Один Меттерних, казалось, не заметил этого сухого обращения, непринужденно и почтительно поклонившись.

И, действительно, невнимание государя не лишало Меттерниха обычной самоуверенности. Был только один в мире человек, перед которым он терялся и на пышных приемах в Сен-Клу или Тюльери, и в рабочем кабинете. Это маленький корсиканец с холодными серыми глазами, делавшийся иногда такими страшными...

Но за это он и ненавидел этого человека!

Левон чувствовал себя словно в тумане. Пронский, Меттерних, государь, Дегранж, сейчас говорящий с императором, Ирина — все казались ему странно соединенными между собою какой-то незримой паутиной...

Мимо него прошел радостный и сияющий Гриша Белосов.

— Неужели вам не весело? — блестя глазами, спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил. — Это сон какой-то!

И, заметя Зарницына около княгини Пронской, поспешил к нему.

Левон видел, как из маленькой гостиной, куда вошел император, все вышли. Там остались только, кроме государя, Ирина и великая княгиня. Последним вышел Пронский, с опущенной головой и бледным лицом.

«Ну, я насмотрелся», — решил Левон, пробираясь к выходу, но почувствовал, что кто-то взял его под руку. Это был Монтроз, о котором он забыл, поглощенный своими мыслями.

— Здесь, действительно, душно, — спокойно начал Монтроз, словно продолжая прерванный разговор, — пройдемте в сад.

Левон машинально подчинился ему.

На темном июльском небе ярко горели звезды, и жалкими казались гирлянды цветных лампиров, прихотливо переплетававшихся между деревьев. Сад благоухал. Монтроз свернул в одну из боковых темных аллей.

— Здесь лучше, — начал он, — здесь прекраснее звезды и не слышно шума. Вы очень удивлены, увидев меня здесь? — спросил он князя.

— Больше, чем я могу сказать, — ответил Левон. — Как, в самом деле, вы очутились здесь и откуда?

— Но из Петерсвальде, милый князь, — со смехом ответил шевалье, — и приехал вместе с императором.

— А туда? — спросил Левон.

— А, вы очень любопытны, — заметил шевалье, — но так как вы наш и, кроме того, как я надеюсь, мой личный друг, то я скажу вам. Я приехал к императору с письмом от свергнутого Наполеоном испанского короля Фердинанда, создания, говоря правду, совершенно ничтожного, но на которого мы имеем виды. Нет нужды пока объяснять вам подробности и мои связи с ним. Все это вы узнаете в свое время. Я только хотел удовлетворить ваше любопытство, как я попал в Петерсвальде.

— Кажется, дела Наполеона в Испании пошатнулись? — спросил князь.

— Хуже, — ответил шевалье, — мне кажется, Испания потеряна для него. Иосиф разбит наголову Веллингтоном при Виттории. Его армия в страшном беспорядке прогнана до самых стен Байоны. Я привез государю подробности этого гибельного для Наполеона дела. По-видимому, жаркий климат вреден императору французов так же, как и холодный север.

— Скоро будет заключен мир, и он поправится, — сказал Левон.

— Мира не будет, — быстро перебил его Шевалье, — Меттерних привез подписанный союзный договор: Австрия по окончании перемирия выставляет двести тысяч против Наполеона. Ваш государь счастлив. Он верит в свою божественную миссию освобождения народов от ига Наполеона. Он идет еще дальше. Он мечтает о свободе духа, о христианском братстве народов и священном союзе королей. Он мечтает о том же, о чем и мы.

Шевалье говорил со страстным увлечением.

— Но у него, — продолжал он, — дурные союзники. И в этом вся опасность. Они притворяются, и притом очень неумело, что разделяют взгляды Александра. Они ненавидят свободу и готовы задушить ее. Они ненавидят Наполеона за то, что его походы пробудили в их болотах дух свободы. Они хотят его гибели, надеясь, что с ним вместе погибнут и великие идеи революции и народы впадут в прежнее сонное рабство. Вот за что они борются, вот чего они хотят, в глубине своих темных душ всегда готовые на предательство по отношению к своему великодушному союзнику. В этом вся опасность.

Шевалье замолчал. Собеседники сели на скамью.

— То, что вы говорите, — прервал молчание Левон, — приходило и мне в голову. Я видел, что наши союзники не любят нас и не доверяют нам. Эта война не принесет свободы России! Зачем проливать нашу кровь за чужую свободу, когда Россия изнемогает.

Монтроз тихо положил руку на плечо Левона.

— Если ваш государь осуществит то, о чем мечтает, то Россия пойдет впереди всех народов. *Ex oriente lux...* — торжественно произнес Монтроз.

— А вы, вы верите в это? — спросил Левон.

— Я надеюсь, — тихо ответил шевалье и, помолчав, добавил: — А если нет... что ж! Мы будем бороться...

Снова наступило молчание. Глубокая тоска легла на душу Левона при мысли о том, что эта несчастная война будет длиться еще и еще... и не видно ей конца, и сомни-

телен успех, несмотря на помощь Австрии... Молчание прервал шевалье, вдруг спросив:

— Ведь это жена вашего родного дяди, эта красавица с мистическими глазами, княгиня Бахтеева?

— Да, — ответил Левон, — а что?

— Она действительно склонна к мистицизму? — вопросом ответил шевалье.

Левон вспомнил пророка и аббата и в раздумье ответил:

— Мне кажется, что да.

— Я слышал об этом, — продолжал Монтроз. — Кажется, у княгини частый гость аббат?

— Кажется, — в изумлении сказал Левон, — но почему вас так это интересует?

— Я видел аббата в Петерсвальде, — уклончиво ответил Монтроз, пристально глядя на Левона.

В темной аллее трудно было рассмотреть выражение лица, но звук голоса Левона много сказал шевалье.

— Да, но при чем княгиня? — уже несколько нетерпеливо спросил Левон.

— Мне кажется, — медленно произнося каждое слово, начал Монтроз, — что аббат Дегранж, пользуясь возвышенным религиозным строем души русского государя и либеральным направлением его ума, действует pro domo sua, вы знаете, что он ордена иезуитов. Ему нужна поддержка известных кругов. Княгиня Волконская, княгиня Напраксина уже его ученицы.

Монтроз положил как бы нечаянно руку на руку Левона и еще медленнее продолжал:

— Княгиня Бахтеева очень влиятельна. Она удостоена дружбы великой княгини, любимой сестры императора, и в силу этого, внимания императора... Старания Дегранжа понятны. Вот все, что я хотел сказать, — закончил он, чувствуя, как похолодели руки Левона.

— Но откуда вы все это знаете? — воскликнул Левон.

— Но этому я посвящаю всю мою жизнь, — мягко ответил Монтроз, вставая. — Однако пойдемте. Мы еще поговорим с вами о многом... Ведь я знаю, что господин Новиков был ранен, и я завтра же навещу его.

Левон молча последовал за Монтрозом.

Государь с великой княгиней уже уехали. Пронского нигде не было видно, а около Ирины по-прежнему был Меттерних.

Взволнованный всем виденным и слышанным, Левон чувствовал, что не в силах оставаться дольше. Он уехал

таким же чужим и одиноким, как и приехал, даже не подойдя ни к дяде, ни к Ирине. Он не заметил ни одного взгляда, который искал бы его в толпе гостей....

XXXVI

Монтроз сдержал свое слово и на другой день приехал навестить Данилу Ивановича. Но даже приезд великого мастера не подействовал оживляюще на Новикова. Он находился в состоянии угрюмого отчаяния. Бледный, невероятно исхудавший, с ввалившимися глазами и бритой, забинтованной наполовину головой, он был страшен. Монтроз не касался никаких волнующих тем и легко и поверхностно скользил с предмета на предмет, не переставая внимательно изучать выражение лица Новикова. Иногда взгляд его скользил по лицу Левона. Казалось, он сравнивал их. Новиков едва поддерживал разговор, занятый своими мыслями и ослабевший от болезни.

Монтроз заметил это и встал.

— Ну, выздоравливайте, дорогой друг, — ласково сказал он, — верьте в лучшее будущее и надейтесь.

Он с таким особым выражением сказал последние слова, словно что-то знал, что Новиков с изумлением посмотрел на него.

— Перед отъездом я еще навещу вас, — закончил Монтроз, пожимая ему руку.

Бахтеев вышел провожать его.

— Вот что, князь, — обратился к нему в соседней комнате Монтроз, — положение нашего друга гораздо серьезнее, чем думаете вы и, может быть, врачи. Его организм утратил всякую силу сопротивления. Он сгорает от тайной тоски, и он сгорит, если мы не поможем ему.

С этими словами Монтроз вытащил из бокового кармана небольшую плоскую склянку, наполненную бледно-розовой жидкостью.

— Возьмите это и давайте ему в питье три раза в день по три капли. Лучше не говорите об этом врачам. Это единственное лекарство. Если не поможет оно, — не поможет ничто. Это средство производит сильную реакцию в организме и напрягает его силы до максимума, не ослабляя впоследствии. Если не поздно, — оно поможет.

С чувством необъяснимого доверия Бахтеев принял склянку из рук Монтроза.

— Благодарю, — сказал он.

— Сегодня я нанесу визит вашему дяде и княгине. Я увижу вас? — спросил Монтроз, пристально глядя в лицо Левона.

— Нет, я не буду там, — ответил Левон, отворачиваясь.

Шевалье крепко пожал ему руку.

Новиков лежал на спине с открытыми глазами. Губы его тихо шевелились.

— Ты устал? — спросил Левон.

— Нет, — тихо ответил Новиков, — но я хотел бы заснуть и боюсь... я боюсь своих снов, — добавил он.

Левон накапал в стакан в питье из склянки, данной Монтрозом, и, подав стакан Даниле Ивановичу, сказал:

— Монтроз говорит, что это питье действует успокоительно.

— Успокоительно, — с горькой улыбкой повторил Новиков, — если бы оно дало сон без сновидений.

Он поднял голову, выпил и снова откинулся на подушку. Глаза закрылись, и он почти сейчас же заснул.

Бахтеев тихо вышел и сел у открытого окна, выходящего в сад.

Зарницын и Гриша уехали с визитами после вчерашнего бала.

Бахтеев долго сидел у окна, неподвижно глядя на залитый солнцем сад. Он не слышал, как вернулись молодые люди. И только веселый голос и громкий смех Гриши вывели его из задумчивости. Гриша был восторженно настроен после вчерашнего бала. Еще бы, такого удовольствия он еще никогда не испытывал. Он видел государя совсем-совсем близко, он танцевал с красивыми женщинами, принадлежавшими к высшему кругу столицы, и сам теперь не знал, в кого он влюблен? В княгиню Ирину или Пронскую, в Волконскую или Бахметьеву... Зарницын, напротив, всегда оживленный и веселый, был сосредоточен и задумчив и часто украдкой с тревогой поглядывал на Левона. Он вчера многое подметил и, как ему казалось, угадал. Поэтому он ни одним словом не касался Ирины в разговорах о вчерашнем бале. Не передал он и того, что во время его визита к Пронским князь Андрей Петрович был как-то странно рассеян и нервен, а княгиня довольно прозрачно шутила насчет искусства австрийского дипломата в любви и политике. Но что особенно поразило Зарницына, так это страдальческое выражение, мгновенно промелькнувшее на лице Пронского, когда княгиня уже без всякой шутливости упомянула

об исключительном внимании, оказанном государем княгине Ирине...

«Нет, тут что-то неладно, — думал Зарницын, — какой-то клубок замотался. То ли дело там, на позициях, в полку».

Лекарство Монтроза действительно оказало чудесное действие. Прошло два дня, и Новилов удивительно окреп. У него появился хороший сон, аппетит, бодрость духа. К нему словно вернулась прежняя энергия, а вместе с нею и надежда.

— Я найду, я найду ее, — твердил он, — я скоро совсем поправлюсь. Я чувствую, как вливается в меня жизнь. Во всяком случае, она была под покровительством д'Обрейля. Не может быть, что они оба убиты.

Левон, как мог, поддерживал его в этой уверенности, хотя сам думал противоположное. Он хорошо знал необузданную жестокость немцев в случае победы.

За все эти дни Левон ни разу не был в доме дяди, да и вообще не был нигде. Он никуда не выходил; только по ночам он часами бродил по темным дорожкам сада, стараясь овладеть своими мыслями и разобраться в чувствах. Все в его душе клокотало, и она замутилась. Он словно тонул и не видел берегов, словно заблудился в глухом лесу, без надежды выйти из него. Ни одна звезда не светила ему. Беспорядочные, дикие мысли проносились в его голове, как лохмотья туч. Одно решение сменялось другим, часто безумным. Минутами ему казалось, что он сходит с ума. А эти теплые, темные июльские ночи, благоухание цветов, таинственный шелест листьев в душных аллеях дразнили его несбыточной мечтой. Иногда, остановясь среди аллеи, в порыве страстного отчаяния он простирали руки к далеким звездам и шептал безумные слова, похожие на заклинания...

Он худел и бледнел, делаясь все молчаливее. Даже Гриша в его присутствии затихал и сдерживал свою юношескую веселость.

В одну из таких ночей Левон пришел, как ему показалось, к единственному правильному решению — бежать. Новилов уже не нуждался в его заботах. Он уже встал с постели и бродил, хотя еще слабый, но уже здоровый, к великой гордости Коврова. Левон решил ехать в полк. Срок перемирия истекал через две недели, говорили, что представитель Наполеона Коленкур, герцог Виченцкий, еще не

приехал на конгресс... что Наполеон хранит молчание, и самые крайние оптимисты уже сомневались в мирном окончании переговоров. Что касается Левона, то после разговора с Монтрозом он ждал войны. Как будто сама судьба лишала Левона возможности изменить решение. Он получил из полка экстренный приказ немедленно выехать в Прагу, куда, по случаю ожидаемого приезда государя и многих высокопоставленных лиц, назначались офицеры, преимущественно громких фамилий, для несения обязанностей ординарцев и для почетных караулов.

«Ну вот, все решено, — думал Левон, — надо ехать немедленно, и слава Богу».

Но судьба подшутила над ним. В день, назначенный для отъезда, к нему приехал старый князь с неожиданной новостью.

Через Балашева он получил извещение, что государь желает, чтобы он, как обер-камергер двора, приехал в Прагу. От себя Александр Дмитриевич прибавлял, что это приглашение вызвано возможностью заключения мира, что будет, конечно, сопровождаться торжествами, и государь желает, чтобы на этих торжествах присутствовали чины двора и представители знати. Великая княгиня уже уехала. Вслед за ней, не ожидая приглашения, потянулись все, кто имел возможность. Они же именно хотели остаться в опустевшем Карлсбаде отдохнуть, но, видно, не судьба.

— Да, видно, не судьба, — подтвердил Левон, думая о себе.

Это приглашение было для него новым откровением. Он понял его по-своему, и страдание, похожее на ужас, охватило его. Надвигалось что-то черное и страшное, с чем нельзя бороться и от чего некуда уйти!..

Как во сне слушал он старого князя, говорившего ему:

— Евстафий Павлович уже уехал вперед подыскать дом, а мы выезжаем завтра; если ты свободен, то мог бы проехаться в Прагу. До конца перемирия осталось немного, — и, как показалось Левону, князь с тревогой посмотрел на него.

— Но я еду туда, — овладевая собою, сказал Левон, и он передал князю полученное приказание.

Никита Арсеньевич с облегчением вздохнул. Тут только Левон внимательнее посмотрел на дядю. Он увидел, что старый князь не польщен и не обрадован этим приглашением, а как будто удивлен. На его величавом лице лежала тень недоумения, и густые брови изредка сдвигались.

— Ехать надо, — серьезно сказал князь, — хотя я уже стар представлять, но это желание государя и, значит, мой долг.

— А княгиня? — спросил Левон.

— А княгиня так же знает свой долг, как и я, — каким-то странным тоном ответил князь.

XXXVII

Конгресс собрался, но бездействовал. Дипломаты съезжались, заседали, словно не зная, с чего начать, втайне обмывая друг друга, скрывая друг от друга полученные от своих правительств инструкции. Русский представитель Анштетт, которому было дано понять Александром, что заключение мира противоречит всем его желаниям, по-видимому, находился в полном согласии с представителем Пруссии Гумбольтом, которому, наоборот, было строго внушено напуганным Фридрихом добиваться мира, хотя бы ценой некоторых уступок. В то же время Фридрих уверял Александра в своей твердой решимости бороться до конца и не принимать от Наполеона никаких обещаний, как бы заманчивы они ни были. Франц требовал от Меттерниха мира с Францией, и Меттерних обещал употребить для этого все силы, вплоть до открытой угрозы, а в душе поклялся довести дело до войны.

Герцог Виченцкий, приехавший после всех, хотя и держался высокомерно, но вовсе не получил от Наполеона никаких инструкций, кроме как доносить о ходе работ конгресса, также как и граф Нарбонн.

Из Брандвейса, в семнадцать верстах от Праги, Франц надоедал Меттерниху. Прусский король не находил себе места от беспокойства и, приезжая в Прагу, метался от одного к другому, надоедая всем. Александр внес новое осложнение, потребовав поставить в число условий мира низложение испанского короля Иосифа и возвращение на престол Фердинанда. Присоединение к армии союзников бывшего маршала Наполеона, теперь наследного принца шведского, Бернадотта, с тридцатитысячным шведским войском, тоже желавшего войны против своего благодетеля и родины во что бы то ни стало, также запутывало дела.

Наполеон, оставив Дрезден, поехал в Майнц для свидания с императрицей Марией-Луизой и, по-видимому, вовсе не интересовался делами конгресса, хотя время приближалось уже к окончанию перемирия, но находился в тайных

оживленных сношениях со своим тестем, а тесть эти сношения скрывал от своего министра.

Естественно, что при таких условиях конгресс обращался в театр марионеток, где только один Меттерних действовал самостоятельно, по своей воле.

Безделье конгресса давало ему много свободного времени, и он продолжал вести образ жизни светского человека, тем более что в Праге вновь составилась большой круг. Центром общества являлся дом Бахтеевых. Великая княгиня по своему высокому положению была, конечно, вне общества, хотя милостиво участвовала иногда в возобновившихся, как в Карлсбаде, празднествах. Ирина по-прежнему часто бывала у нее, где также часто, но обыкновенно почти тайно, один, без свиты, бывал император. Екатерина Павловна тоже бывала у Ирины. Дружба ее к Ирине доходила до того, что, засидевшись у нее раза два, великая княгиня оставалась ночевать. Но к этому все привыкли, и это уже не возбуждало ни толков, ни комментариев, но все как к солнцу тянулись к княгине Ирине, по-прежнему избегавшей шумных собраний и никогда не танцевавшей.

Бахтеевы заняли один из лучших домов, вернее, дворец, некогда принадлежавший князьям Радзивиллам. Дерганж по-прежнему был у них почти ежедневным гостем.

Левону было неудобно вовсе прекратить посещения дома дяди. Это могло бы привлечь общее внимание, а, главное, это было бы неприятно старому князю. Да и самого Левона мучительно влекло в этот дом, где каждое посещение вызывало в нем новые страдания. В старом князе была заметна перемена. Его лицо стало строже, он реже шутил и улыбался, стал недоступнее, словно желая отгородиться от возможности услышать в своем присутствии неосторожное слово. И, действительно, его надменный и величавый вид, строгий взгляд еще молодых и блестящих глаз невольно заставляли сдерживаться самых злых и смелых сплетниц и сплетников. Он, видимо, желал, чтобы Левон бывал как можно чаще и проводил больше времени около Ирины. Он словно в глубине души поручал Левону охрану своей жены от каких-то невидимых, но злых сил. И это было и наслаждением и пыткой для Левона. Ирина опять была с ним такой же, как в первые дни знакомства. Она, казалось, не замечала его, между тем как у нее находились и улыбки и приветливые слова для Меттерниха и князя Пронского. Левон заметил, что красавец князь то был в подавленном настроении, то лицо его сияло

нескрываемым счастьем. С Меттернихом он едва держался в границах, требуемых самой простой вежливостью. Но блестящий дипломат был всегда ровен, очаровательно любезен и будто не замечал едва скрытой враждебности князя. А Левон, глядя на того и другого, чувствовал, что готов возненавидеть их обоих.

Многочисленное общество собралось у Ирины на ее утренний прием. Был ясный день. Гости частью расположились на террасе, частью бродили по саду. Ирина сегодня была оживленнее обыкновенного, окруженная молодежью; она сидела рядом с графиней Остерман. Меттерних забавлял общество анекдотами из придворной хроники французского двора, причем с презрением аристократа насмешливо и зло вышучивал манеры «маскарадных», как выражался он, герцогов, принцев и королев, созданных Наполеоном, и самого императора, приводившего в ужас дам своими замечаниями насчет их туалетов и нескромными вопросами.

— Что не мешает, однако, им, — насмешливо заметил Пронский, — стараться чаще попадаться ему на глаза, в тайной надежде привлечь к себе, хоть на один день, его особое внимание, так же, как не мешают насмешки над ним аристократам старой Европы и даже принцам крови целовать его руку в надежде на те короны, над которыми они смеются, не получив их. Это старая басня.

— Что делать, дорогой князь, — с улыбкой пожал плечами Меттерних, не замечая явной враждебности тона Пронского, — люди — всегда люди.

Юный Строганов, на днях тоже появившийся в Праге, чтобы навестить отца, находящегося в свите государя, с увлечением воскликнул:

— Что бы ни говорили, но Франция может гордиться своим императором!

— Вы очень великодушны и незлопамятны, — насмешливо произнес Меттерних, — после того, что он сделал для России.

— Вы правы, граф, — весь вспыхнув, но с чувством достоинства ответил Строганов, — русские великодушны и умеют признавать величие даже в своем враге. И верно, что русские незлопамятны, иначе всех наших теперешних союзников мы считали бы своими злейшими врагами. Даже оставив старые счеты, ведь Пруссия и Австрия вместе с Наполеоном приходили в Россию в прошлом году!

Несмотря на всю свою находчивость, Меттерних на мгновение потерялся перед этой правдивой юношеской горячностью.

— Bravo! Bravo! — воскликнула Остерман. — Но вы должны сознаться, граф, — обратилась она к Меттерниху, — что русские также и находчивы.

— И большое счастье, графиня, считать себя в числе их друзей, — ответил Меттерних, наклоняя голову.

А в саду княгиня Пронская, не имея иной жертвы, завладела Бахтеевым. Ей давно уже было досадно, что молодой князь словно не замечает ее. Она слишком была избалована и не привыкла к этому. Кроме того, она смутно подозревала, что князь равнодушен к своей юной тетушке; при этом от нее не могло укрыться, что ее муж окончательно потерял голову от любви к прекрасной княгине. Это не возбуждало ее ревности, но тревожило ее, так как муж стал манкировать своими обязанностями флигель-адъютанта и это могло плохо отразиться на его придворной карьере, а следовательно и на ее. Все эти соображения побудили ее постараться временно завладеть Левонем, чтобы «осветить положение», как мысленно выразилась она.

Но Левон туго поддавался ее ухищрениям. Он довольно рассеянно слушал ее болтовню и сдержанно отвечал на ее вопросы.

— Посмотрите на этот павильон, напоминающий собою маленький античный храм, — обратила внимание Левона княгиня, указывая на мраморный с колоннами и плоской крышей павильон. — Не правда ли, как красиво?

— Действительно, очень красиво, — ответил Левон.

Они подошли ближе.

Окна павильона были закрыты темно-зелеными занавесками, дверь заперта.

— Обратите внимание на эту надпись, — сказала княгиня, — это по-латыни. Мне ее переводили. Что-то о любви; что без любви нет жизни. Очень хорошо!

Она указала на надпись золотыми буквами над входной дверью.

Частью буквы вывалились, частью потемнели, но прочесть все же было можно. И Левон прочел: «Magnus est amor, sine amore non est vita!»

— Могуущественна любовь, без любви нет жизни, — задумчиво повторил он по-русски.

— Как это прекрасно! — воскликнула Пронская. — Сядем здесь, около этих розовых кустов, и я вам еще что-то расскажу.

— Очень хорошо, — согласился Левон.

В конце концов княгиня достигла своего, и он уже обнаруживал некоторый интерес к ее обществу.

— Так вот, — начала она, — говорят, что этот «храм любви» соединен подземной галереей с дворцом. Посмотрите, как укромно он помещен. Кругом густые деревья, там, видите, заросшая тропинка прямо к маленькой калитке в толстой каменной стене. Лучшего места для свидания не придумать.

Она рассмеялась.

— Вы знаете графа Оскольского? — спросила она.

— Где-то слышал, — ответил Левон, — не в Карлсбаде ли?

— Возможно, — сказала графиня, — он был там. Это камергер или что-то вроде этого при австрийском императоре. Родовитый поляк. Ему хорошо знаком этот дворец. Граф теперь здесь. Он приезжал с каким-то поручением к Меттерниху из Брандвейса. Так он мне рассказал, почему владелец бросил этот дворец и потом продал. Вам интересно?

— Очень, — отозвался Левон.

— Ну, так слушайте, — начала княгиня. — Этот дворец был выстроен Радзивиллами, а в конце прошлого века каким-то путем перешел к их родственнику князю Кшепольскому. Этот князь был женат на молодой красавице. И был у него верный друг...

— Ну, конечно, — засмеялся князь. — Все легенды старых замков похожи одни на другую. Очевидно, что друг соблазнил его жену.

— Это верно, — улыбнулась княгиня, — но вы не знаете, чем дело кончилось. Князь, конечно, узнал об измене и проследил, что свидания происходят в этом павильоне. Тогда в одну прекрасную ночь, лишь только княгиня вышла в подземную галерею, он запер за нею дверь оставленным ей в двери ключом. Затем отправился сторожить. Когда из павильона вышел человек, он переждал несколько минут, открыл подобранным ранее ключом павильон, вошел и таким же ключом запер дверь потайного хода.

— Какой вздор! — произнес Левон, почувствовав невольное содрогание.

— Почему вздор? — задумчиво сказала Пронская. — Оскольский говорит, что еще в прошлом году видел князя Кшепольского в Париже. Ему нет еще пятидесяти лет, но он выглядит настоящим стариком. Его неверный друг был вскоре убит в своем доме, как тогда говорили, с целью

грабежа. Жена Кшепольского с того времени пропала без вести. А что важнее всего, это (мне клялся в этом Оскольский) то, что новые владельцы через пятнадцать лет нашли в этой галерее истлевший труп женщины. Но, чтобы не пугать возможных жильцов, это скрыли. Брр! Это ужасно, — нервно вздрогнула она, — но я не верю, что ее призрак по ночам ходит...

— Уверяю вас, что проходил, — раздался за кустами сзади чей-то негромкий голос.

Это было так неожиданно, что княгиня замерла на полуслове, судорожно схватив Левона за руку. Он тоже вздрогнул.

— Это вам показалось, дядя Иоганн, — произнес другой голос.

— Мне не могло показаться. Я слышал, как хлопнула дверь в павильоне, а когда я подошел, то услышал шорох ветвей, потом хлопнула калитка. Да и видно, что кто-то ходил.

— Ну, так свой кто-нибудь, — сказал первый.

— Еще бы не свой, — словно с насмешкой произнес второй голос.

Бахтеев и Пронская одновременно повернули лица и взглянули друг на друга. Оба были бледны и, глядя в глаза друг другу, казалось, вели безмолвный, но им понятный разговор.

Это продолжалось одно мгновение.

На дорожке показались двое мужчин.

Один был старик, другой юноша. Оба были в холщевых передниках. У старого в руках были садовые ножницы, у молодого нож. Они прошли мимо, вежливо сняв шляпы.

— Однако как они напугали, — с нервным смехом произнесла Пронская.

— Это было действительно страшно, — произнес Левон.

Он хотел это сказать шутливым тоном, но голос сорвался...

Пронская встала, и они молча, избегая смотреть друг на друга, направились к дому.

XXXVIII

В девять часов вечера 29 июля (по н.ст. 10 августа) 1813 года у пражских городских ворот съехались два курьера. Один ехал из Брандвейса от императора Австрии к

графу Меттерниху, другой из Дрездена от императора Франции к герцогу Виченцкому.

Меттерних сидел у себя в кабинете, изредка посматривая на часы. Несмотря на все самообладание, он не мог сдерживать частого биения сердца. Осталось только три часа до окончания перемирия! Доведет ли он до конца дело? Удастся ли ему? Или в самый последний момент что-нибудь неожиданное разрушит стройное здание его дипломатии, и вместо первой роли, несомненно, принадлежащей ему в случае войны, он принужден будет потерять все и остаться в тени — в случае мира.

Он вздрогнул, когда открылась дверь и вошел Кунст.

— От императора экстренное письмо, — произнес он, подавая графу пакет.

Он с удивлением заметил, что рука Меттерниха дрожала, когда он принял письмо.

— Вы можете идти, Кунст.

Кунст вышел.

Нетерпеливо, не по привычке аккуратно, Меттерних вскрыл конверт, и то, что прочел он, чуть не свалило его с ног.

Император Наполеон соглашается на все условия, предложенные ему венским кабинетом, и настаивает на удержании за собой лишь ганзеатических городов и Голландии и то в виде залога, только до заключения общего мира. «Видите, милый Меттерних, — писал Франц. — Мы тоже стали дипломатом. Надеюсь, вы не будете сердиться на своего государя и друга за то, что он немного пощипал лавры, принадлежащие вам по праву. Итак, мир! Не пролив ни одной капли крови, не обнажив меча, мы возвращаем себе прежнее могущество и спасаем друзей. Итак, немедленно объявите это на конгрессе. Герцог Виченцкий уже имеет инструкции своего императора».

Меттерних несколько раз перечел письмо, стараясь глубже вникнуть в его содержание. Но содержание было ясно, как день:

— Мир!

Мир! Это значит разорение и ничтожество! Мир — это торжество Наполеона! Мир — это ряд новых унижений. Нет, больше! Мир — это окончательное падение, потому что после всего, что было, Наполеон не потерпит больше его влияния на политику. Бешенство овладело Меттернихом. Он одурачен. Он дурак и кукла в глазах своего государя и делается посмешищем всех дипломатов, знавших его игру!

Он долго сидел, обхватив голову руками. Наконец встал, злая улыбка появилась на его губах.

— Нет, мой милый скрипач, вы на этот раз не сыграете дуэта с Наполеоном. Вы будете играть то, что хочу я, потому что дирижер все же я.

Он аккуратно вновь запечатал конверт и позвал Кунста.

— Я еду на заседание конгресса, — сказал он. — Вот письмо. Возьмите его. В двенадцать часов и пять минут вы подадите его мне на заседание. Вы скажете, что оно только что пришло. Ровно в двенадцать часов пять минут. Ни минутой раньше, ни минутой позже.

Кунст взял письмо и молча поклонился, не выражая никакого удивления.

— Да, — добавил Меттерних, — немедленно, от имени императора, отправьте нарочных с приказом на сторожевые вышки зажечь на горах сигнальные маяки и костры, — часа в два пополудни.

Кунст поклонился еще раз.

Меттерних уехал на заседание конгресса. Все представители были уже на своих местах. Лицо Анштетта было сумрачно, Гумбольдт сиял, граф Нарбонн смотрел с затаенной насмешкой, герцог Виченцкий приветствовал его радостным возгласом.

— Мир, дорогой граф, мир!

— В чем дело? — притворяясь изумленным, спросил Меттерних.

— Вот читайте! Император согласен на все ваши условия, — торжествующе произнес Коленкур, протягивая ему бумагу.

Меттерних сделал радостное лицо и весело ответил:

— Тогда — мир! Давно пора!

Он взял бумагу и погрузился в чтение. Коленкур с довольной улыбкой смотрел на него. Но вдруг он заметил, что лицо Меттерниха омрачилось. Потом граф покачал головой и, возвращая Коленкуру бумагу, с грустным вздохом произнес:

— К сожалению, дорогой герцог, здесь есть но... Мои полномочия не простираются на изменения условий, а здесь новые условия относительно ганзеатических городов и Голландии.

— Но ведь это временная мера! — воскликнул Коленкур. — И притом здесь указано, что его величество император австрийский одобряет эти условия и вы будете извещены.

— Тогда подождем, — со спокойной улыбкой проговорил Меттерних.

— Конечно, вопрос можно решить и завтра — это одна формальность, раз уже имеется согласие, — успокоившись, согласился Коленкур.

— Разумеется, — подтвердил Нарбонн.

Меттерних поддерживал незначительный разговор. Наконец часы пробили двенадцать. Меттерних словно с облегчением перевел дух. Ровно через пять минут вошел секретарь конгресса:

— Письмо его сиятельству графу Меттерниху от императора австрийского.

— Ну, вот! Это оно! — воскликнул Коленкур.

Меттерних медленно распечатал письмо и пробежал. Лицо его словно застыло.

— Вы правы, — сказал он, — император согласен.

— Так, значит, мир, — весело перебил его Коленкур.

— Но, — спокойным тоном продолжал Меттерних, — к сожалению, уже поздно...

— Как поздно! — воскликнул изумленный Коленкур.

— Согласие пришло в двенадцать часов пять минут. До двенадцати часов французское правительство не изъявило безусловного согласия на условия союзников, — ровным металлическим голосом продолжал Меттерних. — С двенадцати часов ночи вступает в силу союзный договор между Австрией и коалицией. Австрия уже не посредник более, а воюющая сторона.

Ошеломленный Коленкур молчал.

— Но разве же не от вас зависит принять это? — спросил он наконец Меттерниха.

— Спросите их, — указал граф на Анштетта и Гумбольдта, — согласны ли они?

— Я протестую от имени русского императора. Переговоры кончены, — резко сказал Анштетт.

Гумбольдт, хотя и был не согласен с Анштеттом, но не смел раскрыть рта.

— Итак, конгресс кончен, — начал Меттерних. — Именем его величества императора австрийского объявляю вам, господин посол, что с двенадцати часов ночи десятого августа тысяча восемьсот тринадцатого года Австрия находится в состоянии войны с Францией.

— Но вы возьмете это завтра назад! — воскликнул возмущенный Коленкур. — Это неслыханно!

— Невозможно, — покачал головой Меттерних, — через два часа мы начинаем военные действия.

Несколько мгновений Коленкур, сильно побледневший, молча смотрел на Меттерниха, и в его глазах было презрение и бешенство. Наконец он овладел собою.

— Хорошо, — сказал он, — вы хотите войны! Вам будет война. До свидания в Вене!

Он слегка кивнул головой и, круто повернувшись, вышел.

Молча поклонившись, граф Нарбонн последовал за ним...

XXXIX

Левон и ненавидел, и презирал себя, но не мог победить себя...

Третью ночь в полубреду, в лихорадочном состоянии он стоял на страже у заросшей тропинки, ведущей из павильона к калитке.

«Я узнаю, я узнаю», — говорил он себе. Безумные, нелепые чувства овладели им. Откуда вдруг появилось у него убеждение, что княгиня изменяет мужу? Почему он с уверенностью ждал на этой тропинке своего соперника? Он весь был охвачен безумием. «Но если я увижу, узнаю... Что тогда?» Здесь останавливалось его воображение...

Луна изредка выглядывала из-за туч. Ночь была темная. Прижавшись к стволу толстого дерева, почти слившись с ним, стоял Левон. Было темно, но он дрожал, и его зубы стучали. Он завернулся в шинель, крепко сжимая эфес сабли.

Время шло. Левон чувствовал себя, как в кошмаре. Он ли это? Он ли, гордый князь Бахтеев, крадется, как шпион или сыщик, ночью в чужой сад, чтобы украсть чужую тайну, выследить женщину, притом носящую то же гордое имя. Последняя степень позора! Все это чувствовал Левон и в полубреду упрямо твердил:

— Пусть, пусть я презренный человек! Но я хочу знать! Сомнения ужаснее правды! Нет пытки мучительнее пытки неизвестности.

А, наконец-то! Он весь напрягся, как струна. Дверь павильона хлопнула, послышались шаги. Левон совсем прижался к дереву, едва высунул голову, боясь дышать, изо всех сил сжимая зубы, судорожно стучащие.

Закутанная в плащ высокая темная фигура все ближе. Вот почти поравнялась. Луч луны, пробившейся из-за туч, упал на незнакомца и озарил его. Ногти Левона со страш-

ной силой впились в кору дерева. Он до крови прикусил губу, чтобы не застонать.

Он узнал эту высокую, слегка сутуловатую фигуру, эту голову, слегка склоненную на бок, это бледное, наполовину закрытое лицо...

Наступила минута, когда мрак окутал сознание Левона. Быть может, он лишился чувств. Когда он немного опомнился, он все так же судорожно обнимал дерево. В ушах шумело, дрожали ноги.

Нетвердыми шагами дошел он до калитки. Она оказалась открытой. Он вышел на улицу. Глубокая тишина и тьма царили вокруг. Но вот на небе появилось зарево... Высоко на горизонте запылали гигантские смоляные факелы... Они разгорались все сильнее... Ветер нес к небу сверкающие искры. Один за другим вспыхивали еще и еще факелы, теряясь вдали... Это были сигналы, возвестившие о прекращении перемирия...

Сигналы бедствия, зарево грозного пожара войны, вновь охватившей Европу!..

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Меттерних торжествовал. Он нашел полную поддержку со стороны Александра и при его помощи легко убедил своего государя в неизбежности и выгоды происшедшего. Александр весь горел желанием поскорее начать решительные действия, восторженно настроенный, счастливый и уверенный в близкой победе. Окруженный австрийскими и прусскими генералами и личными врагами Наполеона, он, казалось, не замечал, а если и замечал, то не обращал внимания, хмурых недовольных лиц высших русских генералов, сразу отодвинутых на второй план.

С королевскими почестями, возмущившими даже добродушного Александра Семеновича Шишкова, был принят в Праге вызванный Александром из Америки, с берегов Делавара, генерал Моро, соперник военной славы Наполеона. Этот прославленный вождь, в свое время кумир республиканской Франции и ее герой, движимый личной ненавистью к Наполеону, явился в стан врагов Франции, чтобы принять участие в растерзании своей родины, которую он так мужественно и славно защищал против них же. Еще не прошло пятнадцати лет с того памятного дня, когда при Гогенлиндене он разбил наголову австрийскую армию и открыл путь на Вену. Долгое пребывание вдали от Европы и ненависть к Наполеону, торжествовавшему сопернику, изгнавшему его из Франции, лишили его ясного понимания людей и обстоятельств. Он серьезно предлагал нелепый план — сформировать из находящихся в России пленных французов сорокатысячную армию и поставить его во главе нее. По его словам, появление его с этой армией на берегах Рейна поднимет всю Францию против Наполеона, и заставит Наполеона отречься от престола. Он был убежден, что вся Франция разделяет его ненависть к Наполеону.

Александр до такой степени был очарован Моро, что, несмотря ни на что, хотел вручить ему главное командование всеми союзными армиями. Но пока, не получив еще

никакого назначения, Моро щеголял в круглой шляпе, в сером штатском сюртуке и сапогах со шпорами.

Почти одновременно с Моро в Прагу прибыл и другой дорогой гость — начальник штаба маршала Нея генерал Жомини. Чтобы изменить своим знаменам, он нашел основательный повод. Начальником штаба императора, маршалом Бертье, принцем Невшательским, он был обойден производством в дивизионные генералы. Здесь его тотчас утешили, сделав генерал-лейтенантом русской армии. Впрочем, Жомини оправдывал себя тем, что родился швейцарским гражданином, и умалчивал о своих заслугах в армии Наполеона в борьбе против своих сегодняшних друзей при Иене, Ульме, Эйлау, на Березине и недавно при Бауцене.

Его тоже считали гениальным стратегом.

К ним же причисляли и наследного принца шведского Бернадотта, прибывшего с тридцатитысячным шведским войском на помощь союзникам против своего благодетеля и своей родины. Этот счастливый авантюрист, бывший маршал империи, принц Понте-Корво и теперь наследный принц шведский, всей своей чудесной карьерой был обязан своей жене Евгении Дезире, урожденной Клари, на которой двадцать лет тому назад мечтал жениться влюбленный в нее генерал Бонапарт. Благодаря навсегда сохранившимся нежным воспоминаниям, а также свойству, так как Дезире была родной сестрой жены брата Наполеона Иосифа, Наполеон сделал Бернадотта маршалом, принцем и, наконец, наследником престола Швеции, не говоря уже о том, что обогатил его. Пользуясь через жену всеми благодеяниями всемогущего императора, Бернадотт никогда не переставал интриговать против него, но ему все прощалось. Когда же Наполеон довершил свои благодеяния и Бернадотт почувствовал самостоятельность, он поспешил стать на сторону врагов императора и своей родины. Он никогда не совершил ни одного выдающегося воинского подвига, как Ней, Даву, Лефебр и другие, заработавшие себе маршальские жезлы. Его дарования воинские Наполеон охарактеризовал одной фразой: «*Ce qui s'agit de celui-ci, il ne fera que piaffer!*»

Но все же он был маршалом императора, и луч славы великого полководца упал на него. Этого было вполне достаточно, чтобы в него верили.

Кроме этих лиц, как бы руководителей армии, ближайшими к Александру лицами были — Анштетт, русский представитель на пражском конгрессе, и на днях произведенный в генерал-майоры Поццо-ди-Борго. Первый —

француз, по мнению Наполеона, не лишенному основания, изменник, подлежащий расстрелу, второй — личный враг Наполеона, корсиканец, злобный, мстительный, ненавидящий своего соотечественника родовой ненавистью, посвятивший всю свою жизнь борьбе всеми мерами против ненавистного семейства Бонапартоё.

Эти люди тесным кольцом окружили русского императора, поддерживая в нем его мистическую и личную ненависть к Наполеону, отстраняя от него всех, кто хотел и мог бы показать императору истинное настроение русской армии и русского общества.

Государь оказался изолированным от своей армии.

Вся русская армия была оскорблена, когда стало известно, что ни один из любимых русских вождей не был представлен во главе самостоятельной армии.

Вся масса союзных войск была разделена на три армии: Богемскую, или Главную, Силезскую и Северную.

Командующим первой, он же главнокомандующий, был назначен австрийский фельдмаршал князь Шварценберг, самый молодой из австрийских фельдмаршалов. Ему было сорок два года. Он не обладал ни в какой мере воинским талантом, но зато принадлежал к аристократическому роду, был придворным человеком, изысканно любезным, мягким и уступчивым. Не имея никаких собственных планов, он был пассивным исполнителем велений императорской квартиры.

Силезскую армию поручили Блюхеру, хотя в этой армии было два русских корпуса: Ланжерона и Сакена и только один прусский — Иорка.

Блюхер, окончив свое образование на пятнадцатом году жизни, когда бежал из школы в шведскую армию, так и остался навсегда полуграмотным. Он глубоко презирал стратегию, считая ее измышлением праздных людей, не умел читать карт, не отличая на них леса от болота, и втайне не верил им. Он пренебрежительно слушал мнения знатоков, пренебрегал выработанными планами и никогда не мог понять необходимости согласованности действий. Он не мог охватить общего плана и, командуя полком или бригадой, считал себя совершенно свободным в своих действиях и ничем не связанным. Все военное искусство представлялось ему до крайности несложным. Никаких знаний не требовалось. Нужно быть только храбрым и идти вперед. Он от всей души ненавидел Наполеона, не верил в его

гениальность и был уверен, что победить его ему, Блюхеру, ничего не стоит. Для этого надо иметь только армию. Теперь он ее имеет, и он покажет с ней, как надо побеждать Наполеона. До сих пор во всей долгой карьере Блюхера было только два подвига, сделавшие на время его имя популярным.

Первый относился ко временам его молодости, когда он пользовался репутацией пьяницы, дуэлиста и скандалиста. Будучи обойден производством в чин майора, он в пьяном виде написал королю Фридриху II: «Фон-Эгерфельд, единственная заслуга которого состоит в том, что он сын маркграфа, произведен мимо меня. Прошу у вашего величества отставки».

На это послание последовал короткий ответ: «Ротмистр Блюхер уволен от службы и может убираться к черту».

Об этом подвиге много говорили. Но это было еще в 1773 году.

Другой подвиг был совершен гораздо позднее, а именно в памятный для Пруссии 1806 год, когда Блюхер имел уже чин генерал-лейтенанта. Следуя своей собственной стратегии, он тогда самовольно оставил со своей кавалерией корпус Гогенлоэ, в котором состоял, и бросился куда-то вперед. В результате — ослабленный корпус Гогенлоэ вынужден был капитулировать у Пренцлова, а неудачный стратег положил оружие при Любеке. Об этом уже говорили гораздо больше. Но все же, как осторожно выражается один известный историк, «в 1813 году, достигнув уже свыше семидесяти лет от роду, Блюхер еще не имел случая прославиться великими военными подвигами».

Но в тех полках, где Блюхер служил, он тем не менее пользовался среди солдат популярностью и даже симпатиями. Он, несомненно, был очень храбр и подвергался опасностям наравне со своими солдатами. Кроме того, не превышая общим развитием своих вахмистров, он имел и одинаковые с ними вкусы — к вину, дебошу, грубым выражениям, тяжелому прусскому остроумию и циничным анекдотам, его неудобосказуемые словечки пользовались большой популярностью и приводили в восторг легко усваивающих их прусских героев.

Главнокомандующим третьей армией был назначен Бернадотт.

Русские генералы заняли второстепенное положение. Русские офицеры почувствовали немецкий гнет. Русские солдаты приучались слушать немецкие ругательства.

10 августа богемская армия, в составе двухсот шестидесяти тысяч человек, при 672 орудиях, большинство которых были русские, двинулась, согласно общему плану, на Дрезден, защищаемый только одним французским корпусом под началом маршала Сен-Сира.

Северная армия была направлена к Лейпцигу, а Силезской приказано, не теряя из вида противника, не ввязываться в дело и быть готовой только к поддержке Главной армии.

Получив инструкцию, Блюхер усмехнулся в свои усы и решил, что он слишком опытный полководец для того, чтобы только поддерживать другую армию. У него у самого есть армия, и он знает, как действовать. Пусть другие действуют, как хотят, он не мешает другим — пусть не мешают и ему.

Союзные государи следовали при Главной армии.

II

Гриша Белоусов крепко спал и видел во сне Пронскую, когда был разбужен довольно энергичным толчком. Он открыл сонные глаза и в сумраке начинающегося рассвета увидел над собою необыкновенно бледное, осунувшееся лицо князя Левона. Выражение этого лица так поразило его, что сон сразу слетел с него. Он быстро поднялся и тревожно спросил:

— Что с вами? Что случилось?

— Война объявлена, — услышал он ответ и не узнал этого странно прерывавшегося хриплого голоса. — Я уезжаю. Вот мой рапорт. Передайте его князю Волконскому. Прощайте.

И прежде чем Гриша успел задать еще один вопрос, князь бросил ему на постель бумагу и почти выбежал из комнаты.

Гриша был так ошеломлен, что несколько минут сидел как окаменелый, бессмысленно глядя на раскрытую дверь.

— Что же это значит? — произнес он наконец. — Война так война. Но с ним-то что?

Он развернул рапорт.

«Доношу вашему сиятельству, — прочел он, — что сего числа я отбыл в действующую армию по месту моей службы».

Мысли Гриши мало-помалу прояснились. Он прочел еще раз этот рапорт.

«Но это безумие, — думал он, — за это князя отдадут под суд! Что заставило его решиться на это?»

И действительно, князь Левон, откомандированный к особе императора, вдруг самовольно бросает свой пост. Это было вопиющее нарушение дисциплины, которое в то же время могло быть истолковано, как дерзостное неуважение к священной особе государя. Очевидно, случилось что-то невероятное... Гриша долго и напряженно думал и наконец решил, что самое лучшее — поручить это дело старому князю. Он любим государем, и, конечно, Волконский не решится сделать ему неприятность. Эта мысль успокоила Гришу, но вместе с тем усилилась тревога за то, что сделает сам Левон. Князь был в таком состоянии, когда от человека можно ожидать всего. У него было лицо приговоренного к смерти, думал Гриша... Зарницына не было дома.

Гриша торопливо оделся и, хотя ему не хотелось будить Данилу Ивановича, не вытерпел и вошел к нему.

Новиков сразу пришел в себя, почуяв в его голосе тревогу.

— Что случилось, Гриша? — спросил он.

— Я сам не знаю, — ответил Гриша. — Война объявлена...

— Объявлена! — прервал его Новиков, приподнимаясь. — Объявлена, — повторил он чуть не с отчаянием. — Это ужасно! Это безумие. Россия не прусская провинция, и наша кровь не вода.

Это известие также разрушало и его личные надежды найти Герту. Она в руках врагов, и он бессилён броситься за ней, искать ее и, быть может, спасти. И отчаяние все глубже овладевало его душой.

Он опустил голову и через минуту добавил упавшим голосом:

— Впрочем, я почти ожидал этого. Что ж! Будем воевать.

Но в настоящий момент Гриша пропустил мимо ушей слова Новикова, так как был поглотен одной только мыслью о князе.

— Да, конечно, будем воевать, — торопливо сказал он, — но, собственно, я разбудил вас из-за князя...

— А что? — сразу встрепенувшись, спросил Данила Иванович.

— Я боюсь за него, — ответил Гриша и в волнении рассказал случившееся. — Вот и его рапорт, — закончил он.

— Ну, рапорт — это вздор. Теперь не до того, — медленно и задумчиво произнес Новиков, — это обойдется...

Тут есть более серьезное что-то... Вы не знаете, где вчера был князь? А Зарницын вернулся?

Гриша покачал отрицательно головой.

— Зарницына еще нет, а князь ушел вчера поздно вечером, а куда — не сказал, последние дни он был вообще молчалив и словно расстроен чем-то...

— А вы, Гриша, — помолчав, начал Новиков, — с этим рапортом не ходите к старому князю.

— Почему? — удивленно спросил Гриша.

— Так, — уклончиво ответил Новиков, — зачем путать в это дело старика. Дайте лучше его мне. У меня там есть кое-какие знакомства.

— Как хотите, Данила Иваныч, — сказал Гриша, отдавая бумагу.

В это время послышались шаги, и в комнату, веселый и оживленный, вошел Семен Гаврилыч.

— Ура! — закричал он с порога, — в поход, други, в поход!

— Чему ж ты рад? — угрюмо спросил Новиков.

— Чудак ты, — ответил Зарницын, — рука моя здорова. На что же я офицер, если не буду радоваться войне!..

— Ну, не в том дело, — прервал его Новиков, — а вот послушай, что с князем...

Зарницын сразу стал серьезен и внимательно выслушал Новикова. Потом пристально взглянул в глаза Даниле Ивановичу и многозначительно произнес:

— Конечно, ты прав. Старого князя в это лучше не мешать...

Новиков испытующе посмотрел на него и отвернулся.

— Тогда я еду за ним сегодня же! — воскликнул Гриша.

— Вот это очень хорошо, — отозвался Новиков.

— Я думаю, что на днях и я смогу присоединиться к вам.

— Жаль, что мы не вместе, — вздохнул Зарницын. — Как бы мне перемахнуть к вам в пятый драгунский? Надо похлопотать.

— Конечно, хлопочи, — заметил Новиков, — у нас в офицерах большая убыль. Ну, я встану и отправлюсь в штаб, — закончил он.

— И я пойду собираться, — сказал Гриша. — Сделаю еще кое-какие визиты и к вечеру выеду.

— Что могло случиться? — начал Новиков, когда Белоусов вышел. — Я подозреваю источник его настроений, но откуда нанесен удар? Вот загадка...

Зарницын пожал плечами.

— Я много заметил и понял на последнем балу, — сказал он. — Подозревать можно много, есть подозрения, которых не следует высказывать.

— Я хорошо знаю князя, — заметил Новиков, — и я боюсь за него... Теперь так легко найти смерть, — слегка нахмурясь, добавил он.

Несмотря на слабость, Новиков все же собрался и, забрав с собою рапорт Левона, отправился выручать товарища.

Зарницын после бессонной ночи завалился спать.

Когда он проснулся через несколько часов, Новиков был уже давно дома.

— Все устроил, — весело рассказывал он, — оказалось легче легкого. Там все голову потеряли, тут и планы будущих побед, и парадные обеды по случаю приезда знатных гостей. Дым коромыслом. На меня даже руками замахали — не до таких пустяков, мол, теперь... Словом, с этой стороны все обстоит благополучно... Сегодняшняя поездка показала мне, что через несколько дней я смогу вернуться в полк. Там мы с Гришей как-нибудь отходим Левона... А кто отходит меня, — с тоскою, подумал он, и грядущая жизнь показалась ему темной, как тюрьма...

III

Весть о войне вызвала переполох в обществе, но нельзя сказать, чтобы встревожила. Хотя почти все были уверены в заключении мира, тем не менее общество чрезвычайно быстро освоилось с мыслью о войне. Переполох был вызван главным образом соображениями о дальнейших передвижениях императорской квартиры. Куда переедет она? Возможно ли следовать за ней? Где будет государь?

Никита Арсеньевич, узнав о разрыве мирных переговоров, ходил мрачнее тучи. Он отказался поехать на парадный обед, данный государем в честь австрийского императора, где присутствовали в качестве почетных гостей Моро и Жomini. Ирина получила от великой княгини особое приглашение и сочла неудобным отказаться. Она поехала одна. Евстафий Павлович беспокожно суетился, бегая от одного к другому из штабных знакомых, с тревогой расспрашивая, не грозит ли со стороны неприятеля опасность Праге.

Старый князь был сильно удивлен, что в такое время Левон не считает нужным побывать у него.

На парадном обеде Ирина имела головокружительный успех. В этом обществе, где присутствовали два императора, король, наследный принц и великая княгиня, она была истинной царицей красоты и вела себя с достоинством принцессы крови. Даже мутные глаза императора Франца оживлялись при взгляде на нее, и он снисходительно удостоил ее несколькими неясно произнесенными, но, по-видимому, лестными словами. Это было величайшей милостью, так как его величество считал вообще ниже своего достоинства обращать внимание на кого бы то ни было, в чьих жилах не текла царственная кровь.

Меттерних, не отходивший от нее, казался ее лакеем. Но Ирина была печальна и задумчива. Князь Пронский находился в числе свиты и напрасно бросал на нее ревнивые и восторженные взоры, она не замечала его.

Она вернулась домой все такая же печальная, словно утомленная.

— Я очень устала, — сказала она встретившему ее Никите Арсеньевичу, — я не понимаю их торжества... Они словно празднуют победу... Я не верю, — вдруг добавила она, словно отвечая кому-то, — я не верю, чтобы это была воля Божья! Это море крови...

Она опустила в кресло и закрыла лицо руками. Никита Арсеньевич подошел к ней и тихо погладил ее по голове.

— Что за странная идея, Ирен, — начал он. — Это не бредни ли нашего красноречивого проповедника Дегранжа? При чем здесь Бог? Неужели можно видеть Божий промысл в том, чтобы реками русской крови, нищетой, разорением и рабством России покупали свободу и благополучие Пруссии... — Голос Никиты Арсеньевича задрожал. — Ты не знаешь, — тихо продолжал он, — что творится там у нас, а я знаю по письмам моих управляющих. Нет, я не буду тебе рассказывать... Но скажу одно: у меня разрывалось сердце, когда я видел цветущие немецкие деревни, благоденствующих крестьян, но жадных и корыстных — этих, как там говорят, несчастных жертв тирании Наполеона, и когда я сравнивал их с нашими...

Ирина опустила руки и, странно неподвижная, молча слушала мужа, а он продолжал голосом, понизившимся до шепота:

— И наши солдаты, оставив пустующие поля и голодные семьи, идут и идут безропотно орошать свою кровью

чужие нивы для тучной жатвы чужих и враждебных поколений!.. Это ли воля Божия!

Князь сел рядом с женой и взял ее холодную руку.

— А если, — задумчиво начала Ирина, — если из этой крови, проливаемой вместе, вырастет братство народов и народы соединятся в одну семью во имя благодарности, общего мира и общей свободы? Разве в течение двадцати лет не один Наполеон мешал общему миру? Быть может, и есть в том воля Божия, чтобы народы, соединившись, устранили это зло и водворили долгий и счастливый мир... И во главе этих народов, по христианскому завету, босая, голодная и нищая, но непобедимая, с мечом и крестом идет Россия!

Ирина встала, и ее глаза загорелись.

— Разве это не святое, не великое назначение и разве из этого испытания Россия не выйдет, вся осиянная лучами Христовой славы?

Но ее одушевление сейчас же погасло, она опять села в кресло.

— Я не знаю, — глухо сказала она, — я ничего не знаю... кто прав. Вы или другие... Я не знаю, только мое сердце болит... Ах, как болит оно!

Ирина откинулась на спинку, вытянув на коленях бледные руки и подняв полные слез глаза.

Князь бережно взял ее руку и поднес к губам.

— Не там ли, у себя, — медленно спросил он, — наше место теперь?

Ирина отрицательно покачала головой.

— Нет, — решительно сказала она, — наше место, мое, по крайней мере, здесь. Здесь мы тоже можем облегчить страдания. Предстоят бои, страшные, кровавые... и ничего нет. Я знаю это... Нет госпиталей, нет врачей, нет лекарств... Мне рассказывали, что после Будисинского боя люди умирали на дорогах, в канавах, среди поля. Заживо гнили без перевязок, умирали в сараях-госпиталях от жажды... Здесь тоже нужна помощь.

Князь с величайшим удивлением слушал жену. Все это было для него так неожиданно и странно. И эти мистические идеи о спасении народов, и эта жажда благородного дела, и видимые мучительные противоречия ее души.

Он с чувством поцеловал ее руку и растроганным голосом сказал:

— Хорошо. Мы останемся здесь. Будет так, как хочешь ты. А я твой ближайший и вернейший помощник.

Никита Арсеньевич долго в эту ночь ходил по своему кабинету, погруженный в размышления. Слова Ирины многое осветили ему, и на многие отношения, что втайне мучили его, в чем он никогда бы не признался, он глядел теперь иными глазами. Этот мистицизм, так связывающий друг с другом некоторые души... Беседы, переменчивость настроений.

Мало-помалу и душа, и лицо Никиты Арсеньевича светлели.

— Милое, чистое, бедное дитя! — в умилении шептал он.

IV

Казалось, план будущей кампании был разработан детально, но с первых же шагов обнаружились странные разногласия.

Франц боялся за Вену, Фридрих — за Берлин, Александр жаждал прямого нападения, Моро противился штурму Дрездена, хотя там едва было двадцать две тысячи молодых конскриптов Сен-Сира, а Жомини, пожимая плечами, говорил, что смешно подойти к Дрездену только для того, чтобы на него полюбоваться.

Князь Шварценберг по очереди соглашался со всеми и наконец на категорический вопрос Александра, что делать с Дрезденом, ответил с придворным поклоном:

— Я вполне согласен с планом вашего величества, — хотя отлично знал, что у государя не было никакого личного плана, а только желания, меняющиеся под влиянием окружающих.

Но все же, как бы то ни было, Главная армия ползла к Дрездену и наконец в нерешительности остановилась ввиду беззащитного города.

И снова собрался военный совет для обсуждения плана дальнейших действий.

Если не больше искусства, то по крайней мере больше решимости проявил Блюхер. Получив неопределенные и непроверенные сведения, что какие-то французские войска находятся на берегах Кацбаха, он двинул туда свою армию форсированным маршем. Под дождем, по грязи, голодные, теряя обувь, войска сделали переход в 30 верст и не нашли неприятеля. Но Блюхер не растерялся. Говорят, что неприятель отошел к Боберу, значит, надо идти за ним. Не дав армии никакого отдыха, не покормив даже людей, Блюхер

устремился прямо к Боберу. Сведения на этот раз оказались верными, но только неприятельские силы, оказавшиеся под командой Нея, уже перешли Бобер. Но это не остановило великого стратега. Прогнав свою армию еще тридцать верст, он составил план окружить Нея. Это казалось ему чрезвычайно просто. Ведь сил у него было втрое больше. Стоило только перейти Сакену реку ниже, а Ланжерону — выше Нея, а Иорку двинуться прямо — и дело сделано. Так им и были отданы приказания. Но от проливных дождей река вздулась, мосты были снесены. Это все вздор — мои солдаты должны везде найти дорогу, решил неустрашимый вождь и приказал во что бы то ни стало выполнить его план.

Угрюмый Сакен, получив это приказание, остановил движение своего корпуса, пылкий Ланжерон вернул свой авангард и отступил, а Иорк не тронулся с места. Судьба явно покровительствовала Блюхеру. На этот раз он был спасен.

Наполеон, получив сведения о движении армии Блюхера и затруднительном положении Дрездена, двинулся из Бауцена со своей гвардией и кавалерией Латур-Мобура, перешел Бобер, шутя отбросил Блюхера и, дав ему, так сказать, щелчок по носу, повернул на Дрезден, захватив с собою самого Нея и поручив его армию Макдональду. Узнав, что против него сам Наполеон, и не зная, что Наполеон уже уехал, Блюхер решил отомстить «дерзкому врагу» и поднять дух своих войск, потерявших уже убитыми и ранеными три тысячи и вдвое больше отставшими и разбежавшимися. Для этого он еще помучил свои войска стратегическими маршами и принял бой у Гольдберга, где снова потерял несколько тысяч, опять не считая отсталых и разбежавшихся.

Утомленные, голодные войска совершенно упали духом, солдаты роптали, офицеры тоже. Промокшие, босые, голодные солдаты имели жалкий вид. Но, подкрепляемый рейнвейном и мечтой о прозвище «победителя Наполеона», Блюхер не обращал внимания ни на чьи жалобы и возражения и составил новый, столь же «гениальный» стратегический план. Но тут Ланжерон отказался ему повиноваться, а Иорк после бурного объяснения с ним послал королю рапорт об отставке, в котором между прочим писал:

«...Быть может, ограниченность моих способностей не позволяет мне понять гениальные соображения, коими руководствуется генерал Блюхер. Но из всего виденного мною могу заключить, что беспрестанные переходы вперед и об-

ратно в продолжение восьми дней со дня возобновления действий привели вверенные мне войска в такое состояние, что, в случае решительного наступления французской армии, не могу ожидать никаких благоприятных последствий, и только лишь нерешительность неприятеля сохранила по сие время союзную армию от участи, подобной событиям 1806 года. Торопливость и несвязность действий, недостаток верных сведений о неприятеле и увлечение его демонстрациями, неведение практических приемов, более необходимых для командования армией, чем заносчивые взгляды, — вот причины, могущие довести армию до крайнего расстройства... Как генерал, подчиненный главнокомандующему, я должен слепо повиноваться ему, но как верноподданный считаю, напротив, обязанностью противиться ему»...

«Стратегия» Блюхера обошлась ему в 15000 человек, выбывших из строя.

Кое-как примирившись с непокорными корпусными командирами, Блюхер предпринял движение снова к Кацбаху по обоим берегам Вютенде-Нейссе. Он уверял, что имеет точнейшие сведения о намерениях Макдональда. Ему поверили. Но на самом деле он не имел ни малейшего представления ни о численности, ни о планах противника. Проливной дождь и туманы густой завесой закрывали впередилежащие местности. Горные речонки вышли из берегов. Передовые отряды Иорка, уверенного на этот раз в точности сведений Блюхера, безостановочно двигались вперед и, перейдя Кацбах, нос к носу столкнулись с армией Макдональда.

Авангард Иорка был стремительно сбит и отступил, преследуемый кавалерией неприятеля.

Этого не ожидал никто и меньше всего сам Блюхер. Но он не растерялся и со свойственной ему быстротой соображения отдал общий приказ: «Вперед!» Хотя «вперед» для Иорка значило тонуть под огнем противника в Кацбахе, для Сакена — подставить свой фланг под удары Лористона.

Но судьба явно покровительствовала прусскому главнокомандующему. Никто не обратил внимания на его приказание. Положение спас Сакен. Воспользовавшись тем, что Макдональд, наседая на Иорка, обнаружил свой левый фланг, он отдал приказ к общему наступлению. Русская кавалерия Васильчикова атаковала неприятеля с трех сторон. Под стремительным натиском русских кавалерия Себастьяни была опрокинута на пехоту и вместе с ней отброшена к реке, потеряв тридцать орудий. Французы,

обращенные в бегство, пытались перейти реку, но мосты были снесены разливом, и броды сделались непроходимы.

Артиллерия Сакена поражала густые толпы противников.

Главные силы французов потерпели полное поражение. На левом фланге Ланжерон завершил победу поражением Лористона. Победа была выиграна. Ночь прекратила сражение.

Главнокомандующий долго как будто не знал, победил он или побежден, и не мог отдать себе ясного отчета, что и как произошло и при чем, собственно, здесь он?

Но донесения о трофеях, рапорты Сакена, ординарцы со всех сторон наконец заставили его поверить в победу.

Все еще несколько недоумевающий, возвращался он под проливным дождем со своим штабом в Брехтельсгоф, в главную квартиру. Штаб, по-видимому, тоже недоумевал. Не было слышно ни поздравлений, ни оживленных разговоров. Наконец Блюхер прервал молчание, воскликнув, обратясь к начальнику штаба Гнейзенау:

— А ведь мы выиграли сражение, Гнейзенау, и никто в мире не может спорить против этого! Теперь следует подумать, чтобы получше объяснить, как мы его выиграли?

И объяснили.

Когда на другое утро Сакен прочел в главной квартире реляцию о сражении, он с удивлением узнал, что русские со свойственным им мужеством только отчасти способствовали одержанию прусскими войсками блистательной победы.

— Но мы, кажется, сделали побольше! — весь вспыхнув, обратился он к Гнейзенау.

— Вы, генерал, герой вчерашнего дня, и главнокомандующий помнит это. Но вы, господа русские, так богаты победами, что вам, как добрым нашим союзникам, грешно не уступить нам хоть часть вашей славы.

— Что ж, поправляйте ваши дела, — насмешливо заметил Сакен, — это будет следующая страница вашей военной славы за Иеной и Ауэрштедтом.

И, слегка поклонившись, Сакен вышел от негодующего Гнейзенау.

V

Толькевицкий лес гнулся и стонал под буйными набегами холодного вихря. Ветер бешено срывал его зеленые одежды, взметал тучи листьев, но, едва поднявшись, они

падали на землю под тяжелыми потоками дождя. Ветер несясь дальше в поле, яростно сбивал каски и кепи с голов солдат, рвал плащи, пугал лошадей и словно тонкими прутьями до боли хлестал по лицам дождевыми струями. Черные тучи тяжелой пеленой закрывали небо, зловещий сумрак повис над землей. Намокшие ружья не могли стрелять, но ожесточенный рукопашный бой кипел по всему фронту союзников, широким полукругом охвативших Дрезден. Только тяжело ухали орудия, густой дым низко стлался по земле, и не было возможности сквозь сумрак дня, дождь и пушечный дым следить за движением врага. Завывание ветра, грохот орудий, разнородные крики сражающихся, топот несущейся бешеным галопом кавалерии смешивались в одной чудовищной какофонии.

Был второй день Дрезденской битвы. Союзники пропустили удобный момент овладеть беззащитным Дрезденом, и, когда решились его атаковать, там был уже сам Наполеон с кавалерией Мюрата, со старой и молодой гвардией, с армиями Мортье, Мармона и Виктора. Было что-то невыразимо ужасное, от чего вздрагивали самые мужественные сердца, в этих бешеных немых атаках без единого ружейного выстрела. Мюрат вспомнил лучшие дни своей славы, и его кавалерия с громкими криками: «Vive l'empereur!» — словно на крылатых конях неслась среди неприятельской армии, своей тяжестью и неудержимостью прорывая неприятельские каре. Всю силу своего удара Наполеон обратил на левое крыло союзных войск, находившееся под командой австрийца Гиулая. Ошетилившись штыками, без выстрела, встречали ее австрийские каре и гибли под копытами коней. Селение за селением — Науслиц, Косталь, Корбиц — одно за другим переходили в руки французов... С ружьями наперевес, стройно, как на параде, беглым шагом наступала молодая гвардия Мортье на передовые отряды графа Виттенштейна.

В передовом отряде был и пятый драгунский полк вместе с лубенскими гусарами.

Товарищи не узнали Бахтеева, когда он вернулся.

— Его подменили, — говорил Громов.

И, действительно, Левона было трудно узнать. Он словно сразу стал старше лет на десять. Его лицо приняло жесткое, суровое выражение. Он прекратил товарищеские отношения, его обращение стало сдержанно и холодно, он, видимо, избегал своих товарищей и чуждался их. В первый день сражения он обратил на себя внимание какой-то неестественной, совершенно безрассудной отвагой. Громов

принужден был употребить свою власть командира, чтобы сдержать его. Приехавшего Гришу он встретил больше, чем сухо, и тотчас отправил его в другой эскадрон. Он хотел быть один. Новиков не мог приехать; он был еще слаб, хотя и порывался ехать.

Левон словно окаменел. Ему казалось, что он даже не живет, что его существование не есть жизнь, а какое-то странное неопределенное состояние, что-то среднее, промежуточное между смертью и жизнью. Он не страдал. Он просто не ощущал жизни. Он не искал смерти, но им владела дикая, навязчивая мысль, что он не может быть убит. И когда Громов советовал ему не лезть бесплодно на рожок, он бессмысленно, но для самого себя логично и естественно ответил:

— Труп нельзя убить...

Юные голоса восторженно кричали: «Vive l'empereur!» И ветер нес этот боевой восторженный клич в лицо русским полкам. И на одно мгновение, заглушая эти крики, раздался тяжелый рев французской батареи, на рысях въехавшей на фланговый холм.

В эту минуту перед фронтом показался какой-то генерал (Бахтеев не знал его) и громко крикнул Громову и командиру лубенских гусар Мелиссино:

— Остановите их! — И он указал рукой по направлению туда, откуда неслись крики французской гвардии.

Пронзительно и хрипло заиграли трубы атаку, пронеслось грозное «ура», и Лубенский и пятый драгунский колыхнулись и разом рванулись вперед.

Наткнувшись на железное каре, первые ряды упали, но в своем падении расстроили неприятельскую фалангу. Дождь и кровь смешались. Люди бились в кровавых лужах... Через несколько минут только груды изуродованных и растоптанных тел людских и лошадиных остались на том месте, откуда слышались восторженные молодые голоса... Только немногие рассеянные кучки неприятеля рассыпались в беспорядке по полю. Эта блестящая атака русских дала возможность передохнуть авангарду Витгенштейна.

Войска остановились, вновь готовые к бою, но, насколько мог видеть глаз, за густой сетью дождя впереди было пусто. Замолкла и фланговая неприятельская батарея. Заметно темнело. Дождь усиливался. Не только не было возможности разложить костер, чтобы хоть немного согреться, но было трудно даже раскурить трубку. Унылое молчание царило в рядах. Солдаты вполголоса обменивались короткими замечаниями.

Но вот вдруг словно дуновение тревоги пронеслось по рядам. Заметно стало движение, голоса громче и оживленнее... И из уст в уста пробежала грозная весть, что левый фланг союзной армии уничтожен, что австрийский корпус Мецко сложил оружие, что русские войска окружены. Окружены! Вот страшное слово, внушающее на поле битвы панический ужас!

Бахтеев увидел вдали группу всадников. Кто-то сказал, что это граф Витгенштейн со штабом.

Воспользовавшись затишьем, Левон подскочил к Громову.

— Что случилось? — спросил он.

— Что-то недоброе, — угрюмо ответил Громов. — К Витгенштейну сейчас один за другим прискакали несколько австрийцев. А французы вдруг остановились. И эта проклятая батарея замолчала... А вот еще один... Смотри!..

К ним приближался австрийский офицер.

— Лейтенант, — крикнул по-немецки Громов, — какие вести?

Молодой австрийский лейтенант в эту минуту поравнялся с ними. Он был, видимо, расстроен.

Отдав честь, он взволнованно сказал:

— Где граф? Это ужасно! Все потеряно! Случилось непоправимое несчастье, кажется. Князь требует графа... Боже! Страшно сказать...

Он замолчал и потом быстро, шепотом, низко наклонившись к Громову, продолжал:

— Я не хочу верить, хотя... Но это, во всяком случае, надо скрывать до поры до времени... Император Александр убит на Рекницких высотах...

Громов пошатнулся в седле.

— Нет! Нет! — в ужасе произнес он.

Левон судорожно сжал рукою гриву лошади и застыл с какой-то странной улыбкой на губах.

«Теперь мой черед», — мелькнула в его голове Бог весть из какой непонятной ему самому темной глубины души всплывшая мысль...

— Я не хочу верить, — продолжал лейтенант, — мы еще притом разбиты... Левого фланга не существует, — но, кажется, не спасется никто. Простите, там, кажется, граф, я спешу...

И, прищипорив лошадь, он умчался прочь.

Громов снял кивер, подставляя голову холодному дождю и ветру.

— Нет, нет, не может быть, — тихо повторял он...

— Почему не может быть? — холодно отозвался Левон. — Он не бессмертнее нас...

— Этого не может быть! Бог справедлив, — сказал Громов.

— Я уверен в этом, — коротко ответил Бахтеев.

Громов так был потрясен этим известием, что не мог собраться с мыслями.

Помимо его естественной привязанности к императору, в нем говорило еще смутное сознание какой-то грядущей катастрофы...

Наконец, несколько овладев собою, он сказал:

— Не надо пока ни думать об этом, ни говорить.

Положение почти двухсоттысячной армии союзников становилось отчаянным. Разбив Гиулая и разбив Мецко, Мюрат зашел в тыл и фланг австрийским дивизиям за Плаценским оврагом. День клонился к вечеру, буря не утихла, вихрь, смешавшись с дождем, бил прямо в лицо союзным полкам. Лошади и люди едва передвигали ноги по колени в грязи.

Маршал Виктор грозил тылу русских войск, прикрывая Пирну. Сжатым железным кольцом союзным армиям оставался единственный путь отступления между Пирнской и Фрейбургской дорогами по теснинам Рудных гор...

И еще до приказа об отступлении вся масса войск ринулась в это узкое дефиле...

Напрасно граф Витгенштейн, прикрывавший отступление, употреблял нечеловеческие усилия сдержать и привести в порядок отступающие колонны.

Напрасно Бахтеев со своим эскадроном старался направлять обозы и артиллерию...

И люди, и животные обезумели. Не разбирая дороги, по телам раненых и убитых, сбивая с ног пехотинцев, в полумраке и грязи, под дождем и вихрем неслись двуколки, телеги, скакала артиллерия, ездовые обрезали построшки и бросали в грязи орудия; опрокинувшиеся передки, повозки, лафеты, зарядные ящики создавали целые баррикады. Измученные, голодные и босые солдаты, преимущественно австрийские, бросали ранцы, ружья и бежали... Некоторые в отчаянии бросались прямо в грязь на краю дороги и сейчас же засыпали тяжелым свинцовым сном, погибая под колесами и копытами и ногами бегущей пехоты. Вся дорога была завалена такими телами. Стоны и раздирающие душу крики оставленных на произвол судьбы раненых и погиба-

ющих перемешивались в воздухе со свистом бури, криками и руганью, командою офицеров, топотом лошадей и треском ломающихся повозок. И изредка, покрывая весь этот шум, рывкала фланговая батарея, посылая по едва различимым в сгущавшемся сумраке толпам свои смертельные, прощальные приветы, внося неописуемый ужас в эти деморализованные толпы, бывшие еще накануне грозным войском. Эта искусственная и страшная батарея состояла всего из двух орудий, но благодаря своей позиции обстреливала, так сказать, самое устье дороги. И передовой отряд авангарда, теперь обратившийся в крайний отряд арьергарда, получил приказ снять эту батарею. Это было безумие, и приказ притом запоздал. Зловещая тьма уже надвигалась. Приказ был отдан еще три часа назад, но дошел только сейчас.

Командир лубенских гусар Мелиссино уже был убит. Старшим в арьергарде остался Громов. Получив приказ, он только махнул рукой, но бывший здесь же Левон быстро обратился к нему:

— Господин полковник, прошу разрешения атаковать батарею.

— Вы с ума сошли, ротмистр! — воскликнул Громов и потом добавил. — Ты это что же? Жизнь надоела, что ли? Это, брат, дохлое дело!

— Прошу позволения атаковать батарею, — упрямо повторил князь, — приказ возможно исполнить.

Громов колебался.

— Вы не имеете права отменять приказ, — решительно сказал князь.

— Это мое дело, — нахмурясь, ответил Громов. Однако после некоторого размышления он добавил: — Впрочем, как хочешь. При бешеном счастье это возможно. Иди!

Он протянул руку и горячо пожал руку Левона. Левон ответил ему холодным пожатием...

«Бедняга, очевидно, хочет смерти, — подумал Громов, смотря в след исчезнувшему в темноте князю, — а, впрочем, все там будем», — закончил он свои размышления и, сняв кивер, перекрестился.

Еще можно было смутно различать беспорядочно двигавшиеся по шоссе густые массы, и французская батарея продолжала обстреливать их картечью с расстояния тысячи двухсот шагов. Широко рассыпав свой эскадрон полукругом, князь с расстояния пятисот шагов пустил его в

карьер на высоты, занятые батареями. По мере приближения эскадрон сжимался к своим флангам, разрывая свой центр. Целый вихрь картечи встретил его. Пригнувшись к шее лошади, неся впереди Левон и с криком «ура» первый взлетел на высоту. Орудия не успели дать второй залп, как прислуга была уже перебита. Спешившиеся драгуны бросились к орудиям и с радостными криками столкнули их вниз с противоположного крутого ската. Орудия перевернулись и скатились с крутизны в топкое болото. На это потребовалось несколько минут, но уже бежала французская пехота, стоявшая в прикрытии, и с обеих сторон, отрезая путь отступления, неслись французские кавалеристы. Еще была некоторая возможность прорваться, и, пустив свой эскадрон по склону, князь остался с одним взводом задержать наступление противника. Уже тьма легла на землю. Тяжелой лавиной скатывался со склона эскадрон драгун. Левон преградил путь французскому отряду, скакавшему наперерез. Конечно, борьба была неравная, но он дал время своему эскадрону, и по грозному, ликующему «ура» он понял, что им удалось спастись...

Левон был окружен со всех сторон. Он слышал из темноты голос, кричавший: «Бросьте оружие», — его драгуны дрались отчаянно, теснимые со всех сторон, падая один за другим. Левон задыхался. Уже рука отказывалась ему служить. Но мысль о сдаче не приходила ему в голову. «Так надо! Так хорошо!» — повторял он про себя.

Мгновенно он почувствовал сильный толчок в бок, удар по голове, и с последней мыслью: «Ну, теперь совсем хорошо», — потерял сознание...

Всю ночь продолжалась беспорядочное бегство армии. Отчаяние охватило и солдат, и офицеров. В главной квартире царило неопишемое смятение. Армия казалась обреченной на гибель. Когда стало известно, что сам Наполеон бросился на дорогу в Пирну, чтобы загородить путь отступления разбитой армии, всякая надежда казалась потерянной...

Слух о смерти императора Александра, к радости слышавших его, в том числе Громова, оказался ложным. Он был вызван тем, что на Рекницких высотах рядом с государем был смертельно ранен генерал Моро. Государь спасся чудом, только несколько мгновений до этого случайно поменявшись с Моро местом.

Когда на другой день после страшной ночи взошло солнце на безоблачном небе, Громов стал приводить в порядок свой полк. К удивлению всех, неприятель не тревожил арьергарда Витгенштейна. Это так было не похоже на Наполеона, что за этим подозревали что-то новое и ужасное. Если Наполеон прекратил в этом месте преследование, значит, он считал эту часть уже обреченной.

Полк выстроился. Глухо и печально то и дело при перекличке отзывались вахмистры:

— Выбыл! Выбыл! Выбыл! Выбыл!

Слезы навертывались на глаза Громова при взгляде на поредевшие ряды его драгун.

Особенно велика была убыль в эскадроне князя Бахтеева. Сам он не вернулся. И, нахмутив брови и кусая усы, чтобы не разрыдаться, слушал Громов перекличку этого несчастного и геройского эскадрона. Один взвод был уничтожен до последнего человека. Никто не мог даже рассказать о последних минутах эскадронного командира... В остальных взводах не хватало трех четвертей людей. Сам эскадрон казался не больше, чем боевым взводом. Белоусова, тяжело раненного в грудь, успели унести с поля сражения.

Громов поднял кивер и дрогнувшим голосом крикнул:

— Спасибо, братцы, за службу!

— Рады стараться, ваше высокоблагородие! — отчетливо и радостно прогремел ответ.

Громов взглянул на мужественные, суровые лица своих драгун, уже снова готовых лететь на битву, и его сердце сжалось сладким и горделивым чувством. Ему захотелось всех их обнять и прижать к своей груди. И бесконечно дороги и близки были ему эти оборванные, грязные, но великие в своей простоте и героизме люди.

Вестовой Бахтеева Егор вымолил у Громова позволения идти искать труп своего барина. После некоторого колебания, вызванного боязнью погубить этим позволением Егора, Громов наконец согласился, и в то же утро Егор отправился на поиски...

Армия Витгенштейна получила приказ двинуться на Теплиц. Император Александр находился при главной квартире князя Шварценберга, направляясь в Богемию. Графу Остерману было приказано присоединиться к главным силам. Но если бы граф исполнил это приказание, он открыл бы неприятелю путь на Теплиц, откуда французы могли двинуться навстречу нашим колоннам, сходящим с

гор, медленно пробиравшимся по узким извилистым тропкам, между тем как с тыла армии союзников преследовали Мюрат, Мармон, Виктор и Сен-Сир. Остерман послушался этого приказа, указывавшего ему безопасный путь в Богемию, и решился с отборными гвардейскими полками предупредить движение французов в Теплице и тем спасти обреченную на гибель армию союзников.

Император Франц сидел в Теплице и усиленно предавался музыкальным занятиям. По-видимому, он не очень близко принимал к сердцу разгром своей армии. Потери людей его вообще не трогали, а насчет иного его успокоил Меттерних. Австрия оставалась все же сильной державой, а Наполеон был ослаблен. Если бы даже после разгрома русский император отказался от продолжения войны, то Наполеон удовольствовался бы одной Пруссией, поспешив заключить с Австрией почетный мир. Меттерних был, конечно, прав, забывая только то, что, покончив с Пруссией, Наполеон принялся бы спустя некоторое время и за Австрию. Но Меттерних всегда был политиком минуты, и в этом была его сила и его слабость. В случае мира Александр тоже, в худшем случае, ничего не потерял бы.

Единственной жертвой являлся бы прусский король, и Фридрих-Вильгельм хорошо это понимал, переходя от бешенства к отчаянию, то ругая Штейна, вовлекшего его в гибельный союз с Россией, то плача перед Александром в припадке малодушного страха и умоляя не оставлять его.

Александр успокаивал своего друга, как мог, и вновь клялся не покидать Пруссию на произвол судьбы. Несмотря на неудачи, Александр оставался спокоен и по-прежнему уверен в конечной победе. Его вера в Божественную волю, руководившую им, была непоколебима. И эта воля приведет его к победе. Он утешал прусского короля, успокаивал Шварценберга, ободрял своих генералов, всегда ровный, внимательный и деятельный. И если лично как полководец он не мог внести ничего, то его постоянное деятельное участие в выработке всех военных планов напрягало усилия других до максимума.

После двухдневных героических боев, прокладывая себе штыками дорогу, граф Остерман с гвардией под началом Ермолова спустился в Богемию и занял позицию у Кульма, в тесных Богемских горах, в трех милях от Теплица. Здесь

он преграждал путь армии Вандама. Здесь он должен был сдерживать бешеный натиск французов, чтобы спасти союзные войска, медленно спускавшиеся с гор.

Против сорока тысяч Вандама у него было едва четырнадцать, уже два дня бывших в ожесточенных боях. За ним в Теплице был государь, прусский король и австрийский император. Его поражение значило уничтожение армии, проигрыш кампании, потеря Богемии, взятие Берлина и падение Вены, потому что армии, Северная и Силезская, без Главной теряли между собою всякую связь и, конечно, погибли бы под ударами самого Наполеона. Лишь немногие понимали в то время все огромное значение предстоящего дела. Но понимал его и Наполеон, обещавший Вандаму за успех маршальский жезл и хотевший сам руководить операцией. Но ему помешала внезапная болезнь, и он от Пирны решил возвратиться в Дрезден. По его собственному признанию, это было одной из величайших ошибок на его военном поприще. Понимал это и граф Остерман, когда обратился к своим немногочисленным войскам, объезжая ряды, и сказал, что отступления не будет, — надо устоять или умереть! Понимал это и Ермолов, когда открыто сказал своей гвардии, что поддержки ждать почти нельзя, что армия далеко и что от их мужества зависит спасение армии и даже личная безопасность обожаемого монарха!

Узнав об угрожающем положении Остермана, государь, не теряя ни минуты, отдал распоряжения изменить направление австрийской колонны Коллоредо и прусской Клейста и обеим выйти на Теплицкое шоссе в тыл Вандаму. Но эти распоряжения были бы бесполезны и запоздалы, если бы не сверхчеловеческое мужество гвардии...

Сознавая огромный численный перевес, с мечтой о маршальском жезле, с уверенностью в быстрой победе Вандам стремительно и яростно атаковал русских... и разбился...

Гвардейские полки Измайловский, Преображенский, Семеновский, Егерский, уланы и кирасиры, как высшей чести, добивались самых опасных мест. Пощады не было. По трупам врагов шли преображенцы, измайловцы пронесли на врага среди пламени пылающей деревни. С развевающимся знаменем, с барабанным боем наступал Егерский полк, гремели трубы улан и кирасир... За каждый куст, за каждую рытвину ожесточенно дрались враги. Но несоизмеримое неравенство сил давало себя чувствовать. Жертв уже не считали. Ядро оторвало руку Остерману, и он передал команду Ермолову... Офицеры дрались впереди. Все войска уже были введены в действие. В резерве оставалась лишь шефская

рота Преображенского полка. Страшный огонь 80 французских орудий сметал целые роты гвардии...

День угасал. Вандам с ужасом увидел, что его партия проиграна, что его войска расстроены и уже неспособны на дальнейшее наступление...

Ночь прекратила сражение... На утро ожидался новый бой, но в русском стане от Ермолова до солдата все уже знали, что сражение выиграно, что армия спасена и никакая опасность не грозит государю.

На следующее утро русские войска атаковали Вандама, отеснили его, а подоспевшие корпуса Коллоредо и Клейста dokonчили поражение уже побежденного врага.

Вся артиллерия, 12 тысяч солдат и сам Вандам были захвачены нашими войсками.

Сражение при Кульме нанесло смертельный удар грандиозному стратегическому плану Наполеона. Здесь померкла его звезда! Здесь было положено начало освобождению Европы, свободе и будущему могуществу Германии.

Но союзники или действительно не понимали, или не хотели понимать истинного значения этой победы. Только в угоду Александру Фридрих-Вильгельм наградил всех участников Железным крестом, хотя в душе гораздо большее значение придавал победе Блюхера, весть о которой была получена на поле Кульмского сражения.

Александр приписывал победу себе и потому особенно торжествовал.

Франц по-прежнему играл на скрипке.

VII

С отъезда государя Прага переживала тревожные дни. Слухи подтверждали худшие опасения. Прага была в опасности. Наполеон угрожал ей и будто бы говорил, что за вероломство Австрии предаст Прагу огню. Все притихли. Даже беспечная княгиня Александра Николаевна Пронская присмирела. Кроме того, она была сильно расстроена необъяснимым поведением мужа. Князь Андрей Петрович, флигель-адъютант, состоящий при главной квартире, вдруг настойчиво потребовал перевода в действующие войска, хотя бы в армейский полк. Его желание было удовлетворено, и его перевели в кирасиры ее величества. Но это навлекло на него неудовольствие государя, и, очевидно, его карьера была сломана. Всем было известно, как государь не любил, когда его оставляли. Он был

слишком самолюбив и очень высоко ставил честь и счастье находиться при его особе. Пронская даже не знала, где ее муж. Княгиня Напраксина поспешила уехать в Вену. Евстафий Павлович, напуганный и встревоженный, тоже умолял князя уехать, но князь только пожимал плечами и отправлял его к Ирине, которая и слышать не хотела об отъезде. Она при помощи графини Остерман и под покровительством великой княгини деятельно занялась устройством лазарета. Дегранж, не упускавший ее из виду, тоже усиленно помогал ей. Дело налаживалось. Нашлись и доктора. Старый князь, конечно, открыл неограниченный кредит и был очень рад деятельности жены. Его несколько удивляло (и в глубине души он даже осуждал это) то равнодушные, с которым, по-видимому, относилась княгиня к участи Левона. Ей нисколько не казался странным, как говорила она, его неожиданный отъезд. Должно быть, он получил экстренное предписание и не имел времени зайти к ним. Военный в такое время не принадлежал себе.

Новиков после своей поездки в штаб почувствовал себя снова плохо. Не помогал и эликсир Монтроза. Он чувствовал большую слабость и очень скоро утомлялся. Нечего было и думать о походной жизни. Мрачный и задумчивый, бродил он в хорошие дни по саду, опираясь на палку. Ковров уехал в полк, и он бросил всякое лечение. Он был бы совсем одинок, если бы его не навещал Никита Арсеньевич. Старый князь чувствовал себя не у дел и очень скучал. Новиков всегда нравился ему, и они проводили долгие часы в беседах. Их взгляды во многом совпадали, и, несмотря на разницу лет, они легко понимали друг друга.

Тревожные слухи наконец подтвердились... Стали прибывать раненные. От них узнали страшные подробности разгрома союзников под Дрезденом. Французские войска двигались на Прагу. Разгромленная армия не могла оказать им никакого сопротивления... Из Праги потянулись обозы беглецов. Местные жители, кто побогаче, торопились оставить обреченный город. Окрестные деревушки и частные дома в городе постепенно наполнялись ранеными. Раненые офицеры не скрывали безнадежности положения. Никто уже не верил в победу. Русские с нескрываемым озлоблением относились к пруссакам. Те платили им тем же. Одни обвиняли других в неудаче. Но русские имели больше поводов негодовать. Немцы защищали свою землю, свое отечество, а русские дрались и умирали за чу-

жое им дело. Кроме того, у русских накапливалось чувство обиды от сознания, что, принимая наибольшее участие во всех боях, находясь всегда в первых рядах, они были под началом немцев. Дело дошло до того, что старались размещать отдельно раненых русских и немцев. Ирина почти не бывала дома. Нередко она проводила целые ночи среди своих раненых. Ее лазарет имел два отделения: одно для солдат, другое для офицеров, и она делила между ними свои заботы поровну. Как светлая тень, скользила она в белой одежде среди кроватей раненых, помогая нанятым сиделкам, успокаивая, утешая, скрывая свои страдания под тихой улыбкой. В этой ласковой, нежной женщине с всегда печальными глазами трудно было узнать холодную, выскомерную княгиню Бахтееву. И каждый день она умирала от тысячи смертей, каждый день с невыразимым ужасом она ждала новых раненых и при виде новых носилок ее сердце переставало биться и не было силы заглянуть в лицо раненого, чтобы не увидеть лица, которого она не могла забыть... При виде молодых, недавно сильных, красивых, но уже калек, с оторванными руками или ногами, с обезображенными лицами, она исполнялась жалости и ужаса. И за каждым из них — целый мир страданий, у всех у них есть матери, или сестры, или невесты... Они благословляли их перед разлукой, они плакали, молились, проводили бессонные ночи и ждут с надеждой и страхом какой-нибудь вести, ждут там, далеко-далеко, где-нибудь в глуши, в старом доме, в тихом городке или убогой деревне... А те, что умерли, истерзанные на кровавом поле, в бурю и непогоду, и лежат непогребенные, кем-нибудь нежно любимые, кем-нибудь жданные, чьи-нибудь надежды или опоры... Их не дождутся никогда, и никто не укажет даже их могилы!..

И за что? За что? Вдали от родины, среди чужих полей! Какая судьба велела обездолить родину ради чужой страны! Перед лицом истинного страдания меркли странные мистические мечты, увядали красивые фразы, и бесконечно дорогой казалась жизнь каждого из этих страдальцев. И казалось Ирине, что только душа, оторвавшаяся от всего земного для любования собою, одинокая в пустоте эгоизма и безумно возомнившая себя вершителем воли Божией, могла не содрогаться при виде этих страданий...

Не довольствуясь своим лазаретом, Ирина ежедневно отправляла людей справляться, где возможно, из каких полков прибыли раненые.

Рано утром Никита Арсеньевич получил от Новикова записку: «Любезный князь, сейчас ко мне привезли тяжело раненного корнета Белоусова нашего полка. Дома уход невозможен. Не найдется ли места у княгини?»

Получив это письмо, князь сейчас же прошел к княгине. Письмо сильно взволновало его. Ведь это товарищ Левона. Княгиня собиралась уходить.

— Вот прочти письмо от Новикова. Можно ли это сделать? — спросил он.

Ирина дрожащей рукой взяла письмо, пробежала его и прерывающимся голосом сказала:

— Да, да, и как можно скорее... я пойду... пошлю носилки... Бедный мальчик... Он вместе с Левоном!.. Это ужасно... Я сейчас...

Видя ее волнение и услышав упоминание о Левоне, князь упрекнул себя за то, что обвинял ее в безучастии к Левону.

Он поцеловал ее руку и сказал:

— Я сам сейчас поеду к Даниле Ивановичу... Будем верить, что с Левоном ничего не случилось...

— Идите, идите, — торопила его Ирина.

Гриша лежал, тяжело дыша. Его бледное безусое лицо казалось детским. Изредка у него вырывался стон или бессвязные слова. Бледный, как простыня, сидел около него Новиков.

— Он был в сознании, когда его привезли, — шепотом говорил князь Новиков, — но скоро опять лишился сознания. Он ранен штыком в грудь. Его подобрал и привез его денщик.

— Он ничего не говорил? — спросил князь.

— Нет, только сказал: «здравствуй», потом — «худо мне», и прибавил: «все погибло»... Но его денщик, — продолжал Новиков глухим и дрожащим голосом, — рассказал мне, что пятый уланский почти истреблен... Ах, зачем я не был с ними! — закончил Данила Иванович, закрывая глаза рукой.

— А Левон? — едва слышно спросил князь.

Не отнимая руки от глаз, Новиков беззвучно ответил:

— Левон со своим эскадрона атаковал неприятельскую батарею. Половина эскадрона не вернулась, в том числе и Левон.

Наступило молчание.

— Мама, мама, — слышался нежный, жалобный голос Гриши.

Ему ответил короткий, тяжелый стон.

Новиков опустил руку и оглянулся. Спина к нему, прижавшись лбом к стеклу, стоял князь. Его плечи судорожно вздрагивали.

Тихонько вошли люди с носилками. Князь подошел к Грише и осторожно и нежно, поддерживая ему плечи и голову, приподнял его. Другие помогли, и Гришу бережно уложили на носилки. Новиков хотел встать, но не мог. Он перекрестил Гришу и, закрыв лицо руками, остался на стуле. Гриша тихо стонал, не открывая глаз.

Бахтеев сам проводил носилки.

Ирина встретила его тяжелым, напряженным, вопрошающим взглядом.

— По-видимому, он ранен тяжело, — произнес князь.

Ирина молча продолжала смотреть на него.

— А о Левоне известий нет, — закончил князь, отворачиваясь.

VIII

Тревожные дни в Праге сменились ликованием. Пришла весть о победе при Кульме. Прага вздохнула свободно. Отныне всякая опасность была устранена. Но зато город наводнился новыми ранеными. Бахтеевы за недостатком помещений для раненых переселились во второй этаж своего дворца, предоставив роскошные апартаменты нижнего этажа под раненых. Немногочисленные доктора сбивались с ног, не зная ни минуты покоя. Находившийся в это время в Праге знаменитый хирург Грубер деятельно работал у Бахтеевой.

Рана Гриши давала мало надежд на выздоровление. Он редко и не надолго приходил в себя, но расспрашивать его не представлялось возможным.

Многие из дам поспешили уехать в Лаун, недалеко от Теплица, где находилась главная квартира. Одни торопились узнать о судьбе своих близких, другие узнать свежие новости. В Лауне начинался настоящий съезд генералитета, министров, дипломатов и всякого чиновного люда. Государь большую часть времени проводил в Теплице у австрийского императора. Выехала к императору и великая княгиня Екатерина Павловна.

Никита Арсеньевич просил Евстафия Павловича тоже съездить в главную квартиру, навести справки о Левоне. Евстафий Павлович, всегда искавший возможности быть на

виду у сильных мира сего, с удовольствием согласился и тотчас выехал. Он вернулся через несколько дней, добросовестно исполнив поручение. Он искал и спрашивал, где только мог, начиная со штаба и кончая всеми встречными офицерами. О пятом драгунском он не узнал ничего нового. О Левоне сведений нет. По донесениям командира полка можно думать, что он погиб; в числе раненых его нет, но не исключается возможность, что он и в плену. Но Никита Арсеньевич не очень предавался надежде, что Левон в плену. Слишком безумен был его подвиг. Недаром никто из оставшихся с ним не вернулся назад.

Ирина распорядилась, чтобы Гришу перенесли к ним в дом. Этот юноша стал особенно дорог ей.

Пронская наконец дождалась своего мужа. Его привезли тяжело раненным из-под Кульма, где так геройски бились кирасиры ее величества. Пронская была потрясена этим несчастьем и отнеслась к мужу со всей пробудившейся нежностью былой любви. Так как рана его была очень серьезной, то она попросила Ирину принять его во дворец, где постоянно работал Грубер. Ирина, конечно, охотно согласилась. Пронский все время был в сознании, хотя страдал ужасно (он был ранен осколком снаряда в живот), но старался шутить и с редким мужеством переносил свои страдания. Только когда к нему со своей тихой улыбкой в первый раз подошла Ирина, его лицо дрогнуло и на мгновение приняло страдальческое выражение.

— Вы очень страдаете? — наклонившись к нему, спросила Ирина.

— Не от раны, — едва слышно произнес он.

Ирина вспыхнула и отвернулась.

Страшная тоска овладела Новиковым. Ему казалось, что он потерял все в жизни — любимую девушку, друзей — и остался один, никому не нужный... С горькой улыбкой вспоминал он свои горделивые мечты об общем благе, о каком-то светлом подвиге. Где это все? Первая буря, налетевшая на него, сломала его душу... Даже умереть рядом с другом не удалось! О, он не отпустил бы его одного! Он чувствовал, что та же могучая сила, сила непобедимой любви гнала князя туда, на эти батареи, где он пал смертью героя и мученика. Он искал смерти и нашел ее... Новиков не верил, что князь мог остаться жив в этом аду.

В один грустный день вернулся Егор. На него было жалко смотреть — худой, бледный, с измученным лицом, с выражением истинного горя. Он привез с собою помятый кивер, с тисненным внутри княжеским гербом и буквами Л. Б. и обломком сабли с золоченым эфесом. Это все, что он нашел от своего барина. Он рассказал Новикову свои приключения. После отступления союзников французы велели местным жителям заняться уборкой трупов. Егор узнал, что появившиеся мародеры и из французской армии, и из местных жителей, и особенно немцы-дезертиры из союзной армии грабили трупы и добивали тяжело раненных.

Удивительно, как при полном незнании языка Егору удалось добыть свои сведения. Но уже давно известно, что русские солдаты легко объясняются со всеми национальностями.

Егору удалось найти место роковой батареи. Там еще валялось много не убранных, но уже раздетых трупов. Большинство были французы. Большая часть убитых здесь была погребена раньше в общей могиле. Там он и нашел этот измятый кивер и втоптаный в землю, не замеченный мародерами золотой эфес сломанной сабли. Он узнал также, что многие тяжело раненные были подобраны сострадательными саксонцами и оставлены ими у себя. Егор обегал все окрестные деревеньки. Действительно, видел много и своих, и немцев, и французов, но князя нигде не было. и в одном доме старик саксонец передавал, что сам слышал, как французский офицер на утро боя сказал своим солдатам, чтобы никто не смел ничего брать с тела русского офицера, но этого тела он не видел.

Затем Егор подробно рассказал о судьбе пятого драгунского, его потерях и мужестве, рассказал о последних днях своего барина и закончил, заплакав:

— Видит Бог, сами напросились на смерть... Искали ее... тяжело что-то было им...

«Да, тяжело», — думал Данила Иванович; он не знал, что именно случилось, но глухое чувство озлобления наполняло его душу при мысли о княгине Ирине.

Чувство острого горя, казалось, придало ему силы. Он словно сразу окреп.

— Ты пока останешься здесь у меня, — сказал он Егору. — Мне надо еще разобраться в вещах князя, оставшихся здесь. И потом отправить их старому князю.

— Вот ключи от чемодана, — произнес Егор, вынимая из кармана ключи.

Новиков взял ключи и прошел в комнату Левона. Он боялся отправить чемодан старому князю, не рассмотрев его содержимое. Это был его долг друга. Может быть, там есть письма или дневник, или какие-нибудь записки: тогда он вынет их и не читая спрячет... Но в чемодане оказалась только одежда, белье, подозренная трубка, пара чеканных пистолетов и еще кое-какие мелочи. В боковом кармане чемодана он нашел бережно завернутые в шелковый платок длинные белые перчатки.

Новиков долго смотрел на них и вспомнил.

— Достойнейшей, — прошептал он с горькой улыбкой. Он вынул перчатки и запер чемодан.

Потом велел подать одеться, завернуть кивер и эфес и, захватив их, поехал к старому князю.

IX

Они сидели в кабинете князя молча, избегая смотреть друг на друга. На столе лежали кивер и сломанная сабля.

— Последний Бахтеев! — дрожащим голосом сказал старый князь, вставая. — Но да будет нам утешением, что он пал смертью героя, спасая других... Но, Боже! — поднимая руки, воскликнул он, — зачем это был не я!

В эту минуту на пороге показалась бледная Ирина.

Она взглянула на мужа, на Новикова, сидевшего с опущенной головой, потом взгляд ее упал на смятый кивер, на сломанную саблю, и словно стон вырвался из ее груди.

Князь быстро повернулся к ней, Новиков встал.

— Ирина, — начал князь, подходя к ней и протягивая руки, — будь мужественна.

Она прислонилась к косяку, прижав к груди руки. Смертельный ужас застыл в ее расширенных глазах, прикованных к столу. Старый князь был глубоко поражен. Он не ожидал встретить в Ирине такое чувство. Он не думал, что она будет так потрясена.

— Ирина, — повторил он.

— Убит, — произнесла она, — убит!..

— Будем надеяться, Ирина, — сказал князь, сам не веря своим словам, — ведь никто не видел его трупа.

Новиков с нескрываемой злобой смотрел на прекрасное, окаменевшее лицо.

Руки Ирины бессильно упали вдоль тела. Потом она нетвердо сделала шаг вперед, покачнулась и с коротким стоном упала на грудь Никиты Арсеньевича, вся содрогаясь.

Обняв ее одной рукой, он другой нежно гладил ее по голове... Губы его дрожали, и крупные слезы текли по глубоким морщинам его лица.

Новиков осторожно вышел.

Печальная весть быстро распространилась по всему дому. Все в доме притихло. Слуги ходили на цыпочках и говорили шепотом. Евстафий Павлович сел к столу один, но обедать не мог. Его тоже поразила эта весть, и, кроме того, он предвидел теперь длинные, томительные, печальные дни в этом погруженном в скорбь доме.

Приехавший в этот же вечер узнавший о несчастьи Дегранж, к своему великому удивлению, не был принят княгиней. И именно теперь, когда, по его убеждению, ввиду случившегося несчастья, в нем особенно должны были нуждаться! А он уже приготовил такие трогательные, такие возвышенные слова. Он рассчитывал укрепить свое влияние на этом несчастьи, так как по опыту знал, что страдающие души наиболее восприимчивы.

Он уехал разочарованный и немного обиженный. И в ту же ночь, как всегда, трогательно-внимательная, ровная и ласковая, появилась в своем солдатском лазарете княгиня Ирина.

Только скорбные морщинки показались в углах ее губ, бледнее стало лицо и глубже печаль больших глаз.

Со стороны могло казаться, что вся тяжесть горя упала на одного Никиту Арсеньевича. Глубокое страдание, испытываемое им при мысли о смерти Левона, удивляло его самого. Он вспоминал свои чувства в минувшую войну, когда Левон тоже бывал постоянно в боях и одно время даже возникало предположение, что он убит. Но тогда он не испытывал и десятой доли той тревоги. Как-то странно и неожиданно для самого себя в нем вдруг проявилась горячая любовь к Левону после его приезда в Петербург. Быть может, потому, что старому князю все чаще приходила мысль о смерти и он видел в Левоне последнего Бахтеева. Быть может, потому, что, несмотря на женитьбу, он чувствовал себя одиноким среди новых людей, нового поколения, и только Левон, одна кровь с ним, связывал его далекое прошлое с настоящим. Или он видел в Левоне самого себя в двадцать лет и чуял в нем как бы продолжение своей жизни? Он сам не мог понять, только горе его было глубоко и искренно... Он сразу постарел и уже не ходил без палки. Спина согнулась и иногда заметно дрожала голова. Ирина

еще лихорадочнее продолжала свою деятельность. Она ни одной минуты не оставалась в покое. Теперь она уже редко ночевала у себя и почти все время проводила в своих лазаретах, преимущественно в солдатском.

Грубер с тревогой поглядывал на ее осунувшееся лицо, побелевшие губы и бледные, прозрачные руки.

— Вы бы отдохнули, княгиня, — не раз говорил он.

— Но я не устала, — неизменно возражала она.

В офицерском отделении ее исключительным вниманием пользовался Гриша. Опасность уже миновала. Он радостно глядел вокруг, вспыхивал, увидя Ирину, и все настойчиво ожидал Левона, которого боготворил.

Ему ничего не рассказали. Любимыми минутами Ирины в лазарете были те, когда она могла сидеть около Гриши и слушать его восторженные рассказы о Левоне. С горящими глазами юноша рассказывал о битвах при Риппах, Люцене, на Будисинских высотах, под Дрезденом. Он никогда не говорил о себе, но только о Левоне. Он передавал тысячи подробностей походной жизни, приключения на разведках, дружеские беседы где-нибудь на случайной ночевке у пылающих костров, маленькие пирушки, стихи Батюшкова, и везде, и всегда на первом плане вырисовывался Левон. Мрачный и задумчивый, редко веселый, но всегда смелый до безумия, самоотверженный товарищ, любимец солдат, ласковый и заботливый к ним, высокомерный к высшим, всегда благородный и великодушный.

И эти рассказы терзали сердце Ирины нестерпимой болью и приносили ей странную отраду. Ей хотелось крикнуть: «Довольно! Перестань!» И хотелось вечно сидеть так, с опущенными глазами без слез, со страстной жадой слез, и слушать, слушать эти рассказы...

Но Гриша выздоравливал не по дням, а по часам. Он уже начинал бродить по лазарету, и от него нельзя было уже утаить правду, когда об этом не переставали говорить во всем доме. Он узнал о смерти Левона от Пронского. Свой рассказ Пронский закончил загадочными для Гриши словами:

— Он счастливее меня.

Гриша так был ошеломлен, что почти без сознания добрал до своей койки и упал на нее.

Когда вечером пришла Ирина, он метался в жару. Но словно инстинктивно почуяв ее приход, вдруг открыл глаза и посмотрел на нее с упреком.

— Княгиня, княгиня, — прошептал он, — ведь он убит... Зачем вы скрыли это от меня!..

— Гриша (она так привыкла называть юношу, потому что так называл его Левон), Гриша, — начала она... и не смогла продолжать. Судороги перехватили ее горло, и, зарывав, она низко склонилась к нему...

Словно молния вдруг осветила разгоряченный мозг Гриши.

— Простите — прошептал он, и слезы потекли по его детскому лицу, — простите, вам тяжелее, чем мне... благодарю..

— Мальчик, милый, — едва слышно произнесла Ирина, прижимая к груди его голову, — он убит, он убит!

И неудержимые слезы текли из ее глаз..

Рано утром Ирина получила письмо из Теплица от великой княгини Екатерины Павловны.

«Моя прекрасная княгиня, — писала Екатерина Павловна, — *мы* соскучились по вам. Никогда *мы* не были в лучшем настроении и не пребывали в большей уверенности в Божьей милости и Божественном руководительстве. Тем более что блестящая победа при Кульме одержана лично *нами*, чего, по-видимому, не желают признавать стратеги вроде любезного князя Шварценберга и мудрых монархов Пруссии и Австрии, хотя они пока *еще не смеют* противоречить. *Нас* совершенно не смущают «адские» планы французского императора, этого «un homme du diable», основанные на рассеивании тайной вражды среди наиболее близких к *нам* лиц, начиная с меня. Не тревожат *нас* и мнимые, бесчисленные шпионы Наполеона, заставлявшие *нас* искать тайных и уединенных свиданий даже с родной сестрой, чтобы сказать ей: доброй ночи, или: как ваше здоровье? *Мы* немножко сами посмеиваемся над таинственными свиданиями с подземными ходами в вашем Радзивилловском замке, где мы втроем коротали ночи в мистических бдениях. О, ужас! Если бы старый князь мог увидеть одинокую фигуру мужчины, выходящую от нас подземным ходом, в то время как мы с вами мирно ложились в постели... Брр!.. Ведь это могло бы быть всемирным скандалом, хотя было невиннее таинственных собраний первых времен христианства, катакомб и проч. А теперь шутки в сторону. — Мой брат и государь, несомненно, был бы доволен видеть около себя тех друзей, которых он удостоил беседой в минуты своих тревог и колебаний. Я уже написала аббату, и *мы* ждем вас и его в Теплице где пользуемся

гостеприимством австрийского императора. Он, по-моему, слишком злоупотребляет своим положением хозяина, истязая нас своими скрипичными концертами. Я иногда близка к сумасшествию. Но брат терпелив и кроток, как ангел... положим, он глуховат... До скорого свидания, милый друг».

Ирина прочла это письмо раз и другой, словно с трудом понимая слова. Все сказанное в нем было в настоящее время до такой степени чуждо ей, так казалось мелочным, ненужным и... жестоким, что она удивилась сама. Не скрывается ли за этим мистицизмом оскорбленное самолюбие и тщеславие, во имя которых проливаются моря крови? В крови ли и ужасе находит мятущийся дух свое успокоение?

Мысль поехать в Теплиц ни на один миг не пришла ей в голову. Она чувствовала, что была бы там чужой... Она не могла бы разделять ни мистических восторгов победы, ни уверенности в святости творимого дела... Ясная, простая жизнь, Бог и правда глядели на нее сотнями глаз умирающих и искалеченных людей. Собственное страдание озарило ей страдания миллионов ей подобных, и холодные вершины мистических настроений казались ей мертвыми, бесплодными пустынями...

На этот раз Дегранж был принят, но готовые фразы замерли на его губах, когда он увидел бледную, спокойную женщину. Но он быстро овладел собою и со скорбным выражением лица произнес:

— Я пришел к вам в тяжелый час, княгиня... ваша утрата.

— Не будем говорить об этом, господин аббат, — сухо и спокойно остановила его княгиня. — Вы хотели видеть меня. У меня мало времени, но это, может быть, касается наших раненых?

Ошеломленный аббат несколько мгновений молча смотрел на это строгое лицо, которое он так хорошо знал и которого не узнавал сейчас.

— Нет, — начал он, — я пришел по другому делу. Я получил письмо от ее высочества. Ее высочество пишет, между прочим, что ее августейший брат не был бы недоволен, если бы его друзья (эта честь касается меня и вас, княгиня) принесли ему лично поздравления с блестящей победой, одержанной его величеством во славу Бога. Подобное письмо должны были получить и вы, княгиня. Я пришел узнать, когда вы сообразоволи выехать, чтобы иметь честь сопутствовать вам?

Он победоносно посмотрел на княгиню. Он очень гордился этим приглашением и думал поразить этим княгиню.

— Боюсь, что вам, господин аббат, — тем же сухим и ровным голосом произнесла Ирина, — придется ехать одному. Я не еду.

— Но желание императора... — начал аббат.

— Но желания мои... — с коротким смехом прервала его Ирина. — Не будем больше говорить об этом, господин аббат; вы больше ничего не имеете сказать? — закончила она, вставая.

— Как! Вы решительно отказываетесь ехать? — спросил аббат.

Ирина пожала плечами.

— Но, может быть, вы что-нибудь прикажете передать мне там? — продолжал он с тревогой.

Он чувствовал, что без княгини Бахтеевой его ожидает иной прием.

— Не беспокойтесь, господин аббат, — ответила чуть насмешливо княгиня, — все, что надо, я передам сама. Это все? — уже настойчиво спросила она.

Аббату не оставалось ничего больше, как откланяться. Он вышел с бешенством в душе, изумленный и негодующий. Какой черт вмешался в его игру?

Когда старый князь узнал от Ирины о приглашении в Теплиц и о ее отказе ехать туда, он взглянул на нее такими радостными глазами и так горячо пожал ее руку, что она удивилась.

Х

Жизнерадостный и веселый, как всегда, ворвался Зарницын к Новикову. Он был при Кульме в отряде графа Милорадовича, остался цел и здоров и был представлен к Георгию. Это ли не счастье! Он на миг совершенно забыл о недавних тревогах за князя. Но, увидя мрачное лицо Новикова, он сразу стих и вместо приветствия спросил:

— Что случилось?

— Слава Богу, хоть ты-то цел, — ответил Новиков.

— А разве кто убит? Или ранен? — бледнея, спросил Семен Гаврилыч.

— Приготовься слушать, — сказал Новиков.

Он позвал денщика, велел подать вина и, когда они вновь остались одни, передал другу печальные вести. Взволнованный Зарницын молча слушал.

— Нет, — с непонятной уверенностью воскликнул он, — нет! Левон жив!

Новиков пожал плечами.

— Мы не верим в это, — сказал он.

— Слушай, — начал Зарницын, — это, может быть, странно. Ты знаешь, как я любил и люблю князя, но, клянусь, мое сердце молчит... Смейся, если хочешь, но во мне непобедима уверенность, что он жив! Слушай, я тебе расскажу странную вещь. Я ведь знал, что Левон поехал в полк и Гриша тоже, и, значит, участвовали в сражении под Дрезденом. Ты сам знаешь, как иногда мы бываем суеверны и какие дикие мысли приходят иногда на поле сражения и как иногда нелепо, но произвольно, мы ищем судьбу?

Новиков кивнул головой.

— Так вот, — продолжал Зарницын, — когда Вандам делал последние, отчаянные усилия, мы стояли, ожидая момента броситься на неприятельскую кавалерию в атаку. Я стоял впереди своего эскадрона. И вдруг дымящаяся граната упала у самых ног моей лошади. Уже наступала тьма, и я ясно видел искру фитиля. Я бы, конечно, мог бросить лошадь в сторону, но странная мысль остановила меня. Мне вдруг мгновенно вспомнились вы, и я неожиданно для самого себя загадал: если вы живы, останусь жив и я. Слово оцепенение сковало меня. Я слышал крик, раздавшийся из рядов, но не мог тронуться с места, как зачарованный глядя на красную искру. Время мне казалось бесконечно долгим... И вдруг искра погасла. Граната не взорвалась.. Никогда я не был так счастлив в жизни, как в эту минуту. Верь не верь, но Левон жив!

Зарницын говорил с такой глубокой верой в свои слова, что эта вера невольно передавалась Новикову. Он уже начал допускать возможность, что Левон жив.

— Вы все здесь словно сошли с ума, — продолжал Зарницын. — Вы сразу решили, что он убит. Откуда такая уверенность? Слова саксонца? Это, конечно, самое серьезное, но ведь и офицер мог думать, что перед ним труп, не подозревая, что это только глубокий обморок. Кивер? Сабля? Разве это доказательства? Сообщения штаба? Но им давно пора перестать придавать значение. Нет, вы просто сами внушили себе эту мысль и поверили...

По мере того как он говорил, в душе Новикова зарождалась надежда. Он стал вспоминать, как все было, и никак не мог уловить того момента, с которого только предположения о смерти Левона вдруг превратились в уверенность и как эта уверенность овладела всеми близкими и чужими.

Зарницын навестил и Бахтеевых; но если старый князь и оживился несколько от его слов, а Евстафий Павлович горячо поддержал его, то на Ирину его уверенность, по-видимому, не произвела никакого впечатления. Она больше верила своему сердцу, а это сердце все болело и болело...

Гриша же с радостью ребенка ухватился за эту надежду, но при Ирине интенсивно сдерживался предаваться ей.

Пронский поправился настолько, что переехал к жене. Он горячо благодарил Ирину, но было видно, как вообще мучительно для него встречаться с ней, хотя за эту муку он согласился бы быть раненым вторично... Он что-то хотел и не мог, и не решался сказать ей. На выраженную женой надежду, что, поправившись, он вернется в главную квартиру, чтобы вернуть себе благоволение государя, он коротко и резко ответил:

— Никогда в жизни!

XI

Был чудесный осенний день конца сентября. Поздняя осень уже золотила одежду цветущих садов Дрездена. Улицы были шумны и оживленны. Среди горожан повсюду мелькали цветные мундиры военных. Особое оживление царило около королевского дворца. У ворот, словно изваяния, стояли недвижно в высоких медвежьих шапках гренадеры старой императорской гвардии. На их суровых усатых лицах застыло торжественно-важное выражение. Они словно священнодействовали. Еще бы! Они охраняли своего императора, своего «маленького капрала».

Один за другим подъезжали к дворцу блестящие экипажи, и из них выходили люди в золотых мундирах. Часовые отдавали им честь, сурово и торжественно, и они скрывались за решеткой.

Толпа любопытных мужчин, женщин, детей теснилась перед дворцом, оживленно переговариваясь, стараясь угадать приезжавших. В толпе было много военных, и они снисходительно называли толпе некоторые имена.

— Вот герцог Виченцкий. А это принц Невшательский.

По улице, гремя саблями, пронеслась небольшая блестящая группа всадников. Впереди в темно-малиновом плаще, в шляпе с пышными перьями ехал высокий, очень красивый человек со смелым, но надменным лицом. Черные кудри выбивались из под его шляпы.

— А это король неаполитанский Мюрат, — сказал стоявший в толпе французский стрелок и, сняв кепи, закричал во весь голос:

— Да здравствует неаполитанский король!

Десяток-другой голосов подхватили этот крик.

Мюрат слегка кивнул головой и в сопровождении свиты въехал во двор.

В толпе, в первых рядах, стоял молодой крестьянин в широкополой шляпе, с тяжелой суковатой палкой в руках. Давно не бритые черные усы и борода торчали щетиной. Худое лицо имело желтоватый оттенок, глаза ввалились. Он стоял, опираясь обеими руками на свою палку. Он имел вид человека, долго и тяжело хворавшего. Он внимательно прислушивался к разговорам и с любопытством смотрел по сторонам.

Стрелок говорил своему соседу:

— Ну, теперь скоро конец. Император снова вздует их. Наш корпус уже выступил к Лейпцигу. Наш полк идет сегодня ночью.

— Они тоже пошли к Лейпцигу, — сказал его собеседник. — Говорят, что там будет сражение.

— Да, он задаст им, — заметил первый, — ну, уж тогда пруссакам конец!

Во дворе произошло какое-то движение.

— Император! Император! — закричал стрелок.

Из ворот выезжала королевская коляска, запряженная четверкой цугом белых лошадей.

Молодой крестьянин быстро продвинулся вперед. Раздались восторженные крики: «Да здравствует император!» — и немецкое: «Noch!»

Это саксонцы приветствовали своего короля.

Мимо крестьянина почти шагом проехала открытая коляска. Он рассмотрел строгий, застывший профиль императора, неподвижно смотревшего прямо перед собой, и добродушное лицо старого короля, ласково отвечавшего на приветствия толпы. Коляска скрылась за поворотом, и толпа, словно исполнив свое дело, медленно начала расходиться.

Крестьянин постоял несколько мгновений как бы в раздумье и потом тяжелой поступью, опираясь на палку, направился к старому городу.

Он остановился у убогого домика, стоявшего среди пустыря, недавно бывшего огородом, теперь истоптанного солдатами, и постучал в маленькое окошечко. Дверь тотчас отворилась, и на пороге показался старик.

— Это ты, Фриц? — спросил старик. — Иди скорее. Тут уж проходили два пьяных француза, постучали, постучали и ушли.

Молодой крестьянин вошел и сел за стол, сняв шляпу, — Ну, вот что, старик, — начал он голосом, привыкшим приказывать, — я уже достаточно поправился. Сегодняшняя прогулка показала мне, что у меня довольно сил. Я могу уже отправиться восвояси. Согласен ли ты, Копф, проводить меня до Фрейберга? Ты знаешь все тропинки и болота...

Старый Копф задумчиво глядел на бледные, тонкие руки Фрица и молчал. Он боялся. Этот странный гость появился у него несколько дней тому назад. В одну ненастную ночь этот неизвестный упал от усталости и истощения у его порога. Он, видимо, перенес тяжелую болезнь. Он даже сам сказал, что был очень болен; что ездил по делам во время перемирия в Лейпциг и не успел уехать до начала военных действий; там его почему-то приняли за шпиона и арестовали, но он успел бежать и, уже будучи под Дрезденом, схватил гнилую лихорадку и провалился в какой-то деревушке. Поправившись, он пробрался беспрепятственно в город, надеясь возвратиться к семье в Фрейберг, но узнал, что все дороги заняты французами, что ввиду большого числа немцев-перебежчиков и шпионов повсюду усилены дозоры и посты и отдан приказ расстреливать каждого, кто попытается перейти линию расположения французских войск. А между тем ему необходимо вернуться к себе. Он только год как женат. Недавно у него родился сын. Бог знает, целы ли они, и, кроме того, если он не поспеет домой, то все имущество его перейдет к ростовщику, которому он выдал вексель, рассчитывая оплатить его, вернувшись из Лейпцига.

Все это было похоже на правду, но старый Копф повидал людей, и обмануть его было не так-то легко. Молодой человек не мог скрыть своих манер, своих белых рук, да и говорил по-немецки, как говорят только знатные господа, хотя и старался подлаживаться под простую народную речь.

Но у него были полны карманы денег русских, прусских и австрийских, и золото, и бумажки, это тоже заметил наблюдательный Копф. Кроме того, он очень щедро платил за гостеприимство. Какое ему дело до остального? Только бы не продешевить! Может быть, это русский боярин? Ведь придется рисковать жизнью. Положим, по своим занятиям браконьера, нищего и бродяги старик так хорошо знал все непроходимые тропинки среди топей и лесов, что почти был уверен в успехе, а все-таки.

Он долго молчал и наконец с расстановкой ответил:

— Трудно и опасно это, Фриц. Со всех сторон плохо. Тут попадешься — повесят, а у Фрейберга русские войска — там тоже не церемонятся!

— Я ручаюсь тебе за безопасность там! — воскликнул молодой человек.

— Ого, — насмешливо произнес Копф, — уж ты не сам ли фельдмаршал?

Молодой человек нахмурился.

— Кто бы я ни был, — начал он решительным голосом, — здесь за меня не дадут и пфеннига. Знай это. А если ты выведешь меня — я торговаться не буду...

— Если я погибну, — продолжал Копф, — кто позаботится о моей дочери и маленькой внучке? Ведь я одна опора у них. Они теперь сидят в Заале да меня поджидают.

Копф притворился, что вытирает глаза при воспоминании о воображаемой дочери и внучке.

Незнакомец, видимо, понял это и, усмехаясь, сказал:

— Ну, что ж, если надо, обеспечь еще свою бабушку Это твоё дело... Сколько? — решительно закончил он.

Копф забрал побольше воздуха и словно выпалил:

— Тысячу прусских марок золотом!

Он даже глаза зажмурил. Секунда молчания показалась ему бесконечной.

— Очень хорошо, — спокойно ответил молодой человек, — ты получишь их.

— А задаток? — жадно спросил Копф.

Молодой человек вынул из кармана увесистый кожаный мешочек и высыпал его содержимое на стол.

— Вот, — сказал он, — десять австрийских двойных дукатов и десять русских империалов. Остальное получишь во Фрейберге.

Копф дрожащими руками пересчитал монеты. Теперь он уже не сомневался, что перед ним русский боярин. Кто, кроме русского, может так безумно швырять деньги?

— Хорошо, — сказал он, — кто бы вы ни были (Копф перешел на почтительное «вы»), — я постараюсь проводить вас. Я надеюсь, что это мне удастся. Мы выйдем ночью.

— Решено, — произнес молодой человек, — а я отдохну.

С этими словами он лег на стоящую в углу постель и скоро, по-видимому, заснул.

Старик долго всматривался в его лицо. Его мучило любопытство, но не было возможности удовлетворить его. Под столом он увидел оброненный незнакомцем платок. Он тихонько поднял его и начал внимательно рассматривать.

Платок был тонкий, хорошего полотна. В углу платка виднелась корона и под ней монограмма «Л. Б.». Копф покачал головой и осторожно положил его на кровать рядом со спящим. Потом отошел в угол, раскрыл сундучок, вынул из него кожаную куртку, такие же штаны и пару старых пистолетов. С наступлением темноты молодой человек проснулся. Копф был уже готов. Сон, видимо, подкрепил молодого человека.

— Пора? — спросил он.

— Скоро, скоро, — ответил старик, — мы еще успеем закусить.

Он подал хлеб, сыр и кувшин пива. Не торопясь они закусили, выпили, выкурили по трубке и поздним вечером вышли в опасный путь...

Буквы на платке верно указывали имя владельца. Этот молодой крестьянин был князь Левон.

Он сам ясно не понимал, как ему удалось спастись. Когда после битвы он впервые пришел в себя, он увидел себя в маленькой полутемной комнатке, похожей на чулан. В углу словно кто-то копошился.

— Кто там? — спросил Левон по-русски.

— Славу Богу, вы пришли в себя, господин офицер, — услышал он ответ на немецком языке

Тогда Левон произнес по-немецки:

— Скажите, где я?

Чья-то рука отдернула от окна занавеску, и Левон увидел молоденькую девушку, бедно, но чисто одетую.

Левон сделал движение и застонал от боли. Ему показалось, что на всем теле его нет ни одного живого места.

— Ради Бога, тише, — продолжал тот же голос, — вам вредно всякое движение. Погодите, я сейчас сяду около вас и все вам расскажу.

Она налила стакан молока, поставила рядом с ним на табуретку и сама села на стул около кровати.

У нее было милое, чистое лицо с темными глазами. Темно-русые волосы были заплетены в две косы.

— Ну, теперь слушайте, — начала она. — Вы в селе Земме, в двух милях от Дрездена, в квартире сельского учителя Отто Циммера, у которого есть дочь Мария, — это я. Теперь я расскажу, что знаю про вас. Вас провозили здесь вместе с раненым французским офицером французские санитары. По дороге сочли вас мертвым и поручили местным жителям похоронить вас, непременно в вашем

мундире. Они осмотрели ваш бумажник и велели хранить его на всякий случай, если потом найдутся ваши родные. Мой отец присутствовал при этом. Когда они уехали он увидел, что вы живы. Тогда он перевез вас к себе. и Бог помог нам, — с чувством закончила она, — вы пришли в себя. Это было двадцать восьмого августа.

— А сегодня? — слабым голосом спросил Левон

— А сегодня пятнадцатое сентября, — ответила Мария. — Но теперь довольно. Выпейте молока и постарайтесь заснуть.

Она встала.

— Благодарю, я русский офицер, и моя фамилия Бахтеев, — тихо сказал Левон, закрывая глаза.

С этого дня его выздоровление пошло быстрым ходом. Рана в плечо заживала. Главная опасность была вызвана страшным ударом по голове. Голова не была разрублена. Удар был нанесен, должно быть, банником. Можно было ожидать воспаления мозга, но теперь опасность миновала.

— Уж как мы боялись, — рассказывала Мария, — чтобы к нам не заглянули баварцы или виртембергцы. Французы — те ничего. Но эти едва ли пощадили бы вас, а вместе с вами и нас за укрывательство. А вы как нарочно все время бредили по-русски, господин Бахтеев.

— Я бредил? — спросил Левон, — о чем же?

— Мы не понимаем по-русски, — покраснев, ответила Мария.

— Но я же называл кого-нибудь? — допытывался Левон

— Вы часто повторяли одно женское имя, — тихо и смущенно ответила Мария, — но я не помню его, — торопливо добавила она.

Старый Циммер относился к Левону, как к родному. Своим обликом, разговорами, энтузиазмом он очень напоминал Левону Готлиба Гардера. Мария оказалась развитой молодой девушкой. Она хорошо пела, и Левон с удовольствием слушал ее. После перенесенных страданий, и нравственных и физических, в его душу снизошло какое-то успокоение, какая-то кроткая и умиляющая примиренность с жизнью и с людьми. С тоской и любовью, но без тени озлобления, думал он об Ирине и обвинял себя. Зачем он уступил чувству ревнивой ненависти и уехал сразу, с презрением к ней? Не лучше ли было прийти к ней, остановить ее, если не поздно, а если поздно, пожалеть и поддержать ее, слабую, одинокую? А, быть может, это все не то, что заподозрил он?.. И разве можно было произносить приговор, не зная, есть ли вина? Что теперь там? Его,

конечно, уже оплакивают как мертвого. Какой удар для дяди! Для его друзей, если они еще живы... И чувство жалости к ним и к себе наполняло его душу...

Он не знал, чем отблагодарить Циммера и его дочь за свое спасение. По счастью, на нем уцелел пояс с деньгами. Но едва он заикнулся о деньгах, как старик обиженно замахал руками.

Эти дни, проведенные в тихом домике Циммера, были отрадой для его усталого сердца. Старик передавал ему все новости. Он рассказал, что русские одержали большую победу под Кульмом, что Ней был разбит под Денневицем, а Удино при Гросс-Беерене и что дела французов плохи. Что Наполеон стягивает свои войска к Лейпцигу и что туда же идут массы союзных войск.

В одно утро, когда Левон чувствовал себя крепче, он решительно объявил, что идет к своим. Несмотря на все возражения, он стоял на своем. Уступая ему, Циммер приобрел для него простую одежду, и Левон отправился в Дрезден, провожаемый благословениями старого учителя и его дочери.

Но он плохо рассчитал свои силы и свалился у дома Копфа, который и подобрал его, приютил на несколько дней и теперь вел тайными тропинками к Фрейбергу...

XII

Поставив ногу на бархатный стул и наклонившись над столом, Наполеон рассматривал лежавшую перед ним карту окрестностей Лейпцига.

Комната имела богатый и даже роскошный вид, с портретами в художественных рамах на стенах, бархатной мебелью, тяжелыми дорогими портьерами и большим зеркалом в чеканной раме темного серебра. Наполеон с главной квартирой занимал замок банкира Феттера в окрестностях Лейпцига в Рейднице.

В глубоком молчании стояли по другую сторону стола начальник штаба Бертье принц Невшательский, король неаполитанский Мюрат и маршал Макдональд герцог Тарентский. Бертье имел озабоченный вид, Мюрат был заметно сконфужен и смущен. Он только что был потрепан в неудачном деле при Либерт-Волковице, о чем уже утром подробно доложил императору, не возбудив, однако, против себя особого неудовольствия. Герцог Тарентский был угрюм и мрачен, так как его до сих пор мучил стыд за проигран-

ное дело при Кацбахе. Бертье тоже имел достаточно причин быть озабоченным. Три дня тому назад он получил письмо от баварского короля Максимилиана-Иосифа, очень успокоившее его и императора в верности ему, среди общего начавшегося колебания, сильной Баварии. С льстивостью и подобострастием немецкого принца баварский король писал, между прочим:

«Привязанность моя к императору и Франции не изменилась ни на одно мгновение, и потому вы можете быть уверены, что я готов сделать даже невозможное для исполнения желаний его императорского величества... Прошу вас засвидетельствовать мое глубочайшее уважение императору; скажите ему, что я к нему привержен более, нежели когда-нибудь, и если я не делаю еще больших усилий, то единственно оттого, что этого не позволяют мне ни физические, ни моральные средства... Анспах и большая часть Зальцбурга, Тироль и Бромберг, где много членов древнего дворянства, Нассау и Бейрейт большею частью сомнительны. Несмотря на то, они должны делать по-нашему, хотя бы то мне стоило жизни...»

И так далее, все в том же роде. Так писал Максимилиан, а на другой день стало известно, что им подписан союзный договор с коалицией, с обязательством выставить тридцатитысячную армию в обмен на независимость Баварии и крупную сумму английским золотом.

Измена в такой момент делала очень затруднительной работу начальника штаба. Кроме того, отдельные поражения Нея, Макдональда и особенно Вандама требовали новых соображений. Бертье был поражен спокойствием императора. Все эти удары только скользили по непроницаемой броне его духа, не выводя его из равновесия. Он сейчас же исключил Баварию из своих стратегических расчетов и мгновенно составлял новые комбинации, неотразимые и математически точные, гибельные для врагов, если бы судьба, словно возмущенная долгим служением ему, не спутывала неожиданно его карты...

Лицо императора оставалось спокойно и задумчиво. Но вот едва заметная улыбка слегка тронула углы его губ. И, барабана пальцами по карте, он запел, невероятно фальшивя:

Et du Nord au midi trompette guerriere
A sonné l'heure des combats
Tremblez les ennemis de la France!

Это был припев знаменитого революционного гимна «Chant du départ».

Маршалы молча переглянулись, и их лица просветлели. Ударив ладонью по карте, Наполеон убрал ногу со стула и взглянул на маршалов блестящими светлыми глазами.

— Черт возьми! — воскликнул он, — на протяжении полукруга в три-четыре лье триста тысяч союзников, имея по фронту тысячу двести орудий, кажется, не представляют ни одного уязвимого места!

Веселый тон императора странно противоречил смыслу его слов. Но если император говорил так, значит, он предвидел где-то удачу

Помолчав несколько мгновений, он снова начал:

— Господин король, нельзя сказать, чтобы ваше дело при Либерт-Волковице было особенно удачно. Вы неумело обращаетесь с большими массами кавалерии.

Мюрат вспыхнул.

— Ну, ну, — заметил Наполеон, — завтра вы исправитесь; я уверен в этом. Что касается вас, герцог Тарентский, — обратился он к смущенному Макдональду, — то я знаю, вы талантливы, деятельны, преданы мне, но вам недостает счастья... Однако вы завтра будете под моей звездой. Мы готовим громовой удар! Вот смотрите, мои друзья.

Наполеон склонился над картой. Маршалы почтительно наклонили головы к карте, следя за белой рукой императора.

— Вот где гибель, — произнес он, указывая пальцем на селение Госсу, находившееся в центре неприятельского расположения. Позиции союзников представляли собою полукруг, охватывающий Лейпциг, и навстречу им стальной пружиной выгибался полукруг французского фронта, прикрытый с правого фланга непроходимыми болотами Плейссы.

— Сюда, — продолжал, одушевляясь, Наполеон, держа палец на Госсе, — мы направим адский огонь, под прикрытием которого кавалерия неаполитанского короля обрушится на центр неприятеля, поддерживаемый только Витгенштейном и тонкой линией пехотных полков почти без артиллерии. Центр будет прорван прежде, чем успеют подойти резервы. Тогда с нашего правого крыла в этот прорыв устремятся Виктор и Удино, а правым крылом неприятеля займутся Мортье и Макдональд.

Наполеон выпрямился, глаза его приобрели нестерпимый блеск, устремленные куда-то вдаль, и он медленно закончил:

— В одиннадцать часов мы начнем сражение. В четыре часа неприятельский центр будет прорван. В шесть — левое крыло неприятеля будет уничтожено, а правое на-

chnet отступление. К наступлению темноты союзные войска будут опрокинуты на свои резервы, и все будет кончено...

Слова и тон императора дышали такой непоколебимой уверенностью, что даже осторожный Бертье воскликнул:

— Победа обеспечена!

Таким они видели Наполеона накануне Аустерлица, когда так же, как и сейчас, точно по часам он определил все фазы сражения.

Солнце ярко светило на безоблачном небе. Осенний воздух был чист и прозрачен, когда час спустя император с блестящей свитой медленно проезжал по фронту своих войск. Его уверенность в победе, казалось, передалась его войскам. Оглушительные крики: «Vive l'empereur!» — гремели победой и зловещей угрозой доносились до фронта союзных армий.

А в главной квартире союзников в селе Пегау царила неуверенность и растерянность. Один император Александр старался внушить всем бодрость и собственную уверенность и определить план сражения.

Все словно испугались, очутившись лицом к лицу с Наполеоном во главе двухсоттысячного войска.

Тут были все силы союзников, и разгром их армий вернул бы Наполеону прежнее владычество в Европе и навлек грозную кару на Пруссию и Австрию. Даже император Франц потерял свое обычное спокойствие. В случае проигрыша — Наполеон не пощадит его. Что касается Фридриха, то на него было жалко смотреть. Он знал, что на карту поставлена Пруссия и его династия. Забившись в угол, он не вмешивался в разговоры и исподлобья, почти с ненавистью, поглядывал на ясное лицо Александра.

Князь Шварценберг, приписав, в качестве главнокомандующего, исключительно себе победы при Гросс-Беерене, Кацбахе, Денневице и даже Кульме, решил, что он великий стратег, и насколько раньше был податлив, настолько теперь неожиданно стал упрям. Считая лучшей тактикой обход неприятеля, он направил главнейшие силы в болота Плейссы и Эльстера на правый фланг французов. Напрасно ему указывали на непроходимость этих болот и приводили в доказательство, что Наполеон не счел нужным даже прикрывать этот фланг. Шварценберг пожимал плечами и с упрямой улыбкой повторял:

— Тем хуже для него!

Жомини, граф Толь, Барклай-де-Толли и сам государь истощили все доводы, но князь стоял на своем.

Наконец государь с побледневшим лицом, с засверкавшими жестким холодным блеском глазами резко встал со стула и, ударив ладонью по столу, сказал:

— Хорошо, господин маршал, так как вы упорствуете, вы можете делать с австрийской армией все, что вам угодно. Но что касается русских войск, — они пойдут на правую сторону Плейссы и никуда больше!

Шварценберг поклонился, но своего плана не изменил.

На этом и кончился совет.

Таким образом, в день битвы предполагалось действовать по двум планам, противоречащим друг другу.

Действительно, прав был прусский король, когда говорил, что в случае успеха союзники будут обязаны только одному Господу Богу!

XIII

С большими трудностями удалось Левону добраться до русских войск и отыскать свой полк уже на марше в Галле. Пятый драгунский вошел в состав корпуса Раевского. Левону удалось приобрести казачью лошадь и все казачье обмундирование. Нечего говорить, с каким восторгом его приветствовали в полку офицеры и солдаты его эскадрона. К своему большому утешению, он нашел там Новикова и Зарницына, которому удалось-таки добиться перевода в пятый драгунский ввиду огромной убыли в этом полку офицеров. Перемена, происшедшая в князе, поразила всех знавших его и больше всего Новикова. Он стал мягче, доступнее. От прежней холодной гордости не осталось и следа...

Новиков рассказал ему о ране Белоусова, теперь почти поправившегося, об отчаянии всех, когда его сочли убитым, и особенно старого князя. Передал он и впечатление, произведенное этим известием на княгиню, и заметил, как дрогнуло его лицо.

Но Левон не задал ни одного вопроса о ней, хотя усиленно расспрашивал о дяде и Грише. Очень тронула его привязанность Егора, и тут же он решил в душе дать вольную ему, всей его семье и наградить его.

— Бедный старик, — с умилением сказал он о дяде, — я никогда не подозревал, что он так любит меня.

Словно укор совести чувствовал он, думая о нем. И, кажется, Левону было бы легче, если бы он услышал о полном равнодушии старика.

Вечером стало известно, что утром войска двинутся в общую атаку.

Офицеры собрались у Громова для последних распоряжений. Немного осталось их. Но такова война. Сегодня ты, а завтра я. Среди офицеров царило бодрое настроение.

Зарницын уже успел со всеми подружиться и, сидя в углу, тянул с Багровым коньяк. О делах говорили, собственно, очень мало. Обругали Шварценберга, рассказали несколько анекдотов про Блюхера, единогласно решили, что немцы неблагодарные и ненадежные союзники, и перешли к картам и выпивке.

Новиков и Бахтеев хотя и старались приноровиться к общему настроению, но это не удавалось им. Когда все уселись за столы, они незаметно вышли.

Ночь была тихая, звездная. За деревней горели бивачные огни. Со стороны Лейпцига виднелось зарево. Изредка слышался лай собак и окрики часовых.

— Тоска, — произнес Новиков.

Бахтеев молчал. Ему не хотелось нарушать какого-то еще никогда не испытанного им возвышенного строя души.

«Удивительно, — думал он, глядя на далекие звезды, — отчего так смирилась душа? Отчего нет в ней ни ревности, ни злобы, а только любовь и сострадание? И отчего стыдно вспомнить эту ночь в саду, за деревьями». И сейчас он ясно сознавал, что был бы глубоко несчастен, если бы Ирина уступила его едва сдерживаемой страсти... Он одного хотел, чтобы это настроение не проходило, но где-то в глубине души словно шевелилась смутная боязнь. Дремавший зверь проснется. Вихрь безумия страсти, ревности опять охватит его, лишь только он опять очутится в той же обстановке и увидит то же... Но пока так светло и тихо на душе, как в этом небе...

— Знаешь, Данила Иванович, — начал он после долгого молчания, — не могу объяснить тебе, что произошло со мною и как это все случилось. Это сделалось во время болезни. Вдруг как-то моя душа затихла... Это трудно рассказать... Ну, как будто я вдруг почувствовал, что нахожусь в чьей-то доброй власти. Как будто кто-то внушил моей душе: не волнуйся, не страдай, не ищи; я найду, успокою, укажу... И как будто я сам перестал принадлежать себе... Странно, правда?

Новиков покачал головой.

— Я не понимаю этого, — ответил он. — Я не понимаю, как можно перестать страдать, пока есть причина для страдания. Это, может быть, просто усталость души. Вроде того, как бывает с телом. Как было со мной. Я долго не переставая страдал от раны, и вдруг боли прекращались и казалось даже невозможным, чтобы они возобновились. Но через несколько часов они возобновлялись с новой силой. Это просто измученное тело уже переставало на некоторое время чувствовать боль, теряло свою чувствительность. Так и с душой. А ты еще слаб. Ты еще не поправился.

Бахтеев, действительно, еще не поправился. Он не мог еще свободно владеть левой рукой, испытывал при каждом резком движении мучительную боль в плече. У него почти все время болела голова и часто кружилась..

— Не знаю, — задумчиво ответил он, — только бы это не прошло..

— Как-то ты завтра? — с тревогой сказал Новиков, — не лучше ли тебе уехать в тыл?..

— Как не стыдно говорить это! — воскликнул Левон. — Я сумею держаться на лошади, а правой рукой я владею свободно.

— Смотри, сигналы, — воскликнул Новиков, указывая вдаль рукой.

Высоко в небо взлетели одна за другой со стороны Пеггау три белые ракеты и рассыпались блестящими искрами. И почти тотчас с другой стороны взвились три красные ракеты.

Это были условленные сигналы Главной и Силезской армий, которыми они извещали друг друга о своей готовности к предстоящему бою.

XIV

На высоком холме Вахау, в центре позиции за Госсой, уже с утра стояли два императора и король с их блестящей свитой. С ними был и князь Шварценберг. С высоты ясно было видно расположение своих и неприятельских войск, а в подзорную трубку можно было разглядеть фигуру Наполеона, объезжавшего фронт

В девять часов утра был подан сигнал к общей атаке, и линии войск заколебались, и густые колонны двинулись на французов. Оглушительно заревели орудия, и дым застилал поле сражения. Дым становился все гуще. Следить за боем уже не было возможности... Только сверкал в дыму огонь,

да слышались сливавшиеся с гулом орудий и ружейными выстрелами грозные крики сражающихся...

Александр был бледен, но спокоен. Фридрих беспокойно озирался, минутами вздрагивая, как и его лошадь. Франц то и дело обращался к Шварценбергу, который, почтительно склонившись в седле, давал объяснения.

За ними стояла свита, а у подножия «Холма монархов» в качестве конвоя стоял дивизион лейб-казаков под командованием полковника Ефремова, численностью 500 человек.

То и дело со всех сторон скакали ординарцы и докладывали о положении дел. Русские докладывали государю, прусские — Фридриху, а австрийцы Шварценбергу.

К полудню выяснилось, что атаки союзников отбиты по всему фронту и французы перешли в наступление.

Союзники медленно отступали.

Наступал решительный момент боя, предсказанный Наполеоном.

Тесня союзников, французы подвезли свои батареи к Госсе. Пехота бросилась на фланги, открывая батареи, и 150 французских орудий грянули разом. Отдельные выстрелы слились в один рев. Тучи снарядов полетели в центр расположения союзников.

Словно вихрь поднялся от этого сосредоточенного огня. Как молнии, сверкали в дыму вспышки выстрелов, и было видно, как в воздухе мелькали искалеченные тела...

И под прикрытием этого огня и справа, и слева двинулись французские колонны...

Но вот вдруг наступила мгновенная тишина. Замолкли пушки, дым немного рассеялся, и показались волнующиеся ряды блестящей кавалерии. С холма монархов невооруженным глазом можно было видеть неаполитанского короля впереди своей кавалерии.

Несколько мгновений царила тишина. Потом раздалась команда:

— Marche! Marche!

И блестящая кавалерия бросилась в бешеную атаку на Госсу.

Без шляпы, с развевающимися черными кудрями, в малиновом с серебром плаще неся Мюрат впереди. Рядом с ним скакал Понятовский.

Бледный, как смерть, Франц обернулся к Шварценбергу. Фридрих закрыл рукой глаза. Александр напрягал последние силы, чтобы казаться спокойным.

Русские успели выдвинуть резервную батарею. Но под неудержимым натиском Мюрата центр уже дрогнул, часть

батареи была стремительно захвачена, прикрывавший ее батальон Кременчугского полка в одно мгновение был изрублен...

Центр был прорван. Французские кирасиры очутились в восьмистах шагах от холма монархов.

Бледный и взволнованный, Александр обернулся и, указывая дрожащей рукой на волны неприятельской кавалерии, произнес:

— Казаки, остановите!

В одно мгновение граф Орлов, бывший в свите, подскакал к лейб-казакам и передал им слова императора.

Но дивизион уже давно с трепетом следил за бешеной атакой французских кирасир. Услышав приказание, полковник Ефремов выехал вперед, встал перед дивизионом, перекрестился большим крестом и, обращаясь к казакам, крикнул:

— Братцы, умрем, а дальше не допустим!

Казаки двинулись рысью, размыкаясь в лаву и на ходу беря пики наперевес. Перед ними впереди был топкий ручей, а за ним возвышенность, которая скрыла их движение от неприятеля. Перестраиваясь в лаву, казаки на рысях переправились через ручей, взлетели на возвышенность и с диким гиком ринулись на неприятеля. Кирасиры смешались, дрогнули и повернули назад, преследуемые казаками...

Но остальная масса французских войск неудержимо катилась вперед.

План Наполеона был выполнен. Было четыре часа, когда ему донесли, что центр противника прорван. Император тотчас послал известие о победе своему другу саксонскому королю и приказал звонить в Лейпциге во все колокола.

Но судьба снова опрокинула все его расчеты. Победоносному натиску французов преградила путь вторая гренадерская дивизия Раевского. Свернутые в каре, оцетинившись штыками, неподвижно, как скала, стояли русские, без единого выстрела. Семь раз обезумевший Мюрат бросался в бешеную атаку и семь раз был отброшен с огромными потерями. А между тем свежие резервы все прибывали и прибывали, заполняя брешь. Занесенный страшный удар обрушился на пустое место. Но страшное напряжение ослабило армию Наполеона и нечем было пополнить убыль в войсках. Единственный успех выпал Наполеону на его крайнем правом фланге, где он захватил в болотах Плейссы австрийскую колонну Марфельда, предусмотрительно высланную ему в обход Шварценбергом.

Ночь прекратила сражение.

Наутро ждали новой битвы. Пятый драгунский принимал участие в отражении кавалерийских атак, но отделался легко. Людские потери были незначительны, из офицеров немногие были ранены, но так легко, что после перевязок никто не пожелал оставить строй.

Ночью у костра собрались офицеры. Бахтеев так был измучен, что лишь только лег, завернувшись в шинель, как заснул крепким сном. Настроение у всех было радостное. Все понимали, что сегодняшний день выигран; с минуты на минуту ждали прибытия новых армий — Бенигсена и Бернадотта. Но усталость одолевала всех. Скоро все улеглись спать.

К величайшему удивлению, на следующий день было тихо. Пронесся слух, что будто Наполеон предложил перемирие. Весь день, кстати, воскресный, прошел спокойно. Утомленные войска отдыхали.

После целого дня битвы Новиков словно оживился. Бахтеев тоже чувствовал себя вполне бодрым, и даже рука как будто переставала болеть.

К вечеру уже был получен приказ готовиться к бою...

С зарею все были на местах, а в семь часов обе армии бросились друг на друга с беспримерным ожесточением.

Но особенно отчаянный бой загорелся в центре французского расположения. С невысокого холма сам Наполеон наблюдал за этим боем; вид неподвижной фигуры в треуголке, казалось, удесятерял силы его солдат. Железной стеной стоял корпус Виктора. И колонна за колонной союзников бросалась в атаку в штыки. Едва успевали французы отбить одну колонну, как на смену ей являлась другая. Французская артиллерия встречала атакующих чугунным градом гранат и картечи, скашивала целые ряды, но на месте их вырастали другие. Десять раз ходили русские в штыки, и десять раз их опрокидывали назад. И по всему фронту гремели не умолкая пушки и трещали ружейные выстрелы, пока не раскалились пушки и ружейные стволы не стали жечь рук, так что уже не было возможности продолжать стрелять.

Тогда по всему фронту закипел рукопашный бой. Несмотря на подавляющее превосходство в силах, союзники не имели видимого перевеса.

Но вот свежий саксонский корпус, стоявший на левом крыле французов, с почти еще не стрелявшими орудиями, зашевелился и быстро двинулся вперед.

— Какая отвага! — воскликнул Наполеон, заметивший их движение. — Они достойны своего короля!

Он продолжал следить за их движением, и вдруг произошло что-то необъяснимое. Саксонская пехота уже скрылась за холмом, а въехавшие на холм орудия повернули жерла на французские полки. Еще мгновение — раздался гул, и огненная картечь внесла смятение и смерть в ряды французов...

— А! — только коротко произнес император.

Кто-то подставил ему складной стул, и он тяжело опустился на него около потухающего костра. Сражение утихло, и странная мертвая тишина спустилась на поле кровавой битвы. И зловещее, и сказочное зрелище представляло это поле. Словно могущественный чародей завожжал отважных бойцов. Они спали! Спали лежа, спали, прислонившись к пушкам, сидя на повозках, верхом на лошадях, спали лошади в артиллерийских запряжках...

Это было сонное царство рядом с царством мертвых...

Опустив на грудь голову, сидел император. Глаза его были закрыты. Спал он или находился в бессознательном состоянии?.. Ночь темнела. Приехавшие за приказанием маршалы и высшие генералы, не смея нарушить его покой, угрюмо и молча толпились у бивачных огней. Загорались звезды. Взошла луна. Наполеон очнулся и отдал последние распоряжения об отступлении. Ему подали лошадь, и, молчаливый и страшный, он поехал в Лейпциг в сопровождении своих маршалов, не решавшихся даже разговаривать между собой.

В Лейпциге ему было приготовлено помещение под вывеской «Прусский герб».

Союзники не победили ни в первый, ни во второй день боя, но они истощили на половину численности армию Наполеона, а сами получили подкрепление свыше ста тысяч свежих войск.

Наполеону оставалось одно — отступить с наименьшими потерями.

Кровавое зарево горело над Лейпцигом. Пылали окрестные селения и дома предместья, подожженные долетавшими сюда снарядами.

XV

Гремевшая с утра канонада затихла. Долго прислушивались напуганные горожане, но, ободренные тишиной, мало-помалу стали появляться на улицах.

По глухой и тесной улице, спускающейся на самый берег Эльстера, осторожно и боязливо пробиралась молодая де-

вущка. Был уже поздний вечер, но на улице было почти светло. На берегу Эльстера пылал ряд домиков, а в небе стояло огромное зарево. Голова девушки была покрыта платком, наполовину закрывавшим ее лицо. В руках ее была маленькая корзина. Дойдя до крайнего, полуразрушенного дома, она остановилась и тихонько постучала в окно, на котором был наклеен вырезанный из бумаги башмак. Внутри тотчас послышался радостный лай, дверь открылась, и огромная собака одним прыжком очутилась возле девушки.

— Тише, тише, Рыцарь, — лаская собаку, произнесла девушка. Это была Герта.

В маленькой каморке, разделенной пополам рваной занавеской, ее встретил старый Готлиб.

Со времен Бунцлау он сильно одряхлел, но глаза его были ясны, и по-прежнему та же ласковость и доброта внутренним светом озаряли его лицо.

За занавеской слышался легкий храп. Это мирно спал их хозяин, старый башмачник Гебель. На деревянном столе, воткнутый в бутылку, горел сальный огарок.

Герта тоже сильно изменилась. Ее лицо утратило нежную неопределенность очертаний ранней юности. Она выглядела старше своих лет, глаза стали глубже и серьезнее. За полгода ее волосы значительно отросли, так что она уже могла собирать их в узел. Она сильно похудела и побледнела.

— Ну, отец, — весело сказала она, — мне сегодня повезло. Я отнесла башмаки и получила свою долю. Старому Гебелю я принесла талер, как он хотел, а свою долю получила хлебом и картошкой. Это нам удобнее, правда, отец? Теперь в Лейпциге с талером можно умереть с голоду. — Говоря, она вынула из корзинки большой ломоть хлеба и с десяток печеных картошек. — Да к этому прибавь, отец, — продолжала она, — что сама я сыта, так как фрау Либнехт была сегодня так великодушна, что заставила меня поужинать у нее по случаю, как говорила она, победы над тираном!

Герта рассмеялась.

— Ты на самом деле ужинала? — серьезно, почти строго спросил Готлиб.

— На самом деле, — засмеялась Герта, — я ела молочный суп. Признаться, мне было немного совестно, так как тебе придется и сегодня и завтра есть только черный хлеб и картошку... Нет, ты подумай, отец, хлеба нет во всем городе. То есть, конечно, он есть, вот, например, у фрау Либнехт, но никто не продает его. Подумай, сегодня для

самого императора и его свиты с трудом достали хлеба на восемнадцать с половиной грошей. Не смешно ли! Ну, кушай же, отец, — закончила она,

— Выделим по обычаю и Рыцарю.

— Ему полагается одна треть, — смеясь, сказала Герта. — Моя сегодняшняя порция идет тебе, отец, так как я сыта.

Она отрезала от ломтя хлеба, взяла несколько картошек и положила в угол Рыцарю. Рыцарь понюхал и не торопясь начал есть, словно желая показать, что он был уже почти сыт. В Рыцаре было прирожденное благородство.

Герта с любовью смотрела на отца, и, когда он хотел отказаться от ее порции, она настояла, чтобы он съел ее.

Порции действительно были не велики, и Готлиб с удовольствием съел вторую. Но если бы он знал, что у фрау Либнехт, истинной пруссачки, не допросится и снегу среди зимы и что Герта только смотрела, как фрау Либнехт ела молочный суп, то он предпочел бы отказаться и от своей порции и тоже сумел бы сказать, что старый Гебель угостил его обедом, хотя старый Гебель мало чем отличался от фрау Либнехт и сдал полкомнаты за работу Герты. Она работала за него целые дни, кроя кожу и сшивая по указанию и под его руководством туфли и башмаки, получая за это, помимо помещения, десять грошей с башмаков и пять грошей с туфель, то есть примерно около тридцати копеек и пятнадцати.

И при этом еще считал себя благодетелем.

Герта переносила и работу, и голод и глубоко затаила в себе свое горе и свои тревоги. Она не знала, убит или нет Новиков, или ранен, или попал в плен и заключен в какую-нибудь крепость? Она ревниво берегла тайну своей любви, не признаваясь отцу, и, зная его нежную душу, не посвящала его в свои тревоги. Но жизнь утратила для нее всякое значение. Дорогой ценой обходилась ей ее кажущаяся веселость, старый Готлиб не видел ее слез, не знал о ее бессонных ночах и не слышал ее заглушенных рыданий в тишине ночи... А наутро, улыбающаяся и ласковая, она снова сидела за работой... Только Рыцарь мог бы рассказать, как иногда, обняв его за шею, она шептала ему непонятные слова, и крупные слезы падали на его шелковистую шерсть.

Своим спасением Герта была обязана мужественной защите д'Обрейля. Наглый баварец не смел употребить насилие против молодого гвардейца, сына сенатора. И не казнил их своим судом, как хотел первоначально. Д'Обрейля, несмотря на вооруженное столкновение с ним, он и не

думал задерживать. Это было слишком страшно, и за это он мог поплатиться головой. Но все же и сам д'Обрейль не мог идти против категорического приказа императора и не мог поэтому заставить баварца выпустить на свободу Герту. Ее и Ганса отправили в числе других в Дрезден, но в разное время. Д'Обрейль, верный своему слову, вместо того, чтобы ехать в свой полк, повернул за Гертой на Дрезден со своими стрелками, сумел подкупить конвойных, помог Герте бежать до ближайшей деревни, где нашел для нее женский костюм, и, считая ее в безопасности, уехал своей дорогой.

Конечно, надев женское платье, Герта была в безопасности. Но, боясь идти по местности, наводненной неприятельскими войсками и шайками грабителей, немецких дезертиров, она вместо Бунцлау решила идти по безопасному пути в Лейпциг, где к тому же, конечно, легче было найти работу. Верный Рыцарь, вышедший невредимым из сражения, сопровождал ее. О Гансе она не имела никаких сведений. В Лейпциге совершенно случайно она встретила в ратуше отца. Она пришла туда в бюро по предоставлению мест искать работу; за тем же пришел и Готлиб. Надежды на родственников и на уроки не оправдались. Готлиб то здесь, то там устраивался в мелких оркестрах, играл в трактирах, на вечеринках и свадьбах, был и уличным музыкантом... А жизнь в Лейпциге была дорога.

Встретив дочь, Готлиб сразу ожил душой и почувствовал себя счастливым... И вот тут Герта сразу поклялась себе никогда ничем не смущать его покоя. Она обещала ему никогда не расставаться с ним. Она не вернется больше на войну. Это не то, чего она ожидала...

Готлиб ночевал по разным местам, и они отправились поискать помещение. Случай привел их к Гебелю, который все подыскивал себе помощника, и делоладилось.

XVI

Ночью не удалось спать. Весь город наполнился шумом и гулом. Через все заставы беспорядочной массой проходили обозы, артиллерия, везли раненых, шла пехота, ехала кавалерия. Скоро все улицы наполнились отступающими войсками. Поднялся настоящий хаос. Обозы загораживали дорогу войскам. На некоторых улицах и аллеях образовались такие пробки, что не было возможности пройти даже одинокому пешеходу. Крики и ругань стояли в воздухе. И

вся эта масса беспорядочными шумными потоками с разных улиц текла главным образом к единственному постоянному каменному мосту через Эльстер — линденаускому. На мосту был сущий ад. Никто никого не слушал. Солдаты не обращали никакого внимания на приказания офицеров.

Сам император долго блуждал по улицам, отыскивая свободный проход, и только с величайшим трудом переправился через мост.

Его не узнавали!

А отступавшие войска все прибывали и прибывали, тесня передние, не успевавшие переправляться. И едва загорелась заря, загремели орудия и снаряды стали рваться на улицах города.

В домах предместья было опасно оставаться. Все высыпали на улицу, бросив на произвол судьбы свое имущество, боясь быть заживо погребенными под развалинами своих домов.

Отступавшими войсками овладела паника. Обозы были брошены, они загородили собою улицы. Брошены были и орудия. Кавалеристы пробивали себе дорогу среди своих... В отчаянии и ужасе металась мирные жители, нигде не находя прикрытия. Обезумевшая лавина войск все давила на своем пути, а на берег реки все чаще и чаще падали неприятельские снаряды.

У всех застав кипел отчаянный бой. Арьергард французской армии напрягал последние силы, чтобы дать возможность отступить остальным. Союзники ворвались в ворота св. Петра. Охранявшие их баденские войска в самый критический момент изменили Наполеону и перешли на сторону союзников. Неприятельская кавалерия уже показалась на улицах Лейпцига, где закипел рукопашный бой. Казалось, цветущий и богатый город будет обращен в развалины.

Старик Гебель выбежал как безумный на улицу и, не слушая Гардера, успокаивавшего его, бросился прямо к реке. Очевидно, он надеялся вместе с отступавшими французами перейти по временному понтонному мосту. Но как раз в эту минуту у моста разорвался снаряд... Толпа отхлынула, дав друг друга. Гебель был сбит с ног, и в адском шуме его голос замер под копытами прокладывавшей себе путь кавалерии.

Из всего своего имущества Готлиб захватил только свою скрипку и с Гертой и Рыцарем нашел себе убежище за каменной стеной разрушенного дома. Тут уже была порядочная толпа преимущественно женщин и детей. Дети громко плакали, женщины молились...

Последнее сопротивление арьергарда было сломано. И на плечах французов союзники ворвались в город, тесня неприятеля к реке. От дождей река вздулась, и темные волны Эльстера зловеще шумели под дыханием холодного осеннего ветра.

Князь Понятовский, только что в этот день произведенный в маршалы, и герцог Тарентский руководили лично обороной, находясь на самых опасных местах...

И вдруг, покрывая грохот орудий и крики, и шум битвы, раздался чудовищный взрыв... Это преждевременно был взорван заминированный французами линденауский мост.

Туча камней, повозки, лошади, люди темной массой взлетели на воздух и тяжело упали в волны.

Людьми овладело безумие. И лошади, и люди, толкая друг друга, бросались с высокого берега в темные и быстрые волны Эльстера.

Теснимые со всех сторон, Понятовский и Макдональд старались удержать обезумевших людей, но все было бесполезно...

Надо было спасти себя. Уже неслись на них с диким воем казаки.

И оба маршала, повернув коней, бросились с крутого берега в бурные волны реки, покрытой обломками телег, утопавшими людьми и лошадьми.

Град пуль посыпался на них с берега. Волны относили их вниз по течению. Измученные лошади фыркали и храпели, тяжело держась на воде. Понятовский почувствовал, что ранен. Он высоко поднял шпагу и закричал:

— *Vive l'empereur!*

Вторая пуля ударила его около сердца. Он снова махнул шпагой и с возгласом: «*Vive La Pologne!*» — с прощальным приветом родине, которую он так любил и за которую умирал, склонился на бок и упал в темные волны...

Шляпа и плащ Макдональда были пробиты пулями, но он достиг другого берега...

Оставшиеся на этом берегу бросали оружие и сдавались тысячами..

Издали еще доносилась канонада, но в городе уже водворялось спокойствие. Страхи миновали. Не было ни разбоев, ни грабежей. Были только единичные попытки со стороны прусских и австрийских солдат, но назначенный комендантом Сакен сразу подавил их с беспощадной жестокостью.

Русские конные дозоры с офицерами объезжали город. По распоряжению Александра в город спешно были направлены обозы и устроена раздача пищи беднейшим жителям.

Во главе десяти драгун Семен Гаврилыч совершал объезд. Уже наступал вечер. Он медленно подвигался среди неубранных еще повозок в Гальском предместье. Наступал вечер. То здесь, то там виднелись разрушенные домики и догоравшие развалины. Толпы разоренных погорельцев беспомощно бродили около своих разоренных гнезд. Проезжая мимо, Зарницын останавливал лошадь и указывал, в каких местах города происходила раздача пищи. Вдруг откуда-то из толпы с громким радостным лаем к нему бросилась огромная собака. Неистово лая, она прыгала около его лошади, словно стараясь допрыгнуть до всадника...

Что-то знакомое вспомнилось Зарницыну. Женский голос, словно испуганный, позвал:

— Рыцарь! Рыцарь!

— Фрейлейн Герта! — крикнул громко Зарницын.

— Это я, — ответил голос, и из толпы вышла девушка. Зарницын спрыгнул с седла.

— Вы?! — в изумлении воскликнул он. — Вы! Но как вы попали сюда? А меня вы узнали? А что ваш отец?

Герта не успевала отвечать.

— Я вас узнала, господин Зарницын, — ответила она. — Скажите, а ваши друзья здоровы?

Мучительная тревога отражалась на ее лице.

— Здоровы, здоровы, и Новиков, и князь, и оба здесь... но, Боже мой, что с вами? — воскликнул Зарницын, видя, что девушка пошатнулась.

— Нет, нет, ничего, — торопливо ответила она, с глазами, полными слез. — Я так счастлива... Пройдемте к отцу.

Тут только Зарницын заметил, как бледна и похудела Герта и как убого одета... Его сердце сжалось. А когда он увидел старого, ослабевшего Готлиба, сидящего на обгорелых бревнах и прижимающего к груди заветную скрипку, он чуть не заплакал.

«Но они же, наверное, голодны», — с ужасом думал он.

Рыцарь словно обезумел от радости, по очереди бросаясь ко всем трем. Казалось, он понимал, что эта встреча принесла им счастье. Герта обняла его за шею и крепко поцеловала в голову...

Однако надо было что-нибудь предпринять. Отдав свою лошадь драгунам и приказав двоим следовать за ним, он предложил Готлибу и Герте отправиться вместе искать ноч-

лег. Готлиб смущенно попробовал протестовать, но Зарницын решительно заявил, что настало время отплатить за их гостеприимство.

В эти дни перед русскими офицерами гостеприимно открывались все двери... Главным образом потому, что напуганные бюргеры видели в них защиту от не в меру требовательных своих сородичей, пруссаков и австрийцев, на правах победителей даже не считавших нужным оплачивать гостеприимство...

Зарницын привел своих спутников в первую же хорошую гостиницу «Белый конь». Хозяин сперва покосился на оборванных постояльцев, но блестящая форма русского офицера и еще больше блестящее золото сделали его гостеприимнейшим человеком в мире. Заняв целых три комнаты и заказав лучший ужин, Семен Гаврилович тотчас послал одного из драгун в полк немедленно призвать сюда ротмистра Новикова.

Пока Герта приводила себя в порядок, Готлиб коротко рассказал Зарницыну о своих мытарствах и что знал о Герте.

— Фрейлейн Герта, да вы герой! — воскликнул Зарницын, встречая Герту.

Герта вся сияла от счастья. Слуги быстро накрыли стол, затопили камин, ярко осветили комнату. Придвинув к камину кресло, старый Готлиб смотрел на разгорающийся огонь и тихо плакал...

Зарницын взял на себя роль хозяина. Он налил вина и угощал и Готлиба, и Герту. Но Герта отказалась, сказав, вся покрасневшись:

— Я подожду господина Новикова.

— Понимаю! — воскликнул весело Зарницын, — и выпью один за вас, за него, за вашего отца...

— И за себя, — смеясь, добавила Герта.

— И за Рыцаря! — закончил Семен Гаврилович, осушая стакан вина.

Время шло в оживленной беседе. Но вот в коридоре послышался звон шпор и торопливые шаги. Герта вся замерла, остановясь на полуслове.

На пороге показался Данила Иванович.

— Герта! — задыхаясь, произнес он, протягивая ей руки.

Она протянула ему дрожащую руку, сделала шаг и в то же мгновение очутилась в его объятиях.

«Вот оно что!» — подумал Зарницын.

— Мы никогда не расстанемся больше, — прошептал Новиков.

Гардер смотрел, раскрыв рот, ничего не понимая.

Радостный Новиков подошел к нему.

— Мы все объясним вам, а теперь обнимите меня, господин Гардер.

— А меня забыли! А меня забыли! — словно хотел сказать своим лаем Рыцарь, пытаясь лизнуть Данилу Ивановича в лицо.

— Здравствуй, здравствуй, верный друг, — сказал Новиков, лаская его.

— Ну, как же не выпить теперь, фрейлейн Герта, — воскликнул Зарицын, — или вы и теперь откажетесь?

Герта сияющими глазами взглянула на Данилу Ивановича.

XVII

Те же самые короли, герцоги и принцы: баварские, вюртембергские, баденские, дармштадтские и пр., и пр., и пр., которые недавно с таким подобострастием окружали Наполеона в Дрездене, уверяя его в верности его делу, теперь шумной и жадной толпой перекочевали во Франкфурт, где пребывал после Лейпцигского сражения император Александр. И так же, как у Наполеона, наполняли собою приемные у Александра, и с тем же подобострастием уверяли в своей преданности. И так же, как в Дрездене, они привезли с собою своих министров, уполномоченных, генералов, камергеров и шталмейстеров своих кукольных дворов, а те привезли с собою секретарей и адъютантов. И так же, как в Дрездене, украшенные перьями, в золотых и серебряных мундирах, они взад и вперед носились в бесполезной суете по улицам, привлекая внимание зевак.

Саксонский король пострадал за свою верность своему другу и благодетелю. Он из Лейпцига отправлен в Берлин, и дальнейшая судьба его зависит от великодушия союзников.

Все собирались делить германское наследство Наполеона.

Разгром Наполеона был полный. Едва 70 000 человек, больных, деморализованных, раненых, перетащились через Рейн у Майнца, и то только благодаря последней победе императора, разгромившего при Ганау преградившую ему путь к отступлению австро-баварскую армию.

Германия была свободна. Но никто не знал, что будет дальше. Меттерних настаивал на мире, прусский король, боясь лишиться неожиданно полученной им благодаря Александру львиной доли добычи, всеми мерами поддерживал

его. Представитель Великобритании лорд Кэстльри ничего не имел против. Условия предполагаемого мира были немногим тяжелее пражского ультиматума. Не поддерживая этих предположений, но и не отвергая их резко, Александр дал согласие на прекращение военных действий и на неофициальное сношение с Наполеоном. В то же время Александр отдавал распоряжения, которые ясно говорили о его уверенности в продолжении войны. Это очень удивляло дипломатов. Но Александр был дальновиднее их. Он хорошо понимал Наполеона и знал, что для Наполеона — удовлетвориться значением в Европе французского короля, хотя бы и с императорским титулом, равносильно потере всякого обаяния среди французов и плодов всех его побед.

Впоследствии Наполеон ясно определил роль Александра, сказав: «Александр никогда не согласился бы на эти условия, если бы не был уверен заранее, что ничто в мире не заставит меня принять их добровольно».

Но пока все находились в ожидании мира. Князь Шварценберг приходил в ужас при одной мысли вести войну с Наполеоном на его собственной территории. Один Блюхер, теперь любимый гость императора, приходивший в бешенство от одного имени Наполеона, как бык от красного платка, громко требовал похода во Францию. Он мечтал опустошить Францию, взорвать в Париже Иенский мост, напоминая ему его блистательный подвиг под Любеком, повалить Вандомскую колонну и сам Париж обратить в развалины! Не разделяя его каннибальских вкусов, Александр разделял его ненависть к Наполеону...

Так шли дела, а пока Франкфурт веселился, словно настал карнавал. Театры, концерты, балы, маскарады, парады — сменялись непрерывной лентой,

Во Франкфурт приехала и Екатерина Павловна, и Мария Павловна, на этот раз со своим супругом, герцогом Саксен-Веймарским.

Дегранж хотя по-прежнему бывал в салонах своих аристократических друзей, но чувствовал себя очень плохо. Заметное недовольство княгиней Бахтеевой отразилось и на нем. Как-то незаметно его перестали приглашать на интимные беседы. Он оставался совершенно в тени. Его зарождающееся влияние «во славу Бога» быстро испарялось.

Кроме того, восторженное и ясное настроение государя и непобедимая уверенность в почившем на нем благословении Божьем сменили прежний мистицизм.

Пражские лазареты пусты. Выздоровевшие вернулись в свои полки. Оставшихся раненых и больных было отдано распоряжение вывезти в герцогство Варшавское. Ирина непременно хотела ехать во Франкфурт, и их ждали со дня на день. Уже появился Евстафий Павлович в качестве квартирьера.

Пятый драгунский уже давно стоял во Франкфурте. Он вступил в него первым в составе гвардейской кавалерии и кирасир.

Князь Шварценберг и Меттерних непременно хотели, чтобы в качестве вождя и победителя первым вступил торжественно во Франкфурт император Франц, во главе своих войск. Но Александр разгадал тайну их «политического» маршрута и велел и своей, и прусской гвардейской кавалерии спешить во Франкфурт. Делая по пятидесяти верст в сутки, она опередила войска Франца. И Александр торжественно вступил в город накануне австрийского императора, которого он и встретил на другой день, но уже как своего гостя.

Добрый союзник страшно негодовал в душе на такое «коварство» русского императора и чувствовал себя обиженным.

Вслед за ними приехали и Готлиб с дочерью.

Новиков успел снять на окраине города целый домик, и все поселились вместе, опять как в счастливые времена в Бунцлау. Внизу жил Гардер с Гертой, а наверху три друга.

Счастье Герты омрачилось только боязнью предстоящего похода. Леоном во время этого бездействия вновь овладела бесконечная тоска.

В городе уже начался съезд, и он с ужасом ожидал минуты неизбежной встречи с Ириной и иногда думал, что было бы легче, если бы он и в самом деле был убит. Насколько мог, он старался не омрачать общего настроения и часто пропадал из дому по целым дням. Но едва ли не самым счастливым человеком был Гердер. После трудной, тяжелой жизни он нашел наконец покой, а, что главное, — судьба Герты была устроена. Он мог умереть спокойно. И часто поздно вечером, когда уже наступала тишина, он брал свою скрипку и переливал свою переполненную душу в звуки... И тогда его скрипка, казалось, пела молитвы..

Зарницын побывал по делам в штабе и случайно повстречал там князя Андрея Петровича Пронского. Князь почти совсем поправился и с женою уже с неделю жил здесь. Он был необыкновенно изумлен известием, что Левон жив. Спросил адрес и непременно хотел навестить его, а также усиленно звал к себе, говоря, что это очень обрадует его жену, которая так любит и ценит всех Бахтеевых.

Хотя Левон дал себе слово до последней возможности избегать своих светских знакомых, однако после этих слов его неудержимо потянуло в этот круг. Его сердце забило знакомую тревогу и, как он ни боролся с собою, желание что-то узнать пересилило и он в тот же день поехал к Пронским.

Княгиня Александра встретила его, действительно, с неподдельной радостью.

— Я никогда не хотела верить, что вас нет в живых, — говорила она, — это была бы такая несправедливость судьбы!

И, не ожидая расспросов, она обстоятельно рассказала Левону все, что знала. И о впечатлении, произведенном известием о его смерти, и о лазаретах Ирины, и о ней самой.

— Ваша прекрасная тетушка неузнаваема, — говорила она, — ее нигде, кроме лазаретов, не видно. Никуда не ездит, никого не принимает, даже нашего дорогого аббата. Даже больше, — понизив голос продолжала княгиня, — я знаю от аббата, что она не поехала на приглашение великой княгини, чем там были очень недовольны... Ваша тетушка словно решила порвать со светом и двором... Но мы с ней очень дружны... Вы знаете, ведь мой муж долго лежал после Кульма в ее лазарете... Их ждут не сегодня-завтра.

И княгиня продолжала оживленно говорить, перескакивая с предмета на предмет.

Из всех ее рассказов Левона поразила и взволновала только одна фраза: «она решила порвать со светом и двором»...

Их *tete-à-tete* прервал приход Евстафия Павловича. Он вошел с веселой любезной улыбкой, но, увидя Левона, вдруг остановился с раскрытым ртом и широко раскрытыми глазами. Он даже побледнел.

Княгиня не выдержала и звонко расхохоталась.

— Выходец! Выходец! — закричала она.

— Левон!.. Князь!.. Лев Кириллович! — едва приходя в себя, забормотал старик.

— И то, и другое, и третье, — весело отозвался Левон, подходя и обнимая Буйносова.

На глазах Евстафия Павловича показались слезы...

— Милый, голубчик, — действительно растроганный, произнес он, — как же так! Бедный Никита Арсеньевич постарел из-за этого на двадцать лет... Ирина как тень бродит. Какое счастье! Ведь они только сегодня приехали...

Мало-помалу Евстафий Павлович успокоился.

— Я ведь к вам только за этим и ехал, чтобы сказать, что наши приехали, — сказал он, обращаясь к княгине. — А теперь уж простите, и сам уйду, и его уведу. Радость-то какая!..

— Ну, что ж, уж Бог с вами на сегодня, — улыбаясь, ответила княгиня. — Идите, только нас не забывайте, — добавила она.

XVIII

Все это произошло так быстро, так неожиданно, что Левон не мог собраться с мыслями. И радость, и ревность, и любовь — все спуталось в его душе... Он не мог представить себе предстоящего свидания и не мог подготовиться к нему... Пока лакеи снимали с него шинель, Евстафий Павлович, сбросив шубу, стремительно взбежал наверх. Он чуть не сбил стоявших в дверях лакеев и ворвался в столовую. Бахтеевы и Гриша сидели за кофе.

Запыхавшийся Евстафий Павлович остановился на пороге и крикнул:

— Левон жив!

Разорвавшаяся бомба не произвела бы такого впечатления. Гриша вскочил, уронив стул.

— Жив? Где? — закричал он, подбегая к Буйносову.

Ирина откинулась на спинку стула и словно окаменела, неподвижно глядя на отца.

Князь оттолкнул чашку, опрокинул ее и встал.

Но прежде, чем Евстафий Павлович успел ответить, за ним показалось бледное лицо Левона.

Лакеи обратились в статуи. Первый опомнился Гриша и с радостным криком бросился обнимать Левона. Левон едва освободился из его объятий.

— Воскрес! Воскрес! — говорил он.

Никита Арсеньевич, обнимая его дрожащими руками, только и мог прошептать:

— Левон! Левон!!

Княгиня встала, облокотилась на стол и не замечала, как по ее лицу катились слезы. Ее первым движением было

обнять Левона. Это было бы так естественно и просто, но она вдруг ослабела и осталась на месте. Никогда еще мучительная любовь Левона не достигала такого напряжения, как сейчас, когда он видел ее такой слабой, беспомощной и прекрасной. Он сделал шаг... и вдруг в его душе со страшной ясностью представился сад, ночь, высокая фигура в плаще... Он весь застыл и, холодно поклонившись, едва прикоснулся губами к протянутой руке...

Расспросы посыпались на него, он едва успевал отвечать. Весть о его возвращении уже обежала весь дом. То и дело у дверей осторожно показывались любопытные головы.

— Войдите, кто хочет, — весело крикнул Никита Арсеньевич, — посмотрите на него.

В комнату сейчас же ввалилась целая толпа.

Впереди были Егор и Дарья. Старый князь оставил Егора при себе, и Егор как-то особенно сдружился с Дарьей.

Быть может, это происходило оттого, что Дарья была особенно близка к княгине, о многом смутно догадывалась и нередко, помогая раздеваться, передавала ей рассказы Егора о молодом князе.

Она заметила, что княгиня всегда внимательно ее слушала. Егор, со своей стороны, любил расспрашивать о княгине, точно тоже что-то чуя.

Левон встал и, когда Егор хотел упасть перед ним на колени, обнял его, поцеловал и тихо сказал:

— Егор, ты теперь вольный человек, и вся семья твоя вольная, и твоя будущая жена и ее семья.

— Ваше сиятельство, не надо, — плача и крестясь, сказал Егор, делая попытку снова опуститься на колени.

Левон не допустил его до этого.

Он сердечно поблагодарил остальных.

— А теперь, — приказал Никита Арсеньевич, — шампанского, да побольше!

Гриша все еще не совсем оправился. Он приехал вместе с Бахтеевыми и теперь жил у них, рассчитывая с завтрашнего дня начать поиски своего полка.

Бахтеев коротко рассказал о себе и подробно о Герте и Даниле Ивановиче, историю которых он узнал во всех подробностях.

— Так вот, бедняга, почему он был таким. Я так и подозревал, что тут не одна рана, — заметил старый князь. — Непременно, Левон, познакомь нас с его невестой. Трудно поверить, что она немка. А может быть?.. — и он лукаво подмигнул.

Ирина казалась очень утомленной и, извинившись, ушла.

— Княгиня очень переменялась, — сказал Левон.

— Да, — ответил Никита Арсеньевич, — она очень утомилась со своим лазаретом. Кроме того, эти ужасы, видимо, произвели на нее такое потрясающее впечатление, что она отказалась от всяких развлечений, отказалась от светских знакомств и даже от двора. Война кажется ей бессмысленной и ужасной. Акции отца Дегранжа, проповедывающего, в угоду некоторым, какую-то священную войну, упали очень низко. Этот аббат, улавливающий в сети католицизма наших дам, и не без успеха, целит очень высоко *ad maiorem Dei gloriam!*.. Я очень рад, что, по-видимому, Ирина ускользнула из его сетей. Это и еще нечто, в связи с этим, меня очень тревожило... — Старый князь нахмурился. — Потом, если ты считаешь свою тетку (по крайней мере, мог считать) безучастной к себе, — то могу сказать, что весть о твоей смерти вызвала у нее настоящее отчаяние.

Левон слушал, опустив голову... «Отчаяние могло произойти и от раскаяния, — думал он. — Все же она не могла забыть Петербурга...» И ему неотступно грезился сад... ночь и фигура мужчины...

Левон, заметя, что Никита Арсеньевич устал, попрощался...

— Я поеду с вами, — сказал Гриша, — пока вы одеваетесь, я буду готов.

И он побежал к себе одеться и распорядиться насчет лошадей.

Когда Левон проходил по полутемной гостиной, он увидел у окна Ирину. Были еще сумерки, и ее лицо казалось еще бледнее.

Она сделала шаг к нему.

— Князь, — начала она, — я хотела спросить вас, что значит ваше поведение?..

Она хотела говорить решительно, но голос ее дрожал.

Случилось то, чего и ждал Левон. Все прежние мучения с новой силой воскресли в его душе, и чем желаннее она казалась ему сейчас, тем больше ожесточалось его сердце. Мгновенно он вспомнил Петербург, недолгие дни кажущегося счастья, свои мечты накануне боя, незаслуженно холодную встречу в Карлсбаде, пренебрежение к себе в Праге и ночь... ужасную ночь... когда загорелись сигнальные огни на вершинах Богемских гор, словно указывая ему путь к смерти... И ни жалости, ни сострадания не осталось в его душе...

— Какое вам дело до меня, — тихим, злым шепотом сказал он, — мне, может быть, было лучше умереть...

Она стояла так тихо, что он слышал даже ее дыхание.

— Это не я, — продолжал он прерывающимся голосом, — крался ночью в Праге из вашего сада.

Она тихо вскрикнула, но осталась стоять на месте.

Он едва слышно рассмеялся злорадным смехом.

— Не беспокойтесь, — продолжал он, — ваша тайна в верных руках... Но, клянусь вам, я жалею, что жив! И ради своего сердца и ради чести Бахтеевых я бы предпочел видеть вас мертвой, чем...

Он резко повернулся и выбежал из гостиной...

Левон не поехал к дяде ни на другой, ни на третий день. Зато там побывали и Зарницын, и Новиков. Левон их ни о чем не расспрашивал, и они ничего не говорили. Только Новиков с тревогой посматривал на него. Гриша вернулся в полк, но остался жить у Бахтеевых. Старый князь ни за что не хотел расстаться с ним. Не хотела и Ирина. К нему все привыкли и все полюбили его. Все его звали Гришей, а прислуга «нашим офицером».

Новиков и Бахтеев почти все время сидели дома, не считая прогулок по городу да заездов в свой полк. Зато Гриша и Зарницын пропадали с утра до ночи. Зарницын и Гриша оба чувствовали себя счастливыми. Вышли награды, и оба они получили георгиевские кресты. Это были награды за Дрезден и Кульм. За Лейпциг еще не все были известны награды, за исключением высших. Всеобщее возмущение вызвало награждение Блюхера и князя Шварценберга орденом Георгия первого класса. Всем было памятно, как неохотно этот высший орден был пожалован покойному Кутузову. Барклай-де-Толли получил графский титул, а спасший сражение при Лейпциге Раевский был лишь произведен в полные генералы. Но, не задумываясь о других, Гриша и Семен Гаврилович ликовали. Утром они обыкновенно ездили с визитами, а вечера и ночи проводили в театрах, на балах или маскарадах.

Каждый вечер Франкфурт был иллюминирован. На торжественных спектаклях весь партер бывал занят королями, эрцгерцогами, герцогами, принцами и проч. Гриша никогда не видел ничего подобного и подробно описывал свои впечатления в длинных письмах домой.

Слухи сменялись слухами. Кто говорил о близком походе, кто о заключении мира. Из русских даже самые воинственные находили, что «народы уже освобождены», о чем говорилось в многочисленных воззваниях, а идти дальше уже значило освобождать Францию от ее императора, в чем, по-видимому, она не нуждалась.

ХІХ

Левон получил короткую записку от княгини.

«Мне надо говорить с вами. Я жду вас сегодня в девять часов вечера».

Целый день, получив эту записку, Левон бродил по городу. То он решал идти, то сегодня же уехать куда-нибудь, написав короткий и насмешливый отказ. Вид города раздражал его. Повсюду он встречал немецких офицеров. Если еще в Дрездене они поражали своей развязностью, то теперь, после Лейпцига, они совершенно разнуздались. Левон зашел в ресторан, но ушел, не кончив обеда. До такой степени ему были противны эти непрерывные крики «hoch!» и хвастливые рассказы о победах.

Время приближалось к девяти часам, и всякие колебания оставили его. Он решительно направился к дому Бахтеевых.

На его вопрос швейцар сообщил ему, что князь и Евстафий Павлович куда-то уехали «в параде» и дома одна княгиня.

Он нашел ее в маленькой гостиной, освещенной голубым фонарем. Этот свет делал ее лицо бледным до прозрачности. Она холодно встретила Левона и, не протягивая руки, начала:

— Благодарю вас, что вы пришли, князь.

Левон поклонился. Ее тон напомнил ему первое время их знакомства.

— Я пригласила вас не ради себя, а ради мужа, которого я безгранично уважаю, — продолжала она.

Левон весь похолодел. Он понял ее по-своему. Тяжело опустившись на мягкий пуф, он ответил упавшим голосом:

— Жестоко говорить это. Я уже сказал, что ваша тайна в верных руках, и пока я жив...

— Но вы не поняли меня, — усмехаясь, прервала его Ирина, — вы удивили меня в первую встречу своим поведением. Я, кажется, имела право спросить у вас объяснения, в котором вы не посмели бы отказать любому мужчине!.

Ее голос зазвенел. Левон вспыхнул, но промолчал.

— Но, — продолжала она, — я ведь только женщина. У меня защитники только ваш дядя и мой отец. И потому вы ответили мне грубым оскорблением...

Левон вскочил.

— Княгиня!..

— Я прошу вас выслушать, — надменно сказала Ирина, тоже вставая. — Я бы сочла для себя унижением объясняться и говорить с вами, но вы затронули честь моего мужа, и я не хочу, чтобы он сам защищал ее. Если бы он не был вашим дядей и стариком — вместо меня говорил бы он. Честь Бахтеевых стояла высоко, и если кто унизил ее, то это последний из Бахтеевых!

— Какое право имеете вы так говорить со мной? — пересохшими губами спросил Левон.

— Право моей чести, как женщины, — ответила Ирина. — Это право священнее прав родовой чести, о которой говорили вы. Хотя из рода Буйносовых были и царицы! — Говоря это, Ирина сама была похожа на царицу со своими горящими глазами и поднятой головой. — Честь вашего дяди надежнее в руках его жены, чем в руках его племянника, — дрожащим от обиды и гнева голосом сказала она. — Я не буду давать вам никаких объяснений! Вот прочтите это письмо и уходите.

Она взяла со столика рядом с ней письмо и протянула его Левону. Это было письмо великой княгини Екатерины Павловны.

— Берите же, — резко повторила она, видя, что Левон стоит неподвижно, упорно глядя на нее каким-то странным взглядом.

— Мне не надо этого письма, — словно с трудом произнес он, — мне довольно того, что я слышал.

— О, — насмешливо сказала она, — у меня нет желания вторично объясняться с вами, а это, конечно, потребуется, если вы не прочтете письма. Прочтите же!

Левон взял письмо и подошел ближе к свету. Ирина пристально, но безучастно смотрела на него.

Он долго читал и перечитывал это письмо. Наконец опустил руку с письмом и взглянул на Ирину непередаваемым взглядом нежности и отчаяния.

— Теперь дайте это письмо и уходите, — тихо сказала она.

Он машинально отдал письмо. Ирина спрятала его на груди.

— Простите, — услышала она его шепот

— Мне не надо этого, — ответила она, поворачиваясь. Левон смотрел ей вслед, не смея и не зная, что сказать. Она медленно подошла к дверям, покачнувшись, схватилась рукой за косяк, прикрытый портьерой, и, прижавшись к нему головой, тяжело зарыдала.

Левон подбежал к ней и хотел поддержать.

— Оставьте, оставьте меня, уйдите, — твердила она, рыдая.

Но он уже овладел ее руками и, покрывая их поцелуями, бессвязно говорил:

— Вы не уйдете так... Вы должны простить... Как я страдал... Я хотел умереть... Я искал смерти... Простите, простите...

Он почувствовал, что Ирина слабеет. Бережно поддерживая ее, он довел ее до кресла.

Она несколько успокоилась и сидела, закрыв лицо руками. А Левон все говорил. Он низко наклонился к ней. Он говорил ей о своих безумных мечтах о ней, о неотправленном письме, о ревности в Карлсбаде и Праге, о страшной ночи, о желании умереть, об отчаянной атаке на французскую батарею, где он надеялся найти смерть. Он говорил о том успокоении и чистой любви, которые снизошли в его душу во время болезни, и как при виде ее воскресли старые страдания и проснулась мучительная ревность.

Ирина опустила руки и слушала его с полужакрытыми глазами, со счастливой улыбкой на губах...

— Если бы я знала это! — едва слышно проговорила она. — А где же неотправленное письмо? — вдруг спросила она, подняв на него сияющие глаза.

Левон вынул из кармана бумажник, в котором всегда носил письмо.

— Вот, мне было жаль уничтожить его, — сказал он и с улыбкой добавил, — оно уже имело своих читателей. Когда я был ранен, французы рассмотрели мой бумажник.

Ирина взяла письмо и медленно развернула. Ее губы что-то шептали...

— А теперь, — совсем тихо спросила она, прочитав письмо, — вы не боялись бы умереть?..

— Теперь тоже боялся бы, — ответил он, — ведь я люблю...

Он прижался губами к ее руке и опустился на колени у ее кресла.

— Я хотела умереть, когда узнала, что вы, нет ты, — в невольном порыве сказала она, прижимаясь к нему, — что ты убит. Эти часы страданий изменили мою душу

Смертельно пораженная, я словно прозрела и стала ближе к Богу. И вдруг я поняла, что Его надо искать не в таинственных видениях чудес, не в загадочных и темных догматах, о которых говорит аббат, а здесь же, среди людей, совсем близко. А когда я увидела сотни страдающих и подумала о том, что за каждым из них свой мир страдания, я нашла в себе силы жить.

Левон прижался головой к ее груди и слышал, как бьется ее сердце, и все целовал ее руку.

— И я нашла свой путь, — говорила Ирина. Она выпрямилась и ласково отстранила Левона. — И этот путь, — закончила она, — единый верный путь для всех. Путь жертвы. И надо идти этим путем.

Она снова судорожно, крепко обняла голову Левона и прижала ее к груди. Потом оттолкнула и встала.

Он медленно поднялся с колен и глядел на нее безумными глазами.

— Но я люблю, люблю тебя, — сказал он, протягивая руки.

— А я разве не люблю тебя? — ответила она. — Мы не расстанемся, — нежно продолжала она, — ты всегда будешь чувствовать мою любовь. Я буду издали следить за тобой, думать о тебе, беречь тебя в моих молитвах. Я пойду за тобой. Если разгорится снова война, я, как прежде, буду идти за тобой, за нашими полками, и ты будешь знать, что я тут... А если, если ты будешь убит... я буду жить, пока хватит силы... Надолго ли, не знаю...

И она протянула вперед свои бледные, похудевшие руки. Он крепко обнял ее, но она вырвалась из его объятий.

— Нет! Никогда, Левон!..

Он сжал голову обеими руками и с горечью сказал:

— Да, честь князя Бахтеева надежнее в руках его жены, чем в руках его племянника.

Но, заметив страдальческое выражение ее лица, торопливо добавил:

— Прости, прости! Это не упрек.

Он опустился на стул. Ирина подошла к нему и взяла его за руку.

— Ты не должен страдать, — с невыразимой нежностью произнесла она и, подняв его руку, на один миг прижала ее к губам.

— Ирина! — воскликнул он, вскакивая, — ты мое солнце! Клянусь! Я буду для тебя всем, чем ты хочешь, и ты не увидишь никогда моих страданий!.

Она засмеялась счастливым смехом, взяла его под руку и, крепко прижавшись к нему, сказала.

— Женщина счастливее мужчины. Одно прикосновение, один взгляд могут ее уже сделать счастливой. Теперь пойдем. Я хочу в моем доме одна угощать дорогого гостя. Мы будем сидеть вдвоем за столом, как муж и жена.

Она тихо и радостно смеялась.

Сидя за столом, они шутили и смеялись, как дети, не думая о будущем, счастливые настоящим.

Никита Арсеньевич и Евстафий Павлович отправились сегодня на бал, который давал Меттерних от имени императора Франца всем съехавшимся принцам, но она отказалась ехать, хотя к ним заезжал сам Меттерних.

Ирина, смеясь, рассказывала об ухаживаниях Меттерниха.

— Он, кажется, ухаживал потому, — заметила она, — что думал то же, что и ты.

— Это, кажется, думали все, — немного нахмуясь, сказал Левон.

Ирина вдруг стала задумчива.

— Что с тобой? — тревожно спросил Левон.

— Я вспомнила Пронского, — ответила Ирина. — Он, наверное, думает то же. Его жена жаловалась, что он отпросился в армию и тем испортил себе карьеру

— Ты что-то очень жалеешь его, — качая головой, сказал Левон, — мне это не нравится. Он очень красив.

Ирина пристально взглянула на Левона и счастливо рассмеялась.

— Однако, — произнесла она, — не пора ли, милый племянник, перейти на почтительное «вы» со своей тетушкой.

— Только сегодня, — умоляюще произнес Левон, целуя ее руку.

— Только сегодня, — с тихой грустью повторила Ирина.

Через несколько дней государь уехал в Карлсруэ. Жизнь во Франкфурте постепенно замирала... Темные массы союзных войск, как черные тучи, ползли к заветным берегам Рейна..

Меттерних делал последние попытки заключить мир, но все уже чувствовали, что война будет и ничто не остановит железного хода судьбы. И, повинаясь таинственному предопределению, сам Наполеон разбивал последние возможности мирного исхода.

Холодный зимний ветер шумел в безлистных аллеях великолепного парка Мальмезона. Ветки высоких деревьев ударяли в большие окна дворца. Только немногие окна были освещены. Было счастливое время, когда дворец Мальмезон по вечерам сиял огнями. Целыми днями непрерывно подъезжали экипажи. В его залах собиралась блестящая толпа представителей иностранных государств, генералов и потомков древнейших фамилий Франции... Это было еще так недавно. Едва прошло десять лет, и теперь этот дворец обратился в жилище печали, слез и воспоминаний.

Здесь жила императрица Жозефина, подруга лучших дней славы победоносного генерала Бонапарте первого консула и императора Запада — Наполеона.

Хотя первый консул, сделавшийся императором, нашел, что для него тесен Мальмезон, и перенес императорскую резиденцию в Сен-Клу, этот дворец оставался любимым дворцом Жозефины. Во времена своего величайшего блеска она не переставала заботиться о нем и часто жила там. Обстановка дворца была чудом искусства и стоила миллионы франков, что не раз выводило из себя императора. Все, начиная с мраморных каминов и кончая стулом, являлось произведением искусства. Картины Гро, Жиродэ Герена украшали стены зал. Повсюду виднелись бюсты и портреты Наполеона.

В этот ненастный январский вечер 1814 года Наполеон в сопровождении только одного своего мамелюка Руста́на приехал проститься перед отъездом в армию с подругой былой славы и величия.

Несмотря на свои пятьдесят лет, Жозефина все еще была красива увядающей красотой. Ее высокая фигура по-прежнему оставалась гибкой и стройной, большие темные глаза креолки не утратили своего блеска, волосы — густоты. При отблеске камина и освещении люстр со свечами под матовым стеклом ее лицо, конечно, не без помощи художественной косметики, казалось лицом молодой женщины. И лишь тонкие морщинки у глаз да опустившиеся углы губ говорили о ее увядании.

Она сидела в кресле, сложив на коленях свои точеные, обнаженные до локтя руки. Рядом на диване лежала небрежно брошенная треуголка императора, а на ковре — его разорванные перчатки.

Император никогда не снимал перчаток, а всегда рвал их, запуская большой палец под ладонь...

Наполеон крупными шагами ходил взад и вперед.

— Нет, — говорил он, делая резкие жесты маленькой рукой, — мы еще поборемся, и они еще узнают тяжесть этой руки! Завтра я уезжаю в армию. И начнется последняя, страшная борьба.

— Отчего, Наполеон, ты не заключил мира, когда его тебе предлагали? — робко спросила Жозефина.

Наполеон остановился перед ней и, ударяя правой рукой по ладони левой, сказал:

— Если бы я был наследственным монархом, я бы не колебался ни одной минуты и согласился на все их требования. Но тронем я обязан только себе, своей славе, своим победам. Я создал новую Францию — и я ее император. С уничтожением этой Франции — я перестану быть императором! И я скорее погибну под развалинами колоссального здания империи, чем соглашусь на мир, отнимающий у меня даже наследие директории! Моя династия должна наследовать империю...

— Династия, династия, — с горькой улыбкой начала Жозефина. — Я знаю, что со времени смерти несчастного малютки Наполеона-Шарля, сына моей Гортензии, ты начал думать о династии...

Мрачно нахмурясь, слушал Наполеон.

— Ради этого, — продолжала Жозефина, — ты отрекся от своего счастья. Не хмурься, Наполеон, я не требовала от тебя верности. Я была терпеливой женой и не докучала тебе... Но ты знаешь так же хорошо, как и я, — суеверно продолжала она, — что наши судьбы тесно связаны, что, расставшись со мною, ты потерял удачу... Это знает вся Франция!..

— Моя звезда еще не погасла, — сказал Наполеон.

Он подошел к окну и откинул портьеру, словно на самом деле хотел увидеть сейчас на небе свою ослепительную звезду. Но ни одна звезда не сияла на темном небе, покрытом зимними тучами. Он опустил портьеру и нетерпеливо снова стал ходить по комнате.

— И что приобрел ты своей женитьбой на австриячке? — продолжала Жозефина. — Твой тесть в числе твоих врагов... Я чувствовала грядущие беды, когда не хотела развода... Посмотри, после женитьбы дела в Испании стали хуже, в России тебя постигла неудача, Германия потеряна для тебя, и враги перешли уже Рейн... Твои братья уже лишены престолов, и ты... — Она за-

крыла лицо руками и добавила. — Я боюсь, боюсь, Наполеон!

Суеверные воспоминания, старые предсказания, — гадалки с острова Мартиники и Ленорман, заключенной в тюрьму, — что его судьба находится под влиянием звезды Жозефины, овладели императором.

— Все это вздор, — сказал он наконец, — они мне не страшны...

Но было видно, что слова Жозефины произвели на него впечатление. Не теми ли чувствами и желанием обмануть рок были вызваны его лихорадочные, расточительные заботы, его трогательное старание сделать перемену положения Жозефины после развода менее заметной. Он объявил, что она остается коронованной императрицей, он окружил ее блестящим штатом, подарил ей дворцы и замки, назначил ей три миллиона франков в год и, кроме того, платил все ее долги. Ее желания стали законом.. но он не мог обмануть подстерегающего рока...

Он сел рядом с ней, отвел от ее лица руки и нежно сказал:

— Не предавайся мрачным предчувствиям, Жозефина. Не расстраивай меня перед великим делом своими слезами. Ты знаешь, я никогда не мог видеть равнодушно твоих слез.

Жозефина улыбнулась сквозь слезы.

— Вспомни это, — продолжал он, касаясь кольца на мизинце ее руки, — и верь.

Это было то кольцо, которым молодой генерал Бонапарт обручился с вдовой Богарне, Жозефиной-Марией-Розои, почти двадцать лет тому назад. На этом кольце, с которым она никогда не расставалась, был выгравирован девиз честного и суеверного генерала: «au destin».

Наполеон снова встал.

— Я не обманываю себя, Жозефина, — начал он, — мое положение отчаянное. Против шестисот тысяч союзников я не могу выставить даже ста тысяч. Солдаты мои молоды. Мои старики полегли в снегах России и равнинах Эльбы. Но я верю в свою звезду, и только эта вера да бездарность и безумие Блюхера, да бездарность и трусость князя Шварценберга могут спасти меня. Я оглушу их молниеносными ударами, заставлю их трепетать и тогда за ключу мир, достойный меня и Франции и гарантирующий права Европы..

Он прошелся по комнате и остановился у камина. Красный отблеск падал на его лицо, мрачное и озабоченное

Смотря на пламя камина, он медленно начал. Очевидно, он чувствовал потребность высказаться перед единственным человеком в мире, с которым он мог теперь говорить откровенно. Он не мог пугать мрачными мыслями свою жену, не мог быть откровенным и со своими маршалами, уже усталыми и жаждущими мира. Только здесь он мог сказать все, что тяготило его душу.

— Предчувствия! Предчувствия! Они овладевают иногда и мной. Но я подавляю их. Иногда мне кажется, что я теряю власть над судьбой. Смерть Дюрока, моего единственного друга, похожа на гримасу судьбы... Везде, где меня нет, дела идут плохо. Мои маршалы устали. Они хотят мира. У них у всех есть жены, дети, дворцы, охота, деньги!.. Они хотят наслаждаться! Разве у меня нет тоже дворца, жены, сына?

Он резко повернулся и мрачно и тихо добавил:

— В моей армии ведут честную игру только молодые офицеры, еще не заслужившие себе герцогских и княжеских титулов! Теперь прощай, Жозефина, — закончил он, крепко обняв ее.

Со сдержанным рыданием Жозефина прижалась к нему.

— Ну, ну, — растроганным голосом произнес Наполеон, ласково отстраняя ее.

— Разве мы не увидимся, что ты говоришь прощай, а не до свидания? — спросила Жозефина. Ее суеверный ум принял это слово как дурное предзнаменование...

— Разве я не вернусь в Париж? — сказал Наполеон.

Он еще раз обнял Жозефину, взял шляпу и быстро вышел, оставив ее в полубесчувственном состоянии от горя и отчаяния.

В большой маршальской зале Тюильрийского дворца в глубоком молчании стояли блестящие ряды офицеров парижской национальной гвардии. Сегодня их пригласил император. Лица были сосредоточены. Все взоры устремлены на дверь. Но вот колоссальная дверь распахнулась, и в залу вошел император с императрицей. За ними следовала госпожа де Монтескью с трехлетним римским королем на руках. Кудрявый красавец ребенок с любопытством смотрел на блестящую толпу офицеров и что-то лепетал.

Наполеон остановился, окинул всех быстрым взглядом и звучным голосом сказал:

— Офицеры моей гвардии! Враг вступил на священную землю Франции! Неприятельские знамена развеваются на

берегах Рейна! Неприятельские кони топчут французские нивы. Но никогда Франция не была малодушна. Она поднимется, грозна и непобедима! Я еду в армию, чтобы стать во главе моих бесстрашных легионов, и с помощью Бога мы отбросим неприятеля за пределы Франции!

Офицеры напряженно слушали.

— Но здесь, — продолжал император, и голос его дрогнул, — но здесь я оставляю самое дорогое для меня.

Он взял из рук г-жи Монтескью римского короля и, высоко подняв его, продолжал:

— Здесь я оставляю императрицу-регентшу и римского короля. Мужеству национальной гвардии я вверяю мою жену и сына!

Он прижал левой рукой к груди ребенка и правой взял за руку Марию-Луизу.

Оглушительные, восторженные крики потрясли стены маршальской залы:

— Да здравствует император! Да здравствует римский король! Да здравствует императрица! Да здравствует Франция!

Ряды офицеров расстроились. Некоторые бросились вперед, чтобы поцеловать руки римского короля. Другие потрясали обнаженными саблями, словно клянясь... Многие плакали...

Только на розовом, полном лице Марии-Луизы сохранялось обычное апатичное выражение.

Наступал час отъезда. Долго Наполеон не мог выпустить из объятий своего сына. Он нежно прижимал к груди его кудрявую головку, целовал его мягкие кудри, ясные глазки. Он говорил ему тысячи нежностей и давал самые невероятные обещания. Ребенок крепко прижимался к нему и гладил ручонками его по лицу...

В последний раз поцеловав сына и обняв жену, Наполеон поспешил уйти.

Небо было покрыто тучами, порошил снег, когда он выезжал из Парижа, томимый мрачными предчувствиями. Его сердце сжималось при воспоминании об оставленном сыне.

— Разве я не вернусь в Париж? — повторил он себе слова, сказанные им Жозефине.

Да, ты еще вернешься в Париж, сказочный человек! Ты вернешься еще раз, но ты не найдешь уже нежной подруги

лучших дней твоей славы, чья судьба таинственными нитями переплелась с твоей, ты не увидишь больше никогда, никогда кудрявой головки римского короля.

Никогда!..

XXI

Перейдя Рейн у Майнца и Базеля, Силезская и Главная армии вторглись во Францию, защищенную по всему течению Рейна едва семьюдесятью тысячами человек.

Перед тяжелой лавиной трехсоттысячной громады союзных сил французские войска отступали с берега Рейна к Шалону на Марне.

Блюхер, теперь уже фельдмаршал, «дорвавшись» наконец до ненавистой Франции, конечно, решил немедленно идти прямо на Париж. По ночам его гусары и уланы освещали ему путь горящими французскими деревнями... Беззаботно и смело дошел он до Бриенна, но здесь был настигнут самим Наполеоном. Блюхер по обыкновению пренебрег картами и не знал местности, а Наполеону, проведшему в Бриенне, в военной школе, свое детство, был известен каждый кустик, не говоря уже о несоизмеримости дарований. Бой начался днем, а к ночи Силезская армия была уже разгромлена, сам «победитель Наполеона» (каковым считал себя почему-то Блюхер после Лейпцига) едва успел спастись со своим штабом и с остатками своих войск бросился на соединение с другим «победителем Наполеона», князем Шварценбергом, беспомощно двигавшим по всем направлениям колонны своей армии..

В главной квартире в Шомоне, где находился и русский государь, жизнь кипела, как в котле. Интриги сплетались клубком. Военными действиями Шварценберга руководил Меттерних, в явном противоречии с государем. Государь торопил князя, а Меттерних под шумок сдерживал. По его мнению, Пруссия становилась опасной Австрии, и окончательное ослабление Франции, где царил зять его императора, могло бы передать Пруссии гегемонию в Европе. Глухое раздражение царило в отношениях между союзниками. Меттерних склонил на свою сторону и Англию, которая считала себя уже удовлетворенной и которой дорого стоило содержать коалицию. Лорд Кэстльри требовал только отнять еще у Наполеона Антверпен.

В конце концов Меттерних добился своего. В Шатильоне на Сене был открыт конгресс. Император Александр неохотно согласился на это и дал своему уполномоченному графу Разумовскому тайную инструкцию не заключать мира без особого разрешения. В этом он совпал со своим великим соперником. Наполеон поступил в том же роде. Он не дал вовсе никаких полномочий своему представителю, герцогу Виченцкому...

При таких условиях открылся этот конгресс «на всякий случай», между тем как военные действия продолжали идти своим порядком.

Блюхер положил им удачное начало.

По узкой дороге медленно двигался отряд всадников. Слева тянулся густой лес, а справа болотистые луга, покрытые талым снегом. Падал снег пополам с дождем, и дул пронзительный ветер. Вся даль казалась завешенной мутной серой пеленой. Дорога постепенно поднималась на холмы. Солдаты кутались в легкие серые плащи. Усталые лошади тяжело ступали по глубокому тающему снегу. Впереди ехал молодой офицер. В этом офицере с суровым, обветренным лицом, с мрачно нахмуренными бровями над холодными пронизательными глазами с трудом можно было узнать изящного любезного виконта Жана де Соберсе, частого гостя старого князя Бахтеева. Он много перенес со времени своего бегства из России со стариком Дюмоном. Дюмон поселился в Париже, а виконт стал в ряды армии. Охваченный общим энтузиазмом Франции, доходившим до того, что замороженные своим императором французы искренно считали его поход в Россию победоносным, Соберсе сперва глубоко верил в победу императора. Первые успехи подтверждали эту уверенность. Первый удар нанес Кульм, а дальше день за днем исчезала эта уверенность. Трепетавшие недавно перед императором государи Германии уже искали случая изменить ему и после лейпцигского погрома оставили его... Неприятель уже во Франции... Недавние союзники и вассалы, как новые гунны, истребляют все на своем пути, не щадя ни детей, ни женщин, ни стариков, поджигая и грабя мирные деревни. И только те не запятали себя насилиями и разбоями, кто, казалось, имел больше всех оснований совершать их, мстя за свою родину. Только русские войска не считали своими врагами мирное и безоружное население.

Бешенство и отчаяние охватывали душу Соберсе. Он предчувствовал уже гибель Франции. Он хорошо знал

силы Франции и силы всей Европы, ополчившейся на нее, чтобы надеяться на победу, несмотря на весь гений императора... Истощенный двадцатилетней гигантской и победоносной войной, народ уже не мог оказать того сопротивления вооруженной Европе, которое двадцать лет тому назад удивляло мир... Соберсе уже видел страшные следы, оставляемые за собой немецкими полчищами, особенно прусскими войсками Силезской армии фельдмаршала Блюхера. Но и имя Соберсе становилось известным прусским гусарам. Не раз среди их кровавого торжества в каком-нибудь беззащитном местечке он падал, как гром, им на голову. И его суд был короток. Ни один насильник не находил у него пощады.

Соберсе совершил глубокую разведку вдоль Ажуйского леса. Растрепав армию Блюхера, Наполеон занял своими главными силами позиции от Бриенна до Ла-Ротьера между путями, ведущими на Париж по долинам Сены и Марны.

Неприятельские колонны двигались до такой степени беспорядочно и безо всякого плана, что не было возможности предвидеть их направление. Наполеон был в недоумении. Недостаток кавалерии и непроходимые дороги чрезвычайно затрудняли разведку. Появление самого Наполеона у Бриенна, в свою очередь, тоже было совершенно неожиданно для союзников. Шварценберг сейчас же растерялся и принял самое пагубное решение — выжидать. Если бы ему предоставили полную свободу действий, то, несмотря на чудовищную несоизмеримость сил, дело союзников было бы проиграно, Главная армия была бы уничтожена по частям и отброшена за Рейн, и Наполеон мог бы диктовать условия мира. Поставленные на втором плане, русские генералы доходили чуть не до открытого неповиновения, видя неминуемую гибель русских под командой пруссаков и австрийцев. Наконец в действия австрийского фельдмаршала вмешался Александр и в бурную ночь приехал в главную квартиру князя в Бар-сюр-Об; с его приездом было решено начать наступление.

Отряд Соберсе осторожно продвигался вперед. Они ехали уже довольно долго в полной тишине, когда услышали с юга из-за холмов совсем близко частые ружейные выстрелы. Отряд понесся на выстрелы. Доскакав до крутого подь-

ема, Соберсе остановил отряд и, велев спешиться двоим егерям, отправил их на разведку, а сам остановился у подножия холма. Выстрелы затихли, и снова наступила тишина. Разведчики исчезли в густом орешнике, покрывавшем холм.

Соберсе закурил трубку, слез с лошади и сел у дороги на пень. После Лейпцигского сражения он все время чувствовал себя словно подавленным. Его разум и его воображение не могли справиться с тем страшным поворотом судьбы, который совершился в последние полтора года.

Но Соберсе знал и чувствовал одно: что в славе или величии, поражении или победе, в горе или счастье он никогда не оставит своего императора.

Разведчики скоро вернулись и привели с собой мальчика лет десяти. Они нашли его горько плачущим в чаще орешника. Немцы в деревне. Бедный мальчик дрожал. Немцы вошли в деревню. Их офицеры заняли дом господина кюре. Потом они вывели господина кюре на улицу и расстреляли его у стены церкви. Потом солдаты бросились по домам, беспорядочно стреляя, требуя денег и вина... Ворвались и к ним в дом. Отца ударили прикладом по голове, мать потащили за волосы в погреб...

— Как звать тебя? — спросил Соберсе.

— Жак, господин капитан, — ответил мальчик, плача.

— Не плачь, Жак, — со странной улыбкой сказал Соберсе. — Мы утешим тебя; ты, наверное, знаешь, как можно подойти к деревне незаметно со стороны Ажуйского леса.

Мальчик радостно закивал головой.

— О, господин капитан, — восторженно сказал он, и его глаза высохли, — я знаю дорогу. Я выведу вас к самому дому господина кюре из леса. Но, — добавил ребенок серьезно, оглядываясь, — вас мало, господин капитан, их не меньше ста.

— Ну, что ж? — улыбнулся Соберсе. — Разве ты думаешь, что один драгун не стоит четырех немцев?

Раздирающие душу крики неслись почти из каждого дома. Бездна, но отчаянная борьба происходила во дворах и на единственной улице деревни. Старики и подростки с голыми руками набрасывались на хорошо вооруженных немцев, защищая своих жен и дочерей. Через выбитые рамы немецкие солдаты выбрасывали убогий крестьянский скраб. Разбивали сундуки, вспарывали тюфяки,

ища денег. Из погребов выкатывали бочонки сидра и холодного вина, ловили домашнюю птицу, закалывали поросят и телят. И вдруг неожиданно, покрывая на мгновение отчаянные вопли, пронесся грозовой крик:

— Вперед! Смерть разбойникам!

И французские конные егеря бурей ворвались с двух сторон в деревню. В одно мгновение находившиеся на улице немцы были изрублены. Спрыгнув с коней, егеря бросились по дворам. Обезумевшие, застигнутые врасплох немцы гибли, не успевая оказать сопротивления, под бешеными ударами сабель. Кто успевал, бросал оружие и поднимал руки вверх, но разбирать не было времени. С тремя человеками Соберсе ворвался в дом кюре. Недалеко от крыльца с раскинутыми руками лежал труп старого кюре. Седые волосы его были в крови и грязи, но лицо, спокойное и ясное, с полуоткрытыми глазами, было обращено к небу...

Двое немецких офицеров едва успели вскочить.

— Сдавайтесь! — закричал Соберсе, поднимая саблю.

Вместо ответа раздался выстрел, но в ту же минуту выстреливший немец упал с разрубленной головой.

Другой попытался выскочить в окно, но был схвачен. Его толстое лицо с низким лбом, обрамленным жесткими рыжими волосами, с щетинистыми усами, имело выражение трусливой злобы. Два егеря не очень деликатно держали его за руки.

— Кто вы такой? — резко спросил Соберсе.

— Я поручик Рейх, — ответил немец, — это единственное, что я скажу вам, больше я не отвечу ни на один вопрос.

— Я вас буду судить, поручик Рейх, — сурово сказал Соберсе. — Вы расстреляли кюре, вы отдали деревню на разграбление вашим солдатам.

— Приговор я знаю, — хриплым голосом возразил Рейх, побледнев.

Он уже овладевал собою и держался мужественно.

— Тем лучше, — холодно сказал Соберсе, поворачиваясь.

— Я хотел еще сказать вам, господин капитан, — установил его Рейх, — что на вашем месте я поступил бы так же. И в свое время я не отступал от этого правила. Я ведь был в отряде майора Люцова, — добавил он со злой улыбкой.

— Ну что ж, — пожал плечами Соберсе, — вы пожнете то, что посеяли...

Из всего немецкого отряда уцелели, кроме Рейха, только трое. Пруссак, баварец и саксонец. Со связанными за спиной руками они стояли бледные, исподлобья глядя злыми глазами.

Соберсе вышел на крыльцо. Около него очутился маленький Жак.

— Вот он! Это он! — кричал Жак с горящими глазами, указывая ручонкой на пруссака. — Это он ударил моего отца прикладом и за волосы тащил мою сестренку. Это он. Убийца! Убийца! Убийца! — закончил он, грозя кулачком немцу.

Соберсе положил руку на голову ребенка.

— Дитя, уйди, тебе здесь нечего делать, — сказал он, — но когда вырастешь — не забудь того, что видел. Иди.

Ребенок послушно повернулся.

— Но ведь вы накажете их, господин капитан? — уже робко спросил он.

— Иди, иди, дитя, — повторил Соберсе.

Медленно, оглядываясь, ушел Жак. На крыльцо вывели Рейха. Соберсе подозвал капрала.

— Допросили пленных? — спросил он.

— Допросили, господин капитан, — ответил капрал. — Они из Силезской армии. После сражения при Бриенне они ничего не знают об армии. Она разбита и бежит разными дорогами...

Соберсе кивнул головой и тихо сказал несколько слов капралу. Потом вернулся в дом кюре. Проходя мимо Рейха, он отдал ему честь. Рейх угрюмо посмотрел на него.

Соберсе встал у открытого окна. Он был бледен. Темные брови были нахмурены. Губы плотно сжаты. Он неподвижно стоял у окна, вытянув шею, прислушиваясь. Медленно текли мгновения. Но вот раздался короткий залп. Соберсе отшатнулся от окна и дрожащей рукой отер выступивший на лбу пот...

XXII

Блюхер был в восторге. По настоянию Александра было решено дать Наполеону сражение у Ла-Ротьера и командование в бою армией поручено Блюхеру, хотя главные силы составляли русские войска Сакена, Олсуфьева, Васильчикова, Раевского. Но русские генералы уже привыкли к это-

му, и угрюмый Сакен уже готовился, как при Кацбахе, спасти армию от стратегического гения прусского фельдмаршала.

Хлопьями валил густой снег, и холодный ветер нес его в лицо русским войскам, первыми бросившимися в бой на глазах государя, стоявшего на высоте у Транка. За густой пеленой снега ничего не было видно. Только слышался грохот орудий, гремели барабаны, раздавались крики «ура» и звуки музыки и песни. Это кавалерия Васильчикова с барабанным боем и музыкой летела через топкие поля на неприятельские батареи в атаку на Ла-Ротьер, и с ружьями наперевес за ней с лихой песней беглым шагом спешил Днепровский полк.

Блюхер махал саблей и кричал проходящим войскам:

— Vorwärts Kinder! Paschöl! Paschöl!

Последнее словечко было обращено к русским войскам, которым, по мнению фельдмаршала, было особенно драгоценно слово его одобрения, да еще «на родном языке». И он особенно громко выкрикивал:

— Paschöl! Paschöl!

Но русские солдатики, очевидно, не оценили забот фельдмаршала, потому что в их рядах можно было слышать довольно нелестные отзывы вроде того: «Сам пошел!.. Долго ли нам спасать еще твою старую шкуру? Нам бы своего надо... пошел! пошел!» — передразнивали его солдаты, некоторые добродушно, некоторые с озлоблением.

Пятый драгунский с гусарами и гвардейцами Олсуфьева уже в темноте отчаянным натиском овладел Ла-Ротьером. Войска Сакена уже преследовали Виктора, на левом крыле русско-австрийские войска опрокинули Мармона. Приближались резервы великого князя Константина, Милорадовича и Раевского, спешил корпус Коллоредо. На 37 тысяч Наполеона черной тучей надвинулись 130 тысяч союзников...

Соппротивление было невозможно. Наполеон отступил к Труа. Победа, несомненно, принадлежала русским. До поры до времени и австрийцы, и пруссаки признали, что честь победы принадлежит русским войскам, но под предводительством фельдмаршала Блюхера. Наконец-то Блюхер услышал слова, так долго им жданные. Александр в главной квартире при всех назвал его «победителем Наполеона»

Редко видели Александра таким радостным. Первая победа над Наполеоном во Франции принадлежала ему. И на глазах всех, никем не оспариваемая.

Сакен закончил своей боевой рапорт словами: «В сей достопамятный и великолепный день... Александр может сказать: «Я даю вселенной мир».

На русских генералов и офицеров посыпались щедрые награды. И Александр открыто выразил свою заветную мысль: Наполеон должен быть лишен престола.

Со своей блестящей и шумной свитой фельдмаршал Блюхер проводил ночь в Бриенском замке. Это доставляло ему особо острое удовольствие. Здесь Наполеон провел свое детство и отрочество. По аллеям этого сада он бродил одиноким и нелюдимым мальчиком, потом сумрачным юношей. В этих широких коридорах и просторных залах еще, казалось, жило эхо его шагов. Здесь он бывал уже императором, встречаемый безумными восторгами воспитанников Бриенской школы. Здесь все на каждом шагу напоминало его. Портреты, бюсты, картины его подвигов и подвигов французских войск.

Шумной, полупьяной ватагой бродили по залам и коридорам немецкие офицеры.

В большом парадном зале за столом, уставленным бутылками и закусками, сидел в расстегнутом мундире фельдмаршал Блюхер. Рядом с ним поместился его адъютант барон фон Гарцифельд. Офицеры со стаканами в руках орали «Noch!» в честь «победителя Наполеона». Блюхер пил стакан за стаканом.

— То ли будет еще, дети! Завтра я пойду на Париж, прямой дорогой, черт их возьми.

— На Париж! На Париж! — кричали, чокаясь, офицеры.

— А там, дети, я устрою вам праздник, — смеялся фельдмаршал. — Вы увидите, как взлетит на воздух Иенский мост. И еще кое-что! Париж не скоро забудет нас. Так ли, дети?

— Долой Париж! Долой корсиканского разбойника! Повесить его! — орали пьяные голоса.

— Только бы захватить его нам, — вздохнул Блюхер.

— Вот ему! — крикнул молодой лейтенант Шток.

Раздался выстрел, и пуля пробила портрет императора, висевший на стене. Это словно было сигналом.

— Смерть кровопийце! Смерть французам! — заревели голоса.

Раздались выстрелы, офицеры с саблями бросились на портреты и картины. Полетели разбитые в куски мраморные и гипсовые бюсты. Изрубленные картины были сорваны со стен и брошены в камин. Обезумевшие офицеры срывали портреты, в бешенстве рубили мебель.

— Довольно, довольно, дети, — кричал фельдмаршал, покачиваясь на ногах, — вы только поймите. Только поймите мне его...

— Товарищи, идем, я покажу вам Бонапарта, когда он был в Египте, — пронзительно закричал молоденький беззусый гвардеец фон Киттер. — Идем...

Офицеры шумной толпой последовали за ним. Пошел и Блюхер, поддерживаемый Гарцфельдом.

Киттер привел их в огромный кабинет — библиотеку-музей естественной истории. По стенам тянулись шкафы с редкими книгами, большие столы-витрины хранили под стеклом драгоценнейшие коллекции в мире, образцы флоры и фауны. В некоторых хранились древнейшие сосуды, привезенные из Египта... С потолка на толстой веревке свешивалось чучело гигантского нильского крокодила.

— Вот он! Вот он! — указал на него Киттер.

— А вот мы его сейчас, — закричал Шток и, подпрыгнув, перерубил саблей веревку, придерживавшую крокодила.

Раздался грохот и звон разбитого стекла. Чудовищное чучело упало на драгоценные витрины.

Со смехом и шутками со всех сторон набросились на него офицеры. Они рубили и топтали чучело, перебрасывая его по всей комнате с громким хохотом, «подобным хохоту каннибалов», как выразился русский современник-историк и почти очевидец. Звон стекол, шум опрокидываемых витрин, крики, циничные ругательства наполняли комнату. Великолепные фолианты были выброшены на пол, разбросанные коллекции валялись под ногами. Наконец эти забавы всем наскучили, и компания вернулась доедать вино...

Оргия продолжалась до утра.

Но утром веселое общество спугнули. Приехали адъютанты государя — приготовить для императорской квартиры помещение. Когда адъютант государя, полковник Михайловский-Данилевский, вошел к Блюхеру, прусский фельдмаршал хотел быть любезным, но его язык заплетался, и он едва стоял на ногах...

XXIII

После сражения при Ла-Ротьере Наполеон отступил сперва к Труа, а потом к Ножану; союзные армии двигались за ним. Их главная квартира расположилась в Труа, и город тотчас наполнился дипломатами больших и малых дворов, экс-министрами княжеств и герцогств, едва заметных на картах Европы, и толпою «лучших патриотов Франции», верноподданных его величества короля Людовика XVIII, эмиссарами и агентами этого самозванного короля и его брата герцога д'Артуа, успевшего за двадцать лет бродяжничества по Европе и пресмыкательства при чужих дворах обратиться почти в авантюриста. Как вышедшие из могилы призраки мрачного прошлого, казавшегося теперь бесконечно далеким, окруженные такими же живыми мертвецами, как сами, они стояли на рубеже проклявшей их Франции. Ничего не забывшие и ничему не научившиеся, они предъявляли права на наследие их несчастного брата, тайными врагами которого были при его жизни и которого покинули в минуту опасности, и опозоренной их гнусными памфлетами еще более несчастной королевы... С самого вступления союзных армий во Францию их приспешники, как шакалы, чуя добычу, следовали за главной квартирой. Они обивали пороги приемных королей и императоров, военачальников и дипломатов, хлопоча о «святом» деле Бурбонов», разжигая ненависть к «забывшей свой долг» Франции и распространяя бесстыдные памфлеты, от которых приходил в восторг их король, о Бонапарте, его матери, сестрах и братьях... Среди этих достойных слуг Бурбонов был огромный выбор людей всяких назначений, начиная с каких-нибудь Монморанси, Ноайль, Монтескью, принятых при всех дворах, и кончая подонками парижских трущоб, наемными убийцами, питомцами галер... Как редкое явление, попадались среди них люди высокого благородства, странно живущие душою в эпохе Людовиков. Словно жизнь и история остановились для них в роковой для них день 14 июля 1789 года, когда пала твердыня Бастилии — символ старого режима...

Маркиз д'Арвильи, постоянный гость петербургских великосветских салонов, тоже поспешил приехать в главную квартиру, лишь только до Петербурга дошла весть, что война переносится на берега Рейна. Его влекло и желание увидеть родную землю, и тайная надежда встретиться с сыном, и мечта увидеть на престоле Бурбонов, от чего он

ожидал великих благ, в виде возврата конфискованных еще директорией родовых земель.

У члена муниципалитета города Труа господина де Брольи, по случаю приезда из Парижа влиятельных роялистов, собралось общество людей, преданных делу Бурбонов. Сам де Брольи, высокий и представительный пожилой человек, имел довольно темное прошлое. Во времена консульства он навлек на себя подозрения в участии в заговоре против первого консула, но сумел увернуться благодаря поддержке министра полиции Фуше, ныне герцога Отрантского, с кем он делил его позорную молодость. При империи де Брольи выказывал себя самым пламенным сторонником императора, а со времени похода в Россию сблизился с роялистами, в рядах которых нашел и Фуше, и многих других старых знакомых.

У де Брольи собрались некоторые окрестные дворяне, д'Арвильи и двое неизвестных, только что прибывших из Парижа. Никто не знал их. Де Брольи, знакомя с ними, просто говорил: «Уполномоченные из Парижа», — причем одного называл бароном, другого — шевалье. Потихоньку де Брольи говорил своим гостям, что эти лица приехали в главную квартиру для очень важных и тайных переговоров с Меттернихом и графом Нессельроде. Один из них, барон, видимо, наиболее влиятельный, имел вид дворянина и держался с достоинством. Другой же, шевалье, тщедушный, с острым лицом и бегающими беспокойными глазами, производил отталкивающее впечатление. Что-то хищное и лукавое виделось в его лице висельника.

Этот шевалье все больше сидел в углу, прислушиваясь и подозрительно всматриваясь в присутствующих. Барон слушал равнодушно, с легкой улыбкой на губах.

Злобой дня служил вчерашний прием императором группы роялистов во главе с де Брольи.

Маленький, толстый виконт де Сомбре, местный незначительный дворянин, с жаром говорил:

— Русский император, можно себе вообразить, насколько не сочувствует законным королям Франции. Я, признаться, ожидал иного. И, наконец, он просто был не любезен к нам. Когда я начал говорить о великом деле...

— Виноват, начал говорить я, — прервал его де Брольи.

— Но ведь я тоже говорил, — обиженно заметил Сомбре и продолжал. — Представьте себе, русский император прервал нас словами: «Я не преследую никаких династических целей, — это дело самих французов. И

притом, прежде чем говорить о Бурбонах, надо свергнуть Наполеона, а этого еще нет». Клянусь Богом, это его собственные слова.

Де Брольи пожал плечами.

— В настоящее время, — начал он, — русский император не на стороне Бурбонов.

— Да, — заметил д'Арвильи, — меня поразили слова, сказанные им барону Жомини. Вам известно, что во избежание возможных недоразумений, когда недавние враги стали в ряды наших армий и произошла путаница, австрийцы стреляли в баварцев, русские в саксонцев и так далее, было приказано всем союзникам носить на рукаве белую перевязь. Так вот барон Жомини позволил сказать императору, что это приказание принято как сочувствие к Бурбонам, так как белый цвет — цвет Бурбонов. Если бы вы видели пренебрежительно-удивленное выражение лица Александра, когда он сухо сказал Жомини: «Но какое мне дело до Бурбонов!» — то вы бы поняли, что со стороны русского императора поддержки ожидать нечего. Если он свергнет Наполеона, династический вопрос будет решен согласно воле народа.

Барон, молча слушавший, вдруг встал и громко сказал:

— В таком случае он должен узнать, что это воля народа, и он узнает это. Наполеон погиб. Король неаполитанский Мюрат отрекся от него и уже двинулся со своей армией на соединение с австрийскими войсками. В Париже глеет бунт, монсеньор, брат короля, посетил Франшконтэ и Бургонь, находя везде сочувствие и поддержку. Голос народа требует возвращения своего короля, и все это узнает император Александр. Я не могу сказать сейчас более.

— Пока жив корсиканец, ни за что нельзя поручиться, — раздался из угла голос шеваляе.

— Но нельзя же его казнить! — воскликнул д'Арвильи.

— Но можно просто убить, — отозвался шеваляе.

Странное жуткое молчание последовало за этими словами. Словно тайный ужас сковал языки и сердца при мысли об убийстве того, кто четырнадцать лет был владыкою Франции, еще не сверженный, еще грозный, хотя и побежденный...

Барон прервал это молчание.

— В этом нет надобности, — спокойно сказал он. — Поверьте, у нас есть в распоряжении другие могущественные средства. Вам известно, — продолжал он, — что я приехал сюда с особой миссией. Я должен повидать Меттерниха и Нессельроде. Быть может, я буду принят

самим императором. Вас же я прошу продолжать вашу деятельность. Влиять, где возможно. И верьте в близкую победу.

Барон поклонился и сел.

Казалось, его слова очень ободрили приунывших верно-подданных. За ужином было очень оживленно. Тосты сменялись тостами, и наконец восторженное настроение дошло до того, что можно было подумать, что назавтра уже назначено торжественное коронование французского короля Людовика XVIII в соборе Notre Dam de Paris.

Когда ушли восторженно настроенные гости и хозяин остался только с парижскими друзьями, барон со смехом сказал:

— Ну, де Брольи, эти господа, кажется, умеют только кричать. Положим, и это может пригодиться.

Де Брольи махнул рукой.

— Только д'Арвильи имеет значение благодаря своим связям при русском дворе, — ответил он. — Он полезен тем, что держит нас в курсе настроений главной квартиры. Но скажите, Витроль, толком, как обстоят дела и с чем вы приехали, и как вы ухитрились приехать?

— Мне ничего не стоило получить пропуск, — ответил, усмехаясь, Витроль, — даже от самого короля Иосифа через нашего друга, его камергера Жокруа. Мобрейль, — он кивнул головой в сторону шевалье, — ехал в качестве моего камердинера.

Де Брольи кинул на шевалье взгляд и невольно подумал, что лакейская ливрея была ему очень к лицу, хотя внутренне сознался, что не рискнул бы нанять себе лакея с такой физиономией.

У Витролля тоже было богатое прошлое. Этот дворянин из Дофине, промотавшийся в свое время и разорившийся, тоже участвовал в покушении Кадудалья на жизнь первого консула, но спас себя и снискал благоволение, скомпрометировав доносом Моро, как якобы тоже участника заговора. Не переставая служить Бурбонам, он недурно устроился при империи, сохранил дружбу Фуше, стал близким к Талейрану человеком, получил титул барона империи и теплое местечко инспектора казенных ферм. Что касается его спутника, шевалье Мобрейля, то среди всего этого подозрительного сброда он считался драгоценным человеком для самых гнусных поручений. Шпионаж, пасквиль, анонимный донос, тайное преступление — это была сфера его деятельности. Даже такие люди, как Витроль, относились к нему с некоторым презрением.

— Вот что, дорогой Брольи, — продолжал Витроль, — с вами я могу быть вполне откровенен. Наши дела принимают, действительно, благоприятный оборот. Талейран уже за нас. Вот, — он ударил рукой по боковому карману, — здесь лежит записка, переданная мне герцогом Дальбергом от Талейрана к графу Нессельроде.

— Но Талейрану опасно доверять, — заметил Брольи, — этот бывший отенский епископ продает там, где дороже. Не могу не сказать, что покойный маршал Ланн довольно метко назвал его «навозной кучей в шелковых чулках».

— О, — возразил Витроль, — здесь его прямая выгода. Кроме него, за нас министр полиции герцог Ровиго, аббат де Прадт, барон Луи, императорские префекты Паскье и Шабраль и еще много других высших должностных лиц. Говорю вам, Брольи, Париж в наших руках. И к его голосу император Александр должен будет прислушаться, — уверенно закончил Витроль.

— Но для этого надо сперва свергнуть Наполеона, — заметил Брольи.

— У него нет армии, — сказал Витроль. — Его песенка спета. После того как Александр решил, несмотря на все старания Меттерниха, свергнуть Наполеона, Меттерних тоже присоединился к нам. Он боится, что Александр призовет на престол наследного принца шведского Бернадотта.

Во время этой беседы Мобрейль угрюмо молчал.

— Шатильонский конгресс — одна комедия, — продолжал Витроль. — Разве вы не видите, лишь только Наполеон готов принять условия, союзники предъявляют новые требования. Нет, мира не будет... В крайнем случае, так или иначе, но Наполеон будет устранен...

И Витроль бросил быстрый взгляд на Мобрейля. Брольи заметил этот взгляд и пристально взглянул на шеваляе.

— Он будет устранен, — как злое эхо, повторил Мобрейль.

На следующий день Витроль вернулся радостный и сияющий. Он был принят и Нессельроде, и Меттернихом, и самим императором.

— Дорогой Брольи, — сказал он, — наши шансы поднялись. К сожалению, подробностей сообщить не могу. Скажу одно. От меня потребовали «доказательств», и я дал

их. О «нас» уже думают. Это большой успех. Пусть д'Арвилли поддерживает существующее настроение. В главной квартире уверены в близкой и окончательной победе. Дорогу на Париж считают свободной. Блюхер летит вперед по берегу Марны, но ему приказано не вступать в Париж без русского императора. Известий от него ждут со дня на день, и главная квартира готова к отъезду в Париж. Да здравствует Людовик XVIII!

Ночью Витроль и Мобрейль уехали, окрыленные радостными надеждами..

XXIV

Витроль был прав. После победы при Ротьере занятие Парижа считалось в главной квартире несомненным.

Александр был озабочен тем, чтобы медленность движений Шварценберга не дала Блюхеру возможности первому вступить в Париж, и писал ему, чтобы его войска не входили в Париж до прибытия туда союзных монархов, что «политические соображения величайшей важности того требуют».

Императорская квартира пребывала в радостном ожидании.

Наконец, по настоянию Александра, Главная армия медленно и лениво двинулась вперед.

Следом за нею выехала из Труа по дороге в Ножан и императорская квартира.

Блюхер, действительно, торопился. Он двинул свою Силезскую армию вдоль Марны и по обыкновению отдавал только один приказ: «Вперед». Уверенный почти в полном уничтожении французской армии после битвы при Ла-Ротьере, он шел усиленными переходами, разбросав более чем когда-либо отдельные части своей армии.

Маршалы угрюмо перешептывались в тесной приемной императорской главной квартиры в Ножане.

— Нам нужен мир, — говорил вполголоса Ней, встряхивая своей львиной гривой. — Что можем мы сделать теперь, после Ла-Ротьера!

Макдональд пожал плечами:

— Он весел, как после победы.

Немного в стороне от них с мрачным усталым лицом стоял маршал Мармон, герцог Рагузский. Он стоял, опу-

стив голову, по-видимому, в глубоком раздумье. Темные волосы в беспорядке падали на его лоб.

— Ваше мнение, герцог? — обратился к нему Макдональд.

Маршал поднял голову.

— Мое мнение? — переспросил он, словно сразу не поняв вопроса. — Мое мнение? Да, я очень устал... Он сам сказал: «Молодая гвардия тает, как снег...» — А когда я указал ему на жалкую участь жителей и всей Франции, разоренной этими разбойниками-немцами, знаете, что он ответил мне? Он буквально сказал мне: «Ну, в этом еще нет большой беды! Когда крестьянина ограбили и сожгли его дом, ему не остается ничего больше, как взять ружье и сражаться». Вот его слова. Поговорите с ним! — добавил Мармон, безнадежно махнув рукой.

— Наш долг представить ему положение дел, — сказал Ней. — Союзники готовы на мир, — так, по крайней мере, пишет герцог Виченцкий. Повторяется история в Праге и Франкфурте.

В эту минуту в приемной появился герцог Бассано с озабоченным лицом.

— Что нового? — встретили его маршалы, — что пишет Коленкур?

— Все зависит от него, — тихо ответил Маре, указывая на дверь императорского кабинета. — Я передал ему еще утром письмо Коленкура. Англия, Австрия и Пруссия согласны на мир, противодействие русского императора будет сломлено. Но медлить нельзя. Надо воспользоваться моментом. Меня призвал к себе император.

— Нас тоже, — отозвался Макдональд.

— Так я рассчитываю на вас, — сказал Маре. — Вы должны помочь мне.

— О, очень охотно, Мы, конечно, поддержим вас, — твердо произнес Ней, выпрямляясь во весь рост, взглянув почти с угрозой на дверь кабинета.

Заветная дверь тихо отворилась, и показалась фигура начальника штаба Бертье, принца Невшательского.

Он дружески кивнул головой Маре и маршалам и тихо произнес:

— Император просит.

И все эти люди, тысячу раз смотревшие бесстрашно в лицо смерти, только что так независимо, с сознанием собственного значения обсуждавшие поведение императора, вдруг стали похожи на школьников, которых строгий учитель позвал на экзамен. Они переглянулись, и никто не

спешил переступить первым порог кабинета. Наконец, по нетерпеливому жесту Бертье, герцог Бассано двинулся вперед.

В маленькой комнате перед кабинетом сидел за столом барон Фен и что-то писал. При входе маршалов он встал. Они молча пожали ему руку и прошли в кабинет, дверь которого была открыта.

Около камина, положив ногу на ногу, сидел на низеньком стуле император, в руках у него была книга.

При входе маршалов он положил раскрытую книгу на стоящий рядом с ним маленький столик и поднял ясное спокойное лицо. На этом бледном строгом лице не было и признака тревоги.

— Добро пожаловать, мои друзья, — начал он. — Ну, Маре, говорите. Коленкур требует полномочий, союзники согласны на мир, если я уступлю им Бельгию и левый берег Рейна. Ведь так?

— Так, ваше величество, — низко наклоняя голову, ответил Маре.

— Неприятель грозит Парижу, — мрачно произнес Ней, — задержать его нельзя. Они всей массой двинулись из Труа по дороге на Париж и по нашим трупам вступят в столицу.

Наполеон спокойно выслушал маршала, и едва заметная улыбка появилась в углах его губ.

— Да, — ответил он, — мы бы так и сделали, но такой простой план покажется нашим союзникам недостаточно ученым. Они любят маневрировать.

— Это не спасет дела, Франция хочет мира, и мы... — смело начал Макдональд, ободренный спокойным тоном императора. Но он не кончил.

Наполеон сделал движение встать и бросил на маршала короткий, как удар, угрожающий взгляд.

Вся смелость Макдональда мгновенно исчезла. Он сделал полшага назад и смущенно пробормотал:

— Я только хотел указать, ваше величество...

Но Наполеон резко прервал его.

— Заметьте, герцог, что Франция хочет того, чего хочет ее император, — и император, обратясь к Маре, продолжал уже совершенно спокойно. — Вот, Маре, замечательная книга! — Он взял со столика книгу, которую читал. — Вы, наверное, знакомы с этим классическим сочинением: это Монтескье, «О причинах величия и упадка римлян». Не правда ли, какое замечательное место? Прочтите эти строки, отчеркнутые ногтем, — продолжал он, подавая Маре книгу.

Изумленный Маре почтительно принял из рук императора книгу.

— Прочтите вслух, — добавил Наполеон, наклонив голову, как человек, приготовившийся внимательно слушать.

Маре прочел:

«Наиболее поразительный известный мне случай величия духа проявился в решении современного нам монарха скорее погибнуть под развалинами своего трона, чем согласиться на предложения, унижительные для его царственного сана. Он обладал слишком возвышенной душой для того, чтобы спуститься ниже того уровня, на который оттеснила его неприязненная воля Рока...»

Маре опустил книгу. Лица маршалов потемнели еще больше.

— Ну, что вы скажете? — резко спросил Наполеон.

Легкая краска волнения показалась на лице Маре.

— Государь, — тихо начал он, — мне лично известна еще более возвышенная комбинация. Вам представляется теперь возможность пожертвовать своей славой, дабы закрыть бездну, угрожающую в противном случае поглотить не только вас самих, но и всю Францию.

Взволнованный Маре замолчал. Наступило напряженное молчание. Слегка нахмурясь, император взглянул на взволнованное лицо Маре, на усталые, с выражением почти отчаяния, лица своих маршалов и порывисто встал с места.

Он сделал несколько шагов по комнате и, остановясь перед маршалами, вдруг совершенно спокойно, ясным и ровным голосом произнес:

— Ну, что же, господа, раз вы пришли к такому убеждению, заключайте мир.

Глаза императора смотрели ясно, но в их ясной глубине словно бегали какие-то искры. Лица маршалов прояснились. Маре с удивлением и как бы недоумением смотрел в лицо Наполеона. Это было так неожиданно.

— Ваше величество, — начал Маре, — какие же инструкции соизволите вы дать герцогу Виченцкому?

Наполеон повернулся и, пройдя несколько шагов по комнате, ответил:

— Пусть Коленкур устраивается, как хочет, и подписывает, что ему заблагорассудится.

— Но, государь! — произнес Маре.

Наполеон резко прервал его.

— Фен, — громко крикнул он, — составьте для герцога Виченцкого, — обратился он к вошедшему барону, — от моего имени письменное разрешение принять все меры,

какие ему покажутся необходимыми для спасения столицы. Поторопитесь.

Фен вышел с поклоном.

— Условия вашего величества... — снова начал герцог Бассано.

— Условия, Маре, пусть определяет Коленкур, — опять прервал его император, — я могу вынести всякое бедствие, какое на меня обрушится, но, разумеется, не стану диктовать унижительные для себя условия мирного договора...

Через минуту Фен вернулся и положил на стол бумагу, перо и поставил чернильницу. Наполеон едва пробежал ее глазами и поставил над ней большую букву N с росчерком и кляксой.

— Вот видите, Маре, — сказал император, — успокойте Коленкура. Быть может, вечером я дам инструкции. Зайдите.

С глубоким поклоном Маре вышел. В соседней комнате он остановился около Фена и тихим шепотом сказал:

— Я не знаю, радоваться ли и что все это значит? Я боюсь, что Коленкур никогда не решится взять на себя такой страшной ответственности. А это единственный случай. Император великолепно знает нас и не потому ли он так легко согласился.

Фен пожал плечам.

— За последние дни, — тоже шепотом начал Фен, — император исключительно интересуется Парижем. Мы имеем самую оживленную переписку с регентством, только я думаю, что это так не кончится.

Маре задумчиво покачал головой.

— Все же надо торопиться, — сказал он, — я от себя напишу Коленкуру. Как жаль, что союзные монархи высказали решительное желание, чтобы переговоры вел герцог Виченцкий, а не я.

— Да, это очень жаль, — вздохнул Фен, пожимая руку Маре.

Маре ушел, а Фен погрузился в чтение груды бумаг.

Из кабинета звучали оживленные, бодрые голоса.

Шум открываемой двери заставил Фена поднять голову.

На пороге показался дежурный адъютант.

— Курьер из армии герцога Реджио с экстренным доносением, — произнес адъютант. — Он просит доложить о нем императору.

— О-о, — встрепнулся Фен, — пусть воидет, я доложу сейчас. Таких гостей не задерживают.

Адъютант вышел и тотчас же вернулся в сопровождении виконта де Соберсе. Соберсе имел усталый, но вместе с тем радостный вид. Он весь был забрызган грязью.

Фен кивнул головой и поспешил в кабинет.

— Император ждет вас, — произнес он, тотчас же возвращаясь.

Виконт, заметно взволнованный, вошел в кабинет и, отдав глубокий поклон, остановился у порога.

— А, Соберсе! — воскликнул император. — Вы, наверное, привезли нам хорошие вести?

Маршалы ждали с напряженным вниманием.

— Ваше величество, — прерывающимся голосом начал Соберсе, — герцог Реджио приказал мне донести его высочеству принцу Невшательскому, что армия князя Шварценберга медленно идет из Труа на Париж, а Силезская армия фельдмаршала Блюхера двинулась по левому берегу Марны через Эперне, Дорман, Шато-Тьерри и Ферте-су-Жуар...

— А! — вырвалось у императора короткое торжествующее восклицание. Глаза его засверкали, ноздри слегка расширились. — Вы уверены в этом? Вы не ошибаетесь?.. — быстро спросил он.

— Нет, государь, — ответил Соберсе, — ручаюсь головой, я сам убедился в этом.

— Но ведь этот свинцовый болван губит свою армию! — воскликнул Наполеон, бросаясь к разложенной на большом столе карте. Несколько мгновений он смотрел на карту, потом весело обернулся и крикнул: — Герцог Рагузский, вам принадлежит честь первого удара. Взгляните, друзья мои. Я говорил, что прямой удар на Париж для них недостаточно учен. Bravo! Bravo! Драгоценный Блюхер!

Маршалы наклонились над картой, с любопытством слушая короткие, похожие на восклицания, замечания Наполеона. Они были слишком военными, чтобы не почувствовать положения и не затрепетать знакомым трепетом ожидания победы. Они с полуслова поняли своего вождя и императора. Они увидели добычу, беспечно стремящуюся к своей гибели, и в них заговорила кровь прирожденных воинов.

Бертье уже торопливо набрасывал на бумагу отрывочные приказания императора. В эти минуты усталые маршалы, казалось, забыли свои мечты о мире. Во всяком случае, если мир — то после победы! Мир со славой! И они верили в эти минуты, что вновь пробудился усыпленный гений Наполеона и что опять для него нет ничего недостижимого.

Взгляд императора упал на Соберсе, бледного, едва державшегося на ногах.

— Как, Соберсе! — воскликнул он. — Вы все еще капитан? Поздравляю вас с чином полковника. Пожалуйста, без благодарности, мой друг. А теперь идите отдыхать. Я позову вас, когда будет нужно.

Когда к вечеру зашел Маре в ожидании инструкций, Наполеон только нетерпеливо махнул рукой и сказал:

— Мне теперь не до вас, я задумал устроить хорошую потасовку Блюхеру!

XXV

— Ну, Гнейзенау, что вы скажете? А? Генерал Бонапарт растаял, и черт побори старого Блюхера, если я не взорву Иенского моста и не утоплю в Сене Вандомскую колонну!

При этих словах Блюхер ударил кулаком по столу. Он остановился со своей главной квартирой в небольшой деревеньке по дороге на Фер-Шампенуаз, для короткого ночлега. Деревня была покинута жителями, и в продолжение часа пруссаки дочиста успели ограбить оставленные дома. При этом было захвачено несколько крестьян. Их подвергли допросу, но так как они или не хотели, или не могли дать никаких сведений о движении французских войск, гусары Блюхера, связав их и сняв с них обувь, с веселыми шутками положили их босыми ногами на горячие угли. Когда это не помогло, их повесили по приказанию фельдмаршала.

Блюхер сидел за столом, окруженный своим штабом. Любимые его адъютанты Ностиц и Герцфельд усердно подливали ему где-то награбленный старый рейнвейн. Штабные жадно ловили слова фельдмаршала, покрывая каждую его остроту дружным хохотом. Фельдмаршал был в отличном расположении духа.

— Теперь все, кажется, сделались «вперед», не только один я, — самодовольно говорил он.

— Император Александр просит не вступать без него в Париж. Как вы думаете, дети? Ведь, ей-богу, мы заслужили эту честь. Мы — победители их пугала, этого выскочки! Вот слава! — философски добавил он, — я всегда говорил, что его слава раздута. Если бы у меня была в свое время такая армия, как сейчас, верьте, дети, не было бы ни Аустерлица, ни Иены, это так же верно, как то, что я Блюхер.

Вся его стратегия ни к черту ни годна. Так ли я говорю, дети?

Со всех сторон посыпались льстивые фразы.

— Наполеон бежит перед нашим высокопревосходительством! — воскликнул Ностиц, поднимая стакан. — Noch!

— Noch! Noch! — раздались восклицания.

— Послушайте, дети, — начал Блюхер, заметно захмелевший. — Мы идем вперед. Перед нами Макдональд, который улепetyвает. Остальные французские войска не могут нас остановить, потому что... Гнейзенау, почему? А?... Какие там болота?..

Гнейзенау поднял голову и серьезно ответил:

— Нас прикрывают Сен-Гондские болота.

— Вот, вот, — продолжал Блюхер. — Так я хотел сказать, что если я захвачу Бонапарта, я просто повешу его. Ведь он не больше, как разбойник... Так ли, дети?

Но «дети» не успели ответить, так как в это мгновение послышался топот, и чей-то громкий хриплый голос закричал:

— Где же фельдмаршал? Я не могу терять ни минуты!

Все мгновенно насторожились. В звуках этого голоса было что-то внушавшее недобрые предчувствия. Через минуту дверь порывисто открылась, на пороге показался молодой русский офицер. Он был очень бледен и, видимо, взволнован. Остановясь на пороге, он обвел присутствовавших глазами. Он увидел возбужденные лица, бутылки на столе, старика Блюхера с обвислыми усами и мутными глазами, в расстегнутом мундире, под которым виднелась грязная рубашка, и, остановив сделавшиеся злыми глаза на лице Блюхера, произнес срывающимся голосом:

— Ординарец генерала Сакена, корнет Белоусов. Сегодня Наполеон атаковал корпус графа Олсуфьева близ Шамп-Обера. Корпус уничтожен. Граф Олсуфьев в плену. Французская армия движется к Монмиралу на войска барона Сакена. Барон просит поддержки или инструкций.

И, глядя почти с ненавистью в лицо фельдмаршала, Белоусов повторил:

— Корпус графа Олсуфьева уничтожен почти целиком. Граф держался до последней возможности, исполняя приказания вашего высокопревосходительства.

Впечатление от этих слов было потрясающее. Офицеры вскочили с мест, опрокидывая табуретки и бутылки, словно готовясь сейчас же к бегству.

Сам Блюхер побледнел и, встав, несколько мгновений беспомощно озираясь по сторонам. Один Гнейзенау не потерял самообладания.

— Надо немедленно велеть Сакену отступать к Шато-Тьерри на соединение с Иорком, — сказал он.

Удар был страшен и неожидан. Наполеон прошел через Сен-Гондские болота, окаймляющие верховья речки Малой Марен, по дорогам, считавшимся непроходимыми, и провел кавалерию и артиллерию.

Наконец Блюхер овладел собою и глухим голосом сказал: — Расскажите, что знаете.

И юный корнет рассказал. Он рассказал, как небольшой русский корпус, брошенный на произвол судьбы, был окружен вчетверо сильнейшим неприятелем. Как он расстрелял все патроны и, расстреливаемый артиллерией, разбившись на отдельные каре, пробивал себе штыками путь через неприятельские массы. Граф Олсуфьев попал в плен, генерал Полторацкий тоже, и тогда генерал Корнилов, собрав остатки истерзанных полков, с развернутыми знаменами, с барабанным боем прокладывал себе путь штыками. Ряды редели, смыкались снова и наконец пробились, не оставив врагам ни одного трофея.

Голос Гриши звенел, когда он рассказывал об этом героическом деле, поразившем своим величием даже самого Наполеона.

Гнейзенау, примостившись на углу стола, писал Сакену.

— Русские всегда были мужественны, — сказал Блюхер, кусая усы. — Виноват во всем один я. Гнейзенау, распоряжения!

— Готово, — ответил, вставая, начальник штаба.

Блюхер посмотрел бумагу и передал ее Белоусову со словами.

— Благодарю вас. С Богом!

И он протянул руку Грише. Но случайно или нарочно корнет по всем правилам артикула уже сделал налево кругом. Через минуту послышался топот его лошади.

Блюхер уже вполне овладел собою.

— Полно, дети, — обратился он к офицерам, — нечего вешать носы. Сейчас мы сами поедem туда. Завтра будет наш черед.

И он велел подавать лошадей.

Но завтра еще не пришел его черед. Движения Наполеона с небольшой, едва сорокатысячной, армией походили

на прыжки тигра. Уничтожив корпус Олсуфьева при Шамп-Обере, он бросился к Монмиралу и на другой же день после Шамп-Обера наголову разбил Сакена, едва успевшего отвести остатки своих войск к Шато-Тьерри, под прикрытие Иорка. Но Наполеон на следующий день настиг их обоих и, разбив, отбросил за Марну. Обезумевший и растерявшийся Блюхер, оглушенный грозными ударами, не успел ничего предпринять, как Наполеон уже через день неожиданно атаковал его у Вошана и разбил наголову. Атакованный с тыла и фланга кавалерией Груши, Блюхер едва успел спастись сам и с жалкими остатками своей армии бежал в Шалон. Силезская армия, потерпевшая в течение пяти дней четыре поражения, потерявшая больше трети своего состава и пятьдесят орудий, превратилась в деморализованную толпу... Эти победы мгновенно воспламенили французов. Появились отряды крестьян-партизан, безжалостно уничтожавших отставших и небольшие отряды. Русских, если попадались, брали в плен, но немцам пощады не было. По-видимому, начиналась народная война. То, что было страшнее армии и самого Наполеона.

— Отступать, отступать, отступать! — кричал князь Шварценберг, хватаясь за голову. — К Рейну, за Рейн, к границам Франции!..

Наполеон уже наступал на Главную армию. Ужас охватил австрийского главнокомандующего.

Этот ужас передался австрийским войскам. Под дождем, снегом и вихрем они отступали, гонимые страшным призраком непобедимого императора, и их отступление было похоже на бегство. А восстание во Франции разгоралось. Отставшие гибли сотнями. Напрасно Александр старался сдержать Шварценберга. Напрасно твердил он, что нужна только решимость, и Наполеон погиб. Никто уже не слушал его. Дипломаты растерялись. Слово мир было у всех на устах. Настаивал император Франц, у которого после побед Наполеона вдруг проявились родственные чувства к дочери и внуку, настаивал Фридрих-Вильгельм, боясь потерять все приобретенное, настаивал английский уполномоченный лорд Кестльри и даже Меттерних, боясь, что в случае побед Наполеона и вынужденного мира, когда Наполеон продиктует свои условия, он не пощадит австрийского дипломата.

Александр остался в одиночестве. Его даже не мог поддержать своей армией Блюхер, так как его армию счи-

тали уничтоженной, — и Александр согласился, но с условием не заключать перемирия.

Однако обрадованный Шварценберг тотчас же послал в главную квартиру Наполеона графа Паари с униженным письмом и просьбой о перемирии. Но Наполеон знал цену лживых уверений венских дипломатов и их вероломство и отослал графа Паари обратно. В тот же день он писал своему брату Иосифу:

«Наконец князь Шварценберг проявил признаки жизни. Он прислал парламентаря с просьбой о перемирии; трудно быть подлым до такой степени... При первой неудаче эти люди падают на колени...»

И, сообщая тогда же о своих победах вице-королю Италии Евгению, выражая сожаление, что маршал Виктор не успел уничтожить баварские и виртембергские войска, прибавлял:

«Тогда против меня оставались бы только австрийцы, плохие солдаты, сволочь, которую я разогнал бы плетью.

Казалось, нечеловеческие усилия в Шатильоне Коленкура готовы были увенчаться успехом. Но судьба уже произнесла свой приговор над Наполеоном. Почти в момент подписания мира Коленкур получил от императора экстренную депешу, лишаящую его всех полномочий, с приказанием предложить, ничего не решая, контрусловия, в корень изменяющие предложения союзников...

Непонятное, горделивое безумие овладело императором.

Его отказ в последнюю минуту вновь соединил и сплотил распадающийся союз. Слово «отречение» было громко произнесено.

Австрийские войска прекратили отступление, готовясь двинуться вперед. Александр торжествовал: перед подавляющей численностью союзных армий Наполеон, несмотря на весь свой гений, был бессилён... Перемирие не состоялось, военные действия прерваны не были, но конгресс все еще продолжал свое существование.

XXVI

Подобно утомленному бойцу на шпагах, Наполеон еще делал грозные выпады. Еще были тяжелы его удары. Он казался вездесущим; проходя почти непроходимыми дорогами, неожиданно появлялся он со своей маленькой армией и наводил ужас на фельдмаршала Шварценберга. Снова разбив несчастного и взбешенного Блюхера у Кра-

она и, в свою очередь, принужденный отступить перед четверными силами союзников при Лаоне, он бросился на Реймс, на корпус графа Сен-При, причем сам Сен-При был смертельно ранен из той же самой пушки, из которой был убит и другой ренегат — Моро, и овладел Реймсом.

Эти победы как громом поразили князя Шварценберга, вновь заговорившего об отступлении. Дав передохнуть своим войскам, Наполеон с отчаянной смелостью решил атаковать главные силы союзников, сосредоточенные между Обою и Сеною у Арси. В то же время, понимая, что борьба слишком не равна, он вновь послал Коленкуру полномочия заключить мир на каких угодно условиях. Но счастье покинуло своего любимца. Его посланный запоздал, срок, предоставленный союзниками для решительного ответа, истек, заседания конгресса в Шатильоне прекратились, и Коленкур выехал из Шатильона.

Сражение при Арси было последним, где на поле битвы снова встретились Наполеон и Александр, и судьба встала на сторону Александра. Имея перед собою свыше ста тысяч, а у себя только тридцать, Наполеон, хотя не побежденный, предпочел на второй день боя отступить. Шварценберг не посмел его преследовать.

Отступление Наполеона открывало дорогу на Париж. Это обстоятельство скорее ужаснуло, чем обрадовало Шварценберга. Он потерял из виду Наполеона и не знал, откуда ему вновь готовится удар.

Яркий огонь камина гостеприимно пылал в большой роскошной столовой старинного замка, некогда принадлежавшего принцам Нойаль, теперь сенатору империи д'Эбрейлю. Сам сенатор жил в Париже, и в замке осталось только незначительное количество старых слуг. Остальная многочисленная челядь вся разбежалась, узнав о приближении союзных войск. Этот замок с утра был занят двумя эскадронами пятого драгунского полка под командой Новикова и Левона. Здесь они неожиданно получили приказ остановиться и ждать дальнейших приказаний, чему очень обрадовались и не меньше удивились. Все были уверены, что движение на Париж после сражения при Арси будет безостановочно. Очевидно, в главной квартире опять что-то случилось, и князь Шварценберг прибег к обычной тактике — постоять на месте, подумать и затем дать приказ об отступлении. Пятый драгунский участвовал и в сражении

при Арси, где отличился, спасши остатки полка эрцгерцога Рудольфа, и трижды вырывал из рук французов селение Гран-Торси блестящими атаками. Полк теперь вошел в состав отряда графа Палена, авангарда Главной армии. Старик управляющий, напуганный зверствами немцев, уже приготовился к смерти и с облегчением вздохнул, узнав, что у него остановились русские. Верный слуга так обрадовался, что замок не будет разграблен, что открыл сенаторский погреб и вытащил обильные запасы вина и еды. И в этот холодный вечер, когда в саду бушевал ветер с дождем и снегом, так уютно было сидеть в этой теплой столовой, где был так богато и красиво сервирован ужин. Солдаты, кроме высланных в сторожевое охранение, удобно расположились в хозяйственных пристройках, поставив лошадей в обширных конюшнях замка. Офицеры заняли часть второго этажа.

Зарницын сидел у камина, сняв мундир и поставив ноги на каминную решетку. Он, полузакрыв глаза, курил трубку, изредка отхлебывая из хрустального бокала старое рейнское вино. Левон стоял у окна и, откинув портьеру, смотрел, как вдали среди окружающего мрака то разгоралось, то угасало зарево. Он знал, что это пылали французские деревни, подожженные немцами. Он глубоко задумался, словно погрузился в какой-то странный сон. И в самом деле, последний год его жизни походил на сон. Неотступными тенями сопровождали его смерть и любовь. И так тесно переплетались впечатления, так быстро следовали одно за другим, что душа уставала и мысль отказывалась работать. Как был он счастлив во Франкфурте, так все казалось ясно и просто, когда он слушал Ирину, когда она открывала ему свою душу, ничего не скрывая и почти час за часом рассказывая свою жизнь. И как казалось ему естественно вечно продолжать такие отношения, и как был он искренен и уверен в себе, когда говорил ей: «Я буду для тебя всем, чем ты хочешь!» — и она верила ему и сама думала так же... Но он не представлял себе тогда этой безнадежности, бесплодного, одинокого горения души, изнывающей от жажды счастья, которое так близко и так недоступно. Он не представлял себе тяжелого пути самоотречения, покорности, мятежных порывов, отчаяния пустоты... всего, что он понял теперь, когда запас франкфуртских впечатлений успел истощиться. Если бы он мог хоть поддерживать отношения. Но он не имел отсюда ни строчки и сам не мог писать. Полк бросали с места на место, начиная с самого Бриенна. Они были у Сакена, у

Винценгероде, теперь у графа Палена, были при Монмира-ле, Шато-Тьерри, Арси, в тысяче мелких дел, и вместе, и вразброд, скитаясь дни и ночи по дорогам и без дорог, в маршах и контрмаршах. Где она и что с ней? И, мучительно вспоминая каждую подробность, он иногда с ужасом сознавал, что она тает, вспоминал бледные, прозрачные руки, нервный румянец, неожиданную слабость. Как не заметил он этого там, во Франкфурте? Она сгорала на его глазах, а он не видел этого, не понимал, что она несчастна, что она старалась только обмануть его, когда говорила, что наконец нашла покой и счастлива!

— Левон, — не оборачиваясь, крикнул Зарницын, — давай есть!

Левон вздрогнул и равнодушно произнес:

— Что ж, сядем, мне все равно.

Друзья сели за стол. Настроение Левона было понятно даже Грише. Они все поняли его чувства к Ирине, но не говорили об этом даже между собою и делали вид, что не замечают его, за что он в душе был глубоко признателен им.

— Наших, видно, не дожидаться, — заметил Семен Гаврилович.

— Гриша, я уверен, вернется от Громова сегодня же ночью, — ответил Левон, — ну, а Данила Иванович, конечно, раньше завтрашнего дня не может вернуться из штаба.

— Даже не верится, — начал Зарницын, с удовольствием принимаясь за еду, — эта роскошная столовая, этот ужин, тепло и свет. Ей-богу, даже стыдно, что в обычной жизни мы не придаем этому значения. А ведь и теперь сколько людей живут такой жизнью и не думают, и не представляют миллионов других, не имеющих даже куска хлеба.

Левон усмехнулся.

— Приятно пофилософствовать за стаканом хорошего вина.

— Что ж, я заслужил его, — возразил Зарницын, — а в мирное время я постараюсь не забыть уроков, данных мне войной, — серьезно добавил он.

— Ты прав, — задумчиво произнес Левон. — Но какое безумие эта война! За что мы деремся? За кого? За этих немцев, потерявших теперь в своем самомнении и озверении всякий человеческий образ? Ты заметил, что даже в бою в них вместо храбрости видно бешенство? У них нет даже истинного героизма. Их неистовства во Франции вну-

шают омерзение и возбуждают вековую ненависть, их наглость делает их отвратительными для союзников, их хамство лишает возможности быть их друзьями, их принципы несут миру рабство. Мы еще будем иметь не раз случай раскаться в своем рыцарстве.

— О да, — с увлечением подхватил Семен Гаврилович, — я бы предпочел быть в союзе с французами. Фридрих и Наполеон! Я не могу забыть нашей атаки при Арси. Помнишь? Ей-богу, это было величественно, когда среди дыма и огненных языков рвущихся гранат показались медвежьи шапки старой гвардии и впереди — сам Наполеон с обнаженной шпагой в руке.

— Он еще страшен, — заметил Левон.

— А вот и я! — раздался с порога веселый голос Гриши.

— И вовремя, — засмеялся Зарницын, — а то мы бы все съели и выпили. Садитесь, Гриша, и рассказывайте новости.

— Новости? — повторил Гриша, садясь к столу. — Громов рвет и мечет. У наших драгун опять было столкновение с гвардейцами Блюхера. Они попробовали отнять у нас фураж. Наши не дали, и дело дошло до сабель. Какой-то прусской голове пришлось плохо. Из штаба Блюхера пришла по-немецки бумага с требованием объяснений, а Громов поперек нее написал: «Немецкого языка не понимаю, учиться ему стар, за свое начальство почитаю ныне графа Палена», — да и отправил ее обратно.

— Молодец! — воскликнул Зарницын. — Ну, и что же?

— Пока ничего, — ответил Гриша и продолжал. — Потом Громов говорил, что, кажется, вновь готовятся к отступлению, что Наполеон снова собрал огромные силы и опять заговорили о мире...

Зарницын свистнул.

— Вот тебе и Париж!

Гриша весело продолжал передавать полковые сплетни и слухи и рассказы о столкновениях между русскими и немецкими офицерами. Высшее начальство принимало всегда сторону немцев. Русские были озлоблены. Все это было уже давно всем известно, но при каждой встрече эти рассказы, постоянно обновляемые, служили наболевшей темой.

Было уже поздно, когда друзья разошлись по своим комнатам.

У Бахтеева на столе горели свечи, и Егор ждал его, чтобы помочь раздеться.

— Ты не нужен мне, иди спать, — сказал Левон.

Егор ушел. Левон лег, но долго не мог заснуть. В который раз перебирал он в памяти последний год своей жизни, и ему казалось, что это было не годом, а долгими годами — целой жизнью. Тучи рассеялись. Сквозь портьеры пробирались луч луны и серебряной полосой протянулся по столу и тяжелому ковру на поля. Левон уже начал дремать, когда услышал в соседней комнате, отведенной Новикову, легкий шум, словно кто-то осторожно крался. Дремота мгновенно оставила его. Он поднял голову с подушки и привычным движением вынул из-под изголовья пистолет. Шум продолжался.

— Кто там? — крикнул Левон, вскакивая с постели.

В соседней комнате словно кто-то торопливо пробежал, мягко и осторожно ступая кошачьими шагами, послышался шорох, и все затихло. Левон прислушивался несколько мгновений, потом зажег свечу и с пистолетом в руке вошел в комнату Новикова. Он распахнул тяжелые портьеры на окне и заглянул под кровать. Никого.

— Должно быть, крысы, — решил он.

Его взгляд упал на стол, и он увидел на столе большой конверт.

«Что это? — с удивлением подумал Левон, — отчего я не видел его раньше?»

Он взял в руки конверт, на котором крупным твердым почерком было написано по-французски: «Г. ротмистру Новикову».

Левон решил, что это, должно быть, из главной квартиры, было передано проездом, второпях, как не раз бывало; вестовой положил на стол, а доложить позабыл. Французский адрес не удивил Левона, — это было в обычаях главной квартиры. Между Новиковым и Левоном было условленно, что в отсутствии одного другой вскрывает пакеты, если найдет нужным. Могло быть и экстренное приказание. Поэтому Левон, не колеблясь, сел к столу и вскрыл конверт.

Но, взглянув на бумагу, он широко раскрыл глаза, пораженный ее видом. Вот что увидел он в этой бумаге:

57E 4367 B. 0L 7>077>7 7L 77>7 >L 7777E7
707E777 7 77707 07E707 07 0077777 E 77777
777 7E 70 7777 77E777 —

и так далее, все такие же значки, много таких значков, целые четыре страницы большого листа.

— Шифр! — удивился Левон. — Но какого черта!..

И вдруг его осенила мысль: «Монтроз! Масоны! Это ясно, как день! Но как попало сюда это письмо! Кто принес его?»

Он вспомнил таинственные шорохи, и ему стало не по себе. Он оглянулся с жутким чувством, словно почувствовал, что кто-то стоит за его спиной. Но комната была пуста.

Левон нервно дернул сонетку раз, другой, третий. Через минуту прибежал заспанный Егор, за ним показалось встревоженное лицо Гаспара — старого мажордома, а за ним лицо лакея.

— Откуда это письмо? Кто принес его? — резко спросил Левон сперва по-русски, потом по-французски.

Егор хлопал глазами.

— Не могу знать, ваше сиятельство, — ответил он.

— Письма никто не приносил вашей светлости, — произнес Гаспар, кланяясь. — Я бы лично передал его вашей светлости, если бы его получили мы. В эти комнаты никто не смеет входить без зова, — закончил Гаспар.

Он сам был, по-видимому, удивлен, как это письмо могло сюда попасть.

— Хорошо, можете идти, — сказал Левон.

Оставшись один, он снова осмотрел всю комнату.

«Быть может, есть тайный ход?» — думал он.

Но если тайный ход и был, то следов его найти Левону не удалось. Он вернулся в свою комнату со смутной тревогой в душе. Зажег вторую свечу, лег, но почти не спал, впадая только в легкую дремоту...

Днем на другой день вернулся Новиков и привез приказ отступить.

— Отступить? Как отступить? — слышались вопросы. — Почему?

Никто не хотел верить. Все были поражены. Дорога на Париж открыта, и вдруг отступить.

Новиков разъяснил недоумение. Главные силы уже отступили, и пятому полку надо торопиться. Казаки Сеславина перехватили почту, и в ней нашли письмо самого Наполеона к императрице. Из этого письма следовало, что он нарочно очистил дорогу на Париж, а сам со всей своей армией бросился на пути сообщения союзников. Если бы это письмо, так неосторожно открывшее планы Наполеона, не было перехвачено, то дня через два было бы уже поздно и армия союзников была бы разбита по частям. Простая случайность, необдуманное письмо преждевременно открыло гениально смелую попытку императора неожиданно ата-

ковать с тылу беспорядочно идущие колонны Шварценберга, хотя еще неизвестно, чем это кончится. Но в главной квартире поняли. Все потеряли голову. Движение назад на войска Наполеона идет беспорядочно, и можно опять ожидать февральской истории, тем более что Блюхер не хочет отступать. Один Александр еще сохранял спокойствие, но опять уже заговорили о мире... Во всяком случае, в главной квартире считают положение армии критическим.

В волнении первых разговоров князь забыл о письме, но, войдя с Новиковым к себе, вспомнил о нем.

— Тебе письмо, доставленное таинственным способом, — сказал он. — Прости, что я вскрыл его, я думал, из штаба. Но, во всяком случае, — с улыбкой добавил он, — тайна не нарушена.

Он передал письмо Новикову. Новиков вспыхнул, развернув бумагу.

— Это Монтроз! — торопливо сказал он. — Я тебе скажу потом.

— А я расскажу, как я нашел его, — отозвался Левон.

Новиков погрузился в чтение письма. На дворе седлали лошадей. Вестовые торопливо собирали офицерские вещи.

Во время перехода Новиков был очень задумчив и мрачно настроен. На ночной стоянке в полуразрушенной деревеньке, остановившись с князем в отдельном домике, он передал ему содержание письма Монтроза.

— Да, — говорил с горечью Новиков, — шевалье прав. Мы слишком эгоистичны и только думаем о себе, когда совершаются события, которые отразятся на целое столетие вперед. Монтроз пишет, что никогда свобода не была в большей опасности, что эта война — апофеоз рабства. Нам говорил Курт, что лучшие люди Пруссии мечтают о свободе народа. Эти мечты погибли. Победы немцев (собственно, наши победы) дали перевес военной партии. Король, Гарденберг, Блюхер и вся эта свора вахмистров и фельдфебелей задушили Штейна, и уже начались тайные гонения на свободомыслящих. Пруссия превращается в военную тюрьму. Даже то немного, что было дано народу, отнимается. Меттерних открыто говорит, что народ надо держать в узде, иначе он грозит революцией, анархией и новым Наполеоном. Император Франц разделяет взгляды своего министра. Вместо Наполеона, которого решили свергнуть,

хотят призвать Бурбонов, как старую династию, носительницу феодальных принципов. В Париже орудуют темные личности и предатели, которые внушают государю, что восстановление Бурбонов общее желание Франции... А Монтроз мечтал о республике! Государь делает вид, что верит этому! Проникнутый мыслью, что цари — помазанники Божьи и ведают судьбы народов, он мечтает о каком-то союзе монархов для охранения их священных прав против доктрин революции и всякой попытки народов самим управлять своей судьбой... Европа, весь мир погружается во мрак! — закончил Новиков.

Князь слушал его, опустив голову.

— Я всегда думал, — сказал он наконец, — что эта война — безумие. Наполеон был страшен для них больше, как представитель республиканской Франции и, хотя император, проводник идей революции, больше, чем как завоеватель.

— Монтроз едет в главную квартиру, — продолжал Новиков. — Он хочет убедить государя, что Бурбоны — погибель Франции, что народ не хочет их... Но я не верю в его успех, хотя сила его влияния сказалась уже в возвращении в Испанию Фердинанда.

— Станный человек, — задумчиво сказал князь. — Как было оставлено это письмо? — спросил он и рассказал, как нашел его.

— Почему я знаю, — пожал плечами Новиков, — я часто находил у себя такие зашифрованные записки.

— Это шифр масонов? — спросил Левон.

— Да, мы иногда пользуемся им, — ответил Новиков. — Ты теперь наш. Нам предстоит опасная и долгая борьба. Ты ведь не отступишь?

Левон вспыхнул.

— Я чувствую, как и ты!

Новиков пожал ему руку и добавил с усмешкой:

— Ну, так я тебе дам ключ, и ты можешь сам прочесть письмо великого Кадоша. Он обещает близкое свидание в Париже. В этом я безусловно верю ему. Мы скоро будем в Париже. Вот этот шифр, смотри, как просто и легко. Он имеет клиническую форму древних времен. Вот, — Новиков взял лист бумаги и карандаш. — Этот шифр сообщается только мастерам, и то не всем, — сказал он. — Но ты, конечно, в ближайшее время будешь уже мастером. Так хочет великий мастер.

Левон с жадным любопытством наклонился над листом бумаги, на котором Данила Иванович писал ключ.

— Ты берешь такую фигуру и вписываешь в ней буквы, — пояснял Новиков

<i>ab</i>	<i>cd</i>	<i>ef</i>
<i>gh</i>	<i>il</i>	<i>mn</i>
<i>op</i>	<i>qv</i>	<i>st</i>

потом такую $u \vee \frac{x}{z}$ у затем берешь соответственные части фигуры и ставишь, как буквы, таким образом получается $a _ | b _ | c _ | d _ |$ и т. д. Вот и все. Теперь на письмо и читай, если хочешь, а я пойду спать. Ты не получал писем? — закончил он.

— Нет, — ответил Левон.

— Я тоже, — вздохнул Новиков, — подумать только, четыре месяца! Ну, да не надо думать об этом. До свидания.

Он нахмурился и стал укладываться в углу на лавке, а Левон погрузился в чтение.

Но недолго пришлось поспать Новикову. Часа через полтора пришло от Громова экстренное приказание двинуться назад. Никто ничего не понимал. Солдаты ворча седлали лошадей.

XXVII

Еще одна безнадежная попытка Мортье и Мармона преградить путь союзным войскам, еще одна победа русских при Фер-Шампенуазе, и в ясный светлый вечер русский авангард увидел башни и колокольни Парижа.

Маршалы отступили, и их войска заняли предместья Парижа — Венсен, Монмартр, Нельи...

Звездная ночь была тиха и тепла. На балконе замка Бонди, в семи верстах от Парижа, стоял император Александр. Он был один. С высокого балкона были видны бивачные огни неприятельских войск и в расстоянии ружейного выстрела от них линия наших огней. Царило жуткое, страшное молчание.

Как очарованный, смотрел император вперед, туда, где лежал Париж, прекрасный и гордый Париж. Что ждет его завтра? Запылает ли он, как святая Москва, как погребальный факел, над погибающей Францией, и победоносная Европа ступит железной пятой на тлеющие развалины, среди крови и ужаса? Или завтра загорится на этих холмах

грозный бой? Наполеон летит со своими орлятами на спасение столицы. Впереди — испытанные в боях его маршалы, гарнизон Парижа, готовое вспыхнуть население.

Наступает роковая минута. Сотысячная армия союзников может очутиться в безвыходном положении, зажата между двух стен, отрезанная от своих сообщений. Упорное сопротивление маршалов и Парижа и быстрота движений Наполеона — вот от чего зависит исход гигантской борьбы.

Но нет! Не напрасно вел его Бог, как Моисея в пустыне. Разве сами ошибки союзников не обращались в их пользу? Разве самые гениальные комбинации Наполеона не гибли от ничтожной случайности, вроде перехваченного неосторожного письма?

— Боже! — шептал государь, молитвенно глядя на звездное небо. — Разве не за благо мира я иду вперед?

Но высокие мысли странно перепутались с иными образами... Победитель Наполеона! Безграничная власть, всеобщее поклонение, фимиам славы и тонкой лести и удовлетворение личной, ненасытной ненависти к маленькому человеку с повелительным голосом, с властными манерами, с пронизывающими, ни перед кем не опускающимися глазами, всегда везде бравшему первое место по праву гения, порабошавшему странной, непонятной силой и чужую мысль, и чужую волю...

Гасли бивачные огни, светлело небо, розовая полоса зари потянулась над недалекой столицей мира.

На балкон тихо вышел князь Волконский. Он тоже провел бессонную ночь, ожидая в кабинете приказаний императора.

Государь повернул к нему мертвенно-бледное лицо с ввалившимися, лихорадочно горящими глазами.

— А, это ты, Петр Михайлович, — сказал он и вдруг, выпрямив сутуловатую спину и подняв голову, с несвойственной ему злой и хищной улыбкой, обнажившей белые зубы, медленно и раздельно добавил: — Волей или силой, с боем или церемониальным маршем, на развалинах или во дворцах, но Европа сегодня должна ночевать в Париже!

Князь Волконский низко опустил голову.

С отчаянным упорством боролись французы за каждую пядь земли. У забаррикадированных застав толпились парижане, требуя ружей и патронов. После упорного кровавого боя войска Барклая-де-Толли овладели заставами Мениль-Монтан, Бельвиль и Пресен-Жерве. Семь тысяч

убитых русских были ценою этого успеха. Русские пушки направили с Бельвильских высот грозные жерла на Париж, готовясь обратить его в развалины. Спешенные драгуны пятого полка в отряде Ланжерона бросились на безумный приступ Монмартра. Их встретили орудийным огнем и затем штыками. Французские конскрипты — юноши и ученики политехнической школы — с грозным мужеством встречали русских закаленных воинов и умирали с восторженными криками: «Vive l'empereur!»

Этот восторженный клич гремел по всей линии обороны, сквозь грохот орудий и шум сражения.

Левон во главе своих людей бросился на французскую батарею. Его встретили бешеной контратакой. Впереди всех с трехцветным флагом бежал старик. Его седые волосы развевались по ветру. Махая шляпой и потрясая другой рукой трехцветным флагом, он кричал:

— En avant, mes enfants, en avant! Vive l'empereur!

На одно мгновение он столкнулся лицом к лицу с Бахтевым. Что-то знакомое показалось Левону в этом старом лице, и вдруг он вспомнил.

— Дюмон, — успел крикнуть он, — сдайтесь!..

Но в ту же минуту чей-то штык пробил горло Дюмона, и он, хрипя, упал навзничь...

Труба неистово кричала отбой, но увлеченные битвой солдаты не слушали. На Монмартр неслись ординарец за ординарцем с приказами прекратить бой. У Понтенской заставы уже подписана капитуляция Парижа. Видя безнадежность сопротивления, герцог Рагузский, уполномоченный королем Иосифом, капитулировал. Сражение прекратилось. Молча и угрюмо спускались с холма французы, получившие тоже приказ от маршала отойти... Куча тел осталась на месте боя. Левон долго отыскивал тело Дюмона, чтобы потом похоронить с честью. Но не мог найти. Ему было грустно. Какая судьба! Веселый танцор двора Елизаветы, учитель танцев Екатерины II, любимец Потемкина нашел свою смерть на кровавых Монмартрских высотах, защищая родную землю от тех, кому отдал лучшую пору своей жизни.

Вечером по всем частям армии был разослан приказ: «К девяти часам с половиною для парадного вступления в столицу Франции быть в готовности и чистоте гвардии, гренадерам и коннице резервного корпуса, прусской и баденской гвардии и австрийским гренадерам».

XXVIII

Все казалось ослепительной сказкой, чудесным сном, от которого страшно было проснуться. И ясное весеннее небо, и яркое солнце, и толпы народа, и торжественная музыка, и он сам, Александр, на светло-сером коне Эклипсе, Агамемнон царей, спаситель Европы. Благовейный мистический восторг наполнял душу императора. Завершалась его заветная мечта. Ему казалось, что Божественное Провидение озарило его своими лучами... Это был час его величайшего торжества, час примирения с самим собою, час, как казалось ему, исцеления его раненой души...

В одиннадцать часов вступила в Париж через Понтенскую заставу в голове кортежа русская и прусская легкая гвардейская кавалерия, за ней следовал Александр с Фридрихом и князем Шварценбергом, сопровождаемые тысячной свитой генералов и офицеров всех наций. Целое море золотых и серебряных мундиров.

Встреча была гениально инсценирована Талейраном и его партией — сторонниками Бурбонов. Всюду виднелись бурбонские белые кокарды, белые перевязи на рукавах. Слышались крики:

«Vive Alexandre! Vivent les Bourbons! Vive Louis XVIII!»

Все это производило впечатление истинной народной преданности старой династии... Но внимательные наблюдатели видели за этими кокардами и крикунами на первом плане молчаливые толпы народа, угрюмые и только любопытные взгляды... За свитой государевой мерно отбивали шаг русские и австрийские гренадеры, а за ними — гвардейская пехота и сверкающие ряды кирасирских дивизий. Парижане, напуганные рассказами о русских «татарах», были искренно и глубоко благодарны императору за то, что он пощадил Париж. Было уже известно, что только благодаря ему Блюхеру не удалось предать разгрому прекрасную столицу Франции. Сам Блюхер, к своему великому сожалению, не мог принять участия в торжественном въезде. Последствия его грязной, необузданной жизни в последнее время сказались. С самого Краона он был болен и не мог сесть на лошадь.

Александр в вицмундире Кавалергардского полка, с восторженным, помолодевшим лицом, с лучистой улыбкой и большими мечтательными глазами был прекрасен.

— Где русский царь? — слышалось в толпе.

Ехавший впереди государя во главе лейб-казаков офицер торопливо кричал непрерывно направо и налево: «Cheval blanc, panadr blanc».

Кортеж торжественно двигался через Сен-Жерменское предместье к Елисейским полям. Достигнув Елисейских полей, государи остановились и пропустили мимо себя войска церемониальным маршем. Александр с гордостью смотрел на блестящий вид своей гвардии, забывая в этот миг, каких трудов стоило одеть к этому параду самую незначительную часть его полков и что остальные, почти босые, оборванные, были оставлены за валами Парижа, чтобы не портить общего впечатления. Оборванные герои угрюмо и завистливо смотрели издали на башни города и думали свою думу о родной стороне...

В то время как по пути следования кортежа всюду виднелись белые кокарды, на остальных улицах и в предместьях то там, то здесь взвивались трехцветные флаги и слышались крики: «*A bas les Bourbons! Vive l'empereur! Vive le roi de Rome!*» На площади Согласия, где некогда пала голова Людовика XVI, уличные мальчишки нашли какую-то собаку и, обвесив ее всю белыми кокардами и улюлюкая, гоняли по всей площади. Небольшой конный отряд молодых аристократов-роялистов, выехавший на площадь, раскидывая в толпу белые кокарды с криками: «*Vive Louis XVIII! A bas le tyran!*» — был обращен в позорное бегство камнями, свистками, угрожающими криками.

Талейран, не желая выпускать из своих цепких рук императора Александра, сумел искусно пустить слух, которому поверили, что Тюильрийский дворец минирован, и, воспользовавшись всеобщей тревогой, предложил к услугам императора свой дворец. Государь принял его гостеприимство, и в тот же день дворец Талейрана наполнился роялистами, якобы представителями Франции...

Пятый драгунский, принимавший участие в торжественном въезде в числе конных гвардейских полков, расположился на Елисейских полях.

Весь вечер парижане толпились перед русскими. Они с любопытством дикарей рассматривали русских варваров и удивлялись их веселости и добродушию. Еще больше удивлялись парижане самому устройству лагеря. Сено служило постелью солдатам. Пуки соломы на соединенных копьях, приставленных к деревьям, образовывали род кровли, и под этой кровлей, словно во дворце, с довольным видом сидели и лежали солдаты. Пылали костры, над ними на шомполах

висели котелки и варилась пища. Кое-где виднелись белые палатки офицеров.

В одной из таких палаток устроились и Левон с Данилой Ивановичем, а рядом с ними Гриша с Зарницыным. Настал вечер, теплый весенний вечер... Улицы огромного города пустели. Взмолвленный всем пережитым, Левон не мог и подумать о сне. То же настроение владело и Новиковым. Они вышли из палатки и медленно направились по опустевшим улицам. Они так полны были впечатлений, что не находили слов и шли молча, как во сне. Огни в домах погасли. После тревожных последних дней Париж в первый раз заснул спокойным сном.

— Смотри, — прервал молчание Новиков, — это Тюильрийский дворец.

Друзья остановились. С глубоким волнением смотрели они на этот знаменитый дворец, теперь мрачный и покинутый, дворец, бывший в течение более двух столетий свидетелем величия и падения, трагедий и комедий, в буквальном смысле. Роскошные празднества двух Генрихов, короля Солнца и Людовика *bien-aimé*, трагедия последнего короля Франции, комедии «колкого» Бомарше и чествование Вольтера. По этим мраморным ступеням легкими шагами взбегали фаворитки минувших дворов, на эти ступени тяжело ложилась железная стопа северного титана, робкими шагами всходила по ним, как по ступеням эшафота, последняя королева Франции, держа в руке дрожащую руку маленького плачущего дофина. И только три дня тому назад покинула эти стены жена нового цезаря, унося с собой плачущего римского короля, чей титул теперь уже начинал казаться насмешкой!..

И теперь у ворот этого дворца и в его дворе русские часовые, русский караул! Какая игра судьбы!

— Боже мой! — говорил Левон, когда они снова пошли по тихим улицам, — свидетелями каких событий мы были! Какие чудовищные перевороты!.. И сколько здесь славы, величия и свободы, и как темна, печальна и угнетена наша родина.

— Да, — отозвался Новиков, — и чтобы спасти их свободу, благосостояние, довольство, мы, истекая кровью, прошли три тысячи верст и счастливы, что гвардии удалось явиться сегодня в столице мира в новых мундирах! Но, кажется, мы неудачно спасали чужую свободу. Кажется, мы спасти не ее, а тех, кто мечтает погубить ее — Фридриха и Бурбонов.

— Вопрос о возвращении Бурбонов еще не решен, — заметил Левон.

Новиков пожал плечами.

— Поверь, что оберегатели тронов никого не признают, кроме них, — ответил он.

Они незаметно дошли до Пале-Рояля и тут убедились, что Париж не спит, что его сердце сильно бьется. И сад, и галереи были переполнены народом. Никогда ничего подобного ни Новиков, ни Левон не видели, и то, что смутно представлялось им, когда они читали о революционных собраниях, показалось им бледной копией действительности. Они были ошеломлены и оглушены этими свободными, страстными речами и переходили от группы к группе. Но они не могли не заметить, что, узнавая их мундиры, к ним относились с удивительной вежливостью и предупредительностью. Толпа везде давала им дорогу и пропускала вперед.

Высокий, длинноволосый молодой человек, размахивая круглой шляпой, призывал всех истинных республиканцев стать под знамена свободы и требовать республики! Он призывал кровавые тени Марата и Робеспьера, говорил о равенстве и братстве. В другой группе господин в синем фраке с белой перевязью на левой руке прославлял Бурбонов, почти после каждой фразы крича охрипшим голосом: «Vive les Bourbons! Vive le roi Louis XVIII!» Ему шикали и свистели. Императорский карабинер, с седыми усами, с ленточкой Почетного Легиона, с одной рукой, кричал о победах императора и призывал к верности ему и грозил его врагам! Окружавшая его толпа восторженно аплодировала и редела: «Vive l'empereur!»

Шум стоял невообразимый.

— О, какое счастье жить в свободной стране! — прошептал Левон, сжимая руку Новикову.

— Подожди, — усмехнулся он, — дай время сесть на трон Людовику.

Пробираясь в толпе, друзья дошли до гостеприимно раскрытых дверей кафе, откуда неслись восторженные звуки «Марсельезы».

— Зайдем, — предложил Левон.

Едва они переступили порог, как их встретили восторженные возгласы: «Vive la Russie! Vive Alexandre!»

Друзья сняли кивера и громко крикнули:

— Vive la France!

Десятки рук потянулись к ним с бокалами.

Но вдруг в зале произошло движение, наступила мгновенная, враждебная тишина.

Бахтеев обернулся и сразу понял ее причину. В открытых дверях показались мундиры прусских гусар, и сейчас

же раздался дерзкий голос, произнесший с сильным немецким акцентом:

— Найдется ли в этой трущобе хорошее вино?

Вслед за этим возгласом, гремя саблями и бесцеремонно расталкивая толпу, появились два офицера. Бахтеев не мог разглядеть их лиц. Немецкие офицеры подошли к столу, сели, и один из них снова крикнул:

— Мы спрашиваем вина! Скоро ли подадут его?

Оба офицера были заметно пьяны. Никто не ответил им.

— Оглохли здесь, что ли, черт возьми! — крикнул офицер, ударяя кулаком по столу.

— Для убийц и грабителей здесь нет вина! — раздался из толпы чей-то голос.

Офицер быстро обернулся и вскочил. Бахтеев узнал его. Это был барон фон Герцфельдт. Толпа с угрожающим видом двинулась на него. Тогда Левон сделал шаг вперед.

— Постой, — остановил его за руку Новиков.

— Оставь меня, — резко сказал Левон, — я предпочитаю драться с ним, чем защищать этого негодяя от порядочных людей. А это должно случиться. Ведь, к сожалению, он наш союзник, и я не мог бы его оставить...

Левон быстро подошел и сказал по-немецки:

— Я очень рад встрече с вами, барон. Надеюсь, вы не забыли старого долга?

Герцфельдт взглянул на него и весь вспыхнул.

— Я к вашим услугам, — ответил он.

Посетители с жадным любопытством смотрели на офицеров. Они не понимали слов, но понимали смысл происходящего.

— Сейчас! — произнес Левон.

— Я готов, — ответил Герцфельдт. — Вот мой секундант.

— А вот мой — ротмистр Новиков.

— Ротмистр Вегнер.

Офицеры поклонились друг другу. Теперь уже для всех стало ясно, что речь идет о дуэли.

Офицеры вышли среди общего молчания. Французы были слишком рыцари, чтобы перед поединком нарушать душевное равновесие одного из бойцов.

— Куда же мы пойдем? — выйдя из кафе, спросил Левон.

Выбежавший из кафе вслед за ними подросток, истинное дитя Парижа, желавший посмотреть, как русский боярин проучит пруссака, вывел их из затруднения.

— Здесь, милостивый государь, здесь, — подбежал он к Новикову, указывая на узкий переулок.

Он привел их к калитке, и, переступив ее порог, они очутились на небольшом заднем дворике того же кафе.

— Здесь будет отлично, — проговорил Левон.

Луна ярко светила. При лунном свете лицо Левона было еще бледнее обыкновенного, брови были нахмурены, и лицо имело угрожающее выражение. Нельзя было и думать о примирении. Взмолванный Новиков понял это. Высокий, массивный Герцфельдт спокойно стоял в сознании своего превосходства, с пренебрежением глядя на тонкую, крупную фигуру противника.

Секунданты поставили противников. Мальчишка прижался к забору.

— Начинайте, — по-французски скомандовал Новиков. Противники одновременно обнажили сабли.

Массивный Герцфельдт всей тяжестью обрушился на Левона, но, к его удивлению, страшный удар тяжелой сабли был отклонен едва заметным движением руки противника, и барон чуть не упал. Он сразу потерял хладнокровие. Клинки сверкали в лунном свете, со звоном ударяясь друг о друга. Герцфельдтом овладело бешенство. Это был не простой поединок, а бой не на жизнь, а на смерть, исполненный непонятной ненависти. Новиков и Вегнер понимали это. Холодная тоска сжимала сердце Данилы Ивановича....

— Теперь кончим, — со сдержанной угрозой вдруг произнес по-французски Левон.

Его сабля, как луч, блеснула в воздухе и тяжело упала на плечо фон Герцфельдта. Пруссак протянул руки, выронил саблю и упал лицом вниз. Тяжело дыша, Левон опустил саблю. Секунданты бросились к Герцфельдту.

— Позовите хозяина, только без шума, — обратился Новиков к мальчишке.

Подросток кивнул головой и скрылся в заднюю дверь. Почти тотчас он вернулся, ведя перепуганного хозяина.

— О Боже! О Боже! — вздыхал он, — какое несчастье в моем доме!

— Есть укомная комната? — быстро спросил Новиков.

— Для раненого пруссака? — воскликнул хозяин. — Ни за что на свете!

Фон Герцфельдт лежал, хрипло дыша. Левон подошел к хозяину.

— Я офицер русской гвардии, — сказал он, — моя фамилия Бахтеев. Я прошу вас оказать гостеприимство раненому офицеру. Эта история должна держаться в тайне. Вот вам на расходы. Позаботьтесь о докторе.

Решительный тон, княжеский титул и несколько наполеондоров поколебали хозяина.

— Но если он умрет? — спросил он.

— Я беру все на себя, завтра утром я буду здесь, — ответил Левон.

— Только для вас, монсеньор, — поклонился хозяин. — В моей скромности будьте уверены. Огюст, — обратился он к мальчишке, — сбегай наверх, господин Шарль, наверное, дома. Это военный хирург, — пояснил он. — Он третий день живет у меня наверху.

Через несколько минут фон Герцфельдт был осторожно перенесен в чистую комнату за кухней кафе, и около него суетился молодой доктор.

— Он будет жив? — тихо спросил Новиков.

Доктор пожал плечами и словно с удовольствием добавил:

— Но какой мастерский удар!

Молча по пустынным улицам возвращались друзья домой. Глубокое безмолвие изредка нарушалось только непривычными на улицах Парижа окликающими: «Кто идет?» и «Wer da?»

XXIX

Минута торжества прошла, пыл восторга угас, и из-за ослепительной маски славы выглянуло грозное лицо действительности. Сто сорок тысяч союзников, уже ссорящихся, усталых, плохо обеспеченных провиантом и снарядами. Глухо шумящий Париж, готовый мгновенно вспыхнуть, и грозное безмолвие Наполеона, стягивавшего к Фонтенбло войска. И яснее, чем кто-либо, понял положение Александр. Патриотизм Парижа, энергия маршалов и проснувшийся гений Наполеона могли обратить победы в поражения и торжество в позор. И все способы обольщения были пущены в ход. Парижанам льстили и ласкали их. При каждом удобном случае государь говорил о величии Франции и любви к французам. Тайные агенты с самыми заманчивыми предложениями наполняли квартиры маршалов; Мармона, занявшего грозную позицию при Эссоне, засыпали лестью и обещаниями вплоть до польской короны. Наскоро созданный Талейраном сенат и семьдесят девять депутатов объявили Наполеона лишенным престола «за на-

рушение конституции». Образовали временное правительство. В его состав вошли Талейран со своими приспешниками Дальбергом и Жокуром, роялист Монтескью и Бернонвиль. Временное правительство тотчас выпустило манифесты и разослало их в армию. Войска были освобождены от присяги на верность, принесенной Наполеону. В довершение всего временное правительство поручило ше-валье Мобрейлю за крупную плату убить Наполеона.

Русские войска перешли на левый берег Сены и в густых колоннах расположились при Лонжюмо и Жювизи. Черная туча повисла над главной квартирой. У Наполеона под рукой имелись армии Мармона, Мортье, Макдональда, Удино, Нея, Жерара, Друо, кавалерия, поляки, гвардейцы и новобранцы, всего шестьдесят тысяч преданных солдат. Войска, занимавшие Тур, Блуа, Орлеан, южные армии Сульта, Ожеро, Сюше и Мезона, давали то же количество. Александр ожидал нового боя, «отчаяннейшего, чем все прежние», и опасался восстания в тылу, в Париже. Минутный покой исчез. Приближалась страстная неделя, и снова, как отбитый от берега пловец, чувствуя себя погибающим, Александр устремил взоры на небо...

Ослепленные неслыханными предложениями, уже усталые, маршалы колебались. Они не хотели ставить на одну карту все приобретенное долгой героической жизнью... И наконец слово «отречение» было произнесено Неем. Ждали ответа Наполеона.

Левон плохо спал в ночь дуэли. Ему было стыдно вспоминать то чувство злобного наслаждения, которое наполнило его, когда он опустил свой палаш на Герцфельдта. Чтобы оправдать себя, он должен был возбуждать в себе снова те чувства злобы и отвращения, которые вызывали в нем прусские офицеры... Он испытывал к Герцфельдту какое-то пренебрежительное сожаление и в душе желал его выздоровления. Утром он попросил Новикова навестить раненого. Вернувшийся Новиков сообщил, что доктор не признал рану смертельной, хотя и тяжелой. Князь вздохнул с облегчением.

Левон получил от князя Петра Михайловича Волконского личное письмо. Князь извещал его, что его величество, в воздаяние подвигов мужества, совершенных им при Дрездене и взятии Монмартра, жалует его званием фли-

гель-адъютанта его императорского величества. Тогда же Громов получил генерал-майора, Новиков чин полковника, Зарницын — ротмистра, а Гриша — поручика.

В тот же день князь Бахтеев через Волконского был представлен государю. Во дворце было необычайно пусто и тихо. В приемной только ждал назначенный генерал-губернатором Парижа барон Остен-Сакен. Это был первый день страстной недели, и государь хотел, чтобы его не тревожили. Быть может, была и другая причина. Князь Волконский заметил Левону, что к ночи ожидается прибытие маршалов с ответом Наполеона. Государь, быть может, не хотел свидетелей этого свидания.

Волконский вошел в кабинет и через минуту вышел и позвал князя.

Левон переступил порог роскошного просторного кабинета и, низко поклонившись, остановился.

Государь сидел за столом. Он показался Левону бледным и словно постаревшим. Непроницаемые серые глаза были полузакрыты, губы сжаты с жестким выражением.

— Князь Бахтеев Лев? — спросил государь.

— Так точно, ваше величество.

Словно сделав над собою усилие, государь улыбнулся привычной улыбкой, от чего его лицо сразу помолодело.

— Поздравляю тебя, ты хорошо исполнил свой долг, — продолжал государь, — я доволен тобою.

— Я счастлив, ваше величество, — ответил Левон.

— Ведь старый князь Бахтеев твой дядя? — спросил государь и, услышав утвердительный ответ, продолжал: — Да, да, князья Бахтеевы отличались верностью. Твой дядя был верен моему отцу и мне, твой отец дрался под знаменами Суворова. А где твоя очаровательная тетушка? — уже совсем ласково и почти весело закончил государь.

Левон вспыхнул и ответил, что с самого Франкфурта не имеет от них никаких известий, но надеется все же их встретить здесь в Париже.

Государь кивнул головой, и его лицо вдруг снова приняло холодное, непроницаемое выражение. Он слегка провел белой, тонкой рукой по своему высокому лбу и, пристально взглянув на Левона, сказал:

— Да, сегодня... — он помолчал. — Сегодня ты можешь вступить в исполнение своих новых обязанностей. Сегодня ты будешь дежурить здесь. До девяти вечера ты свободен. Иди. Благодарю тебя за службу.

Он милостиво кивнул головой. Князь вышел.

— Ну, что? — спросил ожидавший его Волконский.

Левон передал слова государя и его приказание.

— Поздравляю вас, — сказал Петр Михайлович, — это очень большая милость, так же, как и сегодняшний прием. Сегодня очень важный день.

Зарницын и Гриша по обыкновению не сидели дома. К тому же князь и Новиков, оба в надежде и ожидании дорогих гостей, поручили им подыскать подходящий дом. Когда князь вернулся в лагерь, он застал Гришу и Зарницына. Гриша был просто опьянен Парижем. Он от всего приходил в восторг: от любезности парижан, от изящества парижанок, от красоты зданий...

Им удалось снять в Сен-Жермене меблированный отель барона де Курселя, обычно живущего в родовом замке в Нормандии. По их словам, это было верхом изящества и роскоши. И цена была десять тысяч франков в месяц. Сегодня же и решили переехать.

— Ну, а я с новоселья на службу, — сказал князь и передал друзьям о приеме императора.

— Мы переживаем тревожные минуты, — говорил князь Волконский Левону, когда тот явился на дежурство, — мы готовы ко всяким случайностям, — добавил он, положив руку на пачку запечатанных пакетов. — Ведь мир еще не заключен.

— Но король, конечно, согласится на все условия за неожиданно достающийся ему престол, — сказал Левон.

Он сказал эту фразу нарочно, делая вид, что считает совершившимся фактом восстановление Бурбонов, о чем упорно говорили, но на самом деле, чтобы убедиться, правда ли это...

Волконский быстро взглянул на него.

— Король? — спросил он. — Какой король? Наследный принц шведский? Но государь считает его авантюристом. Людовик, граф Прованский? Но Бурбоны достаточно скомпрометировали себя, это выродившиеся феодалы, глубоко антипатичные государю... Нет, нет, наиболее вероятная комбинация — регентство и римский король. Эта комбинация в прямых интересах России, желательна австрийскому императору, популярна во Франции и на нее охотно пойдут маршалы. Это не вызовет ни бурь, ни потрясений. В этом направлении уже сделаны некоторые шаги. Впрочем, сегодня мы ждем маршалов. Сегодня решится судьба Европы, — закончил князь.

Глубокая тишина царила во дворце. Казалось, в нем замерла всякая жизнь. Левон находился в маленькой приемной у самых дверей императора. Изредка до его напряженного слуха доносилось легкое покашливание государя и глухие шаги по мягкому ковру, покрывавшему пол кабинета. Левон чувствовал себя словно подавленным. Мысль и воображение оказывались слабы охватить всю широту событий, совершавшихся перед ним. Он не мог представить себе мира без Наполеона. Еще ребенком он слышал об удивительных подвигах этого человека судьбы. Как сон, пронесли годы величия, неслыханного могущества, славы...

Шум голосов, твердые решительные шаги в соседней комнате заставили вздрогнуть Левона. Портьеры распахнулись, и он увидел перед собой крупную фигуру и львиную голову с темно-рыжими волосами.

«Это Ней», — решил Левон, знакомый по рассказам с наружностью знаменитого маршала, герцога Эльхингенского, принца Московского.

За ним следовал еще кто-то в маршальском мундире, с блестящими глазами и гордым лицом. Это был, как потом узнал Левон, маршал Макдональд, герцог Тарентский. Дальше шел Коленкур, герцог Виченцкий, которого Левон раза два встречал в обществе в Петербурге, и, пропустив их всех вперед, вошел князь Петр Михайлович. Левон почтительно поклонился маршалам, на что они любезно ответили. Сильное волнение овладело им. Он видел так близко этих прославленных вождей — сподвижников великого императора. На лице Ней было выражение упорной и мрачной решимости, бледное лицо Макдональда вспыхивало лихорадочным румянцем, глаза горели. Коленкур был угрюм и сосредоточен. Князь Волконский сказал им несколько слов и скрылся в кабинете императора. Маршалы и Коленкур стояли неподвижно, не обмениваясь ни одним словом. Прошло несколько томительных минут. На пороге появился князь и произнес сдержанным голосом:

— Господин герцог, господа маршалы, его величество ожидает вас.

Через раскрытую дверь на одно мгновение Левон увидел императора. Он стоял, опершись обеими руками на стол. Левон заметил бледность его лица, плотно сжатые губы и прищуренные глаза с непривычным жестким выражением. Дверь закрылась, но неплотно. Неясно и глухо долетали голоса. Но вот раздался громоподобный голос Ней. Этот герцог и принц никогда не обладал придворными качества-

ми, и теперь он говорил с императором, словно на поле сражения, под грохот пушек. Его слова отчетливо долетали до слуха Левона

— Да, ваше величество, — слышался его сипловатый голос, — положение не безнадежно, как думают вожди коалиции; император еще располагает значительными силами. Париж у вас в тылу, а с Эссонских позиций грозит армия Мармона. Армия бросится за императором по первому его слову, и мы тоже. Мы ведь тоже стоим чего-нибудь, ваше величество! В крайнем случае, мы переправимся через Луару, соединимся с армиями Ожеро, Сульта и Жерара, займем крепости, пройдем в Нормандию и Бургундию, подыдем народную войну. Она уже началась, ваше величество, и мы будем драться с вами, как римляне, которые вели войну в Испании в то время, когда Ганнибал угрожал сердцу республики! Мы привезли отречение императора, но в пользу его сына. И мы будем защищать династию и римского короля. Мы не отдадим его в руки врагов. Император сказал: «Нет участи печальнее участи Астианакса». Клянусь, мы не допустим этого!

Голос Нея смолк. Левон не мог разобрать ответных слов, но был потрясен его речью. Сразу заговорили несколько человек, и их слова сливались в неясный шум. Это продолжалось долго, очень долго, или так показалось Левону. Но вдруг он опять услышал голос Нея:

— Этим решением ваше величество спасает славу и благоденствие Франции и достойно увенчивает свою собственную славу.

В его словах слышалось искреннее восторженное оживление.

XXX

Какое-то инстинктивное чувство удовлетворения наполнило душу Левона. За эти дни в Париже он яснее оценил положение, понял скрытое презрение французов к так называемому Людовiku XVIII, их опасение возможного возрождения старого режима. Кроме того, героическая эпопея Наполеона более говорила его сердцу, чем жалкие авантюры последних Бурбонов. Но он не успел еще привести в порядок этих мыслей, как услышал быстрые шаги в соседней комнате, и на пороге приемной показался бледный и взволнованный молодой полковник в флигель-адъютантской форме.

Левон сразу узнал Пронского, князь тоже узнал его, но был так взволнован, что прямо начал, торопливо протянув Левону руку:

— Это вы, я очень рад, меня прислал Винцингероде, я немедленно должен видеть князя Волконского или самого государя.

— Едва ли, князь, это возможно, — ответил Левон. — Волконский здесь, у государя и там посольство от Наполеона. Я не смею доложить о вас. Но что случилось?

— Армия Мармона перешла на нашу сторону, — взволнованно ответил Пронский. — Она сейчас в Версале. В этой армии бунт. Австрийцы ставят пушки... Если вы не можете доложить, я войду без доклада.

И прежде, чем ошеломленный Левон мог ответить, Пронский смелым движением распахнул дверь и вошел в кабинет.

В кабинете наступила мгновенная тишина, потом неясный говор на русском языке, опять молчание и наконец безумный, прямо отчаянный вопль Нея:

— O, malheureux! O, Saint Dieu! O, maudit froître!

Затем опять послышались тихие голоса...

Время остановилось для Левона, он даже не слышал шагов, когда вдруг перед ним появилась высокая фигура в блестящем золотом мундире.

Этот человек был бледен, как призрак, темные волосы упали на вспотевший лоб, глаза имели безумное выражение.

— Я герцог Рагузский, я хочу видеть императора, — хриплым голосом сказал он, обращаясь к Левону.

Левон не успел ответить, как дверь кабинета распахнулась.

Мармон побледнел еще больше, сделал несколько шагов назад и прижался в угол, словно желая спрятаться. Невыразимый ужас отражался на его лице.

Впереди шел Коленкур. Его лицо выражало такое отчаяние, что было жалко смотреть на него.

— О, мой Бог! О, мой Бог! — тихо повторял он, хватаясь за голову.

Губы Нея были плотно сжаты. Брови сдвинуты. Он был страшен. Один Макдональд сохранял внешнее спокойствие, хотя был очень бледен. И вдруг мрачный взор Нея упал на притаившуюся в углу фигуру Мармона. Он словно окаменел. Потом лицо его приняло грозное выражение, рука судорожно сжала эфес шпаги.

— Принц, ради Бога! — испуганно прошептал Коленкур, заметив Мармона и жест Нея.

— Иуда! — громко произнес Ней и быстро прошел мимо.

Мармон выступил и преградил путь презрительно усмехавшемуся герцогу Тарентскому. Коленкур быстро подошел к нему.

— Герцог, — дрожащим, прерывающимся голосом начал он, — ваша измена стоила династии Бонапартов. Русский император, веря в непоколебимую преданность императору Наполеону маршалов и армии, согласился сохранить династию, приняв отречение Наполеона. Узнав, что вы, ближайший друг императора и маршал, занимающий лучшую позицию с отборными войсками, перешли на сторону союзников, русский император взял назад свое согласие и с оскорбительной любезностью заметил, что маршалы Наполеона будут для него всегда дорогими гостями. Герцог, — закончил с горечью, — ведь вы были его другом, его первым адъютантом, и вы нанесли последний удар ему и его династии!..

Герцог Рагузский, как приговоренный к смерти, слушал эти слова. Наконец он поднял свое иссиня-бледное лицо и глухим голосом сказал:

— Клянусь, это недоразумение. Я не хотел этого. Я бы охотно отдал руку, чтобы этого не было.

— Руку? — презрительно отозвался Макдональд. — Тут, пожалуй, было бы мало и вашей головы, герцог...

И в сопровождении Коленкура Макдональд прошел мимо ошеломленного герцога Рагузского.

При шуме этого разговора в дверях показалась фигура Волконского и снова скрылась. Когда ушли маршалы, Волконский в сопровождении Пронского вышел из кабинета и, подойдя к Мармону, холодно и сухо сказал, с легким поклоном:

— Его величество не может принять вас сегодня, господин герцог.

Несколько мгновений Мармон смотрел на него, словно не понимая его слов. Потом выпрямился, слегка кивнул головой и, круто повернувшись, вышел из приемной.

Едва скрылся Мармон, как из боковых дверей появилась темная фигура. Это был невысокого роста человек с гладко выбритым лицом, насмешливым ртом и дерзким проницательным взглядом. Он был одет во все черное, в бархатных сапогах. Заметно хромая, он прямо подошел к Петру Михайловичу.

— Талейран, — шепнул Левону Пронский.

Левон с любопытством смотрел на этого человека, поочередно служившего алтарю, королю, республике, Бонапарту, империи и поочередно всех их продававшего.

Левон заметил, как брезгливая гримаса на мгновение промелькнула на лице князя.

— Дорогой князь, — быстро начал Талейран, — какие события! Какое страшное падение в истории! Имя, которое могло быть неразрывно связано с целым веком, останется соединенным лишь с повествованием о нескольких приключениях! Колоссальное здание империи рушилось, как картонный домик. Франция возвращается к законным владыкам.

— Монсеньор, это еще вопрос открытый, — сухо заметил Волконский.

Монсеньор по своему титулу принца Беневентского, пожалованного ему Наполеоном, Талейран слегка пожал плечами и произнес, резко подчеркивая слова:

— Что вы хотите, любезный князь! Республика — невозможность. Регентство, Бернадотт — интрига. Одни Бурбоны — принцип. А русский император — сама законность. Но, однако, я хотел бы видеть его величество.

— К сожалению, монсеньор, этого нельзя, — холодно ответил князь, — его величество решительно приказал не нарушать его одиночества.

На подвижном лице Талейрана промелькнула мгновенная тревога, но он сейчас же овладел собой,

— В таком случае до завтра, — сказал он и, непринужденно поклонившись, заковылял к двери.

Волконский снова вернулся к государю, а Пронский подошел к Левону.

Левон только теперь обратил внимание, какой измученный, больной вид имел князь.

— Вы нездоровы, князь? — невольно спросил он.

Болезненная улыбка пробежала по лицу князя.

— Нет, — ответил он, — благодарю вас. Я только очень устал. Но, кажется, теперь уже все кончено. Государь потребовал от Наполеона безусловного отречения за всю династию. Я до сих пор не могу опомниться.

— Да, — задумчиво сказал Левон, — даже не верится.

Но, несмотря на слова князя, Левону казалось, что он поглощен совсем иными мыслями и чувствами. Усталый взор князя безучастно скользил по комнате, на бледном лице лежала печать страдания.

Разговор прервался. Из кабинета вышел Волконский.

— Не знаю, придется ли сегодня отдыхать, — заметил он. — До свидания, князь.

Он пожал Левону руку, Пронский тоже, и оба вышли.

В мыслях Левона был настоящий хаос. Ему казалось, что сама судьба глянула ему в глаза. Страшная, неотвратимая!.. Его нет... Его — владыки Запада, наследника Карла Великого. Разве это может быть? Кто же заполнит пустоту, которую он оставит в мире? И никогда Наполеон не казался ему более великим, чем в эти дни, когда его покидали люди, вознесенные им, его друзья и братья по оружию...

Левон подошел к окну и откинул портьеру. Над садом, окружавшим дворец Талейрана, уже розовело небо...

XXXI

На другой день после этой памятной ночи барон Остен-Сакен издал приказ:

«Государь император уверен и надеется, что ни один из русских офицеров в противность церковного постановления во все время в продолжение Страстной недели спектаклями пользоваться не будет, о чем войскам даю знать. А кто явится из русских на спектакль, о том будет известно его императорскому величеству».

Государь говел. Говели войска. Париж затих.

Через несколько дней парижские газеты оповестили население, что бывший император Наполеон подписал отречение за себя и за своего сына и что русский император одобрил проект конституции, предусматривающей возвращение Бурбонов. Бывшему императору Франции предоставлялся остров Эльба и был оставлен титул императора.

Долгая упорная борьба старого порядка против нового казалась конченной. Защитникам феодальной Европы казалось, что последний призрак пламенной революции сошел в вечность со сцены всемирной истории — в лице Наполеона.

Возвращение Бурбонов, казалось, ликвидировало революцию.

Друзья уже жили в новом отеле, где все дышало изысканной роскошью, где художники, по желанию владельца, сумели соединить стиль Людовиков со стилем империи. Чудесный сад окружал отель, и долгими вечерами Новиков с

Бахтеевым бродили по его аллеям. Новиков вслух мечтал о предстоящей в России новой деятельности, о ее возрождении, о своем личном счастье. Мечты о личном счастье давно оставили Левона, но часто он вспыхивал жадой дела, борьбы, и тогда жизнь не казалась ему пустой и бесплодной. Со дня на день ждали они приезда своих дорогих гостей — Новиков с восторгом, Левон в предчувствии новых страданий. Иногда ему хотелось, чтобы какое-нибудь неожиданное событие вновь изменило покойное течение жизни, снова вспыхнула бы война с ее опасностями, тревогами, бурями...

Новиков часто говорил о Монтрозе и с нетерпением ожидал от него известий. Наконец он получил от него записку, в которой шевалье приглашал его и князя на собрание и прибавлял, что, если они найдут нужным, могут привести с собой и своих друзей. Данила Иванович показал это письмо Левону, и они оба решили, что Зарницын будет рад побывать среди новых людей, а Грише прямо необходимо познакомиться с еще чуждыми ему идеями. Семен Гаврилович очень охотно согласился пойти, хотя был очень удивлен, узнав, что его друзья принадлежат к обществу масонов, а Гриша прямо пришел в восторг при одном слове «тайное общество».

В назначенный день и час друзья отправились по указанному адресу. Это было довольно далеко, на одной из улиц старого Парижа. Небольшой дом старинной архитектуры ютился среди просторного сада.

Был уже поздний вечер, и на улицах царила тишина. Они вошли в калитку, прошли по широкой аллее и вошли в слабо освещенный вестибюль. Молчаливые лакеи помогли им раздеться и указали дорогу.

В большой зале, убранной со старой роскошью, было уже многолюдно. Тяжелые портьеры наглухо закрывали окна, не пропуская света ярко освещенной залы. В конце залы было возвышение, похожее на кафедру. Новиков и Бахтеев, оглядевшись, узнали многих своих знакомых. Тут были и Датель, и Роховский, и Батулин, и, что особенно поразило их, князь Пронский, и много еще знакомых гвардейцев.

Они шли по залу, дружески здороваясь со знакомыми.

Но их удивление достигло предела, когда навстречу им из угла залы поднялся Курт.

— Не ожидали? — с улыбкой спросил он. — Я только вчера прибыл в Париж, с резервом. Какие перемены со времени нашей встречи! Какие сведения имеете вы, Нови-

ков, о моей сестрице Герте? — обратился он к Даниле Ивановичу. — Я знаю, как на вас с ней предательски напали наши теперешние дорогие друзья...

— Откуда вы это знаете? — удивился Новиков.

— Ну, в доме шевалье надо привыкать к чудесам, — засмеялся Курт. — Однако я узнал об этом очень просто, — добавил он, — к нам по дороге пристал длинный Ганс, ухитрившийся бежать из плена. Он был отправлен в Кюстрин на Одере. Оттуда и бежал.

— Как я рад! — воскликнул Новиков. — Пусть непременно придет ко мне. Он скоро увидит фрейлейн Герту.

И Новиков рассказал, как он нашел Герту.

— Меня несколько тревожит, — закончил он, — что я сейчас не имею никаких сведений о них. Но, во всяком случае, они в безопасности и хотели следовать за армией. Значит, должны приехать в Париж.

— Ну, слава Богу, — с облегчением произнес Курт, — я очень люблю маленькую Герту. Увы, это последние женщины Пруссии — их так немного, что они даже не похожи на своих соплеменниц.

Эти слова он произнес с искренним чувством.

Гриша смотрел вокруг себя блестящими глазами.

Большинство офицеров было в штатских фраках ввиду приказа государя, отданного во избежание возможных столкновений между офицерами и населением. Во всех углах велись оживленные разговоры. Он слышал, как блестящий семеновец Роховский взволнованно говорил:

— Нас мало, но к нам придут другие. Пора танцев, балов, острых слов прошла! С цветущих берегов Луары и Гаронны мы принесем на родину новые идеи гражданственности, свободы, прав человека! Разорение, истощение, нищета России, рабство ее народа должны обратить на себя внимание правительства, и мы будем первыми работниками в деле обновления родины...

Переходя от группы к группе, Гриша слышал те же разговоры. Павел Иванович Датель, адъютант Витгенштейна, развивал целую программу деятельности.

— Прежде всего надо учиться, — говорил он. — Не стыдно ли, что многие из нас только впервые услышали здесь слова: конституция, права человека, гласность! Какие чиновники ведают у нас делами внутреннего управления? Безграмотные, невежественные люди! Мы должны идти им на смену, занимать их места, как бы ничтожны они ни были... Это мирный труд, мирная работа. В глуши своих деревень мы можем проводить в жизнь принципы свободы

и облегчать рабство, если нам не позволяют уничтожать его у себя. В своих полках мы изгоним шпицрутены! И у кого повернется язык говорить теперь о телесных наказаниях этих героев, на наших глазах совершивших нечеловеческие подвиги...

У Гриши кружилась голова от этих речей, горело сердце и отзывалось на каждое слово, и вместе с тем было мучительно стыдно, что он так мало знает и даже никогда не задумывался над окружающей жизнью.

Но все разговоры смолкли, когда в зале появился шевадье, весь в черном, как всегда, с бледным лицом и яркими глазами. Он обходил гостей с любезной улыбкой. Потом он взошел на кафедру. Настала глубокая тишина. Монтроз был бледнее обыкновенного. Откинув локоны черных волос, он протянул руку.

— Слушайте великого Кадоша, — едва слышно прошептал кто-то рядом с Гришей.

— Братья, — начал шевадье глубоким голосом, — настали великие дни, когда все сильные, благородные, смелые должны собрать все свои силы навстречу надвигающемуся врагу. Имя этого врага — рабство! За немногие годы сколько видели мы престолов низверженных, вновь поставленных, сколько царств уничтоженных, сколько революций совершенных, сколько грозных переворотов! Дух свободы пронесся над миром. От Португалии до далеких пустынь России, от Англии до Турции он всколыхнул народные громады. Он пронесся через океан и загорелся над далекой Америкой. И народы уже видели чудную зарю. Мы уже дышали воздухом свободы!.. Но заря гаснет... Европа погружается во мрак! Идет черная ночь, ночь долгая, без рассвета! Мечты о свободе сменились жаждой власти и произвола. Братья! — страстно воскликнул Монтроз. — Никогда благородные мечты не разбивались так жестоко! Никогда разочарование не было так ужасно! Мы предприняли гигантскую борьбу. Деспотизму Наполеона, а в лице его всех властителей, мы хотели противопоставить свободолюбивый дух народа. И нам казалось, что мы близки к цели. Исполненный либеральных идей, первый поднял меч император Севера! Он сказал: во имя свободы! Лучшие сердца Германии радостно забили навстречу его благородным призывам. Свобода народов казалась близкой... Началась чудовищная борьба. С мучительным вниманием, переходя от надежды к отчаянию, мы следили за перипетиями этой неслыханной борьбы! И что же? Чем дольше шла борьба, тем становилось яснее, что коварно направля-

емые народные силы служили тому же принципу рабства, что властители срединной Европы боролись в лице Наполеона с идеями революции, чтобы задушить последний вздох свободы! Наполеон пал. И вот плоды этих побед: прусский король, презирующий свой народ, железной рукой схватил его за горло, отнимая то немного, что было дано раньше... Члены тугенбунда уже подвергаются гонениям. Они сделали свое дело, бессознательно спасая своего жалкого, деспотичного короля. Опираясь на штыки вскормленных кровью блохеровских солдат, навеки опозоривших себя во Франции, он убивает чистый дух народа. Горе несчастной Германии, если она пойдет этим путем. Австрийский император принес в жертву свою дочь и внука, чтобы укрепить принципы феодализма. И последний удар нанес одушевленный лучшими стремлениями, русский император! Опутанный интригами Талейрана, аббатов, сбродного сената и непризнанных депутатов, коварной дружбой прусского короля и идеями Меттерниха о священном союзе монархов против их народов, во имя их блага, он согласился призвать Бурбонов, чье имя синоним рабства! Напрасно мы употребляли все силы, чтобы противостоять этому, — все было напрасно! Дело свободы проиграно. Надо начинать сначала. Не угашайте же пламени, горящего в ваших сердцах! Боритесь! Боритесь у себя на родине, страдайте, погибайте во имя великих идей! Наш час придет! Помните великое изречение китайского мудреца Хендзи-Фое: «Счастлива та страна, где тюрьмы пусты, житницы полны, где на ступенях храмов Божиих толпится народ, а крыльца судилищ поросли травой!» И пусть крепнет и растет наше великое братство!

При глубоком благоговейном молчании шевалье, взволнованный и потрясенный, сошел с кафедры.

XXXII

— Данила Иванович, — говорил Гриша с блестящими, увлажненными глазами, — научите меня, что надо делать? Я не могу уже так жить, как жил до сих пор! За что мне приняться? С чего мне начать? Ах, как я счастлив, как счастлив я, Данила Иванович, как никогда! Какие люди!.. Вы знаете, князь Пронский сказал мне: «Если своя жизнь не удалась, то удовлетворение можно найти здесь». Но ведь это же и есть настоящая жизнь? Правда, Данила Иванович?

— Спите, спите, милый мальчик, — ответил растроганный Новиков, — вы видите уже солнце.

Но Гриша так и не спал всю эту ночь...

Первым вестником, конечно, явился Евстафий Павлович. Это был как раз первый день Пасхи. Рано утром он вбежал в столовую с радостным возгласом:

— Христос воскрес!

Его появление было восторженно встречено.

Все благополучно. Едут все вместе. Он оставил своих на последней станции Кур-де-Франс, явился в главную квартиру, узнал адрес друзей и приехал. Долго жили во Франкфурте, проехали в Базель, затем в Труа, Ирина ни за что не хотела быть далеко от армии. Писем посылали массу, но ни одного не получили в ответ... Все здоровы, только Ирина немного слаба. Но это вздор! Много тревожилась. Но еще через три дня после взятия Парижа узнали через знакомого офицера, что все живы. Теперь все спокойны и счастливы. Он по обыкновению приехал в качестве квартирера.

Он говорил оживленно и весело и казался помолодевшим. Бесчисленные вопросы посыпались на него. Он едва успевал отвечать.

Герта очень сдружилась с Ириной. Никита Арсеньевич с удовольствием беседует со старым Готлибом, а его скрипка для всех источник истинного наслаждения.

Евстафий Павлович пришел в восторг от этого отеля. Но, к великому сожалению друзей, никто из них не имел возможности отправиться навстречу дорогим гостям. Сегодня государь назначил на площади Согласия парад и торжественный молебен, и все офицеры должны были присутствовать, а Левон по своему новому званию флигель-адъютанта должен был ехать сейчас же для сопровождения государя.

— Ну, что ж, — сказал Евстафий Павлович, — я сам их встречу и привезу сюда. Ну, слава Богу! Уж как я рад, что эта проклятая война кончилась!

И от избытка чувств он снова перецеловал друзей.

Приемные дворца Талейрана были с самого раннего утра переполнены высшими военными и гражданскими чинами. Особое внимание привлекали к себе сподвижники Наполеона. Со смешанным чувством стыда и грусти смот-

рел Левон на этих прославленных героев, прогремевших на весь мир, покинувших в последнюю минуту того, кто дал им славу, богатство, титулы, почти престолы — своего вождя и друга! Гордо возвышалась фигура Нея с львиной головой, маршал Удино, герцог Реджио непринужденно беседовал с принцем Невшательским Бертье и маршалом Лефевром. герцогом Данцигским. Тут стоял в толпе наполеоновских генералов и Макдональд, герцог Тарентский... С гордым видом проталкивались вперед французские аристократы, роялисты из фобурга Сен-Жермен и поспешившие прилететь на добычу авантюристы-эмигранты. Их король находился еще в Гартвелле, откуда собирався проехать сперва в Лондон к принцу-регенту. На днях ожидался приезд в Париж брата короля и его заместителя, достаточно известного всей Европе графа д'Артуа. Роялисты чувствовали себя хозяевами положения. Мелькали черные сутаны. Левон заметил Дегранжа. В задней маленькой приемной, почти пустой, так как все теснились поближе к пути шествования государя, Левон вдруг увидел знакомое лицо. Он сразу узнал этого бледного худощавого офицера. Это был виконт Соберсе, похудевший, осунувшийся, бледный, с угрюмым, мрачным взглядом. Рядом с ним стоял другой офицер, постарше, но еще молодой, с тонкими чертами лица и надменным выражением.

— Виконт! — радостно воскликнул Левон, — это вы? Как рад я видеть вас.

Соберсе поднял глаза, несколько мгновений присматривался, и его мрачное лицо просветлело.

— Князь, — протягивая руку, ответил он, — какая встреча!

Молодые люди сердечно пожали друг другу руки.

— Мой друг, граф д'Арвильи, — сказал Соберсе, укаывая на своего соседа.

Граф холодно поклонился.

— Я имел честь встречаться в Петербурге с маркизом д'Арвильи, — сказал Левон. — Это ваш родственник?

— Это мой отец, — сухо сказал граф.

Левона поразили оттенок пренебрежения, с каким граф произнес эти слова. Он снова обратился к виконту.

— Я не ожидал вас сегодня встретить, — начал он, — и тем более рад...

Соберсе вспыхнул.

— Я здесь не для выражения преданности. Я не признаю и никогда не признаю своим королем наследника позора и рабства, — дрожащим голосом произнес он. — Я

подданный императора острова Эльбы. Ведь вам известно, что бывшему императору Франции отдается остров Эльба?.. Мы его адъютанты, и мы последуем за ним. Мы здесь для того, чтобы иметь возможность ближе увидеть общественное настроение.

Д'Арвильи слушал этот разговор с равнодушным, холодным лицом.

— Я вас понимаю, — просто ответил Левон. Чтобы переменить тему разговора, он сказал: — Здесь дядя, и, наверное, он будет рад повидать вас.

— О, с удовольствием, если будет возможно, — отозвался Соберсе.

Затем Левон рассказал, что был свидетелем героической смерти Дюмона. Соберсе грустно кивнул головой.

— Я имел печальное утешение отдать ему последний долг, — сказал он, — я похоронил его. Около него все время находился приставленный мною верный человек. Он нашел его тело и известил меня...

В эту минуту, оживленно разговаривая с высоким, изысканно одетым пожилым человеком, в приемной появился маркиз д'Арвильи. И вдруг остановился бледный, словно окаменевший. Он узнал своего сына. Граф тоже узнал отца, но только на миг его гордое лицо дрогнуло, и он продолжал смотреть тем же холодным, равнодушным взором.

— Рауль, мой мальчик! — воскликнул старик, бросаясь к сыну с протянутыми руками. — Сколько лет на мои письма я только изредка получал от тебя одно слово, что ты жив!.. Как я искал тебя!

Граф с поклоном отступил на шаг и потом, выпрямившись, холодно ответил:

— Мой отец, вы искали меня не там, где надо, я все время был там, где была честь и слава Франции.

Руки маркиза опустились. Последняя краска сбежала с его лица. Оно приняло жалкое, страдальческое выражение.

— Но ты теперь здесь! Этим все сказано! Ты заблуждался, мой мальчик, — тихо начал он.

— Да, — ответил граф, — вы правы, отец. Мы, может быть, заблудились, но на полях славы, а не в передних врагов родины! Во всяком случае, я не подданный бывшего графа Прованского и вашими стараниями ныне короля униженной Франции.

Маркиз поднял руки, словно умоляя сына замолчать, и бросил мгновенный, испуганный взгляд на своего собеседника. Сын поймал этот взгляд и с нескрываемым презрением произнес:

— О, барон империи и пламенный приверженец Бурбонов господин Витрольль сумеет по достоинству оценить наши чувства.

Витрольль сделал шаг вперед.

— Граф!..

— Если угодно, мы поговорим потом, — прервал его граф, — теперь я разговариваю с моим отцом.

Из соседней залы донесся смутный шум.

— Идемте, маркиз, мы опоздали, — нетерпеливо сказал Витрольль, беря под руку д'Арвиля.

Старик бросил на сына умоляющий взор.

— Ты придешь ко мне, мой мальчик? — тихо спросил он.

Снова дрогнуло гордое лицо, и голос графа прозвучал почти нежно, когда он ответил:

— Я еще увижу вас, отец.

Эта сцена произошла так быстро, что Левон и Соберсе были ошеломлены...

Внизу загредел барабан, послышались крики «ура». Почетный караул встречал императора. Левон вспомнил о своих обязанностях и, торопливо попрощавшись, сказав на ходу свой адрес, побежал вниз.

Восемьдесят тысяч союзного войска и парижской национальной гвардии блестящими линиями выстроились на площади Согласия и протянулись по соседним бульварам и улицам. Множество народа толпилось на террасах Тюильрийского дворца и на набережной Сены, ожидая проезда государей. В этой жадной до зрелищ толпе немало было таких, которые так же, как и теперь, теснились двадцать один год тому назад, чтобы посмотреть, как на этой площади падет под гильотиной палача венчанная глава Людовика XVI.

Мистической душе Александра сегодняшнее торжественный молебен на месте казни казался очистительной жертвой за преступление народа. Он не только спасал народ от «тирана», но и призывал Божье милосердие на его грешные головы и примирял его с Богом. Ему казалось, что на этом кончается его подвиг, его святая миссия, возложенная на него Богом. Но легкомысленные парижане, очевидно, не понимали его глубоких мистических настроений и больше интересовались самим императором, маршалами империи, сопровождавшими его, блестящей свитой, золотыми ризами русского духовенства.

Восторженно-сосредоточенное выражение было на лице государя, когда он преклонял колена. Стройные звуки русских молитвословий неслись к ясному небу... Даже скептические парижане были взволнованы этими чудными торжественными напевами и глубоким благоговейным чувством, отражавшимся на лицах молящихся русских воинов...

Последние слова молитв замерли в воздухе. Грянул салют из ста орудий.

Сияющий и радостный, Александр в сопровождении прусского короля и многочисленной свиты, при восторженных криках войск и приветствиях народа, уехал с площади. Он казался счастливым, как в день вступления в Париж.

В этот же день государь переехал в Елисейский дворец.

XXXIII

Сомнения, опасности, страдания, величественные впечатления последних дней — все было забыто Левонам, когда, задыхаясь от нетерпения, он взбегал по немногим ступеням мраморной лестницы.

Он всех застал в столовой. Новиков и Гриша с Зарничным уже вернулись. Появление Левона было встречено громким радостным возгласом князя Никиты:

— Христос воскрес!

И Левон сразу очутился в его могучих объятиях. Как сквозь сон увидел он чистое, радостное лицо Герты, взволнованного Готлиба и бесконечно милое, бледное лицо, с глазами, полными слез, с выражением трогательной нежности.

— Воистину! — ответил Левон, целуясь и с Гертой, и с Готлибом. На мгновение он остановился около княгини словно в нерешительности, но она сама положила ему на плечо руку и радостно сказала:

— Христос воскрес!

Левон наклонился и с братской нежностью поцеловал Ирину.

Все казались довольными и счастливыми. Князя глубоко поразила перемена в Ирине. Она словно перенесла долгую болезнь. Она была очень бледна. В ее движениях была какая-то слабость. И лицо поражало выражением страшного кроткого покоя, примиренности с судьбой и детской покорности. Во всей ее хрупкой нежной фигуре виднелась трогательная детская беспомощность. Левон часто взгляды-

вал на нее, и она встречала его взгляд тихой сияющей улыбкой. А его сердце болело все больше...

Старый князь скептически относился к результатам войны.

— Ну, вот мы и в Париже, — говорил он, — и что мы получили? Разорение и голод в России увеличились, прибавился еще долг Англии, армия устала и истощена и, несмотря на героизм, уже никому не страшна. Россия вышла из этой войны материально ослабленной, а наши «дорогие друзья» австрийцы и германцы непропорционально усилившимися. Мы славно поработали для них, и они припомнят нам это! Так же мы благодетельствовали Францию, навязавши несчастной стране ненавистных Бурбонов.

Никто не возражал старому князю. Гриша с восторгом передавал свои парижские впечатления. Герта сияла, не сводя глаз с Новикова. Он радостно улыбался ей в ответ Рыцарь, виляя хвостом, подходил то к одному, то к другому. Левон рассказал о своем дежурстве во дворце, о смерти Дюмона и встрече с Соберсе. Евстафий Павлович усиленно угощал всех, то и дело требуя вина и шампанского. Старый Готлиб с блаженной улыбкой только кивал головой и глядел на всех своими добрыми, голубыми глазами...

Завтрак прошел оживленно. Но когда Левон очутился один в своей комнате, его охватило отчаяние. Новые страдания властно надвигались на него, и он не мог ни бороться с ними, ни избежать их.

Ирина сидела у окна. В раскрытое окно врывался благоухающий весенний воздух. Сад трепетал молодой новой жизнью. Левон стоял, скрестив руки, с печальным и сосредоточенным лицом.

— Право, Левон, ты напрасно тревожишься, — говорила Ирина, кутаясь в шаль, — я совершенно здорова. Я только немного ослабла, но это пройдет. Подумай только, сколько месяцев в постоянной тревоге о тебе!.. Не странно ли, Левон, — продолжала она, улыбаясь, — я не могу, прямо не могу говорить тебе, как прежде, вы. Я так много думала о тебе, так много говорила с тобою в душе, так ты стал мне близок, что я не могу... При других я никак не называю тебя. И это мне стыдно. Почему я не говорю тебе при всех «ты»? Нет, я уже решила. Я при Никите Арсеньевиче попрошу тебя говорить мне «ты». Он еще сам недавно сказал мне, что очень рад нашей дружбе

и что... Да, — прервала она себя, — разве я сделала что-нибудь дурное? Мое чувство глубоко и чисто. Я ни перед кем не опущу глаз. Я ничего не жду, ничего не ишу... Я выстрадала свое право... Мне кажется, — тихо добавила она, — я даже могла бы радоваться, если бы ты нашел счастье с другой...

Она грустно и устало замолчала, задумчиво глядя в сад. От этих слов сжималось сердце Левона. Так говорят умирающие.

— Ты знаешь — это невозможно, — ответил Левон, — для меня не может быть другой. Я знаю себя.

— Но для тебя не могу быть и я, — едва слышно проговорила Ирина, не поворачивая головы. — Но, — продолжала она, — жизнь велика. Ты будешь видеть во мне сестру. Вот ты много говорил мне недавно о том, что уже существует общество, члены которого поклялись отдать свои силы на благо слабым и угнетенным... Война кончилась, ты вернешься в Россию... У тебя будет много работы, благородной и высокой. Я поняла ваши мысли, ваши стремления. Я тоже буду работать, хоть и вдали от тебя, но душою с тобой...

— Как вдали от меня? — спросил Левон.

— Ты мужчина, для тебя нужна большая арена, — ответила Ирина, — ты, наверное, будешь жить и работать в Петербурге — я уже говорила с Никитой Арсеньичем. Мы уедем. Он, по-видимому, очень рад. Он тоже устал... Иногда, Левон, мне кажется, что он страдает... Тебе не кажется этого, Левон?.. Меня часто мучит это... Я хотела бы сделать его счастливым... Но странно, я ни о чем не могу думать... Мысли разбегаются... Он так далек... так далек... — Она сжала голову обеими руками. — Мы уедем к отцу в его саратовское поместье... Там глухо и тихо... Мы ведь богаты, Левон... Многие тысячи людей принадлежат нам. Я постараюсь сделать их счастливыми и свободными. Я дам им волю, если позволит государь, я устрою школы, больницы...

Ирина оживилась, ее бледное лицо разгорелось.

— А там хорошо, Левон, — мечтательно продолжала она, — там я провела свое детство. Там над самой Волгой стоит вся белая женская обитель. Там мир и тишина... Еще ребенком я любила призывный зов ее колоколов... когда издали по реке тихо разносился благовест к вечерне, когда розовое сияние зари лежало на воде... я слушала и иногда плакала, сама не зная почему... С торжественным звоном сливались бубенчики стад, возвращавшихся домой...

А в храме, когда косые лучи заката падали через высокие окна, и чистые голоса пели... Ах, Левон, там покой, там тишина...

Ирина опустила голову, и крупные, неожиданные слезы одна за другой полились из ее глаз.

Левон почувствовал, как сжимается его горло, и, наклонившись, прижался губами к тонким, прозрачным рукам...

XXXIV

Те смутные темные мысли, которые впервые появились у князя Никиты в Петербурге и которыми он однажды поделился с Левоном, которые с новой силой овладели им в Карлсбаде и на время оставили во Франкфурте, теперь, как черное облако, окутали его душу, застилали жизнь, не давали дышать. Это облако стало сгущаться непрерывно со времени похода во Францию. Смутные тревоги принимали определенную форму, и наконец с полной ясностью предстала перед ним правда. Эта правда заключалась в том, что Ирина несчастна. Он видел это, он чувствовал это всем своим старым, но еще жарким сердцем, своим умом, умудренным опытом долгой и широкой жизни. И, поняв это, он понял все. И бред Никифора, и красноречие Дегранжа, и мистические идеи, и теперь эту тихую покорность судьбе, самоотречение, жажду молитвенного уединения где-то в глуши саратовской вотчины, и это медленное угасание. Она несчастна, но где источник ее страдания? Никогда ни одним намеком не жаловалась она на свой брак. Никогда раздраженное слово не срывалось с ее губ по отношению к нему. Она не увлекалась ни светской жизнью, ни общим поклонением. И вдруг!.. «Если бы я не знал Ирины, я бы мог думать, что сильное чувство овладело ею», — сказал он Левону еще в Петербурге. Ужели так? Она была или казалась счастливой, пока молчало ее сердце, но если оно заговорило... Но кто же? Ужели «он»? — думал князь. — Нет, этого не может быть. Красавец Пронский? Но Пронский всегда держался вдали. Или это временное настроение?... Сколько раз, оставаясь с нею наедине, с бесконечной жалостью глядя на ее прекрасное, страдающее лицо, ему хотелось просто как ребенка утешить ее, спросить, отчего она несчастна, сказать ей, что ее счастье для него дороже жизни. Но как-то совсем незаметно, день за днем, час за часом, они все дальше отходили друг от друга. И то, что было бы просто и естественно год тому назад, теперь каза-

лось невозможным, и словно тайная боязнь чего-то удерживала его. И никто из окружающих не замечал его настроения. Он только еще немного постарел, дольше оставался один в своем кабинете. Но на людях он был все тот же добродушно-насмешливый, ясный и спокойный; к тому же кочевая жизнь, важность совершающихся событий отвлекали от него внимание окружающих. Да они были и далеки от него. А Ирина была вся поглощена своими недоступными ему мыслями.

По приезде в Париж князь решил никуда не показываться, чему Ирина была чрезвычайно рада, но что очень не нравилось Евстафию Павловичу. Он не мог порхать целый день, собирая новости и сплетни, а их теперь было так много. Не мог щегольнуть великолепием своего выезда и царственной роскошью отеля, где они поселились. Жизнь в отеле внешне текла безмятежно и мирно. Гриша и Зарницын почти все время пропадали то на службе, то в театрах и кафе и, казалось, не могли надышаться воздухом Парижа. Герта, если не была с Новиковым, не отходила от Ирины, которую прямо обожала.

Ирина тоже заметно полюбила ее.

Почти каждое утро они ездили кататься по Парижу. Восторг Герты не имел границ.

— Но Берлин скучная казарма перед Парижем! — восклицала она.

Но Ирина была равнодушна и безучастна. Ни музеи, ни соборы, ни оживленные улицы и цветущие бульвары — ничто не выводило ее из состояния грустной сосредоточенности, что волновало и изумляло Герту. Ирина предпочитала сидеть дома.

Часто Герта садилась на маленькой скамеечке у ног Ирины, прижималась головой к ее коленям и просила Ирину рассказать о далекой России. И Ирина рассказывала ей. Она говорила о бесконечных лесах, о широких долинах, о многоводных реках, быстрых и светлых, о терпеливом народе-христианине, покорном, безропотном, ждущем только слова свободы, чтобы показать изумленному миру все сокровища своего духа и величавую мощь свою. Говорила о тихих церквах, затерянных в глуши убогих деревень, куда народ с несокрушимой верой приносил свои слезы и молитвы. Говорила о царственной роскоши вельмож, о великолепии двора, о красоте белых ночей северной столицы... С широко открытыми глазами Герта подолгу слушала ее, и жалкой казалась ей ее родина, ступившая на путь признания единого бога — бога грубой силы...

А на ковре, положив умную морду на вытянутые лапы, лежал Рыцарь и, казалось, тоже внимательно слушал рассказы о той чудесной стране, которая будет ему второй родиной...

Старый князь обычно за обедом подшучивал над Готлибом, уверяя его, что в нем нет ничего немецкого и что, наверное, он жертва подмены.

Готлиб обыкновенно грустно вздыхал и говорил:

— Старая Германия умирает. Великий Гете с орлиных высот слетел на нашест в курятник Веймара... Пора умирать...

Иногда по вечерам он играл на скрипке, и это было тогда настоящим праздником для всех. Но старик играл сравнительно редко, и его никто не неволил.

Внешне мирное течение жизни нарушил приход двоюродного брата Герты Курта с длинным Гансом. Курт, пробыв несколько дней в Париже, торопился уехать.

— А где же твоя невеста, Фриц? — спросила Герта.

Курт нахмурился, а потом рассмеялся и махнул рукой.

— Плохо дело, — сказал он, — ландштурмисты не пользуются никаким успехом у своих соотечественниц. Она обручилась с королевским гвардейцем.

Герта только всплеснула руками. Длинный Ганс, не смотря на ласковый прием, не находил себе места, кое-как отвечал на расспросы, боялся сесть на стул и не мог справиться со своими руками и ногами. Он все норовил отойти в уголок, где нежно обнимал и украдкой целовал Рыцаря, который восторженно приветствовал его. Новиков во что бы то ни стало решил увести Ганса в Россию и без особого труда убедил бунцлауского парикмахера. Он остался в отеле.

Тяжелое впечатление произвело на всех отчаяние старой Дарьи, когда она узнала о смерти Дюмона. Пользуясь знанием языка, она в конце концов нашла его могилу, но, к ее глубокому сожалению, оказалось невозможным отслужить на его могиле православную панихиду.

Всю коллекцию Дюмона старый князь решил передать в один из парижских музеев.

Последний раз тревога охватила главную квартиру, когда было получено известие, что Наполеон принял отчаянное решение поднять восстание и в сопровождении небольшого конвоя выехал из Фонтенбло по Оксерской до-

роге, направляясь в Бургундию. Тотчас Винцингероде было приказано отправить сильный отряд для его преследования, «нагнать его, схватить и доставить живым»...

Но известие оказалось ложным. Все успокоилось, однако было решено не откладывать высылки Наполеона на Эльбу.

Левон был дежурным. Зарницын с Гришей, переодевшись в свои модные фраки, по обыкновению уехали в театр, прихватив с собою Евстафия Павловича. Утомленная Ирина рано ушла к себе, Герта с Новиковым скрылись в сад. Посидев вдвоем с Готлибом, старый князь тоже прошел к себе.

В отеле наступила тишина. Распахнув широкое окно в сад, князь сел в кресло. Над садом всходила луна. Резкие тени узорной листвы ложились на дорожки. В глубине аллеи промелькнуло белое платье рядом с темной фигурой мужчины. Никита Арсеньевич смотрел, страдальчески сдвинув брови, и непрощенные воспоминания одно за другим яркими пятнами вспыхивали во тьме прошлого... Прекрасные женские лица, ревнивые мужья, ссоры, смертельные дуэли, лунные ночи — все, чем была богата бурная и блестящая молодость князя Никиты, заставлявшая говорить о нем обе столицы... Много, много воспоминаний. Много зла тяготеет на его душе, много упоительного счастья знало его сердце. И грустно сознавать, что все это было, было и не вернется, что жизнь прожита, что когда-то любимые им красавицы, если живы, морщинистыми старухами доживают свой век, вспоминая о прежней любви. Но у них только прошлое, а у него есть настоящее. Обломок старых поколений, он еще так недавно сумел обмануть свою старость. В последний раз прежним огнем вспыхнуло его сердце... а потом? Полвека тому назад его любовницы были в возрасте его жены... Полвека — целая жизнь... И при мысли об Ирине, о ее нежной молодости, увядающей рядом с ним, в не греющих лучах его заката, его сердце наполнилось нежностью и жалостью. Ему захотелось сейчас же увидеть ее, утешить, в чем? Он не знал, но говорить ей тихие, ласковые слова, открыть всю свою нежность... Он сам не знал, что он скажет. Он только чувствовал, что такое настроение не скоро повторится, что надо воспользоваться им, чтобы разрушить ту преграду, которая незаметно выросла между ними.

Он встал и по комнатам, озаренным лунным светом, бесшумно направился на половину Ирины...

За дверью было тихо. Князь несколько мгновений прислушивался. Ни звука. Ирина, очевидно, спала. Он постоял несколько мгновений и медленно повернулся.

Полоса лунного света легла на темный ковер. Князь сделал шаг и увидел в этой полосе сложенный лист бумаги. Он машинально нагнулся и поднял его. Края бумаги слегка обгорели. Он ближе поднес листок к глазам, развернул и при ясном лунном свете бросил взгляд на небрежно разбросанные строки. Он сразу узнал почерк Левона. С необычайной быстротой, до предела напряженного чувства он схватил их содержание. Риппах, 18 апреля?.. Что это?.. Слово окаменев, не отрывая глаз, смотрел Никита Арсеньевич на эти строки. Минута шла за минутой. Сколько прошло времени?

Кто может сказать это! Казалось, совершенно машинально князь читал и вновь перечитывал это письмо... Наконец он выпрямился. Лицо его было бледнее луны. Он сложил письмо, как оно было, бросил его на ковер и, тяжело и нетвердо ступая, прошел в свой кабинет. Долго стоял он у открытого окна, и лицо его было грозно и мрачно.

Разгадка найдена. Кто потерял это письмо? Он или она? Не все ли равно!.. Как, однако, все это было ясно с самого начала, а он ничего не понял, ничего не угадал... Строки письма, как слова «мани, факел, фарес», горели перед ним. «Мое прошлое, мое настоящее, мое будущее — вы...», «О, пусть, обожаемая Ирина, это безумие...», «Боюсь умереть, не увидев еще раз этого лица, этих темных глаз, не почувствовав мгновенного трепета нежной руки».

Тяжелая мучительная работа происходила в душе князя. Со страшным напряжением памяти он восстанавливал прошлое. И чем дальше подвигалась эта работа, тем яснее и яснее он понимал все... И кипевшая обидой и гневом душа стихала, и ревнивое чувство сменялось сознанием беспомощности и безнадежности перед лицом судьбы... И вспыхивало страшное, забытое воспоминание. Мстительная тень встала из могилы и глядит ему в глаза и тихо шепчет: «Возмездие! Возмездие!..» Это было тоже потерянное письмо. И его тоже нашел муж, молодой и ревнивый. И письмо не говорило о безнадежности, а было полно восторга осуществленных надежд. Была ночь, был сад, была такая же луна, и при свете ее молча, бешено, насмерть бились на шпагах оскорбленный муж и торжествующий любовник. Их

было только двое, и одни вековые липы видели, как упал пораженный насмерть муж.

«Возмездие! Возмездие!» — шептал призрак... Бледное лицо молодого красавца с широко раскрытыми мертвыми глазами и насмешливой улыбкой грезилось в саду старому князю...

«Ты лжешь, — хотел крикнуть Никита Арсеньевич, — моя жена чиста, мои седины не поруганы. Я сам обманул себя. Холодный луч яркого зимнего солнца убьет неосторожный цветок. Я обманулся, но не обманут... Не торжествуй. Мои страдания — не твои страдания. И если бы ты воскрес, я бы снова убил тебя, потому что она любила меня и презирала тебя... Уйди! Если есть Бог, пусть судит Он...»

Резкий звонок прозвучал из кабинета князя. Раз, другой, уже нетерпеливо и властно. Заспанный камердинер прибежал запыхавшись.

— Вина, — коротко приказал князь.

Через несколько минут, изумленный неожиданным приказанием, лакей принес на подносе любимое князя рейнское и тонкий хрустальный бокал.

— Иди, ты больше не нужен, — сказал князь.

Тихо в саду, только шелестят листья. Выпрямившись во весь рост, стоял у окна старый князь. Теплый ветерок, нежный, как поцелуй, ласкал его седые кудри и обвеивал разгоряченный лоб. Князь долго смотрел в окно, словно хотел насмотреться на эту тихую весеннюю ночь, манящую и ласковую, прекрасную и обманчивую, как неверная любовница.

Но вот откуда-то, словно издалека, послышался не то вздох, не то стон. Князь насторожился. Еще мгновение, недвижимый воздух вздрогнул, поплыл благоуханными волнами и весь словно от земли до неба зазвучал сладкой до слез, мучительно блаженной песней. Князь прислонился к окну и замер. Прощание ли это с далекой молодостью? Или гимн освобожденной души, встретившей за гранью жизни свою осуществленную мечту? Казалось, никогда волшебная скрипка Гардера не бросала в очарованный мир таких блаженных звуков. Они говорили, говорили эти звуки на языке ангелов или богов. Казалось, одно мгновение, и откроется какая-то сладостная тайна, и человек, понявший ее язык, станет равен богам. Это не листья шелестят в саду, это шелест ангельских крыл... К чему-то бесконечно прекрасному зовут эти звуки, о чем-то бесконечно чистом говорят они...

И долго после того, как замолкла волшебная песнь, неподвижно стоял князь Никита, и ему казалось, что эта песнь еще доносится слабым эхом с неба...

Потом с просветленным и торжественным лицом, с выражением решимости он подошел к своему столу...

XXXV

Первая услышала Герта тихий и жалобный вой Рыцаря, услышала сквозь легкий утренний сон и мгновенно проснулась. Она прислушалась. Вой доносился сверху. Это было так жутко и необычайно, что сердце Герты сжалось. Торопливо одевшись, она бросилась наверх. Весь дом еще спал. У дверей кабинета, опустив морду и хвост, вытянув шею, стоял Рыцарь. Узнав Герту, он слабо вильнул хвостом и, взглянув на нее, снова завыл. Герте стало страшно.

— Рыцарь, Рыцарь, — позвала она.

Но Рыцарь не трогался с места, смотря на нее умными, печальными глазами. Его вой уже услышал камердинер князя и прибежал, чтобы отогнать собаку. Увидев Герту, он остановился.

— Что такое, барышня? — спросил он.

Путая и коверкая слова, Герта кое-как объяснила, что Рыцарь не хочет отходить от двери. Камердинер тихо постучал в дверь кабинета, но ответа не было. Тогда он осторожно открыл дверь и вошел. Герта прислушалась.

— Ваше сиятельство, ваше сиятельство, — услышала она, и потом громкий испуганный возглас: — Господи, помилуй!

Из кабинета, бледный, весь дрожа, выскочил камердинер.

— Что? — спросила Герта.

Он замахал руками и быстро заговорил. Герта поняла немного, но почувствовала что-то ужасное. Зная, что молодой князь на дежурстве и потому не ночует дома, она повторила несколько раз взволнованному камердинеру:

— Новиков, Новиков...

Он понял ее и побежал. Герта осталась одна, невольно дрожа, прижимая к себе Рыцаря. Через несколько минут появился Новиков. Он был очень бледен.

— Кажется, князю очень плохо, — обратился он к Герте. — Войдемте.

Герта вошла в кабинет вслед за Данилой Ивановичем. Камердинер следовал сзади. Рыцарь, словно исполнил свой

долг, позвав людей, перестал выть и растянулся у порога. Солнце уже взошло, и его яркий свет лился через незавешанное окно.

Старый князь сидел в кресле, откинув голову с закрытыми глазами, лицо его было спокойно, и словно легкая счастливая улыбка застыла на нем. Руки были протянуты на коленях.

Новиков коснулся бледного лба, тронул руки и, обратясь к Герте, сказал глухим голосом:

— Это смерть.

Герта закрыла лицо руками и тихо заплакала. Старый камердинер перекрестился и, всхлипывая, опустилсЯ у кресла на колени и прижался губами к холодной руке своего князя.

— Герта, — начал Новиков, беря ее за руку, — успокойся. Будь смелее. Надо предупредить княгиню... Скажи, что князю плохо. Иди.

Он поцеловал ее руку. Герта сделала несколько судорожных вдохов, вытерла глаза и вышла.

— Как это случилось? — спросил Новиков камердинера.

Камердинер, всхлипывая, рассказал, как ночью неожиданно был разбужен звонками, как князь потребовал вина, чего никогда не бывало раньше, и потом отослал его, сказав, что он не нужен больше.

— Только батюшка князь, — закончил старый слуг, — был какой-то особенный...

— Как особенный? — спросил Новиков.

— Не такой, как всегда, очень какой-то важный, — пояснил старик.

Новиков глубоко задумался. На столике стояла початая бутылка вина. Бокала не было видно. Новиков взглянул вниз и увидел на полу тонкие, мелкие осколки стекла. Так разбиться не мог упавший бокал. Было очевидно, что он с силой брошен на пол... Новиков нахмурил брови и долго смотрел в прекрасное, величавое лицо, словно стараясь прочесть в нем какую-то мучительную тайну. На этом строгом и светлом лице не было и тени страдания. Это был покойный и радостный сон очень усталого человека. Это выражение как будто говорило: «Не будите меня, мне так хорошо, так отрадно... я устал и хочу отдохнуть...» Новиков опомнился и приказал разбудить Евстафия Павловича, Зарницына и Гришу и позвать скорее доктора...

С тяжелым чувством шла Герта. Вот маленькая гостиная-будуар, где они так любили сидеть, за ней спальня. На

ковре белело письмо. Герта подняла его, в недоумении повертела в руках, рассматривая слегка опаленные края, развернула, увидела непонятные ей строки. На несколько мгновений она задумалась, словно что-то вспоминая. Ей показалось, что она однажды видела в руках Ирины такую бумажку с опаленными краями... Она тогда торопливо спрятала ее при входе Герты. Инстинкт подсказал ей, что Ирина не должна знать, что это письмо было в ее руках. Она тихонько вошла в спальню. Ирина еще спала. Герта осторожно подошла к туалетному столику и положила письмо под футляр с кольцами, потом подошла к Ирине. Несколько мгновений смотрела она на бледное лицо Ирины, белевшее в полумраке комнаты, и тихо тронула ее за плечо.

Ирина сразу проснулась и узнала Герту.

— Герта, что случилось? — спросила она, поднимаясь.

— Князю плохо, — прерывающимся голосом, отворачиваясь, сказала Герта.

— Плохо? — тихо повторила Ирина и, заломив руки, упала лицом на подушку. — Вы обманываете меня, он умер...

— Княгиня, мужайтесь, — сказала Герта.

Ирина не отвечала. Прошло несколько минут. Наконец Ирина поднялась. Она вся дрожала и не могла одеваться. Герта откинула портьеры и подошла помочь Ирине. Они не обменялись больше ни словом. Но, когда Ирина встала на ноги, она пошатнулась. Герта обняла ее и чувствовала, как она дрожит мелкой дрожью.

В кабинете уже бестолково суетился Евстафий Павлович. Сморщенное лицо его было залито слезами. Височки растрепаны, кок торчал, как петуший гребень. Зарницын тихо говорил с Новиковым. Готлиб плакал в уголке. Гриши не было. Он поехал в Елисейский дворец сообщить Левону о несчастье и потом найти полкового священника.

Вид Ирины испугал Новикова. Столько отчаяния и ужаса было в ее лице. С рыданием без слез она упала у кресла на колени и прижалась губами к руке князя и словно застыла. Прошла минута, две, она не трогалась, только как-то странно склонилась на бок всем телом, прижавшись к креслу. Когда к ней подошел Евстафий Павлович, чтобы помочь встать и отвести ее от тела, он увидел, что она без чувств. С помощью Герты и Зарницына он отнес ее к ней в спальню. Герта позвала Дарью, и они обе остались при Ирине, стараясь привести ее в себя до прихода доктора...

Левон тотчас приехал. Князь Волконский, лишь только узнал о несчастье, тотчас доложил государю, и государь сам сейчас же позвал его к себе, выразил чувства глубокой скорби, просил передать свое соболезнование вдове и отпустил его. Отчаяние Левона было искренно. Он любил дядю, кроме того, в душе он считал себя бесконечно виноватым перед ним... Об Ирине он думал с величайшей тревогой. Мысль о себе и будущем в эти тяжелые минуты не приходила ему в голову...

Гриша нашел священника, но Ирина, слабая, в полусознательном состоянии, не могла присутствовать на первой панихиде. От имени государя приехал князь Волконский с венком из живых цветов и привез вдове личное письмо императора. Зарницын и Гриша приняли на себя все хлопоты. Надо было заказать два гроба, металлический и дубовый, найти опытного врача, набальзамировать тело, так как, конечно, его повезут в Россию, похоронить в родовой усыпальнице князей Бахтеевых в смоленской вотчине.

Только на второй день к вечеру Левон увидел Ирину.

— Левон, это Божие наказание, — встретила его Ирина.

Он молча поцеловал ее руки.

— Всей жизни мало, чтобы искупить его смерть, — с тихим отчаянием продолжала она. — Жизнь не принадлежит мне больше!

— Ирина, что ты говоришь! — воскликнул Левон. — Мы чисты перед ним. Разве мы желали ему зла, не любили его? Разве мы чего-нибудь ждали, на что-нибудь надеялись? Разве мы не решили отречься от себя, от счастья, чтобы не нарушить его покой?.. Ирина, — склонясь к ней, дрожащим голосом говорил Левон, — не говори так... Богу, которому ты веришь, неудобны такие жертвы. Они не могут быть удобны... Подумай, Ирина, разве он не знал счастья в жизни? Не был любим, не любил, не получил своей доли? И даже на закате жизни он нашел новое счастье, и был прекрасен его закат. Он прожил не одну, он прожил несколько жизней. И разве твоя вина, что сама природа бесильна обратить зиму в весну, сковать льдами внешние воды и заставить цветы цвести на снегах... И каковы бы ни были твои чувства, природа сделала бы свое дело. Не сегодня — завтра, через год, через два... Между вами лежала бездна в полстолетия...

Ирина жадно слушала его, и ее душа как будто светлела, и жизнь не казалась погубленной навсегда.

Было решено, что Ирина уедет сопровождать тело мужа. С ней поедут Готлиб с Гертой и Гансом, Евстафий Павлович и, конечно, вся прислуга... Левон и его друзья не могли еще оставить Париж.

Проходили дни. Герта была неразлучна с Ириной, и ее нежность, ее любящая душа, молодое счастье, которое наполняло ее, — все это действовало на Ирину успокоительно.

Она не говорила с Левоном о будущем, но оба чувствовали, что жить один без другого они не могут... Новиков не поделился даже с Гертой странными, смутными мыслями, взволновавшими его у тела старого князя при рассказе старого слуги и при виде вдребезги разбитого бокала. По странному чувству, Герта тоже не сказала ему о найденном письме. Они оба чувствовали дуновение тайны над смертью старого князя.

На заре весеннего дня печальный кортеж выступил из Понтенской заставы. Ирина с Гертой, Новиковым и Левоном сидели в одной коляске. Они провожали до первой станции. Гриша с Зарницыным ехали верхом. А лошадей Левона и Новикова вели конные вестовые. Герта была счастлива, хотя часто при взгляде на Данилу Ивановича ее глаза наполнялись слезами. В глазах Ирины уже не было мрачного выражения отчаяния. Ее грусть была спокойна, и часто ее глаза с глубокой нежностью останавливались на грустном лице Левона. Говорили мало. Все были заняты мыслями и чувствами, без слов понятными друг другу. Вот и станция. Последнее прости праху старого князя. Последние слезы, последние поцелуи, последние слова, и друзья остались одни. Они стояли с непокрытыми головами и молча смотрели на дорогу, пока последний экипаж не скрылся за цветущим холмом.

XXXVI

В суровом молчании неподвижно, как изваяния, выстроились во дворе дворца Фонтенбло гренадеры старой императорской гвардии. Ветер шелестел складками победоносного знамени, увенчанного орлом Франции; несколько офицеров находились в строю, в том числе Соберсе и д'Арвилли.

У ворот дворца, окруженная конвоем, уже стояла карета, готовая увезти императора в изгнание.

Гренадеры ждали своего императора. Он был один, покинутый женой, увезшей с собой сына, своими братьями, преданный своими маршалами и друзьями, одаренными им славой, почестями, деньгами, оставленный даже своими лакеями!..

В глубоком молчании сходил император по ступеням лестницы. Только два генерала остались верны ему — Бертран и Друо. За ним следовали, как напоминание судьбы, комиссары союзных держав во главе с графом Шуваловым. Прусский комиссар граф Тухзесс Вальдбург казался смущенным. Только что император презрительным тоном заметил ему, что находит его присутствие излишним, и обиженный граф не знал, что делать.

Император был бледен, но глаза его сверкали, голова была гордо поднята.

Гренадеры, казалось, перестали дышать, когда император быстрыми, решительными шагами подошел к их строю.

— Гренадеры! — звучным голосом начал император. — Я пришел проститься с вами.

Словно вздох пронесся по стройным рядам.

— Я бы мог, полагаясь на вашу верность и доблесть, еще вести войну за Луарой. Но я не хочу проливать новые потоки крови. Я уйду в изгнание, как некогда Сципион в свое латернское убежище! Не тоскуйте о своем вожде и императоре, водившем вас к победе. У меня осталось святое дело, которому я посвящу остаток моей жизни. Это дело — записать для будущих веков ваши бессмертные подвиги! Слава вам! Слава живым, слава мертвым, стяжавшим себе бессмертие в лучшие дни в цветущих долинах Италии, в пылающих песках пирамид, на полях Иены и Ваграма, в снегах Москвы и павших и победивших в последней отчаянной борьбе при Монмирале и Шамп-Обере! Слава ваша не померкнет! Ваши подвиги возбуждают восторг и удивление позднейшего потомства. Но, быть может, — пророчески воскликнул император, — настанет время, и раненый французский орел взмахнет своими крыльями и с башни на башню долетит до самых колоколен собора Парижской Божьей Матери. Пти, — обратился император к командиру роты, — я хочу прижать к сердцу императорского орла, символ свободы и победы, водившего вас к славе.

Выхватив из рук знаменосца знамя, капитан Пти пробежал к императору и, став на одно колено, наклонил знамя. На одно мгновение император прижал знамя к груди.

Влажный блеск показался в его глазах. Потом он резко выпрямился, слегка отстранил от себя знамя и крикнул:

— Прощайте, дети!

В одно мгновение ряды гренадер расстроились; бросая ружья, они кинулись к своему вождю со знакомым кличем победы: «Да здравствует император!» По загорелым суровым лицам текли слезы... Гренадеры обнимали колени императора, целовали его руки и полы его серого сюртука, клянясь в верности и умоляя его вести их в бой.

Шувалов отвернулся, чтобы скрыть навернувшиеся слезы.

На бледном лице императора гордым торжеством горели увлажненные глаза.

Тихо в покоях Елисейского дворца, так тихо, словно дворец необитаем. И тихо, как в могиле, в большом царственном кабинете, где по мягкому пушистому ковру, нервно ломая руки, взад и вперед ходит высокий человек с усталым страдальческим лицом, с загадочными серыми глазами. Человек, достигший в глазах всех неслыханной высоты и величия, окруженный лестью всего мира, неограниченный распорядитель судеб десятков миллионов людей и обширнейшей в мире страны! Император таинственного и могучего Севера.

Кончена гигантская борьба. Великий и ненавистный соперник, тот, кто десять лет мешал ему спокойно спать, дышать, наслаждаться жизнью и царствовать, тот, кто вызывал из бездн его души призраки зависти, ненависти, страха, унижения, кто таинственно соединил в себе в представлении его мистической души все зло, которое по воле Провидения он должен был сокрушить, чтобы заслужить Божье милосердие, — этот загадочный человек, Цезарь и кондотьер, герой и преступник, — пал и больше не подымется! Мир освобожден от него. Тяжелый подвиг увенчан блистательным успехом. Слава сияет, как солнце... Отчего же так пусто вокруг и в душе? Отчего нет желанного покоя? Тайный ужас прокрадывается в душу. Ужас при мысли, что все было ошибкой, что подвиг совершен бесплодно, что все усилия, вся воля сотворили как раз противоположное тому, к чему он стремился... Его слава — призрак, ничтожество, бенгальские огни, а не истинное солнце! Настоящая слава — сила или нравственная, или материальная. Она ослепляет и устрашает. Она довлеет сама по себе.

А в чем его слава? В победах? Но их уже не признают или присваивают себе другие. Австрийский император говорит, что мир обязан спасением Австрии. Прусский король считает победу делом мужества пруссаков и гения Блюхера. Русская армия истощена двухлетними походами. Россия еще больше разорена. Она не страшна уже никому. Ему даже не хотят дать герцогства Варшавского! Это слава? Или слава в том, как уверяют льстивые придворные и поэты, что он дал свободу народам? Он знает, что это ложь! Он освободил престолы, но не народы. Людовик XVIII отказывается подписать конституцию и мечтает о режиме Людовика XIV. Уже теперь граф д'Артуа его именем одно за другим отнимает права народа, добытые кровью. Фридрих-Вильгельм хочет во всей полноте восстановить строй Фридриха Великого! Меттерних говорит, что «единственное право народа — это право повиноваться».

В чем же слава? Все напрасно, все бесплодно.

И снова те же мучительные мысли и та же жажда покоя, и бессонные ночи и слезы, и молитвы! Минутный праздник кончился. Потешные огни погасли. А впереди жизнь, быть может, долгая жизнь, ровная, блестящая, холодная, как ледяные пустыни Сибири...

*Федор Ефимович
Зарин-Несвицкий*
ЗА ЧУЖУЮ СВОБОДУ
Исторический роман

Редактор
И. Шурьгина
Художественный редактор
И. Мареv
Технический редактор
Н. Привезенцева
Корректоры
*В. Антонова, М. Александрова,
В. Рейбекель*

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.
Подписано в печать 01.12.95. Уч.-изд. л. 26,48.
Цена 19 200 р.

Издательский центр «ТЕРРА».
113184, Москва, Озерковская наб. 18/1, а/я 27.

ТАЙНЫ

Роман русского писателя Ф. Е. Зарин-Несвицкого (1870—не ранее 1935) «За чужую свободу» повествует о событиях, происходящих во время знаменитого заграничного похода российской армии в 1813—1814 гг. Это было время завершения разгрома армии Наполеона I и освобождения от наполеоновского господства стран Западной Европы. В ряде кровопролитных сражений под Дрезденом, Лейпцигом и других французские войска потерпели сокрушительное поражение, русские войска вместе с союзниками в 1814 г. вступили в Париж. Но это только внешняя канва событий романа.

Мысли о судьбе родины, поиски смысла жизни, нравственные терзания, вызванные любовью к девятнадцатилетней Ирине — жене семидесятилетнего дяди Бахтеева, приводят главного героя романа в масонскую ложу. О том, как сложилась дальше судьба молодого князя и его друзей, чем закончилась его любовная история и о многом другом из жизни того времени узнает читатель, побывав вместе с героями романа на полях сражений, в европейских городах и столицах, на собраниях масонских лож, на радениях русских сектантов, на великосветских приемах.

ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах